

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й
М И Р

9



1989



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1925 г.

№ 9

Сентябрь, 1989 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВИКТОР АСТАФЬЕВ — <i>Людочка</i> , рассказ	3
М. ХВЫЛЕВЫЙ — <i>Иван Иванович</i> . Перевел с украинского А. Руденко-Десняк	28
ДАНЬ ЖИВЫМ — <i>Игорь Чиннов, Валерий Перелешин, Николай Моршен</i> . Стихи. Подготовка текста и предисловие Е. Витковского	57
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — <i>Архипелаг ГУЛАГ</i> . Опыт художественного исследования. Главы из книги. Продолжение	68
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ — <i>Автисексус</i> . Публикация М. А. Платоновой Предисловие Андрея Битова	166
ПУБЛИЦИСТИКА	
Ю. ЧЕРНИЧЕНКО — <i>Поднявшийся первым</i>	178
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
СЕРГЕЙ КЛЫЧКОВ: <i>ПЕРЕПИСКА, СОЧИНЕНИЯ, МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ</i> . Публикация и составление Н. В. Клычковой. Вступительная статья, подготовка текстов и комментарии С. И. Субботина	193
Н. ПОКРОВСКИЙ — <i>Мирская и мовархическая традиции в истории русского крестьянства</i>	225
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
СТ. РАССАДИН — <i>Последний чегемец</i>	232

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	248
А. Панков. Анатомия террора. М. Злобина. Ключи Пантелеймона Романова.	
<i>Политика и наука</i>	258
Петр Черкасов. Мифология или история? Сергей Яковлев. Особая причина.	
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	
ВИКТОР ПЕКЕЛИС — Можно ли назвать удачей?	267
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Павел Басинский. — Александр Сегень. Похоронный марш. Роман в рассказах. ◆	
Сергей Дмитренко. — В. Г. Боборыкин. Об истории создания романа А. А. Фадеева «Молодая гвардия». ◆	
Роман Белоусов. — Александр Дюма. Кавказ	269
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

ВИКТОР АСТАФЬЕВ

★

ЛЮДОЧКА

Рассказ

Ты камнем упала,
Я умер под ним.

Вл. Соколов.

Мимоходом рассказанная, мимоходом услышанная история, лет уже пятнадцать назад...

Я никогда не видел ее, ту девушку. И уже не увижу. Я даже имени ее не знаю, но почему-то втемяшилось в голову — звали ее Людочкой. «Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный...» И зачем я помню это? За пятнадцать лет произошло столько событий, столько родилось и столько умерло своей смертью людей, столько погибло от злодейских рук, спилось, отравилось, сгорело, заблудилось, утонуло...

Зачем же история эта, тихо и отдельно ото всего, живет во мне и жжет мое сердце? Может, все дело в ее удручающей обыденности, в ее обезоруживающей простоте?

Людочка родилась в небольшой угасающей деревеньке под названием Вычуган. Мать ее была колхозницей, отец — колхозником. Отец от ранней угнетающей работы и давнего, закоренелого пьянства был хилогруд, тщедушен, суетлив и туповат. Мать боялась, чтоб дитя ее не родилось дураком, постаралась зачать его в редкий от мужних пьянок перерыв, но все же девочка была ушиблена нездоровой плотью отца и родилась слабенной, болезной и плаксивой.

Она росла, как вялая, примороженная трава, мало играла, редко пела и улыбалась, в школе не выходила из троечниц, но была молчаливо-старательная и до сплошных двоек не опускалась.

Отец Людочки исчез из жизни давно и незаметно. Мать и дочь без него жили свободнее, лучше и бодрее. У матери бывали мужики, иногда пили, пели за столом, оставались ночевать, и один тракторист из соседнего леспромхоза, вспахав огород, крепко отобедав, задержался на всю весну, врос в хозяйство, начал его подлаживать, укреплять и умножать. На работу он ездил за семь верст на мотоцикле, сначала возил с собой ружье и часто выбрасывал из рюкзака на пол скомканных, роняющих перо птиц, иногда за желтые лапы вынимал зайца и, распялив его на гвоздях, ловко обдирал. Долго висела потом над печкой вывернутая наружу шкурка в белой оторочке и в красных, звездно рассыпавшихся на ней пятнах, так долго, что начинала ломаться, и тогда со шкурок состригали шерсть, пряли ее вместе с льняной ниткой, вязали мохнатые шалюшки.

Постоялец никак не относился к Людочке, ни хорошо, ни плохо, не ругал ее, не обижал, куском не корил, но она все равно побаивалась его. Жил он, жила она в одном доме — и только. Когда Людоч-

ка домаяла десять классов в школе и сделалась девушкой, мать сказала, чтоб она ехала в город — устраиваться, так как в деревне ей делать нечего, они с самим — мать упорно не называла постояльца хозяином и отцом — налаживаются переезжать в леспромхоз. На первых порах мать пообещала помогать Людочке деньгами, картошкой и чем бог пошлет — на старости лет, глядишь, и она им поможет.

Людочка приехала в город на электричке и первую ночь провела на вокзале. Утром она зашла в привокзальную парикмахерскую и, просидев долго в очереди, еще дольше приводила себя в городской вид: сделала завивку, маникюр. Она хотела еще и волосы покрасить, но старая парикмахерша, сама крашенная под медный самовар, отсоветовала: мол, волосенки у тебя «мя-а-ах-канькия, пушистенъкия, головенка будто одуванчик — от химии же волосья ломаться и сыпаться станут». Людочка с облегчением согласилась — ей не столько уж и краситься хотелось, как хотелось побыть в парикмахерской, в этом теплом, одеколонными ароматами исходящем помещении.

Тихая, вроде бы по-деревенски скованная, но по-крестьянски сноровистая, она предложила подмести волосья на полу, кому-то мыло развела, кому-то салфетку подала и к вечеру вызнала все здешние порядки, подкараулила у выхода парикмахерской тетеньку под названием Гавриловна, которая отсоветовала ей краситься, и попросилась к ней в ученицы.

Старая женщина внимательно посмотрела на Людочку, потом изучила ее необременительные документы, пораспрашивала маленько, пошла с нею в горкоммунхоз, где и оформила Людочку на работу учеником парикмахера.

Гавриловна и жить ученицу взяла к себе, поставив нехитрые условия: помогать по дому, дольше одиннадцати не гулять, парней в дом не водить, вино не пить, табак не курить, слушаться во всем хозяйку и почитать ее как родную мать. Вместо платы за квартиру пусть с леспромхоза привезут машину дров.

— Покуль ты ученицей будешь — живи, но как мастером станешь, в общежитку ступай, бог даст, и жизнь устроишь. — И, тяжело помолчав, Гавриловна добавила: — Если обрюхатеешь, с места сгоню. Я детей не имела, пiskuнов не люблю, кроме того, как и все старые мастера, ногами маюсь. В распогодицу ночами вою.

Надо заметить, что Гавриловна сделала исключение из правил. С некоторых пор она неохотно пускала квартирантов вообще, девицам же и вовсе отказывала.

Жили у нее, давно еще, при хрущевщине, две студентки из финансового техникума. В брючках, крашенные, курящие. Насчет курева и всего прочего Гавриловна напрямки, без обиняков строгое указание дала. Девицы покривили губы, но смирились с требованиями быта: курили на улице, домой приходили вовремя, музыку свою громко не играли, однако пол не мели и не мыли, посуду за собой не убирала, в уборной не чистили. Это бы ничего. Но они постоянно воспитывали Гавриловну, на примеры выдающихся людей ссылались, говорили, что она неправильно живет.

И это бы все ничего. Но девчонки не очень различали свое и чужое, то пирожки с тарелки подъедят, то сахар из сахарницы вычерпают, то мыло измывают, квартплату, пока десять раз не напомним, платить не торопятся. И это можно было бы стерпеть. Но стали они в огороде хозяйничать, не в смысле полоть или поливать, — стали срывать чего поспело, без спросу пользоваться дарами природы. Однажды съели с солью три первых огурца с крутой навозной гряды. Огурчики те, первые, Гавриловна, как всегда, пасла, холила, опустившись на колени перед грядой, навоз на которую зимой натаскала в рюкзаке с конного двора, поставив за него чекенчик давнему разбойнику, хромоногому Слюсаренке, разговаривала с ними, с огурчиками-то: «Ну, растите, растите, набирайтесь духу, детушки! Потом

мы вас в окро-о-ошечку-у, в окро-ошечку-у-у» — а сама им водички, тепленькой, под солнцем в бочке нагретой.

— Вы зачем огурцы съели? — приступила к девкам Гавриловна.

— А что тут такого? Съели и съели. Жалко, что ли? Мы вам на базаре во-о-о какой купим!

— Не надо мне во-о-о какой! Это вам надо во-о-о какой!.. Для утех. А я берегла огурчики...

— Для себя? Эгоистка вы!

— Кто-кто?

— Эгоистка!

— Ну, а вы — б...! — оскорбленная незнакомым словом, сделала последнее заключение Гавриловна и с квартиры девиц помела.

С тех пор она пускала в дом на житье только парней, чаще всего студентов, и быстро приводила их в божий вид, обучала управляться по хозяйству, мыть полы, варить, стирать. Двоих наиболее толковых парней из политехнического института даже стряпать и с русской печью управляться научила. Гавриловна Людочку пустила к себе оттого, что угадала в ней деревенскую родню, не испорченную еще городом, да и тяготиться стала одиночеством, свалится — воды подать некому, а что строгое упреждение дала не отходя от кассы, так как же иначе? Их, нонешнюю молодежь, только распусти, дай им слабинку, сразу охомутают и поедут на тебе, куда им захочется.

Людочка была послушной девушкой, но учение у нее шло туговато, цирюльное дело, казавшееся таким простым, давалось ей с трудом, и, когда минул назначенный ей срок обучения, она не смогла сдать на мастера. В парикмахерской она прирабатывала уборщицей и осталась в штате, продолжая практику — стригла машинкой наголо допризывников, корнала электроножницами школьников, оставляя на оголившейся башке хвостик надо лбом. Фасонные же стрижки училась делать «на дому», подстригая под раскольников страшных модников из поселка Вэпэврээ, где стоял дом Гавриловны. Сооружала прически на головах вертялых дискотечных девочек, как у заграничных хип-звезд, не беря за это никакой платы.

Гавриловна, почуяв слабинку в характере постоялицы, сбывла на девочку все домашние дела, весь хозяйский обиход. Ноги у старой женщины болели все сильнее, выступили жилы на икрах комковатые, черные. У Людочки щипало глаза, когда она втирала мазь в искореженные ноги хозяйки, дорабатывающей последний год до пенсии. Мази те Гавриловна именовала «бонбенгом», еще «мамзином». Запах от них был такой лютый, крики Гавриловны такие душераздирающие, что тараканы разбежались по соседям, мухи примерли все до единой.

— Во-о-от она, наша работушка-а, во-от она, красотуля-то человекья, как дастаетца! — поуспокоившись, высказывалась в темноте Гавриловна. — Гляди, радуйся, хоть и бестолкова, но все одно каким-никаким мастером сделаешься... Че тебя из деревни-то погнало?

Людочка терпела все: и насмешки подружек, уже выбившихся в мастера, и городскую неприютность, и одиночество свое, и нравность Гавриловны, которая, впрочем, зла не держала, с квартиры не прогоняла, хотя отчим и не привез обещанную машину дров. Более того, за терпение, старание, за помощь по дому, за пользование в болясти Гавриловна обещала сделать Людочке постоянную прописку, записать на нее дом, коли она и дальше будет так же скромно себя вести, обихаживать избу, двор, гнуть спину в огороде и доглядит ее, старуху, когда она обезножеет совсем.

С работы от вокзала до конечной остановки Людочка ездила на трамвае, далее шла через погибающий парк Вэпэврээ, по-человечески — парк вагонно-паровозного депо, насаженный в тридцатых го-

дах и погубленный в пятидесятых. Кому-то вздумалось выкопать канаву и проложить по ней трубу через весь парк. И выкопали. И проложили, но, как у нас водится, закопать трубу забыли.

Черная, с кривыми коленами, будто растоптанный скотом уж, лежала труба в распаренной глине, шипела, парила, бурлила горячей бурдой. Со временем трубу затянуло мыльной слизью, тиной, и поверху потекла горячая речка, кружа радужно-ядовитые кольца мазута и разные предметы бытового пользования. Деревья над канавой заболели, сникли, облупились. Лишь тополя, корявые, с лопнувшей корой, с рогатыми сухими сучьями на вершине, опершись лапами корней о земную твердь, росли, сорили пух и осенями роняли вокруг осыпанные древесной чесоткой ломкие листья. Через канаву был переброшен мосток из четырех плах. К нему каждый год деповские умельцы приделывали борта от старых платформ вместо перил, чтоб пьяный и хромой люд не валился в горячую воду. Дети и внуки деповских умельцев аккуратно каждый год те перила ломали.

Когда перестали ходить паровозы и здание депо заняли новые машины — тепловозы, труба совсем засорилась и перестала действовать, но по канаве все равно текло какое-то горячее месиво из грязи, мазута, мыльной воды. Перила к мостику больше не возводились. С годами к канаве приползло и разрослось, как ему хотелось, всякое дурнолесье и дурнотравье: бузина, малинник, тальник, волчатник, одичалый смородинник, не рожавший ягод, и всюду — развесистая полынь, жизнерадостные лопухи и колючки. Кое-где дурнину эту непролазную пробивало кривоствольными черемухами, две-три вербы, одна почерневшая от плесени упрямая береза росла, и, отпрянув сажен на десять, вежливо пошумливая листьями, цвели в середине лета кособокие липы. Пробовали тут прижиться вновь посаженные елки и сосны, но дальше младенческого возраста дело у них не шло — елки срубались к Новому году догадливыми жителями поселка Вэпэврзэ, сосенки ошипывались козами и всяким разным блудливым скотом, просто так, от скуки, обламывались мимо гулявшими рукосуями до такой степени, что оставались у них одна-две лапы, до которых не дотянуться. Парк с упрямо стоявшей коробкой ворот и столбами баскетбольной площадки и просто столбами, вкопанными там и сям, сплошь захлестнутый всходами сорных тополей, выглядел словно бы после бомбежки или нашествия неустрашимой вражеской конницы. Всегда тут, в парке, стояла вонь, потому что в канаву бросали щенят, котят, дохлых поросят, все и всякое, что было лишнее, обременяло дом и жизнь человеческую. Потому в парке всегда, но в особенности зимою, было черно от ворон и галок, ор вороний оглашал окрестности, скоблил слух людей, будто паровозный острый шпак.

Но человеку без природы существовать невозможно, животные, возле человека обретающиеся, тоже без природы не могут, и коли «ближней» природой был парк Вэпэврзэ, им и любовались, на нем и в нем отдыхали. Вдоль канавы, вламываясь в сорные заросли, стояли скамейки, отлитые из бетона, потому что деревянные скамейки, как и все деревянное, дети и внуки славных тружеников депо сокрушали, демонстрируя силу и готовность к делам более серьезным. Все заросли над канавой и по канаве были в собачьей, кошачьей, козьей и еще чьей-то шерсти. Из грязной канавы и пены торчали и гудели горлами бутылки разных мастей и форм: пузатые, плоские, длинные, короткие, зеленые, белые, черные; прели в канаве колесные шины, комья бумаги и оберток; горела на солнце и под луной фольга, трепыхалось рванье целлофана; иногда проносило аж до самой реки, в которую резов втекал зловонный поток канавы, какую-нибудь диковину: испустившего резинового дух крокодила Гену; красный круг из больницы; жалко слипшийся презерватив; остатки древней деревянной кровати и много-много всякого добра.

Как водится в настоящем уважающем себя городе, и в парке Вэпэвэрзэ и вокруг него по праздникам вывешивались лозунги, транспаранты и портреты на специально для этой цели сваренные и изогнутые трубы. Прежде было хорошо и привычно: портреты одни и те же, лозунги одни и те же; потом преобразования начались. Было: «Дело Ленина — Сталина живет и побеждает!» — стало: «Ленинизм живет и побеждает!» Было: «Партия — наш рулевой!» — стало: «Слава советскому народу, народу-победителю!» Результат местной идейной мысли тоже был: «Трудящиеся Советского Союза! Ваше будущее в ваших руках». «И в ногах!» — дописал кто-то из местных остряков. Железнодорожное депо всегда отличала повышенная бдительность, классовое чутье и гражданская принципиальность. Больше ни одной дописки на эстакаде — так важно тут именовалась железная конструкция — не появлялось.

Но когда с эстакады, с самого центра ее, было вынуто сразу пять портретов и сзади них обнажился, явственней проступил лозунг: «Партия — ум, честь и совесть эпохи!» — примолкли даже и железнодорожники.

В местной школе с давними, твердо стоящими на передовых позициях кадрами произошло шатание. Приехавшая по распределению из революционного города Ленинграда молоденькая учительница литературы кричала на собрании: «Какой очистительной морали можно ждать от города, когда в центре его, на воротах артиллерийского завода с сорок второго года горят трехметровые буквы: „Наша цель — коммунизм!“?»

Ну, такая учителька долго в поселке Вэпэвэрзэ не продержится, домой ее воротят или куда-то еще отвезут.

В таком поселке, в таком роскошном месте, как парк Вэпэвэрзэ, само собой, и «нечистые» велись, да все здешнего рода и производства, пили они тут, играли в карты, дрались они тут и резались, иногда насмерть, особенно с городской шпаной, которую не могло не тянуть в фартовое место. Имали они тут девок и однажды чуть было не поймали ту вольнодумную ленинградскую учительницу — убегла, физкультурница.

Среди вэпэвэрзэшников верховодом был Артемка-мыло, со вспененной белой головой, с узким рыльцем и кривыми, ходкими ногами. Людочка сколь ни пыталась усмирить лохмотья на буйной голове Артемки, названного отцом-паровозником в честь героического Артема из кинофильма «Мы из Кронштадта», ничего у нее не получалось. Артемкины кудри, издали напоминающие мыльную пену, изблиз оказались что липкие рожки из вокзальной столовой — сварили их, бросили скользким комком в пустую тарелку, так они, слипшиеся, неразъемно и лежали. Да и не затем приходил Артемка-мыло в дом Гавриловны, чтоб усмирить свою шевелюру. Он, как только Людочкины руки становились занятыми ножницами и расческой, начинал хватать ее за разные места. Людочка сначала дергалась, уклонялась от Артемкиных пальцев с огрызанными ногтями, потом стала бить по хватким рукам. Но клиент не унимался. И тогда Людочка стукнула вэпэвэрзэшного атамана стрижушей машинкой, да так неловко, что из Артемкиной патлатой головы, будто из куриных перьев, выступила красная жидкость. Пришлось лить йод из флакона на удалую башку ухажористого человека, он заулюлюкал, словно в штанах припекло, со свистом половил воздух пухлыми губами и с тех пор домогания свои хулиганские прекратил. Более того, атаман-мыло всей вэпэвэрзэшной шпане повелев Людочку не лапать и никому лапать не давать.

Людочка ничего и никого с тех пор в поселке не боялась, ходила от трамвайной остановки до дома Гавриловны через парк Вэпэвэрзэ в любой час, в любое время года, своей улыбкой отвечая

на приветствия, шуточки и свист шпаны да слегка осуждающим, но и всепрощающим потряхиванием головы.

Один раз атаман-мыло зачалил Людочку в центральный городской парк. Там был загорожен крашеной решеткой загон, высокий, с крепкой рамой, с дверью из стального прута. В нише одной стены сделана полумесяцем выемка вроде входа в пещеру, и в той нише двигались, дрыгались, подскакивали на скамейках, болтали давно не стриженными волосьями как попало одетые парни. Одна особа, отдаленно похожая на женщину, совсем почти раздетая, кричала в фигуристый микрофон, держа его в руке с каким-то срамным вывертом. Людочке сперва казалось, что кричит та особа что-то на иностранном языке, но, прислушавшись, разобрала: «Приходи. Любофь. А то...»

В загоне-зверинце и люди вели себя по-звериному. Какая-то черная и красная от косметики девка, схватившись вплотную с парнем в разрисованной майке, орала среди площадки: «Ой, нахал! Ой, живоглот! Че делат! Темноты не дождется! Терпеж у тебя есть?!» «Нету у него терпежу!— прохрипел с круга мужик не мужик, парень не парен.— Спали ее, детушко! Принародно лиши невинности!»

Со всех сторон потешался и ржал клокочущий, воющий, пылящий, перегарную вонь изрыгающий загон. Бесилое, неистовствовало стадо, творя из танцев телесный срам и бред. Взмокшие, горячие от разнузданности, от распоясавшейся плоти, издевающиеся надо всем, что было человеческого вокруг них, что было до них, что будет после них, в проволоке, за решеткой мотали друг друга, висли один на другом, душили в паре себя и партнера, бросались на огорожу, как на амбразуру в военное время, человекоподобные пленные, которым некуда было бежать. Музыка, помогая стаду в бесовстве и дикости, билась в судорогах, трещала, гудела, грохотала барабанами, стонала, выла.

Людочка сперва затравленно озиралась, потом зажалась в уголок загона и искала глазами атамана-мыло — если нападут, чтоб заступился. Но мыло измылился в этой бурлящей серой пене, да и молодой милиционер в нарядном картузе, ходивший вокруг танцплощадки со связкой ключей, подействовал на Людочку успокаивающе. Ключами милиционер поигрывал, позванивал так, чтоб наглядно было: сила есть против всяких страстей и бурь. Время от времени эта сила вступала в действие. Милиционер приостанавливался, кивал картузом, и на его кивок тут же из кустов бузины являлись четверо парней с красными повязками дружинников. Милиционер повелительно тыкал пальцем назагон и бросал парням звенящие ключи. Парни врывались в загон, начинали гонять и ловить базластой курицей летающую, бьющуюся в решетки особь, может, девку, может, парня — ввечеру тут никого и ни от чего отличить уже было невозможно. Хватаясь за решетки, за встречно выкинутые солидарные руки, жалкая, заголенная жертва, кровя сорванной кожей, красно намазанным ртом вопила, материлась: «Х-х-ха-ады-ы! Фашисты-ы! Сиксо-о-оты-ы! Педера-асты-ы!..»

«Сейчас они в собачнике покажут тебе и фашистов и педерастов... Се-э-эча-ас...» — торжествуя или сострадавая, со злорадной тоской бросало вослед жертве чуть присмирившее стадо.

Людочка боялась выходить из угла решетчатого загона, все не теряла надежды, что атаман-мыло выскользнет из тьмы и она за ним и за его шайкой, хоть в отдалении, дотащится до дома. Но какой-то плюгавый парень в телесно налипших брючках, может, и в колготках, углядел ее и выхватил из угла. Малый поди еще и школу не закончил, но толк в сексе знал. Он жадно притиснул девушку к воробьиной груди, начал тыкать в лад с музыкой чем-то тверденьким. Людочка — не гимназистка, не мулечка-крохотулечка из накрахма-

ленной постельки, она все же деревенская по происхождению, видела жизнь животных, да и про людей кое-что знала. Она сильно толкнула хлыща-танцора, но он тренированный, видать, не отпускаясь, зуб кривой скалил. Один почему-то зуб у него и виднелся. «Ну, че ты? Че ты? Давай дружить, кроха!»

Людочка все-таки вырвалась из объятий кавалера и надала ходу из загона. Дома, едва отдышавшись и зажав лицо руками, она все повторяла:

— Ужас! Ужас!..

— Во-от, будешь знать, как шляться где попало! — запела Гавриловна, когда Людочка по укоренившейся уже привычке рассказала ей все про свои молодые развлечения.

Убирая связанную Людочкой кофту, юбку в складочку, Гавриловна назидала, говоря дитяте, что ежели постоялка сдаст на мастера, определится с профессией, она безо всяких танцев найдет ей подходящего рабочего парня — не одна же шпана живет на свете, или пугного вдовца — есть у нее один на примете, пусть и старше ее, пусть и детный, зато человек надежный, а года — не кирпичи, чтоб их рядом складывать да стену городить. У солидного мужчины года-то к рассуждению, опыту и разумению, женская же молодость и ладность — к жизнеутешению да радости мужицкой. Раньше всегда мужик старше невесты был, так и хозяином считался, содержал дом и удобу в полном порядке, жену доглядывал, заботником ей и детям был. Она, ежели мужина самостоятельный согдится, и поселит их у себя — на кого ей, бобылке, дом спокладать? А они, глядишь, на старости лет ее доглядят. Ноги-то, вон они, совсем ходить перестают.

— А танцы эти, золотко мое, только изгальство над душой, телу искушение: пошоркаются мушпына об женшыну, женшына об мушпыну, разгорячатся, и об каком устройстве жизни может тут идти мысль? Я этих танцев отродясь не знала, вот и сраму лишнего не нахваталась, все мои танцы — в парикмахерской вокруг кресла с клиентом были...

Людочка, как всегда, была согласна с Гавриловной целиком и полностью, с человеком умным, опыт жизни имеющим, считала, что ей очень повезло — иметь такого наставника и старшего друга не всем доводится, не всем выпадает такая удача. В общежитии-то, сказывают, вон чего делается — содом, разврат и условия плохие: воды часто не бывает, на газовую плиту и на стиральную машину очереди; захожие парни пробки вывертывают, свет вырубают, в потемках на девчонок охотничают...

Людочка варила, мыла, скребла, белила, красила, стирала, гладила, и не в тягость ей было содержать в полной санитарной чистоте дом, а в удовольствии, — зато, если замуж, бог даст, выйдет, все она умеет, во всем самостоятельной хозяйкой может быть, и муж ее за это любить и ценить станет.

Недосыпала, правда, Людочка, голову иногда кружило, и кровь носом шла, но она ваткой нос заткнет, полежит на спине — и все в порядке, не цаца какая, чтоб по больницам шляться, да и носик у нее маленький, аккуратненький, из него и крови-то вытекает всего ничего.

Той порой вернулся в железнодорожный поселок из мест совсем не отдаленных, с того же леспромхоза, где работал и отчим Людочки, всем в местной округе известный человек по прозвищу Стрекач. Более о нем сообщить нечего, Стрекач и Стрекач. Ликом он и в самом деле смахивал на черного узкозадого жука, летающего по древесной рухляди и что-то там или кого-то там длинными хрусткими усами терзающего. Все отличие от всамделишного стрекача в эспэ-вэрззшном поселке урожденного Стрекача заключалось в том, что

вместо стригущих щупалец-усов у этого под носом была какая-то грязная нашлепка, при улыбке, точнее при оскале, обнажающая порочные зубы, словно бы из цементных крошек изготовленные.

Порочный, с раннего детства задроченный, он в раннем же детстве занялся разбоем: в школе отбирал у малышей серебрушки, пряники, конфетки, разный шанцевый инструмент вроде резинок, шариковых ручек, значков, особо настойчиво добывал жвачку, любую, но в блестящей обертке ценил больше всего. В седьмом классе, до которого его дотащили сердобольные учителя железнодорожной школы, Стрекач уже таскался с ножом, и отбирать ему ни у кого ничего не надо было — малое население поселка приносило ему, как хану, дань, все, что он велел и хотел. В седьмом же классе Стрекач совершил и первое преступление: в драке на трамвайной остановке подколол кого-то из городской шпаны и был поставлен на учет в милиции как трудновоспитуемый подросток. В том же году он был судим за попытку изнасилования почтальонки и получил первый срок — три года, с отсрочкой приговора. Но отважный боец плевать хотел на ту отсрочку и после суда продолжал жить, как душа просила. Стрекач приспособился безнаказанно пиратничать на пригородных дачах. Если владельцы дач не оставляли выпивку, закуску и запирали двери на замок, он ломом крушил окна, веранду, бил посуду, растапывал скарб, рвал постели, мочился в банки с крупой и мукой, если была охота — оправлялся среди избы, рисовал череп и скрещенные кости на печке, вывешивал на двери унесенный из города плакат «Бойся пожара!» и прятался неподалеку, дожидаясь хозяев, которые быстренько выставляли выпивку, консервы, даже истоплю сухих дров, как в прежние годы в охотничьей избушке, излаживали и записку ласковую: «Миленький гость! Пей, ешь, отдыхай — только, ради бога, ничего не поджигай».

В благословенных, добычливых местах Стрекач прожировал почти всю зиму, но в конце концов его все же взяли — и три условных года обратили в три года тюремных.

С тех пор и обретался герой поселка Вэпэвэрэз в исправительно-тюремных лагерях, время от времени прибывая в родной поселок будто в заслуженный отпуск.

Здесьняя шпана гужом тогда ходила за Стрекачом, набиралась ума-разума, почтительно клоня голову перед паханом и вором в законе, который, несмотря на свой авторитет, по-мелкому ошпиывал свою команду, то в картишки, то в петельку, то в наперсток с нею играя.

Тревожно жилось тогда и без того всегда в тревоге пребывающему населению поселка Вэпэвэрэз.

В тот летний вечер Стрекач, свободный от дел, сидел в парке на бетонной скамейке, вольно раскинув руки по бетонной же спине-плахе. Рукава красной, со ржавчиной рубахи на нем были до локтей закатаны, на руках, загорелых до запястий, изборожденных наколками, поигрывали браслеты, кольца, печатки; современные электронные часы светились многими цифрами на обоих запястьях; в треугольнике вольно расстегнутого ворота рубахи на темном раскрывле орла поигрывал крестик, прицепленный к мелкозернистой цепочке, излаженной под золото; нежно-васильковый пиджак со сверкающими пуговицами, с бордовыми клиньями в талии — одеяние жокея, швейцара или таможенника не нашей страны, — где-то недавно «занятый», то и дело сваливался с плеч. Парни бросались за скамью, извлекали «фрак» из бурьяна и, ошпивав с него комочки глины, репей, почтительно набрасывали на плечи дорогого гостя. Они, эти парни, во главе с атаманом-мыло ведали, что под цепочкой, ниже вольнокрылого орла, терзающего жертву с женскими грудями, есть могучее, внушающее трепет изречение: «Верю в Иисуса Христа, Ленина и опера Наливайко».

Стрекач лениво протягивал руку к стоящей на скамье бутылке с дорогим коньяком, отпивал глоток-другой и передавал ее услужливым корешкам.

— Ба-бу бы-ы-ы-ы! Бабу хочу! — тоскливо баловался словами Стрекач и время от времени скорготал зубами так, будто не порченные зубы у него из-под усов торчали, а был полон рот камешника и, сжигаемый неумемной страстью, он крошил камень — «аж дым из рта!».

Парни тарасились на такого редкостного человека и успокаивали его:

— Будет тебе баба, будет! Не психуй. Вот массы с танцев повалят, мы тебе цыпушечек наймам. Сколько захочешь... Только вино все не выпивай...

— Ш-шыто вино-о? Ш-шыто гроши? Ш-шыто жизнь? — Стрекач отпил из горла, плюнул под ноги, зажмурившись, покатал голову по ребру плахи. Худо было человеку, совсем худо. Изнемогал он. И понимая, что такой кураж заслужен, выстрадан всей жизнью и невыносимыми лишениями в местах с жестокими правилами, с ограничением всяких свобод, парни стыдливо прятали глаза, вздыхали и мысленно торопили время.

— А-а, вот и хорошим девочкам идет, он чего-то нам несет, — встряхнулся Стрекач.

— Это Людка. Ее трогать не надо, — потупился Артемка-мыло.

— А шту, он балной или селка?

— Больной, больной...

— А нам су равна, а нам су равна... хоть балной, хоть какой, нам хоть ишачку... — Стрекач дернулся со скамьи, поймал за поясок плаща Людочку. — Куда спэшышь, дарагая? Подожди, не спеши, познакомиться разреши...

Стрекач собирал в горсть плащик, комкал вместе с платьем, подтягивал к себе девушку, пытался усадить на колени. Людочка держалась все сильнее, все настойчивее.

— Харр-раш-шо-о-о, что сопротивляешься, дарагая! Это дядя любит... От этого дядя звереет... Не вертись! Сядь, фря!

Людочка не садилась.

— Какая я вам фря? Я Люда. Да отпустите вы меня!

— Это правда Люда. Здешняя. Мы ее знаем.

— Ах, Люда, Люда, Людочка, с каемкой сине блю-удечко, — будто не слыша корешей, пропел Стрекач и в хищной усмешке обнажил под усами серые зубы. — Ты понимаешь, дя-адя хочет? Дя-адя! Хочет! И чему тебя в школе учили?

— Ничего я... ничего...

— Ты скажи! — хохотнул Стрекач. — Она брезговат!.. Ты почему грубишь? Кто тебя, паскуда, спрашивает? Кто? — Стрекач кинул Людочку через скамейку и сам туда перекинулся, рыча, ловил в бурьяне на четвереньках уползающую девчонку. — Пах-хади! Пах-хади! Нэ спэши, дарагая!.. Н-нэ спэши!.. — Стрекач поймал Людочку за плащ, подтянул ее к себе, макнул лицом в землю. — Н-не кудахтай, курица! — С треском рванул на ней платье.

Людочка все время пыталась крикнуть, но изо рта ее вырывалось только: «Усу... усу... усу...» И вдруг прорвалось, она приданно запищала, но ей казалось — взвизгнула на весь белый свет.

— Во, любовь! — качнул Артемка-мыло кудлатой головой за скамью. — С песнопением...

Кореша его, их было трое, ознобленно подхихикнули:

— Мы поглядим?

— Смотрите. Мне что? — пожал плечами Артемка и с трудом переборол себя, чтоб тоже не поглядеть.

— Да не вертись ты, паскуда! — раздалось из бурьяна. — Ну, куда ты? Куда? Там же ж горячая вода... Ты уймешься? — Стрекач бил

куда-то кулаком, рассек руку о стекла, которыми сплошь был забит бурьян.

Людочка все пыталась кричать. Из удушливой тьмы, из прошлогоднего бурьяна, смешавшегося с нынешним, в ее разверстый рот упала, или ей помстилось, что упала, грязная шерсть, захлестнула дыхание, тошнота, давившая грудь, вдруг разрешилась судорогой. Горло, схваченное спазмом, дернулось.

Стрекача подбросило. Выскочив из кустов, продираясь по бурьяну, он щелчками сбивал с «фрака», с нарядной рубашки что-то и иступленно лаялся:

— А-а, кур-р-рва! Облевала весь фрак, вокзальным винегретом завесила.— Сделав коромыслом руки, глянул вниз и застонал:— И пшиш-ка-ар-ры! Шкары!— Попробовал огладить штаны, заметил красное на руках, принялся отсасывать кровь из пальцев и отплевывать. Жадно отпив коньяку, он повелительно качнул головой за скамью.

— Не-е, мы наших дождем. С танцев... мы...— залепетали парни.

Стрекач бросился на них, кровеняя рубахи, скрутил на груди корешков тряпье вместе с лагерными сувенирами, с цепочками под золото, щедро им даренные.

— Ы-ышшш-те, фраера! Запачкаться боитесь?— свистел он в дыроватые зубы.— Меня под лафет, сами под буфет! Не выйдет! Не выйдет, дорогуши! Кто меня на девку навел? Кто эту выдру прикормил в саде?— Стрекач затолкал парней за скамейку, в бурьян, сунув руку в карман, где у него хранилась на подвесе изящная, умельцами локомотивного депо изготовленная финка, пригрозил:— И не киксовать!

Людочка, слепо шаря по земле, по себе, ползала в бурьяне, натыкалась на кусты, между приступами рвоты чихала и все чего-то искала, искала, собирала рванье на груди. Вдруг пронзительно взвизгнула, лупцую, царапая Артемку-атамана, возникшего перед нею. По правде сказать, увидев ее, скомканную, изорванную, Артемкамыло оробел и попытался натянуть на нее плащ, оторванный рукав на плечо. А она...

— М-мыло! Мыло! Мыло!..— Вырвавшись из грязных, цепких зарослей, Людочка помчалась напролом, через объединенный топольник, поскользнулась на мостике, упала и все продолжала вопить:— Мыло! Мыло!..

Добежав до знакомого, такого уже родного дома Гавриловны, Людочка ударилась в калитку, сорвала ее со слабой деревянной вертушки, ввалилась в ограду, поползла по мытому недавним дождем тротуару, упала на ступеньку недавно ею выскобленного крыльца, уткнулась лицом в половичок и потеряла сознание.

Очнулась девушка на старом диване, на своей постели и сразу почувствовала под собой что-то холодное, скользкое, сунула под себя руку — клеенка. Гавриловна — бережливая хозяйка.

— Очнулась? Вот и хорошо. Вот и славно... Попей вот водички с брусницей, вкуси кисленькое, смой с души горькое... Попей, попей и не дрой, не дрой-ы,— миролюбиво успокаивала, гудела над Людочкой Гавриловна.

Людочка сперва жадно, с захлебом пила, но питье словно бы уперлось в какую-то створку, за которой вскипала тошнота. И она отстранила руку с кружкой.

— Бабе сердце беречь надо, остальное все у нее износу не знает... И родится баба не под нож, а под совсем другое... Ну, сорвали плонбу, подумашь, экая беда. Нонче это не изъян, нонче замуж какую попало берут, тыфу нонче на эти дела... А тем мошенникам, тем фулюганам я чубы накручу! Ох, накручу-у!.. И ты тоже хороша! Скоко я те говорила: не ходи вечерами парком, не ходи, там одне лахудры да шпанята табунятся! Так нет, не слушаетесь старших-то...

— Я к маме хочу.

— К маме? Дак и поезжай, золотко мое. Утром и поезжай, хоть на день, хоть на два. Я заведующей доложу и уберусь я за тебя в парикмахерской-то, ты ж убираешься... Во-он у нас, что в твоей светлице!.. Уберу-усь, хоть нараскоряку, да пслзаю ишшо.

В родной деревне Вычуган осталось два целых дома. В одном упрямо доживала и дожила свой век старуха Вычуганиха, в другом — мать Людочки с отчимом. Когда-то, давно еще, пелось тут: «В Вычугане мы живем, день работам, ночь поем». Отец пел уже по-другому: «В Вычугане мы живем, не работаем, но пьем».

Вся деревня, задохнувшаяся в дикоросте, с едва натоптанной тропой, была в закрещенных окнах, с пошатнувшимися скворечниками, с разваленными оградами дворов и огородных плетней, с угагающими садовыми деревьями и вольно, дико разросшимися меж молчаливых изб тополями, черемухами, осинами, занесенными ветром из лесов. А старые, те еще, деревенские березы чахли. И липы чахли. И смородинник в бурьяне чах, и малина по огородам одичала, густо стеснилась, пустив в середку расторопную жалицу. Яблонька на всполье что кость сделалась. Там когда-то стояла изба Тюгановых, но Тюгановы куда-то делись, изба завалилась, ее растащили на дрова. Засохли усадебные деревца, кустарники приели овцы и козы. Яблоня эта оказалась сама с собой, ободралась, облезла, как нищенка, одна только ветвь была у нее в коре и цвела каждую весну, из чего и сил набиралась?

В то лето как Людочке закончить школу, каждый цветок на одинокой ветви взялся завязью, и такие ли вдруг яблоки крупные да румяные налились на нагом-то дереве. «Ребятишки, не ешьте эти яблоки. Не к добру это!» — наказывала старуха Вычуганиха. «Да сейчас все не к добру...» — поддакивали ей.

А яблоки перли. Листву собою совсем задушили, кору сморщили, все последние соки из дерева высосали. И однажды ночью живая ветка яблони, не выдержав тяжести плодов, обломилась. Гольй, плоский ствол остался за расступившимися домами, словно крест с обломанной поперечиной на погосте. Памятник умирающей русской деревеньке. Еще одной. «Эдак вот,— пророчила Вычуганиха,— одинова середь России кол вобьют, и помянуть ее, нечистой силой изведеную, некому будет...»

Жутко было слушать Вычуганиху. Бабы трусливо, неумело, забыв, с какого плеча начинать, крестились. Вычуганиха срамила их, заново учила класть крестный знак. И, в одиночестве состарившиеся, охотно и покорно бабы возвращались к вере в Бога. Больше-то им не к чему и не к кому было пристать, не в кого верить.

«Недостойны, поди-ко,— лепетали они,— материмся, выпивам, омужичились без убитых на войне да по тюрьмам загинувших мужиков...» «Все мы — грязные твари, веры в Него недостойны. Но надо стремитца», — наставляла строгая Вычуганиха.

Бабы городили божницы из подобранных по чердакам и сараям икон, жгли огни, приспособив вместо лампад банки из-под мелкой рыбешки, называющейся по-нездешнему — «шпроты», на голых высохших ляжках катали свечки из воска и сала, доставали из сундуков талые вышитые полотенца. Мать Людочки, бывшая комсомолка, — туда же за бабьем, в суеверность впавшим. Хихикнула как-то Людочка над украдкой крестящейся матерью и затрещину схлопотала.

Людочка пошла за деревню и оказалась на зеленом холме, захлестнутом отгоревшими мохнатками мать-и-мачехи и следом солнечно зацветшей купавой, курослепом, одуванчиком. В купаве, почти задевая головки вольных цветов провисшим выменем, Олена — коро-

ва на привязи. Привыкшая к коллективу, она ходила в соседние пустые села, жутко там ухала, звала подруг и дозваться не могла. Поэтому и привязывали ее, каждый день вбивая кол на новом месте. Пастуха нет, потому как скота не стало. Олена, старая добрая коро-ва, имя которой когда-то придумала Людочка, плохо ела на привязи, вымя у нее смялось. Она узнала крестную, двинулась навстречу, но веревка не пустила ее далеко, и она обиженно замычала. Людочка обняла Олену за шею, прижалась к ней и заплакала. Корова слизывала ее соленые слезы большим, позеленевшим языком и шумно, сочувственно дышала.

Примерли бабы в деревне Вычуган, овдовевшие по причине войны и всенародных побед на всех фронтах сражения за социализм. Ранней весной кончились земные сроки укрепления и оплота деревеньки Вычуган — самой Вычуганихи. Родственники ее утерялись в миру, на селе мужиков не было. Отчим Людочки кликнул товарищей из лес-промхоза, свезли на тракторных санях старуху на погост, а помянуть не на что и нечем. Мать Людочки собрала кое-что на стол, по-сидели, выпили, поговорили, — поди-ка Вычуганиха была последней из рода вычуган, основателей села.

Мать стирала на кухне, увидев Людочку, начала поочередно вытирать руки о фартук, потом, схватившись за поясицу, медленно выпрямилась, потом приложила ладони к большому животу.

— О, господи! Вон кто к нам пожаловал! Вон кого кот навораживал... — Косо, бочком прилепившись на пристенную древнюю скамью, мать стащила с раскосмаченной головы платок и, собирая гребенкой густые волосы, неторопливо, наслаждаясь нечаянной минутой отдыха, продолжала: — Я еще утресь обратила внимание — валяются и валяются на шесток головни — гостям быть. Откуда, думаю, у нас им быть? А тут звон что! Че притолоку-то подпираешь? Проходи. Чай не в чужой дом явилась.

Мать говорила, действовала руками и в то же время пристально вглядывалась в Людочку, охватывала ее беглым, но пронизательным взглядом. Очень много пережившая, перестрадавшая и переработавшая за свои сорок пять лет, мать с ходу уяснила — с Людочкой стряслась беда: бледная, лицо в ссадинах, на ногах порезы, осунулась девчонка, руки висят, во взгляде безразличие. По тому, как Люда стремительно сжала коленки, когда мать подозрительно на живот ее посмотрела, как она шибко тужится выглядеть бодрее, — ума большого не надо, чтобы смекнуть, какая беда с нею случилась. Но через ту беду не беду, скорее неизбежность, все бабы поздно или рано должны пройти. И каждая баба проходит ее одна и сама же с бедой и совладать обязана, потому как от первого ветру береза клонится, да не ломается. Сколько их еще, бед-то, напастей, впереди, ох-хо-хо-нюшки...

Поскольку со всеми своими бедами-напастями и с жизнью своей мать Людочки привыкла справляться одна, так и думать привыкла: на роду бабьем даже как бы записано — терпи. Мать не от суровости характера, а от стародавней привычки быть самостоятельной во всем не поспешила навстречу дочери, не стала облегчать ее ношу — пусть сама со своей ношей, со своей долей управляется, пусть горем и бедами испытывается, закаляется, а с нее, с бабы русской, и своего добра достаточно, донести бы и не растрясти себя до тех пределов, которые судьбой иль Богом определены. Она в голодные, холодные годы, с мужиком-пьяницей, худо-бедно подняла, вырастила дитя, надо и на другого где-то и как-то сил набраться. Или последние силы, что в ней, да и не в ней уже, в корнях ее рода бывших, сохранить.

— Ты на выходной или как?

— Что? Да-да...

— Вот и хорошо. А я как знала, сметаны подкопила, яиц... Яйца наши не то что ваши, городские, желток у них будто солнушко... А сам меду накачал.— Мать качнула головой, рассмеялась: — Приучается ко всему мирскому. Пчелы перестали его жалить. Может, отделит меду. На продажу флягу подготовили... Мы ведь переезжаем в леспромхоз. Как рожу...— Она убрала улыбку с губ, сморщила отекавшее, синюшное лицо, отвела взгляд в сторону и вздохнула глубоко, виновато.— Надумала вот на исходе четвертого-то десятка... тяжело, говорят, в этой поре рожать. Да что сделаешь? Сам ребенка хочет. Дом в поселке строит... а этот продадим. Но сам не возражает, если на тебя его перепишем...

Мать по-прежнему упорно не называла нового мужа мужем и хозяином, может, дочери стеснялась, но скорее всего в ней укоренилось недоверие к устройству своей жизни. Она не хотела до конца верить в свою удачу, чтоб потом, если ничего не сложится, не так наивно было бы одолевать, по-городскому говоря, разлуку, а по-деревенски — если бросит мужик, так меньше плакать.

— Не надо мне никакого дома. Зачем он мне? Я так...

— Ну так дак так, на так и спросу нет. А нам деньги нужны. Может, хоть сот пять дадут на шифер, на стекла. Да кто даст? Кому он, этот дом, нужен? Деревня эта богова кому нужна? — По лицу матери вдруг зачастили слезы, и она какое-то время сидела, глядя в окно, за огород, в заречную сторону, темнеющую дальней щетинкой леса и одиноким, забытым черным стогом среди зеленой пустыни, в которой вроде бы не выкошен, а вырублен был из пестрой мраморной плоти малый клинышек — накопил для коня и уплавил копейку зелени лесничий с центральной усадьбы.

— Ох-хо-хо, что-то с нами будет? Кому от этого разора польза? — спросила мать пространство и, не дождавшись отклика, промокнула лицо сырым чиненым фартуком.— Ну, я достаю, а ты Олену подои, дров принеси. Сам-то после смены на доме колотится, поздно приедет, голодохонький работник.— В голосе матери проскользнуло что-то похожее даже на ласку.— Похлебку ему сварим, капусты прошлогодней из погреба достань, огурчишек. Я в погреб уже не ходок, а ты слазь, там самим в сусеке, под опрокинутой бочкой, лагуха с брагой припрятана — от помочи осталось маленько, может, и выпьете с устатку...

— Я не научилась еще, мама, ни пить, ни стричь.

— Вот и хорошо. Вот и хорошо...— напевно начала мать, думая о чем-то своем.— Че же ты стричь-то? — спохватилась она.— Да ладно. Научишься когда-нито. Не боги, как говорится, горшки обжигают,— все продолжала мать думать о своем, вслушиваясь в себя.— А что пить не научилась — ни к чему эта наука. Пагуба от нее одна и развращенье. Это она нашу деревню надсаженную доконала, пагуба эта.— И опять погружаясь в себя, словно бы из сна уже, добавила: — Так, видно, Богу было угодно...

— Все теперь о Боге вспомнили! Все с упованием, с жалобами к нему, как в сельсовет...— начала Людочка, но почувствовала, что слова ее, даже звуки слов повисли в пустоте, пылью осели на стены — мать не слушала и не слышала ее.

И когда Людочка доила корову на цветущем травяном бугре, все смотрела, смотрела в заречные дали, все вспоминала и вспоминала. Ей казалось, что память ее, душа ли продолжают там, в нарядном заречье, и слышат ее там, да отозваться некому.

Хватило ее воспоминаний аж на всю дойку.

Поднявшись к огородам, Людочка остановилась с подошкой на руке и отчего-то стала думать об отчине — как он трудно, однако азартно вращал в хозяйство. Он не умел почти ничего ни по дому, ни по двору, зато хорошо управлялся с машинами, с мотоциклом, с ружьем, с пилой, с топором и лопатой. Долго не мог в огороде от-

личить растущую овощь друг от друга, беспомощен был на пасеке, пчелы ели его поедом и гнали от ульев. Коровы и кони к себе не подпускали. На сенокосе он был дурак дураком — воспринимал сенокос не как работу, а как баловство и праздник, барахтался в сене, любил спать в шалаше, бегал босиком по лугу, бросал кепку в небо, имал ее. Надев мужские кальсоны, Людочка и мать метали стог, управлялись наверху, отчим подавал навильники, горсть подденет и рассорит весь навильник сена, пока до места донесет, или ахнет копну на женщин, завалит их. Однажды сшиб навильником сверху Людочку, она полетела кубарем вниз, могла изувечиться, а он тычет в нее пальцем, слова от хохота сказать не может. Первый раз она тогда и увидела, как он хохочет, оскалив желтые зубы. И от жути, ее охватившей, подхихикнула ему.

Дометывали они последний стог на берегу реки вдвоем — мать убежала управляться по дому, варить еду. Когда закончили метать стог и, как умели, обвязали его верх сплетенными прутьями — от ветра, — отчим махнул рукой на обмысок: «Ступай туда, а я очешу стог...»

Людочка купалась в родной реке, смывала с себя сennую пыль и труху с тем удовольствием, с той расслабляющей радостью, которая ведома лишь людям, хорошо, всласть поработавшим в знойную пору на сенокосе, без прорух и неполадок в погоде наметавшим добротного, едового сена. Корм корове — это уверенность в завтрашнем дне, житье без забот всю зиму.

Прыгая по луговой тропинке на одной ноге, вытряхивая из уха воду, Людочка вдруг услышала за обмыском звериный рокот, вой, шлепанье, взбежала на пригорок и увидела картину: отчим, будто детсадовец, булькался на отмели, молотил узластыми бледными ногами по воде, хлопал черными по локоть руками, брызгался и веселой пастью, сверкающей вставными зубами, ловил брызги.

Мужик с битой, сидящей со всех сторон головой, с глубокими бороздами на лице, весь в наколках, присадистый, длиннорукий, хлопая себя по животу, вдруг забегал вприпрыжку по отмели, и хриплый рев радости исторгался из сторевшего или перержавелого нутра мало ей знакомого человека, — Людочка догадываться начала, что у этого человека не было детства, оно, детство, настигло иль настигало его, вернулось к нему лишь теперь, и что каждому человеку положено поздно или рано прожить свое, отыграть, отбегать, отгрешить, отплакать. И тот, кто изымает какую-то часть жизни человека, совершает преступление против него и всякой жизни, сам он, этот изыматель, и есть насильственный преступник, пытающийся взять то, что ему не принадлежит.

Людочка даже испугалась этих никогда в ней не возникавших взрослых мыслей, таких отчетливых и простых. И вообще она не была душой, она в уединенности своей ого-го-го как умела сама с собой разговаривать, но выступит на свет, на люди — и оробеет, становится той глупенькой, бледненькой девочкой, за которую ее принимали в школе, едва шелестящую губами, тихо роняющую вы зубренные даты царствования римского императора Августа. Особенно же не давался ей почему-то год открытия Америки Христофором Колумбом. Про Америку она читала и кое-что видела по телевизору, с удовольствием бы рассказала, но нужна-то не Америка, а дата — и двойка тебе, да еще и назидание вослед: «Когда ветер в голове гулять перестанет, выучишь, исправишь. Мне двоечники в отчете не надобны!..»

Людочка уперлась в кусты, руслом ручья поднялась до верхней дорожки. Передеваясь дома в сухое, легкое платье, со смехом рассказывала матери о том, как отчим купается.

— Да где же ему было купанью-то обучиться? С малолетства в ссылках да в лагерях, под конвоем да охранским доглядом в казенной бане. У него жизнь-то ох-хо-хо... — Спыхватившись, мать постро-

жела и, словно кому-то доказывая, продолжала:— Но человек он порядочный, может, и добрый.

С тех самых пор, с купанья отчима, Людочка перестала его бояться, но ближе они не сделались. Отчим близко к себе никого не подпускал. Сейчас вот, на лугу, за покинутой родной деревней, она вдруг ощутила такую острую тоску, такую неодолимую тягу к кому-нибудь живому, что подумалось: побежать бы в леспромхоз, за семь верст, найти отчима, прислониться к нему и выплакаться на его грубой груди. Может, он ее погладит по голове, пожалеет...

— Я уеду с утренней электричкой. Ты не возражаешь?

Мать вскинулась, что-то вылавливая в своей голове, сосредоточенно подумала, прикинула и выдохнула, подавив в себе тревогу:

— Ну что ж... коли надо, дак...

— Х-ха, быстро-то как! — удивилась Гавриловна.— Что у родителей-то, тесно?

— Они к переезду готовятся.

— К переезду? Тогда конечно. Чем там под ногами путаться, лучше здесь... Чем родители порадовали?

— Да вот.— Людочка пнула стоящий на полу мешок и заплакала, узнав веревочку, приделанную вместо лямки. Из четырех неизносчивых ниток эта веревочка: две коричневые, из овечьей шерсти, почерневшие от времени, и две шелковисто-белые. Конец каната когда-то выменяли выгугане на туристском катере, расплели и веревки на всю деревню понаделали. Крепкую. Вот она, плотно скрученная веревочка! Мать сказывала, что привязывала ее к люльке, совала ногу в петлю и чистила картошку, готовила пойло корове, прядла, починалась и зыбала ногой люльку с ребенком. «А ты ревливая была. Качаю, качаю, пою, пою: баю-баюшки, баю, не ложися на краю... А ты все реवेशь... Плюну я, да чтоб тебя разорвало, заору. Ты с испугу залешься пуще того...»

— Чего плачешь-то?

— Маму жалко.

— А-а, маму? Меня вот и пожалеть некому...— Гавриловна помолчала и другим уже голосом повела:— Ты вот че, девонька... хым... хым... стало быть, Артемку — банное мыло-то забрали... Исцарапала ты его шибко... примета. Ему велено помалкивать, иначе смерть. И это самое... от Стрекача были, упредили: если ты пикнешь где, тебя к столбу гвоздями прибьют, мою избу спалят...

Долго и тягостно молчали в дому Гавриловны. Наконец Гавриловна пошевелилась, нащупала голову Людочки в пространстве, прижала к вислой груди, под которой далеко-далеко где-то, пьяно шатаясь, ходило вприсядку, поплясывало изношенное сердце.

— У меня ведь и всех благ — свой угол. Я за него жизнь положила, работала как конь, огородиной торговала, от еды отрывала, отпуска единого не пользовала. Люди добрые и в санаторьи морски либо в профилакторьи трудовые, а я покидаю инструменты в чемодан под названием саквояз и по деревням родимым — швей обирать... Сколько я чесоткой маялась, лишаев да волосяных стригунов навидалась, чтоб копейкой этой разжиться, на избу накопить. Стыдно признаться и грех утаить — одеколон разбавляла... Я ведь и по тюрьмам стригла. На легкую-то работу, в дамский зал, меня уж перед пенсией перевели...

— Хорошо, хорошо. Я в общежитие пойду, — тряхнула головой Людочка, но головы от пригревшей ее груди не отнимала и все слушала, слушала, как мучается человеческое сердце, торопится куда-то.

— Временно. Временно, хорошая моя. Бандюга этот долго не гагуляет... утомляца он на воле быстро... Он засядет, а я тебя и созову обратно...— Гавриловна ласкала ее голову руками, причесывала гребенкой и в сумерках уже всхлинула: — Господи! Да отчего же

это добрым людям покою-счастья нету? Зачем она вечно в тревоге да в переживанье? Будет ли им хоть какое послабление?..

Когда Людочка подросла и смогла самостоятельно передвигаться, каждый день уезжать и приезжать с центральной усадьбы колхоза, где была школа-десятилетка, ведение дома почти полностью перешло на нее. Однажды по весне, к Пасхе, что ли, словом, к какому-то большому весеннему празднику она белила печь, мыла окна, скоблила, вытирала и, когда полоскала половики на реке, соскользнула в неглубокую, но холодную полынью. Солнце уже пригревало хорошо, она не убежала домой, решив довести работу до конца. И простудилась. У нее поднялся большой жар, дело кончилось районной больницей. Мест, как и в каждой нашей общенародной, тем паче в районной, больнице не было, и, как водится в наших больницах, и не только в районных, временно определили Людочку лежать в коридоре, на всех ветрах-сквозняках с воспалением-то легких.

Ночью, длинной, бесконечной, она обнаружила в конце коридора, за печкой, умирающего парня со ссохшимися бинтами на голове и от ночной няньки узнала нехитрую и оттого совсем жуткую его историю.

Вербованный из каких-то приволжских мест, одинокий парень поостыл в лесосеке, у него на виске набух фурункул. Он сперва на него и внимания-то не обращал, продолжал ездить в лес на работу. Но голова болела все нестерпимей, и парень обратился к леспромпхозовскому фельдшеру.

Молодая, искучерявленная, как барашек, с легоньким пока еще золотом в ушах и на перстах девица, за два года с трудом научившаяся в районном медучилище измерять температуру, кровяное давление, больно делать уколы и клизму, с фонендоскопом вместо амулета на тонкой шейке, в накрахмаленном белом колпачке, с кулачками, опущенными в карманчики халата, этакое утомленно-капризное медицинское светило, вяло поинтересовалась: «Ну, что там у вас?» — и брезгливыми пальчиками помяла взбухший на виске парня нарыв. «Чирей и чирей. Лезут со всякими пустяками!» — последовало заключение.

Через день эта же фельдшерица вынуждена была лично сопроводить молодого лесоруба, впавшего в беспамятство, в районную больницу. А там в не приспособленном для сложных операций месте вынуждены были срочно делать парню трепанацію черепа и увидели, что ничем больному помочь уже невозможно — от гноя, прорвавшегося под черепную коробку, началась разрушительная работа. Не очень извилистый мужицкий мозг был крепок, разлагался медленно. Совсем еще недавно совершенно здоровый человек ни за что ни про что принимал мучительную неотмолимую смерть.

Он уже агонизировал, когда его из переполненной палаты, по просьбе больных, переместили в коридор, за печку.

Сердце парня работало учащенными, мощными толчками, легкие со свистом выбрасывали перекаленный воздух, испорченное горло, сожженный язык издавали один и тот же звук «псих, псих, псих...», будто накачивали за печкой резиновое колесо неисправным насосом.

Поднявшись с кровати, переждав головокружение, Людочка взглянула за печь и, прижав кулаки к груди, долго смотрела на мучающегося человека. Движимая инстинктом сострадания, не совсем еще отмершего в роде человеческого, она приложила ладошку к лицу парня — голова его в бинтах пугала ее. Парень постепенно стих, насос перестал в нем качать воздух, разлепил ресницы, открыл плавающие в жидкой слизи глаза и, возвращаясь из небытия, сделал еще одно усилие — различил слабый свет и человека в нем. Поняв, что он еще здесь, на этом свете, парень попытался что-то сказать, но доносилось лишь «усу... усу... усу...».

Издревле ей доставшимся женским чутьем она угадала, что он пытается сказать ей спасибо. В своей недолгой жизни был этот человек бесконечно одинок и беден, иначе что бы его погнало в далекий край, на гибельные эти лесозаготовки. Он из тех, наверное, подумала Людочка, про кого по радио читали: мол, не долюбив, не доработав и не дочитав последнюю строку, иль не докурив последнюю папироску, или что-то в этом роде — уходили парни в бой, а тут вот — на тяжелую работу. И хотя у нее всегда были трудности в школе, в том числе и с литературой и с русским языком, особенно с запоминанием причастных и деепричастных оборотов, она все же прониклась жалостью к тем, про кого говорилось в стихе, то есть к «рано ушедшим на кровавый бой».

Но вот погибает человек без войны, без боев, такой молодой, чернобровый, может, еще и полюбить никого ни разу не успев, может, и родных-то у него нету...

Людочка принесла что-то похожее на табуретку, с гнутыми алюминиевыми подставками вместо ножек, села возле молодого лесоруба, взяла его за руку и долго не могла согреть под собой скользкое сиденье. Парень с невыразимой надеждой глядел на нее, губы его, истрескавшиеся от жара, шевелились, пытались что-то сказать. Она подумала, что он читает молитву, и стала ему помогать, пожалев, кажется, первый раз в жизни, что не потрудилась выучить ни одной молитвы, так, с пятого на десятое что-то похватила от деревенских старух, тоже до конца ни одной молитвы не знающих: «Боже праведный! Боже преславный... Раба твоего прости и согрешенья вольные и невольные... огневицу угаси, врачебную твою силу с небеси пошли...»

Парень слабо шевельнул пальцами — он слышал ее, но едва ли понимал слова, лишь звук и древний лад доходили до него. И тогда она натужилась, припоминая складные стихи, точнее строчки из стихов, случайно прочитанных в девчоночьих альбомах, в учебниках, но главным образом в районной газете «Маяк земледельца»: «Отговорила роща золотая... любовь — это бурное море, любовь — это злой океан, любовь — это счастье и горе... И долго буду славен тем народу, что стройки коммунизма возводил... а еще скажи слово прощальное: передай кольцо обручальное... чтобы жить да жить и на тучных нивах колхозных труд счастливый осуществить...»

Чего Людочка только не городила, напрягая свою не очень-то перегруженную память, чтоб только отвлечь человека от боли и предчувствия близкой смерти.

Но вот и она выдохлась, ее начало покачивать на шаткой, скользкой табуретке. Людочка умолкла и, кажется, задремала.

Встряхнулась она от слабого стога, похожего на шенячье поскуливание. В окно, прорубленное в другом конце коридора, сочился рассвет. Видны сделались слезы, оплавившие жарко пылающее лицо парня. Людочка пожатием руки дала понять, что слезы — это хорошо, облегчают они сердце, и подумала: может, и в самом деле хорошо, может, парень никогда и не плакал во взрослой жизни. Но умирающий не ответил пожатием на ее пожатие, и она обмерла на себе — не для того он плачет, чтоб было облегчение, плачет он по причине совсем другой, по вечной, глубоко спрятанной причине. Цену, точнее смысл всякого сострадания, в том числе и ее, он постиг здесь, сейчас вот, умирая на больничной койке, за облупившейся, грязной печкой, — совершилось еще одно привычное предательство по отношению к умирающему.

Отчего так суетно милостивы, льстиво сочувствующие людиazole покидающего этот мир человека? Да оттого, что они-то, живые, остаются жить. Они будут, а его не станет. Но он ведь тоже любит жизнь, он достоин жизни. Так почему же они остаются, а он уходит и все отдаляется, отдаляется от живых и от всего живого, точнее

они от него трусливо отстраняются. Никакими слезами, никаким отчаянием, выражающим горе, не скрыться им от самого пронизательного взгляда — взгляда умирающего, в котором сейчас вот, на кромке пути, в гаснущем свете сосредоточилось все зрение, все ощущение жизни, его жизни, самой ему дорогой и нужной.

Предают, предают его живые! И не его боль, не его жизнь, им свое сострадание дорого, и они хотят, чтоб скорее кончились его муки, для того чтоб самим не мучиться. Когда отнесет от него последнее дыхание, они, живые, осторожно ступая, не его, себя оберегая, убудут, унося в себе тайную радость наполам с торжеством. К ним она, смерть, покуда никакого отношения не имеет, может, и потом, за многими делами, не заметит она их, забудет о них или продлит их дни за чуткость, за смиренность, за сострадание к ближнему своему.

Парень последним, непримиримым усилием выпростал свои пальцы из рук Людочки и отвернулся — он ждал от нее не слабого утешения, он жертвы от нее ждал, согласия быть с ним до конца, может, и умереть вместе с ним. Вот тогда свершилось бы чудо: вдвоем они сделали бы сильнее смерти, восстали бы к жизни, в нем, почти умершем, выявился бы такой могучий порыв, что он смел бы все на пути к воскресению.

Но никто, ни один человек на свете не оказался способен на этот неслыханный подвиг, на отчаянную, беззаветную жертву ради него, этого парня. Да-а, не декабристка она, да и где они ныне, декабристки-то? В очередях за вином...

Рука парня свесилась с кровати, рот, жарко открытый, так и остался открытым, но никаких более звуков не издавал, и глаза не сразу, а как-то неохотно, несогласно, медленно-медленно прикрылись ресницами, укрыв почти яростное свечение, ничем не напоминающее туман смертного забвения.

Людочка, ровно бы уличенная в нехорошем, тайном поступке, стояла, одернула халатик и крадучись пробралась к своей койке, накрылась с головой одеялом. Но она слышала, как санитарка обнаружила мертвого парня за печкой, как тихо молвила: «Отмучился, горюн»; как выносили мертвого на носилках, как складывали и убирали матрац и койку...

С тех пор не умолкало в ней чувство глубокой вины перед тем покойным парнем-лесорубом. Теперь вот, в горе, в заброшенности, она особенно остро, совсем осязаемо ощутила всю отверженность умирающего человека, теперь и самой ей предстояло до конца испить чашу одиночества, отверженности, лукавого людского сочувствия — пространство вокруг все сужалось и сужалось, как возле той койки за больничной облупленной печью.

Зачем она притворялась тогда, зачем? Ведь если бы и вправду была в ней готовность до конца остаться с умирающим, принять за него муку, как в старину, может, и в самом деле выявились бы в нем неведомые силы. Ну даже и не свершись чудо, не воскресни умирающий, все равно сознание того, что она способна на самопожертвование во имя ближнего своего, способна отдать ему всю себя, до последнего вздоха, сделало бы прежде всего ее сильной, уверенной в себе, готовой на отпор злым силам.

О-о, она теперь понимала совсем вживе, совсем натурально то, о чем когда-то читала и равнодушно зубрила по учебникам, как выживали в тюрьмах-одиночках к цепям прикованные герои. Конечно же, они сами были творцами своего могущественного духа, но сотворялся этот дух с помощью таких же сильных духом, способных разделить страдание...

Да хотя бы те же барыньки-декабристки.

Но по делу если сказать, девочки из сегодняшней школы не верили в жертву людей, тем более таких вот в неге выросших барынек.

Тут вон свои бабы, не пряниками вскормленные, за кусок хлеба, за мелкую подачку иль обиду глаза друг дружке выцарапывают, мужика, пусть хоть и бригадира, да даже и председателя, таким матом обложат, что...

Людочка неожиданно подумала об отчине: вот он небось из таких, из сильных? Да как, с какого места к нему подступиться-то?

Было время, их, деревенских школьниц-шмакодявок, подвыпившие парни молодецки весело спихивали в клубе со скамеек на грязный пол, а сами сидели просторно, одни, и не поднимали с пола девчонок до тех пор, пока они не обзаводились телом, которое уже можно мять и тискать.

А те, городские, на танцплощадке?

Разве они не столкнуты со скамейки под ноги, на грязный пол? И зачем она вместе с Гавриловной осуждала их? Чем она-то их лучше? Чем они хуже ее? В беде, в одиночестве люди все одинаковы. И нечего...

Места в горкомхозовском общежитии пока не было, и Людочка продолжала квартировать у Гавриловны. Чтоб «саранопалы» не заметили, велела хозяйка Людочке возвращаться в потемках, да не по парку, округой. Однако Людочка не слушалась хозяйки, ходила парком не озираясь, ходила и ходила будто во сне. Здесь, в парке, ее снова подловили парни, начали стращать Стрекачом, незаметно подталкивали за скамейку.

— Вы чего?

— Да ничего! Насчет картошки — дров поджарить соображаю.

— Ишь какие! Разохотились!

— А че? Теперь все равно, плонба сорвата, как Гавриловна бает. Мышеловка наготове. Знай имай мышла!.. — Выпившие молодцы-вэлэ-вэрззшники все теснили и теснили Людочку в заросли. Стрекача среди них не было. Жаль. Людочка в кармане плаща таскала старую, из обихода вышедшую опасную бритву Гавриловны, решив отрезать достоинство Стрекача по самый корень! «Чем тебя породил я, тем тебя и убью», — вспомнила она хохму из чьего-то школьного сочинения.

О страшной такой мести сама Людочка не додумалась бы, но она слышала на работе о подобном поступке одной отчаянной женщины. И чего только не наслушалась она в привокзальной парикмахерской. Там стригут ножницами и языками с утра до вечера. Совсем уж было собралась Людочка тайком сходить в церковь, но там такая, говорят, давка была, когда освящали куличи на Пасху, такое столпотворение, что она и не пошла — хватит и того, что видит и слышит вокруг. По заведенной привычке попробовала заикнуться насчет того, чтобы вместе с Гавриловной сходить во храм, но та ей напрямки бухнула: мол, достойным веры в Бога надо быть, мол, не комсомольский это тебе стройотряд, не бардак под названием «десант на колесах», пусть, мол, мохом грех ейный хоть маленько обрастет, в памяти поистлеет, тогда уж, может, и допущены к стопам его страдальческим будут обе они, богохулки.

— Жаль, нету вашего вождя — такой видный кавалер!.. Жаль! — повторила она вслух и громче сказала в темноту: — А ну отвалите, мальчики! Хватит! Одно платье порвали! Плащик спортили! Пойду, в ношеное переоденусь. Не из богачек я, уборщицей тружусь.

— Дуи! Да смотри... любовь и измена — вещи несовместимые, как гений и злодейство.

— Ишь ты, грамотный какой! Отличник небось?

— Все и всегда делаю на пять! Не хуже Стрекача. Испытаешь мои способности, похвалишь.

— А ты мок.

Людочка и переделалась в старое, ношеное платье, еще деревенское, еще с отметиной на груди от комсомольского значка и с кармашками ниже пояса. Она отвязала веревочку от деревенской торбы, приделанную вместо лямки, сняла туфли и аккуратно их соединила на коврикe возле дивана, придвинула было листок бумаги, долго искала в шкатулке среди пуговиц, иголок и прочего бабьего барахла шариковую ручку, нашла, но ею давно не писали, мастижа высохла. Поцарапав по бумаге, Людочка с сердцем бросила ручку на пол и, крикнув Гавриловне, владychествующей на кухне: «Пока!» — вышла на улицу. У крыльца надернула старые калошики, постояла за калиткой, словно бы с непривычки долго закрывала вертушку. На пути к парку прочитала новое объявление, прибитое к столбу, о наборе в лесную промышленность рабочих обоeго пола. «Может, уехать?» — мелькнула мысль, да тут же и другая мысль перебила первую: там, в лесу-то, стрекач на стрекаче и все с усами.

В парке она отыскала давно уж ею замеченный тополь с корявым суком над тропинкой, захлестнула на него веревочку, сноровисто увязав петельку, продернула в нее конец — все-таки деревенская, пусть и тихоня, она умела многое: варить, стирать, мыть, корову доить, косить, дрова колоть, баню истопить и skutать, веревку для просушки белья натянуть и увязать. Коня, правда, запрячь не могла — в ее деревне лет уж десять лошади не велись. И еще не могла она, боялась щупать куриц, отрубать петухам головы, не научилась, хотя и пробовала, пить, материться...

Ну да пожила бы дальше на этом милом свете, глядишь, и сподобилась бы.

Людочка взобралась на клыкoм торчащий из ствола тополя оконечный обломьш, ощупала его чуткой ступней, утвердилась, потянула петельку к себе, продела в нее голову, сказала шепотом: «Боже милостивый, Боже милосердный... но не достойна же... — И перескочила на тех, кто ближе: — Гавриловна! Мама! Отчим! Как тебя и зовут-то, не спросила. Люди добрые, простите! И ты, Господи, прости меня, хоть я и недостойна, я даже не знаю, есть ли ты?.. Если есть, все равно я значок комсомольский потеряла. Никто и не спрашивал про значок. Никто ни про что не спрашивал — никому до меня нет дела...»

Она была, как и все замкнутые люди, решительная в себе, способная на отчаянный поступок. В детстве всегда первая бросалась в реку греть воду. И тут, с петлей на шее, она тоже, как в детстве, зажала лицо ладонями и, оттолкнувшись ступнями, будто с высокого подмытого берега бросилась в омут. Безбрежный и бездонный.

Людочка никогда не интересовалась удавленниками и не знала, что у них некрасиво выпяливается язык, непременно происходит мочеиспускание. Она успела лишь почувствовать, как стало горячо и больно в ее недре, она догадалась, где болит, попробовала схватиться за петлю, чтоб освободиться, цапнула по веревочке судорожными пальцами, но только поцарапала шею и успела еще услышать кожей струйку, начавшую течь и тут же иссякшую. Сердце начало увеличиваться, разбухать, ему сделалось тесно в сужающейся груди. Оно должно было проломить ребра, разорвать грудь — такое в нем напряжение получилось, такая рубка началась. Но сердце быстро устало, ослабело, давай свертываться, стихать, уменьшаться и, когда сделалось с орешек величиной, покатилося, покатилося вниз, выпало, унеслось без звука и следа куда-то в пустоту.

И тут же всякая боль и муки всякие оставили Людочку, отлетели от ее тела. А душа? Да кому она нужна, та простенькая, в простенькой, в обыкновенной плоти ютившаяся душа?

— Ну, че она, сучка, туфтит, динаму крутит, что ли? Я ей за эти штучки...

Один из парней, томившихся в парке Вэпвэрзэ, сорвался с места, прошлепал по шаткому дырявому мостику и решительно двинулся краем парка к чуть высвеченному отдаленными фонарями и окнами рядку тополей.

— Когти рвем! Ко-огти! Она...— Разведчик мчался прыжками от тополей, от света.

Через час, может, и через два, сидя в привокзальном заплеванном ресторане, разведчик с нервным хохотком рассказывал, как увидел еще дрожащую всем телом Людочку, качающуюся в петле туда-сюда, то задом, то передом поворачивающуюся, язык во-о-о какой вывалился, и с ног с голых что-то капало.

— Ну дает! — ахали кореша. — Ну сделала козла... О-ох, падал! Была бы живая, я бы ей показал, как вешаться...

— Это ж надо! В петлю! Из-за чего?

— Надо Стрекача предупредить. Грозился же...

— Ага, обязательно. Когтистый зверь, задерет. По последней, братва, по последней. Вы-ы-ыпьем, бра-атцы-ы, удалую за поми-и-ин ее души-ы-ы.

— Последняя у нашего участкового жена. Поехали, поехали, пока нас не забарабали...

— Э-эх, идиотина! Жить так замечательно в на-ашей юной чудесной стране-э...

Хоронить в родной деревне Вычуган Людочку не решились, там, как избудется последнее жилье, сотрется с земли пристанище людей, объединенный колхоз перепашет все под одно поле и кладбище запашет — чего ж ему среди вольного колхозного раздолья укором маячить, унынье на живых людей наводить.

На городском стандартном кладбище, среди стандартных могильных знаков Людочкина мать в накинутой на нее светло-коричневой шали с крапчатой каймой все закрывала бугор живота концами шали, грела его ладонями — шел дождь, она береглась, но забывшись, подымала шаль ко рту, зажевывала шерстяную материю, и сквозь толстый мокрый комок, как из глухого вычуганского болота, доносило вой ночного зверя или потайной, лещачьей птицы выпь: «У-у-у-дочка-а-а-а...»

Бабы из привокзальной парикмахерской испуганно озирались и, тихо радуясь тому, что похороны не затянулись, поспешили на поминки.

После похорон совсем раскисшая, шатающаяся на подсекающихся ногах Гавриловна упала на старый кожаный диван, где спала Людочка, и завопила: «У-у-удочка!» — муслила карточку квартирантки, увеличенную со школьной фотографии. Беленькая, еще в не смятой форме, Людочка вышла как живая, даже улыбку было заметно. Гавриловна как-то разглядела ту припрятанную, застенчивую улыбку.

— За дочку, за дочку держала,— высказывалась она, сморкаясь в старое кухонное полотенце.— Все пополам, кажду крошечку пополам. Замуж собиралась выдать, дом на нее переписать... Да голубонька ты моя сизокрылая... да ласточка ты моя, касаточка! Что же ты натворила? Что же ты с собой сделала?..

Мать уже в голос не плакала, видно, чужих людей, чужого дома стеснялась. Только слезы, неприкаянные слезы, переполнившие никем еще не измеренную русскую бабью душу, катились сами собой со всего лица, выступали из всех ранних и не ранних морщин, даже из-под платка, из ушей, проколотых еще в молодости для сережек, но так и не изведавших тяжести украшения, проступало мокро. Впрочем, слезы не мешали ей править бабьи дела, потчевать гостей, поскольку Гавриловна совсем сдала, отрешилась от мирских дел. Прикрыв глаза черными круглыми глазницами, сложив руки на животе,

она лежала в горнице совсем выговорившаяся, заплакавшая и вроде бы как неживая.

Когда слезы матери со звуком бились о тарелки с мясом и с картошкой, об вазу с кутьей, мать Людочки роняла: «Извините!» — и торопливо тыкала скомканной серой тряпкой по столу. «Наливайте сами, угощайтесь, Христа ради, поминайте», — просила.

Отчим Людочки, одетый в новый черный пиджак, в белую рубашу, единственный в компании мужчина, выпил один стакан водки, выпил второй, буркнул: «Я пойду покурю» — и, накинув на себя болоньевую куртку с вязаным воротником, прожженную брызгами электросварки, вышел на крыльцо, закурил, сплунул, посмотрел на улицу, на дымящую трубу кочегарки Вэпэврзэ и двинулся по направлению к парку.

Там он и нашел компанию, роящуюся вокруг удалого человека — Стрекача. Компания разрослась, сплотилась и окрепла за последнее время. Милиция следила за ней и накапливала для задержания факты преступной деятельности, чтоб уж сразу и без затей взять и позвать мятежную группу.

Утомленные бездельем парни все так же задирали прохожих, все так же сидел, развальясь на скамье, парень не парень, мужик не мужик в малиновой рубаше, с браслетами, часами и кольцами на руках, с крестиком на шее. Отчим Людочки в куртке с вязаным воротником, словно пробитый по груди картечью, твердо впечатался подошвами рубчатых чешских ботинок перед несокрушимой бетонной скамьей.

— Че те, мужик?

— Поглядеть вот на тебя пришел.

— Поглядел и отвали! Я за погляд плату не беру.

— Так, значит, это ты и есть пахан Стрекач?

— Допустим! Штаны спустим...

— Ишь ты! Еще и поэт! Прибауточник! — Отчим Людочки внезапно выбросил руку, рванул с шеи Стрекача крестик, бросил его в заросли. — Эт-то хоть не погань, обсосок! Бога-то хоть не лапайте, людя́м оставьте!

— Ты... ты... фраер!.. Да я те... я те обрезанье сделаю. По-арапски! — Стрекач сунул руку в карман.

Вся компания вэпэврзэшников замерла, ожидая со страхом и вождедением, какое сейчас захватывающее дух, кровавое начнется дело.

— Э-э, да ты еще и ножиком балуешься?! — скривил губы отчим Людочки. Неуловимо-молниеносно перехватив руку Стрекача, сжав ее в кармане, он с треском вырвал вместе с материей нож. Отменная финка с перламутровой отделкой из клавиш еще трофейного аккордеона шлепнулась в грязь канавы.

Тут же, не дав опомниться Стрекачу, отчим Людочки собрал в горстищу ворот фрака вместе с малиновой рубашой и поволок удущенно хрипящего кавалера через совсем одуревший непролазный бурьян. Стрекач пытался вывернуться, пнуть мужика, но только скинул ботинок с ноги, рассорил драгоценности по кустам. Отчим Людочки поднял кавалера и, как персидскую царевну, швырнул в поганые воды сточной канавы. Только мелькнул Стрекач оголившимся животом, исчирканным красными полосами — не раз он симулировал в лагерях отчаянность, чиркал себя лезвием по брюху. Поразило парней, бросившихся подбирать ботинок шефа, отыскивать часы и кольца в бурьяне, как стреляли пуговицы аглицкого фрака. Они не выдергивались с мясом, не ломались по дыркам, как наши, отечественные. Оловянные, никелевые ли, может, и серебряные заморские пуговицы отстреливались от фрака, оставляя на борту серебристые крошечки. Пулею сверкнув, разлетались пуговицы по сторонам, одна

ЛЮДОЧКА

аж на другую сторону канавы улетела, птаху малую выпугнула из лопухов.

Из зелено-черных, соплями обвешанных зарослей раздался такой вопль, что если б в это время заревел давно умолкший, ржавчиной захлебнувшийся гудок паровозного депо, так и его было бы не слышать.

Вороны взлетели, собачонки бродячие из парка Вэпвэрзэ прыгнули, сорвалась с привязи старая одноглазая коза.

Отчим Людочки вытер руки о штаны и пошел прочь.

Вэпвэрзэшное кодро — шестерки Стрекача заступили дорогу мужику. Он уперся в них взглядом. Парни-вэпвэрзэшники почувствовали себя под этим взглядом мелкой приканавной зарослью, которую, не расступись, мужик этот запросто стопчет! Настоящего, не придурочного пахана почуяли парни. Этот не пачкал штаны грязью, этот давно уже ни перед кем, даже перед самым грозным конвоем на колени не становился. Он шел на полусогнутых ногах, чуть пружиистой, как бы даже поигрывающей, по-звериному упругой походкой, готовый к прыжку, к действию. Раздавшийся в груди оттого, что плечи его отвалило назад, весь он как бы разворотился навстречу опасности. Беспощадным временем сотворенное двуногое существо с вываренными до белизны глазами, со дна которых торчало остро заточенное зернышко. Вспыхивали искры на гранях. Возникали те искры, тот металлический огонь из темной глубины, клубящейся не в сознании, а за пределами его, в том месте, где, от пещерных людей доставшееся, сквозь дремучие века прошедшее, клокотало всесокрушающее, жалости не знающее бешенство.

У-у-у-ы-ы-ых! У-у-у-ы-ы-ых! — доносилось из утробы, из-под набрякших неандертальских бугров лба, из-под сдавленных бровей, а из глаз все сверкали и не гасли, сверкали и не гасли те искры, тот пламень, что расплавил и сделал глаза пустыми, ничего и никого не выдающими.

Пакостные, мелкие урки, играющие в вольность, колупающие от жизненного древа липучую жвачку, проходящие в знакомых окрестностях подготовительный период для настоящих дел, для всамделишного ухода в преступный мир, или для того, чтобы, перебесившись, отыграв затянувшееся детство, махнуть рукой на рискованные предприятия, вернуться в обыденный мир отцов и дедов, к повседневному труду, к унылому размножению, сейчас вот уловили они хильми извилинками в голове, что существование среди таких деятелей, как это страшилище, — житуха ох какая нефартовая, ох какая суровая, и, пожалуй что, пусть она идет своим порядком. Вот уж когда размочет все границы меж тем и этим миром, а к тому делу двинется, когда совсем деться некуда будет, что ж, тогда «здрасте!», тогда под крыло такого вот пахана...

Парни занялись спешным делом: трое или четверо волокли из канавы почти уже сварившегося, едва слышно попискивающего Стрекача. Кто-то к трамвайной остановке ринулся — вызывать «скорую», кто-то — в старые бараки с двумя-тремя еще не забитыми окнами, где обретались отверженные обществом, спившиеся существа и брошенные детьми старики, отыскивать мать пострадавшего, обрадовать привычным известием совсем разрушенную старуху об еще одном «художестве» сыночка родимого, кажется, насовсем отгостившего под крышей родного барака. Славный, бурный путь от детской исправительно-трудовой колонии до лагеря строгого режима завершился. Угнетенные, ограбленные, царاپанные, резаные, битые, в страхе ожидания напастей жившие обитатели железнодорожного поселка вздохнут теперь освобожденно и будут жить более или менее ладно до пришествия нового Стрекача, ими же порожденного и взращенного.

Дойдя до окраины парка, отчим Людочки споткнулся вдруг и по закоренелой привычке жить настороже, все видеть, все слышать заметил на сучке, нависшем над тропой, обрезок пестренькой веревочки, почему-то не отвязанной милиционерами. Какая-то прежняя, до конца им самим не познанная злая сила высоко его подбросила, он поймался за сук, тот скрипнул и отломился от ствола, обнажив под собой на глаз коня похожее, йодистого цвета пятно. Подержав сук в руках, почему-то понюхав его, отчим Людочки тихо, для себя, молвил:

— Что же ты не обломился, когда надо? — И с внезапным неистовством, со все еще не остывшим бешенством искрошил сук в щепки. Отбросив обломки, стоял какое-то время, исподлобья наблюдая, как по исковерканному, кочковатому парку, ковьяляясь, ощупью пробиралась к канаве машина «скорой помощи». Он закурил. В белую машину закатывали комком что-то замытое, мятое — текла по белому грязная жижа. Отчим Людочки плюнул окурок, пошел было, но тут же вернулся, раздергал туго затянувшуюся пеструю веревочку, снял ее с тополиного обломка, сунул в боковой карман куртки, притронулся к груди и, махнув рукой жене, не оглядываясь, поспешил к дому Гавриловны, где уже заканчивались поминки.

На столе еще оставалось много всякого добра. Городские бабы не могли одолеть всю выпивку, мало их было. Отчим Людочки выпил стакан водки, вслушался в себя и выпил еще один. Постоял над столом, глядя на оробевшую жену, на настороженно примолкших баб, уже начавших мыть и разбирать собранную по соседям посуду, с сожалением оторвал взгляд от бутылки, переборол себя — заметно это было — и, махнув рукой жене, поспешил к вечерней электричке.

В почтительном отдалении поспешала за ним, но не послевала жена — шибко уж размашисто, шибко уж сердито шагал мужик, громко топя по асфальту. Остановился вдруг, подождал ее, взял сумку, чемодан с пожитками Людочки, помог тяжелой женщине взняться на высокую железную ступеньку, место ей в вагоне нашел, узел наверх забросил, чемодан под сиденье пяткой задвинул, и все это молча. Потом, навалившись ухом на окно, сделал вид или в самом деле успокоился, уснул. Устает-то ведь шибко на работе, на стройке, по хозяйству. Она какая ему помощница?

Мать Людочки всегда чуяла в «самом» затаенную, ей неведомую страхотищу, какую-то чудовищную мощь, которую он ни разу, слава Богу, не оказал при ней да, может, и не окажет. Отходя от жути, почему-то ее охватившей, думала про себя, о себе, творила что-то похожее на молитву: «Господи, помоги хоть эту дитю полноценную родить и сохранить. Дитя не в тягость нам будет, хоть мы и старые, дитя нам будет уж как сын и как дочка и как внук и как внучка, оно скрепит нас, на плаву жизни удержит... А за тую доченьку, кровиночку алую, жертву жизни невинную, прости меня, Господи, если можешь... Я зла никому не делала и ее погубила не со зла... Прости, прости, прости...»

Мать Людочки и не замечала, что давно уже громко шепчет, выговаривая пляшущими губами слова, что все лицо ее снова залито слезами, но «сам» вроде бы не слышал ее, даже курить в тамбур не выходил. И она несмело положила голову на его плечо, слабо прислонилась к нему, и показалось ей, или на самом деле так было, он приотпустил плечо, чтоб ловчее и покойней ей было, и даже вроде бы локтем ее к боку прижал, пригрел.

У местного отделения УВД так и не достало сил и возможностей расколоть Артемку-мыло. С еще одним строгим предупреждением был он отпущен домой. Выполняя наказ властей взяться за ум, но скорее с перепаугу поступил Артемка-мыло в училище связи, не в то, где пэтэушники работают с мудренными приборами, компьютерами

и аппаратами, а в филиал его, где учат лазить по столбам, ввинчивать стаканы и натягивать провода. С испугу же, не иначе, Артемка-мыло скоро женился, и у него по-стахановски, быстрее всех в поселке, через четыре всего месяца после свадьбы народилось кучерявое дите, улыбочивое и веселое. На крестинах отец Артемки-мыло, заслуженный пенсионер, смеясь, говорил, что этот малый с плоской головой, потому что на свет белый его вынимали щипцами, уже и с папино мозговать не сумеет, с какого конца на столб залазить — не сообразит.

На четвертой полосе местной газеты в конце квартала появилась заметка о состоянии морали в городе и было сообщено, что за отчетный период в городе совершилось три убийства, сто пять квартирных краж, пятнадцать налетов на прохожих с целью снятия одежды, была попытка ограбить районную кассу, но тут же ее пресекли бдительные силы милиции, крупных краж и преступлений с особо тяжкими последствиями не наблюдалось, насилий было всего восемь, угонов транспорта — тридцать два, налетов на дачи — одиннадцать. Конечно, о полном покое граждан и моральном благополучии в городе говорить еще рано, однако благодаря профилактической работе и усилению внимания местных властей к оздоровлению общества посредством спортивной деятельности, в частности за счет открытия плавательного бассейна на базе локомотивного депо, где подогретая вода давно уже течет попусту, преступность по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилась на один и семь сотых процента.

Людочка и Стрекач в этот отчет не угодили. Начальнику областного управления УВД осталось два года до пенсии, и он не хотел портить положительный процент сомнительными данными. Людочка и Стрекач, не оставившие после себя никаких записок, имущества, ценностей и свидетелей, прошли в регистрационном журнале увэдэ по линии самоубийц, беспричинно, попросту говоря — сдуру, наложивших на себя руки.

М. ХВЫЛЕВЫЙ



ИВАН ИВАНОВИЧ

Семья, друзья, изобретения, вообще детали его трогательной жизни, наконец, описание трагической гибели

Зачем же изображать бедность да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? Что же делать, если уж таковы свойства сочинителя и, заболев собственным несовершенством, уже и не может изображать ничего другого, как только бедность да бедность да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? И вот опять попали мы в глушь, опять наткнулись на закоулок. Зато какая глушь и какой закоулок!

Н. Гоголь.

Теккерей, к примеру, говорит, что Свифт (вы помните «Путешествие Гулливера»?) производит на него впечатление могучего гиганта и что гибель его, Свифта, напоминает ему, Теккерейю, гибель грандиозного царства.

Так думал о названном авторе и Иван Иванович, и думал как раз в те дни, когда его за «вольтерьянство» выгнали с третьего курса юридического факультета. Он тогда даже обещал кому-то в случае победы «революционного народа» сделать «Путешествие Гулливера» настольной книгой и положить ее справа от Рабле («Гаргантюа и Пантагрюэля» он уже давно купил у букиниста за небольшую цену). Но, во-первых, это было страшно давно, и, во-вторых, Иван Иванович просто забыл о Свифтовом существовании. Правда, сейчас подрастает его симпатичный сынок, который когда-нибудь (все возможно!) оставит свой «вольтерьянский взгляд» на четком силуэте английского сатирика, но, к сожалению, рассказ этот не о сыне, а об отце, и потому разрешите принести извинения за некоторую непоследовательность и витиеватость мыслей и перейти наконец к необходимым зарисовкам.

I

Несколько слов о мажорном солнце, а также о том, что должно интересовать читателя

Улица, на которой живет мой симпатичный герой, названа именем Томаса Мора («улица Томаса Мора»). Это не самый скверный закуток в нагорной части нашего, как говорит Иван Иванович, сразу же с возмущением отвергая позорное мецанство, нашего «с головы до пят революционного города». Здесь вам асфальт на тротуарах, здесь вам асфальт и там, где пролетают бодрые автомобили (такси!) и где уже не тащатся вовсе печальные допотопные извозчики. Здесь вам, наконец, пахучие клумбы едва ли не возле каждого дома — это они

разносят летом приторный запах резеды. Много лет назад эта улица называлась Губернаторской, а на ней суетились чиновники императорского режима. Теперь, как уверяет Методий Кириллович (о Методии Кирилловиче речь дальше), на этой улице вы не встретите ни одного чиновника указанного режима. Словом, на улице Томаса Мора царит образцовый порядок, и, как говорит мой герой, порядок в, так сказать, «новой революционной интерпретации». Итак, нет ничего удивительного, что Иван Иванович проживает именно в этом образцовом закутке, а не где-нибудь на старорежимоподобной околице.

Дом, где жил Иван Иванович, тоже не без выдающихся заслуг: он построен всего лишь два года назад, и потому его пролетарское происхождение не подлежит ни малейшему сомнению. Правда, возникновение этого небоскреба связано с какой-то случайной панамой, но, во-первых, какое это имеет отношение к данному рассказу? и, во-вторых, кто же сомневается, что наш только что рассказированный Рабоче-Крестьянской инспекцией комхоз никогда не имел ничего общего хотя бы с той же городской думой, где, как известно, тоже заседали не всегда не грабители и не всегда спекулянты. Словом, и упомянутый дом целиком соответствует прогрессивным устремлениям моего симпатичного героя.

— Добрый вечер, Иван Иванович! Как поживаете?

— Доброго здоровья, Ипполит Онуфриевич! Как видите, иду из ячейки!

Мой герой идет по улице тем медленным шагом, каким ходят только очень солидные и уважаемые граждане. Мажорное солнце играет зайчиками в окнах симпатичных домов и своими ласковыми бело-розовыми лучами благословляет его нелегкий путь.

А впрочем, Иван Иванович доберется домой только через каких-то полчаса, и потому разрешите забежать вперед и отрекомендовать его семью — именно ту семью, которая творит «новый коммунистический быт». Разрешите проследовать к вышеупомянутому дому и заняться поисками соответствующей квартиры.

Первая дверь — не та! Вторая — не та! Наконец номер 38, и на вас пахнуло приятным одеколоном. Но, к сожалению, в комнатах вы застали только жену моего героя — Марфу Галактионовну (партийная кличка — товарищ Галакта). Марфа Галактионовна тоже чрезвычайно симпатичная женщина и тоже полностью отвечает прогрессивным устремлениям Ивана Ивановича (кстати, партийная кличка — Жан). Она, например, никогда не маникюрит ногтей и только в последнее время (и то изредка) немного маникюрит... для здоровья («для гигиены», как говорит товарищ Галакта). Одевается она очень просто, хотя и со вкусом, и уж во всяком случае намного дешевле т. н. нэпманок. Она не худая и не толстая, а, проще говоря, среднего роста и с некоторой склонностью к полноте. Ее черные волосы и теперь подстрижены, но с таким похвальным расчетом, чтоб на партсобрании ее можно было назвать товарищем Галактой, а дома — Марфой Галактионовной. Словом, жена Ивана Ивановича — образцовый тип жены нового быта. Правда, она несколько хитрее своего мужа, но этот вопрос следует, очевидно, рассматривать как момент чисто биологического порядка, возникающий независимо от социальных пертурбаций.

Марфа Галактионовна очень любит читать Ленина и Маркса. Но, случается, она садится читать Ленина и Маркса, а рука тянется к Мопассану. Это бывает тогда, когда в комнату влетает такой симпатичный, но совсем не подвластный монументально-реалистической теории весенний ветерок и начинает валять дурака в ее декольте. Но товарищ Галакта и тогда умеет держать себя в руках: она в это время читает только такие романы, как, допустим, «Хулио Хуренито» с предисловием Н. Бухарина и «Любовь Жанны Ней» — без предисловия упомянутого Бухарина, но зато того же автора, к произведению которого писал предисловие член ЦК ВКП.

Товарищ Галакта (Марфа Галактионовна) родила с Иваном Ивановичем (товарищ Жан) сына и дочь. Сына назвали революционным именем Май, а дочь не менее революционным — Фиалка. Май уже записался в октябрята, а Фиалка пока что кандидатка.

Кроме этих, законных, членов семьи есть еще, так сказать, незаконные, то есть не связанные интимными родственными связями. Это мадемуазель Люси, гувернантка, и Явдоха — советская кухарка, член местного пищедрома. Словом, челядь Ивана Ивановича соотносится с хозяевами приблизительно 2 к 4. Иными словами, пропорция вполне законная и уж во всяком случае не имеет ничего общего с буржуазными замашками.

Но кто же такой этот Иван Иванович? (Мой герой уже пришел домой и поставил свой зонт в солнечное пятно того самого солнца, что благословляло его трудный путь — именно трудный, ибо что-то неладно с сердцем — своими мажорными розово-белыми лучами.) Кто же этот Иван Иванович?

Ах, боже мой! Ну разве не ясно? С точки зрения Семена Яковлевича (о Семене Яковлевиче тоже речь впереди) это образцовый член такой-то коллегии, такого-то треста. Правда, содержание его состоит всего из 250 рублей, но об этой цифре можно говорить только в том случае, если не считать разных мелочишек, как то: сверхурочных, суточных и того регулярного гонорара, который он получает от местной прессы за свои не совсем компилятивные статьи. Словом, материальное положение моего героя ниже нормального, если принять во внимание бюджет нашего современного буржуа или курс червонца и особенно тот факт, что Иван Иванович человек едва ли не с высшим образованием.

Товарищ Жан (Иван Иванович) свой высокий лоб и свои роговые очки протирает исключительно белоснежным платком и говорит, так сказать, баритональным басом.

Костюм Иван Иванович носит не из дешевых, потому что хорошо усвоил соответствующую английскую мудрость.

— Я,— говорит мой герой,— не настолько богат, чтобы покупать дешевые костюмы.

— Разумеется,— говорит Марфа Галактионовна.— Только наши дикари не додумаются до этого.

— Неужели еще не додумались?— смотрит на жену поверх очков товарищ Жан и поправляет жилет на своем все же надутом, словно чем-то недовольном животе.

Марфа Галактионовна не любит отвечать на такие вопросы и потому, закрыв глаза, ложится на диван. Одновременно на окно садится какая-то птичка (совсем не канарейка) и говорит: «Чирик-чирик». Одновременно кухарка Явдоха что-то напевает в кухне, но напевает она какую-то совсем непонятную песню: с одной стороны, вроде бы мажорную, а с другой — как будто дразнится («У народі ходит звістка, що на вас ще буде чистка... Ось тобі моя рука, РСІ и партійная КаКа»)¹. И товарищ Галакта думает: «Как странно! Уму непостижимо, что простой народ до сих пор чем-то недоволен и до сих пор никак не перейдет на подлинный мажор... Эх, проклятое наследие царизма!»

Но Иван Иванович снова смотрит на жену поверх очков и, глянув на кухонные двери, где хлопочет Явдоха, спрашивает едва слышным голосом:

— Ну, Галакточка... А... что вообще говорят про меня?

— То есть где говорят?

— Ну... вообще. Так сказать, и в партийных кругах и... вообще.

Товарищ Галакта смотрит на товарища Жана материнским взглядом.

¹ РСІ — Рабоче-Крестьянская инспекция (укр.); КК — контрольная комиссия.

— Что же о тебе могут говорить?.. Говорят, что ты очень хороший работник и образцовый партиец.

Иван Иванович потирает руки, идет к радиорупору и нежно гладит его ладонью: он вполне удовлетворен этой информацией. Главное, чтоб не вышло тех или иных недоразумений. Разве он не готов пойти на смерть за свою партию и строительство социализма, скажем? Таким образом, товарищ Галакта совсем не напрасно прислушивается к разным разговорам, в которых так или иначе может фигурировать его незапятнанное имя.

— Галакточка, — говорит Иван Иванович, вынимая из бокового кармана карточку. — Кажется, завтра вносить на «Друга детей»?

— Зачем ты так спешишь! — говорит Марфа Галактионовна. — Это уже сверхаккуратность. Люди иногда не вносят по пять месяцев, а ты не даешь и месяцу пройти.

Иван Иванович довольно улыбается.

— И прекрасно! — говорит он. — Надо быть образцом для других и особенно для несознательной внепартийной массы.

— Оно, конечно, так! — говорит Марфа Галактионовна. — Но все-таки обидно, что этого маленького геройства никогда и никто не заметит и не поставит тебе в плюс.

Мой герой решительно машет своей белоснежной рукой.

— И не надо! — машет он своей белоснежной рукой. — Боже сохрани! Я совсем не хочу, чтоб мои бескорыстные поступки отмечали плюсами... Именно так и нужно нести знамя коммунизма!

Иван Иванович идет к окну, открывает его и смотрит вдаль задумчивым взглядом. Он смотрит туда, где кончается город, где начинаются тихие поля и мягко-бирюзовое небо, где прекрасные горизонты тревожат душу той легкой тревогой, что не воспаляет тебя бунтом мелкобуржуазного импрессионизма, а совсем наоборот — ласкает радостным покоем мажорно-монументального реализма!

— Не надо! — Иван Иванович уже почти бессознательно машет руками в прекрасный горизонт и, раздувая ноздри, впитывает запах резеды с первой «рабоче-крестьянской» (так квалифицирует он первую клумбу) клумбы.

Трогательная самоотверженность моего героя достигает в эти минуты своего апогея. И хочется склонить перед такой самоотверженностью все республиканские знамена и с чувством удовлетворения произнести:

— Иван Иванович! Воистину вы — образцовый человек нашей беспримерной эпохи, и ваше имя, несомненно, будет фигурировать в пантеоне «Красных досок».

И впрямь, кто еще так аккуратно платит членские взносы, как мой герой? Правда, они не превышают каких-то 2-х процентов его заработка, но дело же не в качестве, а в количестве. А количество тут воистину солидное: он и член «Друга детей», и член «Воздухолета», и «Доброхима», он член какого-то клуба, едва ли не политкаторжан (еще бы: разве это не моего героя хотели когда-то — при старом режиме — выслать из одной губернии в другую?), он и член профсоюза, он... и т. д. и т. п. Словом, в этом смысле Иван Иванович явно не имеет себе равных.

Но мало того, он даже Марфу Галактионовну сагитировал на такое широкое членство и, главное, на такое бескорыстие, на такое никому не известное маленькое геройство, затерявшееся среди бурных событий нашего, как думает товарищ Жан, сразу же и с возмущением отвергая позорное мещанство, «с головы до пят революционного города».

— Так-с! — говорит наконец, вздыхая, Иван Иванович и садится на диван. — Если угодно, я буквально не понимаю!

— Чего ты, Жан, не понимаешь? — спрашивает Марфа Галактионовна.

— Да вообще... По поводу, знаешь ли, строительства социализма. Товарищ Галакта настораживается. Она подходит к мужу и нежно обнимает его.

— Неужто и ты уже начал сомневаться? — говорит она таинственным голосом и предусмотрительно заглядывает в другую комнату: не зашел ли кто?

— Что ты говоришь, голубка! — нервно машет рукой мой герой. — За кого ты меня принимаешь? Я просто... не понимаю этих... как бы их назвать... бузотеров! Ну, словом, наших противников. Что им нужно? Чего они хотят от нас? Ну, скажем, так: диктатура пролетариата есть? Есть! Власть в наших руках? В наших! Фабрики и заводы национализированы? Национализированы! Красная Армия организована? Организована! Коминтерн есть? Есть. Профинтерн есть? Есть!..

Иван Иванович на мгновение останавливается, вынимает из кармана белоснежный платок и протирает им свои роговые очки.

— Но бери дальше! — говорит он. — Всеобщее обучение проводится? Проводится! К социализму движемся? Движемся! Комсомол есть? Есть! Пионеры есть? Есть!.. Чего ж им еще надо?.. Буквально ничего не понимаю!

Марфа Галактионовна поправляет декольте и лукаво щурит свои умные глаза.

— Чего им надо?.. — говорит она. — Ничего им не надо, а просто личные счеты!.. Закулисная борьба.

— Допустим... допустим! — вдруг еще больше начинает нервничать Иван Иванович, и его баритональный бас достигает дискантовых ноток. — Но если я могу простить вырождение рядовым членам партии, то... вождям (мой герой ставит здесь огромный знак ударения), вождям я этого простить не могу!.. Такой уж у меня характер: встань передо мной на колени, проси меня, что хочешь делай со мной, а я все-таки... не могу!

Иван Иванович бегаёт по комнате, размахивает руками и упорно смотрит в одну точку на полу. И кажется, что эта точка не кто иной, как вышеназванный «вождь». И этот «вождь» стоит на коленях и просит пощады у Ивана Ивановича.

— Ну, хорошо! — говорит Марфа Галактионовна. — Ты не очень волнуйся, Жан, а то я боюсь за твое сердце.

Но Иван Иванович не может утомиться. Он идет к окну, втягивает носом приторный запах резеды с первой клумбы, ловит слухом голубой резонанс и, чуть не перейдя в состояние транса, говорит:

— Сердце?.. Что мне сердце, если речь идет об интересах пролетариата? Я не люблю похвастаться своей беззаветностью, я не высккиваю на партсобраниях и в газетках с красивыми словами. Но позволь мне хоть дома отвести душу и вылить то, что накипело... Ты думаешь, у меня мало накипело?.. Ого!

Тут Иван Иванович чувствует, что сердце все-таки ему изменило: он садится на диван и просит воды.

— Ах, боже мой! — бросает взволнованным голосом Марфа Галактионовна и бежит к графину. — Ты снова растревожил себя!.. Не посылать ли за врачом?.. Снова проклятые дискусионщики!

— Не надо, голубушка! Не надо!.. — И Иван Иванович зажмуривает глаза. — Я уже и сам не рад, что наделен таким пылким характером и такой большевистски сдержанной натурой. Но что поделаешь: не могу я спокойно реагировать на партийное вырождение.

Потом мой симпатичный герой отправляется в свой кабинет. Товарищ Галакта подходит к окну и смотрит на свою смену — на сына и дочь, которые в этот момент проходят мимо клумбы.

— Vous aimez les fleurs², мадемуазель Люси? — спрашивает Марфа Галактионовна.

² Вы любите цветы? (Франц.)

— Comment donc, madame!³ — говорит мадемуазель Люси.

Потом кто-то стучится в дверь, и в комнату входит Методий Кириллович — коллега Ивана Ивановича. Методий Кириллович как мышка: глаза бегают, руки бегают и все существо бегаёт тоже. Товарищ Галакта говорит, что в Методии Кирилловиче ей особенно нравятся лукаво поднятые брови и умная голова.

— Тише,— говорит Марфа Галактионовна.— Жан только что страшно растревожил себя, и надо дать ему отдохнуть. Пусть ещё полежит в кабинете.

Методий Кириллович целует хозяйке руку и информирует, что он забежал на несколько минут. Затем они садятся на диван и ведут разговоры на тему полового вопроса.

— Ничего не поделаешь! — закрыв глаза, бросает Марфа Галактионовна и вздыхает.— Что касается народа, мы уже, по сути, так сказать, в принципе, решили проклятую проблему, и в этом смысле буржуазная наука должна капитулировать перед марксизмом. Но, знаете, есть ещё такие исключительные индивидуальности, для которых половой вопрос и до сих пор является загадкой.

— Вы, конечно, имеете в виду себя? — мило улыбается своей лукавой бровью Методий Кириллович и совсем не нарочно, а случайно, почти бессознательно кладет свою руку на безусловно привлекательный таз собеседницы.

— Я не люблю лгать! — снова вздыхает Марфа Галактионовна.— И скажу откровенно, без всяких там мешанских предрассудков: иногда мне так хочется ласкать чужого мужчину, что вы даже не представляете!

Методий Кириллович смотрит на дверь кабинета и, пододвинувшись ближе к товарищу Галакте, уже гладит ее безусловно привлекательное колено.

— Ей-богу, не представляете! — шепчет товарищ Галакта.— Это такое, знаете... как бы выразиться... желание, что...

Но в этот момент автор решительно уходит от двери. Конечно, сатирик, как и сатира, вполне заслуженно не пользуется успехом среди некоторых уважаемых людей нашей республики, конечно, некоторые уважаемые люди нашей республики не без оснований полагают, что сатира отжила свой век и в нашем обществе ей нет места, но позвольте все-таки заверить: мы никогда не подслушиваем в том случае, когда нельзя подслушать. Точно так же и не подсматриваем, когда нельзя подсмотреть. Итак, позвольте сделать ещё несколько вполне цензурных зарисовок.

II

Разговор в кровати. Фиалка делает па, а также и то, как Иван Иванович смотрит на социализм и на коммунизм

Квартира, где живет Иван Иванович со своей симпатичной семьей, состоит всего (всего!) из четырех комнат (не считая, конечно, кухни, клозета и ванной), то есть: кабинета, столовой, детской спальни (там же спит и мадемуазель Люси) и спальни моего героя и его жены. Словом, квартирный кризис дал о себе знать, и мой герой самоотверженно пошел ему навстречу. Иван Иванович, например, никогда не требовал отдельной спальни для своей кухарки, и Явдоха спит на полу в коридоре. Оно и правда: какое у него право требовать ещё одну комнату? Ему, конечно, приятнее было бы знать, что у его собственной кухарки есть свой закуток, но... он же абсолютно сознательный партиец и хорошо знает, как живут другие. У других положение ещё

³ Но еще как, мадам! (Фриц.)

— Не понимаешь?.. Ну как же так? — довольно улыбнулся мой герой. — Вот где зарыта собака: разве мы строим социализм в одной стране? Ну?

Марфа Галактионовна снова остановилась и снова с удивлением посмотрела на своего мужа.

— Я тебя все-таки не понимаю! — повторила она.

Тогда Иван Иванович победно выглянул поверх своих очков и сказал дрожащим от удовлетворения голосом:

— А что, если мы в шутку поставим вопрос так: Россия — раз, Украина — два, Грузия — три, Белоруссия — четыре. Разве это будет одна страна?

— Но ты не подумал об экономике, — бросила товарищ Галакта.

— Правильно! Я не подумал об экономике, но я подумал, что для массы так будет яснее, — сказал Иван Иванович.

— Тогда твоя гениальная идея есть не что иное, как глупство, — резко бросила Марфа Галактионовна.

Товарищ Жан обиделся: мол, зачем так?

— Ничего подобного! — сказал он. — Это далеко не худший полемический прием.

— Но этот «прием» может привести тебя к буржуазной Украине.

Вдруг мой герой ударил себя по коленке: вот это, мол, ей-богу, резонное замечание.

Словом, Иван Иванович уверен, что мы «для массы» строим социализм не в одной стране, а как раз в нескольких, но, принимая во внимание тот факт, что в центральной прессе вопрос так еще не ставился и в такой плоскости не дебатировался, принимая во внимание также то, что на этой «формуле» кто-то может сыграть, Иван Иванович отказывается от своей идеи и целиком стоит на постулатах последнего Пленума ЦК.

В таких вот интересных разговорах мои герои прошли половину пути — того самого праздничного пути, который один раз в неделю (а именно в четверг) ведет кое-кого из «выдержанных» партийцев прямо в зал заседаний Ивана Ивановича.

Уже вечерело. То тут, то там — по дороге — вспыхивали люксы⁶. В церкви звонили к вечерне, и звон этот тревожил душу каждого обывателя. Обыватель, видимо, думал о воскресении Христа, но Иван Иванович об этом совсем не думал, направив свои мысли к антирелигиозной пропаганде. Другое дело — гудки на заводах: вот если б они заревели! О, тогда мой герой тоже ощутил бы тревогу на душе (собственно, не на душе — простите этот беспардонный идеализм! — а как-то более монистически). Но думал бы Иван Иванович не о какой-то там первобытной христианской коммуне, а только о материалистической диалектике. Это совсем не значит, что он хочет вульгарно привить дарвинизм к социологии, — боже сохрани! Иначе он не шел бы сейчас на собрание комячейки, так сказать, *per pedes Apostolorum*⁷, а нанял бы извозчика и поехал на извозчике, — это значит, что Иван Иванович (со слов Семена Яковлевича) всегда был, есть и будет образцовым строителем Советского государства.

По дороге к моим героям подошел Методий Кириллович, и вскоре они входили в зал заседаний комячейки.

IV

Зал заседаний комячейки,
а также и о том, как проходило собрание

Это весьма симпатично декорированная комната. Каждый ее закоулок напоминает зрителям, что он не просто закоулок, а главным

⁶ Здесь — электрические фонари.

⁷ Апостольскими стопами (лат.).

— Нет! Я прошу вас переписать! — энергично бросил мой беззаветный герой. — Видите ли, подарок мне сделали мои сотрудники, и я не уверен, что здесь нет реквизированных вещей.

— Позвольте тогда узнать: где здесь вещи, прикупленные вами?

— Ей-богу, не помню! — абсолютно искренне воскликнул Иван Иванович. — Переписывайте все!

— Ну, тогда я вовсе отказываюсь вас беспокоить! — застеснялся уже агент и, шаркая ногами, выскочил из комнаты.

Таким образом Иван Иванович вопреки собственному желанию оказался в окружении своих сюрпризных вещей. Следовательно, и день его начинается, так сказать, на сюрпризном ложе.

Это один из тех дней, когда уже стоит рабочий сезон — осень, когда небо временами нарочно брызгает на разных нытиков нудными дождями и натравливает их на Ивана Ивановича, когда комячейка моего героя уже собирается регулярно каждую неделю и большинство этой комячейки не хочет манкировать собраниями в четверг, потому что еще абсолютно неизвестно: будет новая чистка или нет?

Иван Иванович просыпается с чувством удовлетворения и в мажорном, вполне монументально-реалистическом настроении. Мой герой шурит свои близорукие глаза и смотрит на Марфу Галактионовну. Товарищ Галакта еще спит симпатичным сном, и ей снятся, очевидно, мятежные дни в отделе наробраза.

Иван Иванович снова посмотрел на жену и легонько пощекотал ее пальцами. Марфа Галактионовна дрыгнула ногой и вдруг проснулась.

— Ну, так что же мы будем сегодня обедать? — спрашивает Иван Иванович и улыбается мажорно выдержанной улыбкой.

Товарищ Галакта широко зеваёт, медленно поднимается, опираясь на таз, и подбирает волосы.

— А что ты хочешь предложить? — спрашивает она.

Иван Иванович снова загадочно улыбается той же мажорно выдержанной улыбкой.

— А как ты считаешь? Ну?.. Вот тебе и ребус!

— Я думаю, ты снова придумаешь какое-нибудь мещанское меню, — недовольно говорит Марфа Галактионовна.

— Вот и не угадала! — радостно воскликнул Иван Иванович. — Ничего подобного. Я по самой своей натуре не могу придумать мещанское меню.

Марфа Галактионовна недовольно дрыгает ногой.

— Так говори же! Будет тебе паясничать!

— Гениальная идея! — сказал Иван Иванович. — Ты сегодня сделай, пожалуйста, малороссийский борщ, на второе... ничего не нужно, а на третье сделай желе!

— Что за фантазия! — говорит товарищ Галакта. — Как это можно без второго блюда?

Тогда Иван Иванович просит жену не волноваться и говорит, что вчера он видел в церабкоопе свежие (только что привезли) и такие прекрасные копчушки, что просто слюнки текут. Вот он и надумал: купим сегодня копчушек и полбутылки армянской водки. Ему это, ей-богу, заменит второе блюдо.

— Ты как считаешь, голубушка? — спрашивает Иван Иванович и смотрит на жену.

— Я считаю, — недовольно говорит Марфа Галактионовна, — что копчушки и армянская заменят второе блюдо тебе. Но как же быть с детворой и мадемуазель Люси?

Мой герой разгневанно повел глазом к двери детской спальни.

— Мадемуазель Люси тоже может есть копчушки, — решительно говорит он. — Скажите пожалуйста, какие нежности! Обязательно подавай второе блюдо... Нет, ты, Галакточка, все-таки не умеешь

воспитывать челядь в пролетарском духе. Так, знаешь ли, легко скатиться и к мещанству...

— Но подожди,— перебивает моего героя Марфа Галактионовна.— Речь же идет не только о мадемуазель Люси — я имею в виду главным образом детвору. Что им на второе блюдо? Тоже армянскую и копчушки?

Иван Иванович надевает на нос роговые очки и, беспомощно разведя руки, говорит:

— Вот беда!.. Ничего не поделаешь: им, очевидно, придется готовить котлеты.

Таким образом, выясняется, что сегодня на второе блюдо ничего не нужно, а нужно только — малороссийский борщ, копчушки, армянскую водку (кстати, мой герой всегда пьет в меру) и котлеты. Но котлеты не на второе, а для детей и для всех прочих, конечно, кроме Ивана Ивановича, если Иван Иванович не захочет есть котлет.

Итак, с идеологически выдержанным меню покончено. Словом, в семье Ивана Ивановича начался день. За окном уже прогрохотал грузовой автомобиль, и где-то закричала мятежная сирена, что так тревожит обывателя своим бодрым криком.

Потом Иван Иванович идет в трест, Марфа Галактионовна же в это время отдает распоряжения Явдохе и мадемуазель Люси.

— Чего это вы, Явдохе, сегодня пришли так поздно?— говорит товарищ Галакта, входя в кухню.

— Я заходила в союз,— отвечает кухарка.

Марфа Галактионовна недовольно поднимает брови. Она, конечно, не против союза, даже за союз. Но все же необходимо вести себя организованнее. Разве нельзя было заранее предупредить хозяйку?

— Вы понимаете меня,— говорит товарищ Галакта.— Вы же сами знаете, как я правильно к вам отношусь. Я вам не раз высказывала наше мнение по этому поводу. Это же мы сказали, что каждая кухарка должна быть народным комиссаром. Но я не выношу анархизма... Вы понимаете? Так никогда не построить социализм... За такой поступок я, конечно, могла бы вас расчитать, но разве я это сделаю? Разве я не знаю, что сейчас вы нигде не найдете работы?

Марфа Галактионовна говорит таким проникновенным и уверенным голосом, что Явдохе сразу же чувствует, как нехорошо она поступила, зайдя на три минуты в союз без соответствующего разрешения хозяйки, и, осознав, что таким образом «нельзя построить социализм», просит прощения.

Марфа Галактионовна, прочитав Явдохе лекцию политграмоты, идет в столовую, где пьют чай мадемуазель Люси и детвора.

— Ну, как там Фиалочка? Хорошо ест?— спрашивает она.

— *A la bonne heure, madame!*⁴— отвечает мадемуазель Люси.

Тогда товарищ Галакта смотрит на детвору материнским взглядом и говорит нежным сощвоспитательным голосом:

— Ну, как вы, детки, хорошо спали? Хорошо себя чувствуете?

Фиалка еще ничего не понимает и потому равнодушно ковыряет пальчиком в носу, а Май, которому уже четыре года, бодро информирует:

— *Oui, oui, maman!*⁵

— Вот и прекрасно!— говорит Марфа Галактионовна.— Надо, детки, всегда быть довольными, нельзя забывать, что на улице бегают сотни беспризорных. Этим детям еще хуже! У них нет квартиры, и они бегают совсем как собачки. Надо, детки, не забывать и о них.

— *Oui, oui, maman!*— кричит мажорным голосом почти сознательный Май.

⁴ Все в порядке, мадам! (Франц.)

⁵ Да, да, мама! (Франц.)

Но Марфа Галактионовна уже предлагает мадемуазель Люси повести детей на полтора часа в детский сад: мол, нельзя отрывать их (то есть Мая и Фиалку) от коллективной жизни. Только в коллективе ребенок закаляется. Гувернантка берет за руки Фиалку и Мая, и они уходят в коридор.

Марфа Галактионовна допивает свою чашку кофе, помогает Явдохе поставить посуду в буфет и наконец садится напротив окна. Она смотрит туда, где кончается город и начинаются тихие поля и осеннее мягко-бирюзовое небо, где прекрасные горизонты тревожат душу той легкой тревогой, что не воспламеняет тебя бунтом мелкобуржуазного импрессионизма, а совсем наоборот — ласкает радостным покоем настоящего мажорного реализма.

Бывает, в эти минуты случайно заходит Методий Кириллович либо Семен Яковлевич (главный начальник треста), и тогда из спальни слышны разговоры на такую тему: половая проблема и современный быт. Но бывает и так, что никто не заходит, и тогда на этом же месте Иван Иванович застаёт Марфу Галактионовну с «Жанной Ней» (он приходит иногда в 5 часов). После обеда мой герой идет на какое-нибудь заседание. Но если не идет на заседание — ложится немного отдохнуть. В субботу вечером Иван Иванович с Марфой Галактионовной и со своим другом дома, Методием Кирилловичем, идет в кинематограф и смотрит там фильмы советского производства. Иван Иванович не признает конструктивистского театра и признает единственно батально-героические и мажорно-реалистические фильмы: они напоминают ему те дни, когда он проливал кровь за Советскую республику, когда по запорожским степям мчалась огненная большевистская кавалерия. Особенно мой герой не любит смотреть сатирически-бытовые картины.

— Вот несчастье! — говорит он, случайно попав на такой фильм. — Снова мещанская побрякушка! Странно: такая прекрасная эпоха, такие героические дни и такая, можно сказать, пессимистическая пустышка!

— Но чем объяснить появление такого фильма? — спрашивает Методий Кириллович, беря под руку Марфу Галактионовну. — Какие тут причины?

Иван Иванович снимает очки и протирает их белоснежным платком.

— Причины тут ясные, — небрежно бросает он. — Марксист не может не понимать их.

— Ты, очевидно, имеешь в виду плехановскую формулу? — очень серьезно спрашивает Марфа Галактионовна.

— Безусловно! — отвечает Иван Иванович. — Бытие определяет сознание. И потом, надо тебе сказать, наши писатели страшно темный и слаборазвитый народ.

— Я полностью с вами согласен! — говорит Методий Кириллович и жмет руку своему приятелю. — До свидания!

Иван Иванович и Марфа Галактионовна сворачивают на улицу Томаса Мора.

Потом начинает идти мелкий осенний дождик. Дождик звенит в водостоках, и тогда мелкобуржуазную душу тревожит печаль — та самая печаль, что толкает человека, говоря канцелярским языком (а-ля Стендаль), на крайне невыдержанные поступки (например, вынуждает не соглашаться, что в нашем обществе у сатиры нет своего места), та печаль, по поводу которой так возмущается мой милый, симпатичный и необычайно полезный для республики герой.

Но в квартире Ивана Ивановича никакой печали и пессимизма нет. Здесь так весело и бодро играет своим матовым блеском электричество, так мило смеются Фиалка и Май, что просто — мажор. Здесь так симпатично и уютно (именно в этом революционно выдер-

жанном закутке), что поневоле начинаешь удивляться и думаешь: «Боже мой, чего же нам еще нужно!»

Вот Иван Иванович подходит к радиорупору, делает простейшее движение рукой, и вы вдруг слышите прекрасный симфонический концерт. Разве это не элемент социалистического строительства? Именно этот радиорупор? Разве не за то проливал кровь мой герой, чтоб пролетариат мог «жить в свое удовольствие», пользуясь для своего же удовольствия всеми новейшими достижениями техники?

Правда, часть пролетариата еще не приобрела себе домашнего радиорупора, но нельзя же забывать, какое позорное наследие оставил нам старый режим!.. Ну, взять хотя бы тех же беспризорных. Кто посмеет сказать, что ему (имярек) приятно встречаться с этой публикой, с этими несчастными детками? Но что поделаешь! Тут мещанской филантропии места нет! С социальными болезнями надо бороться организованно. Именно поэтому Иван Иванович никогда не делится своей копейкой с индивидуалистами-нищими.

Май берет за руку Фиалку и выделяет с ней па. Он бодрым и смелым взглядом смотрит в рупор. Мадемуазель Люси мило улыбается. Улыбаются и Иван Иванович с Марфой Галактионовной.

Явдоха стоит на пороге и тоже улыбается. Кухарка улыбается той радостной улыбкой, когда наверняка можно сказать, что она вполне сознательно относится к своему хозяину и прекрасно знает, что каждая горничная должна быть народным комиссаром.

— Гоп-гоп! — бьет в ладоши Иван Иванович. — Живее, Фиалочка!

Кандидатка в октябратки вдруг делает прекрасное па, и едва ли не все ахают от удовольствия.

— Hola! — вскрикнула мадемуазель Люси.

Вскрикнул что-то и Иван Иванович. Даже сирена вскрикнула где-то за окном. Но этот последний крик услышала только Марфа Галактионовна. Она подошла к окну и посмотрела в темноту. В водастоках звенел тот же мелкий осенний дождик, но товарищ Галакта его почти не слышала. Она мажорно думала о новом лете, о том, как они — вся семья — после тяжелой работы получают у своего начальника отпуск и место на курорте. Там они снова увидят прекрасное море, Кавказские или Крымские горы, и будут снова вспоминать такие же минувшие дни, и станут много смеяться тем беззаботным смехом, что так долго звенит поэтическим эхом в не менее художественных горах.

...Наконец дети целуют Ивана Ивановича в его высокий лоб и идут слушать соцвоспитательские материалистические рассказы, то есть совсем не идеалистические сказки. Марфа Галактионовна ложится на диван, Иван Иванович садится в кресло, и начинается вечер воспоминаний или же разговоров на темы современной политической жизни — о коммунизме и социализме.

— Как это ни странно, — говорит Марфа Галактионовна, поправляя декольте, — а я до сих пор не понимаю, чем коммунизм отличается от социализма.

— Неужели не понимаешь? — удивленно спрашивает мой герой.

— Ей-богу!.. Ну вот, скажем так, что мы сегодня строим — коммунизм или социализм?

Иван Иванович снимает свои роговые очки и протирает их белоснежным платком.

— Ну, конечно, социализм! — довольно улыбается он. — Коммунизм — это высшая форма.

— Такой ответ меня не удовлетворяет, — говорит Марфа Галактионовна. — Ты мне скажи конкретно: чем конкретно социализм отличается от коммунизма?

Но Иван Иванович не успевает ответить конкретно. В кабинете

звонит телефонный аппарат, мой герой идет к телефону и будет, видимо, разговаривать с Методием Кирилловичем. Долго ли он просидит в вышеупомянутом кабинете — я не знаю, но я знаю, что читатели уже приблизительно представляют себе семью Ивана Ивановича, и потому перехожу к дальнейшему, более динамическому штриху. На мой взгляд, с этого места читателю уже не придется зевать, а возможно, ему останется только с удивлением согласиться, что самокритика тут доведена до конца.

III

Мой герой собирается с товарищем Галактой на собрание комячейки, а также о том, что случилось впоследствии

— Не время ли идти на ячейку? — сказал Иван Иванович, когда на соседней звоннице ударили к вечерне.

Марфа Галактионовна посмотрела на часы и сказала, что действительно уже пора.

Это был один из тех четвергов, когда каждый партиец комячейки моего героя организовано принимает участие в строительстве первой в мире Советской республики.

Иван Иванович взял портфель и пошел в коридор одеваться. Марфа Галактионовна тоже пошла одеваться. Она надела простенький красный платок и старенький жакет, так что выглядела вполне симпатично и напоминала моему герою работницу с табачной фабрики. Иван Иванович тоже в эти дни выглядел намного скромнее, чем обычно. Шапку он брал старенькую и даже вынимал из комода солдатскую блузу, оставшуюся у него с времен «военного коммунизма». Было в этом переодевании что-то необычайно трогательное, оно чем-то напоминало переодевание в алтаре. Но поп надевает шикарную, абсолютно идеалистическую ризу, здесь же мы видим, как лучшие наряды уступают место скромной, можно сказать, материалистической одежде, да еще и в обычном коридоре. Словом, Иван Иванович (товарищ Жан) и Марфа Галактионовна (товарищ Галакта) воистину образцово и похвально ориентировались во всех требованиях эпохи переходного периода.

— Знаешь, — сказал мой герой, касаясь галошами и своим неизменным зонтиком асфальта улицы Томаса Мора, — меня сейчас посетила гениальная идея.

— Тебе, Жан, вечно лезут в голову гениальные идеи, — сказала Марфа Галактионовна, ступая по асфальту той же улицы.

Иван Иванович чуть скривился от неудовольствия, но «гениальная идея», очевидно, не давала ему покоя, и потому он начал.

— Что социализм, — начал он, — можно построить в одной стране — это факт. Это необыкновенно талантливо доказано и Лениным и Марксом. Но коль наши дискуссионщики не верят в это, то, по моему, можно и отказаться от вышеупомянутой теоретической формулы.

— Что ты мелешь! — оглядываясь, вскрикнула Марфа Галактионовна. — Смотри не ляпишь где-нибудь. Чего доброго, подумают, что ты против строительства социализма в одной стране.

— А я все-таки настаиваю на своем! — решительно сказал Иван Иванович. — Почему ты хочешь, чтобы я обязательно думал по шаблону? Мы совсем не против оригинальных мнений. Я хочу только сказать, что из этой формулы, по сути, можно сделать несколько иную, которая должна удовлетворить нас и в то же время не может не удовлетворять их.

Марфа Галактионовна остановилась и удивленно посмотрела на своего мужа.

— Я тебя не понимаю! — сказала она.

— Не понимаешь?.. Ну как же так? — довольно улыбнулся мой герой. — Вот где зарыта собака: разве мы строим социализм в одной стране? Ну?

Марфа Галактионовна снова остановилась и снова с удивлением посмотрела на своего мужа.

— Я тебя все-таки не понимаю! — повторила она.

Тогда Иван Иванович победно выглянул поверх своих очков и сказал дрожащим от удовлетворения голосом:

— А что, если мы в шутку поставим вопрос так: Россия — раз, Украина — два, Грузия — три, Белоруссия — четыре. Разве это будет одна страна?

— Но ты не подумал об экономике, — бросила товарищ Галакта.

— Правильно! Я не подумал об экономике, но я подумал, что для массы так будет яснее, — сказал Иван Иванович.

— Тогда твоя гениальная идея есть не что иное, как глупство, — резко бросила Марфа Галактионовна.

Товарищ Жан обиделся: мол, зачем так?

— Ничего подобного! — сказал он. — Это далеко не худший полемический прием.

— Но этот «прием» может привести тебя к буржуазной Украине.

Вдруг мой герой ударил себя по коленке: вот это, мол, ей-богу, резонное замечание.

Словом, Иван Иванович уверен, что мы «для массы» строим социализм не в одной стране, а как раз в нескольких, но, принимая во внимание тот факт, что в центральной прессе вопрос так еще не ставился и в такой плоскости не дебатировался, принимая во внимание также то, что на этой «формуле» кто-то может сыграть, Иван Иванович отказывается от своей идеи и целиком стоит на постулатах последнего Пленума ЦК.

В таких вот интересных разговорах мои герои прошли половину пути — того самого праздничного пути, который один раз в неделю (а именно в четверг) ведет кое-кого из «выдержанных» партийцев прямо в зал заседаний Ивана Ивановича.

Уже вечерело. То тут, то там — по дороге — вспыхивали люксы⁶. В церкви звонили к вечерне, и звон этот тревожил душу каждого обывателя. Обыватель, видимо, думал о воскресении Христа, но Иван Иванович об этом совсем не думал, направив свои мысли к антирелигиозной пропаганде. Другое дело — гудки на заводах: вот если б они заревели! О, тогда мой герой тоже ощутил бы тревогу на душе (собственно, не на душе — простите этот беспардонный идеализм! — а как-то более монистически). Но думал бы Иван Иванович не о какой-то там первобытной христианской коммуне, а только о материалистической диалектике. Это совсем не значит, что он хочет вульгарно привить дарвинизм к социологии, — боже сохрани! Иначе он не шел бы сейчас на собрание комячейки, так сказать, *per pedes Apostolorum*⁷, а нанял бы извозчика и поехал на извозчике, — это значит, что Иван Иванович (со слов Семена Яковлевича) всегда был, есть и будет образцовым строителем Советского государства.

По дороге к моим героям подошел Методий Кириллович, и вскоре они входили в зал заседаний комячейки.

IV

Зал заседаний комячейки,
а также и о том, как проходило собрание

Это весьма симпатично декорированная комната. Каждый ее закоулок напоминает зрителям, что он не просто закоулок, а главным

⁶ Здесь — электрические фонари.

⁷ Апостольскими стопами (лат.).

образом красный уголок. Здесь висят на стене едва ли не все вожди революции.

Кроме вождей, много разных революционных плакатов с разными текстами — профсоюзного, комсомольского и иного происхождения. Тексты страшно интересные, художественно выдержанные (художественная простота!) и такие убедительные, что взгляд на них никогда не задерживается долго: сразу все ясно и понятно. На правой стене в ореоле «монументального реализма» висит местная стенгазета. Это чрезвычайно интересная газета. Тут вам и оригинальные отделе-ды, как то: «Маленькие дефекты большой машины»; тут вам и едкие сатиры на местное начальство, к примеру: «Шашни бывшей кандидатки в комсомол машинистки Попадько».

...Иван Иванович сел на первый стул в первом ряду. Рядом села Марфа Галактионовна, а дальше Методий Кириллович.

Было тихо. Только изредка то тут, то там возникал сдержанный шепот. Время от времени скрипела дверь, и зал понемногу наполнялся. За окном настойчиво звонили к вечерне, и было просто смешно, что где-то там, в церкви, люди стоят перед лампадками и думают об идеалистических катакомбах первых христианских мучеников, а здесь нет никаких лампад, светит совершенно материалистическое электричество и люди думают без всякой идеалистической белиберды.

— Ты помнишь, какой доклад поставлен сегодня? — спросил тихим голосом Иван Иванович и посмотрел на Марфу Галактионовну.

— Разве ты забыл? — сказала товарищ Галакта.— Да сегодня же доклад о последней вылазке против самокритики.

— О! — сказал Иван Иванович и поднял свой нежно-белый указательный палец.

У него был резон поднять палец именно так. Это значило, что мой герой сегодня будет внимательно ловить каждое слово и ни разу не задремлет безмятежной дремотой, идущей от уверенности, что можно спокойно малость поспать, потому что, во-первых, в нужный момент (когда единогласно голосуют) Марфа Галактионовна легонько толкнет его в бок, и, во-вторых, Иван Иванович был убежден, что его комячейка «никогда не предаст интересов пролетариата».

— Интересно послушать! — сказал мой герой и посмотрел на Методия Кирилловича.

— Необычайно интересно! — сказал Методий Кириллович и, подвинувшись ближе к своему другу, произнес таинственным голосом: — У нас... тоже есть!..

— Что есть? — не понял Иван Иванович.

Методий Кириллович посмотрел быстрым взглядом по сторонам — направо, налево, назад — и наконец прошептал отчетливо и решительно:

— Дискуссионщик! Вы понимаете. Настоящий дискуссионщик... Вот угадajte, где он?

От такой неожиданности Иван Иванович даже откинулся назад.

— Что вы говорите? — сказал он взволнованно.— В нашей примерной ячейке есть дискуссионщик?.. Галакточка, ты слышишь?

Но Марфа Галактионовна уже услышала эту сенсацию и внимательно рассматривала лица присутствующих членов.

— Не курьер ли? — спросила она, пронзая взглядом дальнюю фигуру, которая одиноко сидела в последнем ряду.

— Нет! — решительно отрубил Методий Кириллович.

Тогда Марфа Галактионовна снова забегала глазами по стульям. Комячейка уже явилась, так сказать, in cogroge: пришли все члены коллегии, пришли заведующие отделами и начальники с заместителями разных канцелярий, пришли уже председатель месткома и три рядовых служащих, пришли и организаторша женщин и ее организация: секретарша главного начальника, секретарша главного зама и жена главного начальника (последняя, как и Марфа Галактионовна,

присматривала за своими детьми). Словом, не пришли еще только секретарь комсомола и сам главный начальник, который должен делать сегодняшний доклад.

...Товарищ Галакта терялась в догадках и никак не могла угадать, кто же этот дискусионщик.

— Ага! — сказал наконец Иван Иванович. — Теперь я знаю: это, наверное, уборщица!

— Ничего подобного! — сказал Методий Кириллович. — Уборщица не может быть дискусионщицей, потому что она только кандидатка в партию.

— Ну так кто же? — едва не вскрикнула Марфа Галактионовна. — Ну, не мучайте меня!

Методий Кириллович увидел, что дальше он и впрямь не имеет коммунистического права мучить своих товарищей, и, скосив глаза, сказал иронически:

— Вот он!.. Товарищ Лайтер!

— Товарищ Лайтер? Что вы говорите? — развел руками Иван Иванович. — Никогда бы не подумал. Такой тихонький и ласковый — и на тебе! Воистину в тихом омуте всегда черти водятся.

Марфа Галактионовна впилась глазами в маленькую фигурку товарища Лайтера (он сидел далеко слева).

— Да, — сказала она, вздохнув, — он может! Он может быть дискусионщиком. Ты обрати внимание, Жан, на его лицо — оно страшно бледное и, я бы сказала, почти дегенеративное. Мне почему-то всегда казалось, что он анархист-индивидуалист.

— Вы, может, думаете, что у него и на самом деле есть какие-то идеи? — сказал Методий Кириллович, бегая глазами по полу. — Ничего подобного! Свой! Свой своего, так сказать... Вот в чем соль!

— Что вы этим хотите сказать? — спросил недогадливый Иван Иванович.

— Да это я... так! — равнодушно махнул рукой Методий Кириллович.

Но это загадочное «свой» заинтриговало Марфу Галактионовну, хотя она и понимала, в чем дело.

— Вы вечно говорите намеками! — недовольно сказала она. — При чем здесь «свой»?

— Да это мне просто жаль товарища Лайтера, — сказал Методий Кириллович. — Появится еще одна зацепка для антисемитов: снова, скажут, еврей!

Потом Методий Кириллович начал рассказывать, как его когда-то до глубины души возмущало «дело Бейлиса» и как он вообще страшно симпатично относится к евреям. Даже более того: он считает, что самых гениальных людей дала именно эта нация.

— Вот, к примеру, возьмем Христа, — сказал он. — Наш народ и до сих пор не знает, что Христос был еврей.

— А где он теперь работает? — спросил Иван Иванович.

— Христос? — удивленно посмотрел Методий Кириллович.

— Да какой там Христос! Товарищ Лайтер!

Мой герой уже давно надел вторую пару очков и внимательно рассматривал дискусионщика. Его абсолютно не волнует, что товарищ Лайтер еврей: социальная борьба не знает национальных рамок, — и он, как выдержанный партиец, должен бить всякого, кто так или иначе пойдет против самокритики и, значит, против пролетариата. И когда Иван Иванович узнал, что в последнее время товарищ Лайтер заведует трестовской библиотекой, он сразу же решил: «Интеллигент! Деморализованный член партии!»

Но на товарища Лайтера смотрели сейчас едва ли не все члены ячейки. Марфа Галактионовна передала новость соседке, соседка соседу и т. д. Взгляды были пронзительные и такие идеологически выдержанные, что дискусионщик, казалось, еще больше побледнел.

..Наконец на звоннице перестали звонить. Вечерня началась. Тогда в зал вошли главный начальник и секретарь комячейки. В зале стало еще тише, прекратилось даже шушуканье. Все затаилось в напряжении: дисциплина в комкружке была образцовая, и члены ячейки организованно и по-товарищески уважали своего начальника.

— Товарищи,— сказал секретарь, поднимаясь на трибуну,— прошу наметить кандидатуру председателя данного собрания.

— Семена Яковлевича! — выкрикнуло сразу несколько голосов.

Главный начальник (Семен Яковлевич) поправил галстук, мило улыбнулся и развел руками: мол, не могу! спасибо, тысячу раз спасибо за такое трогательное доверие, но — не могу! Время от времени он показывал на свое горло, и присутствующие могли подумать, что дело в духоте (главный начальник тоже страдал ожирением сердца), но эти предположения (правда, их не было) сразу же развеял секретарь.

— Семен Яковлевич сегодня не может председательствовать,— сказал он,— потому что сегодня Семен Яковлевич делает доклад.

— А... а... это другое дело,— загудело в зале.

И комячейка, хорошо помня решения партии о внутривнутрипартийной демократии, предложила кандидатуру из низов.

— Методий Кириллович! — снова выкрикнуло сразу несколько голосов.

У Ивана Ивановича как-то неприятно екнуло сердце. Дело в том, что он и Методий Кириллович были, так сказать, на равных правах: оба члены коллегии и оба считались «замами». И потому если комячейка после главного начальника называла имя Методия Кирилловича, мой герой всегда чувствовал себя не очень хорошо и думал, что случилось большое недоразумение.

Марфа Галактионовна сразу же заметила это.

— Я считаю, так и надо! — сказала она, когда Методий Кириллович уже не прижимался к ней и сел на место председателя собрания (конечно, после единогласного голосования).— Именно его и нужно было избрать по последней инструкции из ЦК. Нельзя же все время выбирать Семена Яковлевича и тебя. Надо же выдвигать и более низкие инстанции.

Иван Иванович с благодарностью посмотрел на жену и, можно сказать, немного успокоился.

— Товарищи! — сказал Методий Кириллович.— Первый вопрос нашей повестки дня — это последняя вылазка против самокритики. Слово имеет Семен Яковлевич.

Зал и вовсе обмер. Было даже слышно, как ударил по окнам мелкий осенний дождик. Часть взглядов пронзила главного начальника, который как раз поднялся на трибуну и уже положил конспект для доклада — номер «Правды», часть комкружка смотрела на товарища Лайтера, который в это время нервно ломал пальцы и упорно смотрел в пол.

— Товарищи! — начал главный начальник.— На предыдущем собрании я сделал доклад о режиме экономии. Что я говорил? Я говорил, что к режиму экономии мы, коммунисты, не можем относиться пассивно, и потом я говорил, что такое режим экономии. Что же такое режим экономии? Режим экономии есть один из последних боевых лозунгов нашей пролетарской партии, и надо его понимать не только... э... э... так сказать, в широком масштабе, но нужно найти ему место и в нашей личной жизни. Опять-таки берем — карандаш. Без режима экономии как мы к нему относились? Мы к нему относились... э... э... так сказать, неаккуратно. Я сам имел честь видеть, как один из наших уважаемых товарищей,— тут Семен Яковлевич мило улыбнулся и посмотрел на управдела,— выбросил в корзинку карандаш, а тот был еще не исписан приблизительно на полтора вершка... Тэк-с! Хе... хе...

Главный начальник остановился, налил воды из графина и, запивая водой начало своей интересной речи, отцовским весело-укоризненным взглядом смотрел на управдела, который выбросил в корзинку карандаш, не исписанный еще приблизительно на 1½ вершка. Смотрела в это время на вышеупомянутого управдела и вся аудитория. Но никто не смотрел на управдела волком — у всех на устах играла милая и симпатичная, хотя и чуть укоризненная, как у главного начальника, улыбка, ибо все были уверены, что управдел безусловно сознательный человек и этого больше не сделает.

— Тэк-с! — продолжал Семен Яковлевич. — Но что надо было сделать в другой ситуации?.. Э... э... Так сказать, при режиме экономии?.. Ну-с? Надо было этот карандаш не выбрасывать в корзинку, а купить для него наконечник за две копейки и исписать карандаш до конца. Ну-с?.. Вот что, на мой взгляд, есть режим экономии, так сказать, в будничной жизни.

Главный начальник снова налил воды из графина и запил дальнейшую часть своей интересной речи.

— Тэк-с!.. — продолжал он. — И когда я теперь подхожу к последней вылазке против самокритики, то что я в ней вижу? Я вижу в ней ту же несознательность!.. Этим я совсем не собираюсь обидеть нашего уважаемого Климентия Степановича и приравнять его вполне законную ошибку с карандашом к незаконной вылазке против самокритики, но элементы несознательности... э... э... так сказать, в какой-то мере сходятся!

— Семен Яковлевич! — воскликнул управдел. — Я уже давно признал свою ошибку. Для меня в партийных делах самолюбия нет.

— Прекрасно! — сказал главный начальник. — В партийных делах и не может быть самолюбия. Надо всегда откровенно и публично признавать свои ошибки... Но позвольте к делу... Итак... э... э... последняя вылазка против самокритики.

Тут докладчик сделал соответственно серьезное лицо, вынул из бокового кармана пенсне, развернул «Правду» и добросовестно, без всяких личных рефренов, вполне конкретно рассказал комячейке то, что было написано в газете по поводу самокритики, что читали сами партийцы и что они вынуждены были слушать снова. Доклад был интересный, аудитория увлеклась им как никогда.

— Теперь разрешите отрезюмировать! — сказал наконец главный начальник. — Итак, последняя вылазка против самокритики есть, так сказать, совершенно несознательный и бузотерский акт. Но мы верим, что товарищи признают свои ошибки и прекратят бузу. Если же они этого не сделают, — тут Семен Яковлевич сделал соответственно суровое лицо, — то... э... э... пролетариат заставит их это сделать!

Громкие аплодисменты заглушили речь оратора. Кто-то воскликнул: «Да здравствуют наши вожди!» — и аудитория, устроив Семену Яковлевичу овацию, едва не пропела «Интернационал». Такого энтузиазма давно уже не было в комячейке, ощущалось, что угроза со стороны Лайтера крепко объединила весь, если можно так выразиться, авангард пролетариата.

— Товарищи! — сказал Методий Кириллович, когда аудитория стихла. — Кто хочет взять слово?

Все посмотрели на того же товарища Лайтера. Кто же как не он должен выступить первый? Конечно, ему не совсем приятно бороться с такой выдержанной аудиторией, но что же делать: не лезь куда не нужно!

— Дайте мне слово! — сказал наконец товарищ Лайтер.

По аудитории пронесся шум и вдруг стих. Так бывает перед грозой, когда замирают деревья и где-то далеко синее грозный тайфун. Было слышно, как в окна бьет мелкий осенний дождик и как Иван Иванович протирает свои роговые очки белоснежным платком.

— Товарищи! — сказал товарищ Лайтер. — Я не только не думаю выступать с критикой постановлений ЦК, а наоборот, я...

Но тайфун уже налетел: аудитория зашумела. Скажите пожалуйста, какая самоуверенность! Он «не думает выступать с критикой постановлений ЦК»? Боже мой, до чего мы дожили! Какой-то шпингалет... и с такими претензиями: он не думает выступать против постановлений ЦК! Какая наглость, какая самовлюбленность.

— Товарищи! — воскликнул товарищ Лайтер и еще больше побледнел. — Разрешите мне высказать некоторые мысли по поводу настоящей постановки самокритики.

Что такое? Что он там говорит?.. «Настоящей постановки самокритики»? Скажите пожалуйста, какой научный сотрудник! Какая самовлюбленность!.. Ну, это уж слишком! Мы не допустим, чтоб разные шпингалеты морочили нам голову своей демагогией.

— Товарищи! — снова вскричал товарищ Лайтер. — Я только хочу кое-что сказать о членах нашей комячейки... Я...

Аудитория зашумела еще сильнее. В каждом проснулся боевой дух, если можно так выразиться, «большевистского старогвардейца», каждому хотелось подбежать к трибуне и воскликнуть: «Довольно с нас меньшевистских речей!»

— Товарищи! — в последний раз закричал товарищ Лайтер. — Я... я... я... мы... мы... мы...

Но напрасно: тайфун бушевал! Тогда Методий Кириллович сделал знак рукой, и тайфун исчез. Методий Кириллович обратился к товарищу Лайтеру с милой отцовской усмешкой:

— Как видите, товарищ Лайтер, аудитория не хочет вас слушать. Я здесь совсем ни при чем. Очевидно, ваши идеи не пользуются успехом у массы.

Товарищ Лайтер потупил взгляд (ему, очевидно, было неловко за свои уклонь и за провал своих идей в массе) и сел на свое прежнее место.

— Кто еще хочет взять слово? — сказал Методий Кириллович.

Иван Иванович понял, что теперь пришел его черед. Именно теперь он должен выступить и продемонстрировать свой ораторский дар в борьбе с местной оппозицией.

— Я прошу! — сказал мой герой и, победно ступая, поднялся на трибуну.

Мой решительный и симпатичный герой положил свой портфель на портфель главного начальника, протер очки белоснежным платком и начал:

— Дорогие товарищи! Наш друг, товарищ Лайтер, хочет взять на себя роль миссионера и проповедовать свои сомнительные и, как вы видели, беспочвенные идеи в той стране, которая никогда не была христианской, — *episcopus in partibus*⁸. Вы понимаете?..

Тут Иван Иванович, как и его начальник, налил из графина воды и победно посмотрел поверх очков на аудиторию: мол, ехидное начало?

— Ловко! — пронесся по аудитории шум похвалы.

— Но, — продолжал мой герой, — мы таких миссионеров не принимаем!.. (Голоса: «Правильно! Правильно!») Предыдущий оратор, то есть товарищ Лайтер, распинаясь на этой трибуне, уверяя нас, что самокритика нам не нужна, что самокритика тормозит наш хозяйственный процесс, что... и так далее и тому подобное. А я вот говорю: ничего подобного! Она не может затормозить хозяйственный процесс! (Голоса: «Правильно! Правильно!») Кто поверит товарищу Лайтеру? Ну скажите мне: кто ему поверит?

— Никто! — вскричали сразу несколько голосов.

— Совершенно справедливо: никто! Тысячу раз — никто! (Мой герой уже входил в азарт.) Мы все помним, как трудно нам было за-

⁸ Епископ в стране неверующих (лат.)

воевать диктатуру пролетариата, сколько мы пролили крови на полях гражданской войны, сколько наших дорогих товарищей расстреляно в контрразведке, и мы не можем молчать и не сказать товарищу Лайтеру: «Уберите, пожалуйста, ваши сомнительные руки от достижений пролетариата и не морочьте нам голову! Вы хотите расколоть партию, но вам это не удастся. Вы хотите...» Но — довольно! Довольно!..

Тут Иван Иванович вдруг схватился за сердце и сказал, что он не может закончить свою речь, потому что боится «за разрыв сердца». Аудитория обрушила на Ивана Ивановича громкие и благодарные аплодисменты. Видно было, что товарищ Лайтер и на самом деле ошибся: ячейка была абсолютно идеологически выдержанна.

После Ивана Ивановича выступали и другие ораторы, но все уже было ясно, и потому Методий Кириллович закрыл собрание.

Комячейка повалила на улицу. Дождик к этому времени уже стих, и над городом молчаливо стояли тяжелые осенние тучи.

— ...Ну, как я его? Хорошо? — спросил Иван Иванович.

— Сегодня ты говорил прекрасно, — сказала Марфа Галактионовна. — Марья Ивановна просто в восторге от твоей речи.

— Жаль только, что сердце не дает мне разойтись! — вздохнул мой герой. — Теперь я абсолютно убежден, что наделен ораторским даром... Абсолютно!

V

И вот мои симпатичные герои уже вошли в свою квартиру, а также и о том, как может обычный случай наделать много неприятностей

И вот мои симпатичные герои уже вошли в свою квартиру. Везде образцовый порядок, и все на своем месте. Явдоха хлопчет в кухне возле лохани с помоями, мадемуазель Люси вышивает сорочку своему будущему жениху. Дети уже спят безмятежным сном.

— Ты не помнишь, — спросил Иван Иванович, — мне не подавали на собрании записок?

— Кажется, нет! — сказала Марфа Галактионовна.

Мой вполне удовлетворенный герой отодвинул от себя чашку с чаем и взял портфель.

— А все-таки посмотрим! — сказал он. — Может, я так увлекся, что и не заметил, как сунул какую-нибудь писульку.

Иван Иванович полез в папку и начал там рыться. Рылся он недолго, потому что вдруг наткнулся на какой-то документ. Вытащил его.

— В чем дело? — сказал Иван Иванович и побледнел.

— Что ты там нашел, Жан? — спросила Марфа Галактионовна.

Иван Иванович посмотрел на жену растерянными глазами и передал ей документ. Марфа Галактионовна выхватила из рук Ивана Ивановича указанный таинственный документ и тоже побледнела.

— Как ты считаешь? — спросил Иван Иванович. — Что это значит?

— Не понимаю! — развела руками Марфа Галактионовна.

— Не подсунил ли кто-нибудь нарочно... с целью скомпрометировать меня? Как ты считаешь?

Марфа Галактионовна внимательно посмотрела на потолок: она думала. Думала она долго и наконец сказала.

— Все возможно... — сказала она. — Я знаю: у тебя много врагов.

— Что ты говоришь, Галакточка! — воскликнул Иван Иванович. — У меня много врагов? Что же ты мне раньше об этом не говорила?

— Я не хотела тебя волновать! — вздохнула Марфа Галактионовна. — Зачем об этом говорить, если у тебя и так плохое сердце!

— Кто же эти враги? — снова вскричал Иван Иванович.

— Я не знаю! — вздохнула Марфа Галактионовна. — Как я могу их знать, если они тайные.

Иван Иванович в отчаянии вцепился руками в свои волосы и рухнул на стол.

Однако и он был прав: документ, который кто-то подсунул ему в портфель, был и вправду страшный документ. Это была хоть и легальная, но, к сожалению, еще не опубликованная стенограмма какого-то Пленума ЦК. Это была, может, вовсе не секретная, а может, и совершенно секретная книжечка, потому что мой герой ее, к сожалению, совсем не читал, а прочитать сейчас (да еще и всю!) он никак не мог. Как нарочно, в этот момент за окном снова побежал мелкий осенний дождик, и казалось уже Ивану Ивановичу, что и впрямь в нашей жизни есть место для минора и что не всегда одинаково светит электричество: иногда бодрым радостным светом идеологически выдержанного уголка, а иногда несколько иначе.

— Ну так что же делать? — спросил Иван Иванович подстреленным голосом.

— Очевидно, надо эту книжечку немедленно сжечь — и точка! — сказала Марфа Галактионовна.

— Сжечь? А ты уверена, что ее не подложили мне нарочно? А что, если спросят, куда я ее дел?.. Может, отнести ее Семену Яковлевичу?

— И это не дело! — сказала Марфа Галактионовна. — Опять-таки спросят: где ты ее взял?

— Боже мой! — простонал мой герой. — Что мне делать?

Марфа Галактионовна тоже не знала, что делать. Чего она только не передумала в этот момент. Но проклятый документ загадочно пребывал на столе, и разгадки не предвиделось.

Но вот неожиданно начало проясняться, и Марфа Галактионовна вскрикнула.

— Я знаю! — вскрикнула она. — Это недоразумение!

— Что ты хочешь сказать? — с облегчением вздохнул Иван Иванович.

— Я хочу спросить тебя: где лежал твой портфель? Кажется, на портфеле Семена Яковлевича?

Иван Иванович приложил палец к своим губам и задумался.

— Кажется, — сказал он, — кажется, на портфеле Семена Яковлевича.

— Ну и вот! Так знай же: этот документ положил в твой портфель не кто иной, как Семен Яковлевич, и положил совсем случайно.

— Как так случайно? — не понимал Иван Иванович.

— А так! Я помню, он что-то вынимал из своего портфеля, и, очевидно, именно эту книжечку. Он, наверное, хотел иллюстрировать ею свою речь, но потом передумал и положил ее... но уже не в свой портфель, а случайно в твой!

— Гениальная идея! — воскликнул Иван Иванович. — Ты, голубушка, ей-богу, как Шерлок Холмс... Только как его спросить?

— Ну, это просто, — сказала Марфа Галактионовна. — Иди сейчас же к телефону и поинтересуйся, не потерял ли он чего-нибудь из своего портфеля.

Мой герой вскочил со стула и побежал в кабинет. Было слышно, как он нервно взял трубку и отчетливо сказал:

— Сорок ноль два... Не свободно?.. Фу!.. Черт!..

Было слышно, как он снова сказал: «40-02», но снова оказалось занято. И так до трех раз. На четвертый раз Ивана Ивановича соединили с Семеном Яковлевичем, а через две минуты мой герой уже вбежал в столовую.

— Ты не ошиблась! — воскликнул он и заключил в объятия свою симпатичную и догадливую жену. — Ты не ошиблась! Семен Яковлевич случайно положил этот документ в мой портфель!

Марфа Галактионовна чрезвычайно радовалась такому счастливому концу и предложила даже Ивану Ивановичу поужинать с армянской.

И вот Иван Иванович уже лежит на своем сюрпризном ложе и читает последний номер «Правды». В радиорупоре слышен оркестр какой-то оперетки, а из кухни слышно, как Явдоха возится возле по-мойной лохани.

Марфа Галактионовна сняла юбку и осталась в панталонах. Она подошла к двери в детскую спальню и сказала:

— Ecoutez⁹! Передайте мне, пожалуйста, ночной горшок!

— Avec plaisir, madame¹⁰,— сказала мадемуазель Люси и передала сосуд.

Потом мадемуазель Люси пошла к детским кроваткам, где уже спали безмятежным сном Май и Фиалка, а Марфа Галактионовна полезла на сюрпризное ложе и подвинула Ивана Ивановича к стене своим шикарным торсом.

— ...Ну а все ж таки,— сказала она.— Чем же социализм отличается от коммунизма?.. Конкретно.

— Боже мой! Я же тебе говорил,— сказал Иван Иванович,— коммунизм — это высшая, так сказать, идеальная общественная форма.

Марфа Галактионовна широко зевнула и погасила электричество. Вскоре в комнате был слышен легкий храп. За окном моросил осенний дождик, но минора в нем уже не ощущалось: был дождик мажорного сезона. После трагического происшествия с вышеназванным документом Ивану Ивановичу снились поля и мягко-бирюзовое небо, где прекрасные горизонты тревожат душу той легкой тревогой, что не воспламеняет тебя бунтом мелкобуржуазного импрессионизма, а совсем наоборот — ласкает радостным покоем мажорно-монументального реализма.

VI

Чем же надо кончать, а также о том, что же не дает автору закончить немедленно

Чем же надо кончать? Кончать, очевидно, придется не сном Ивана Ивановича (пусть он спит себе на здоровье), а описанием того трагического финала, что все-таки свалился на совсем и ни в чем не повинную голову моего идеологически выдержанного героя.

Правда, знаменитое изобретение (о нем дальше, это и есть изобретение, сделавшее имя Ивана Ивановича бессмертным!) вынуждает автора написать дополнительно небольшую главу, но, во-первых, эта предпоследняя глава — так сказать, глава необязательная (нетерпеливый читатель может ее и не читать), а во-вторых, большим преступлением было бы обойти то, чего обойти никак нельзя.

Итак, после осени пришла, как и следовало ожидать, зима.

Морозы были лютые, но мой герой самоотверженно томился в духоте: его дом, что на улице Томаса Мора, вызвал на «социалистическое соревнование» (так именно и написано в домкомовских книжках) дом, что на улице Шукина, и потому нельзя было подкачать даже в смысле отопления: каждый из домов доказывал, что он теплее своего противника и что он не только умеет бороться с буржуазией, но и успешно спорит с природой. И вот однажды, сидя как раз в такой духоте, Иван Иванович сказал.

— Галакточка! — сказал однажды Иван Иванович.— Я чувствую, что могу быть полезен своей партии, во-первых, партийной и советской работой, а во-вторых, и своими изобретениями.

⁹ Послушайте! (Франц.)

¹⁰ С удовольствием, мадам (франц.).

— Что ты надумал, Жан?— сказала Марфа Галактионовна, кусая государственные орехи. (Она принципиально никогда не покупала орехов у частника и ела только государственные орехи из государственных лесов, а именно те, что в качестве подарка присылал ей брат, лесничий.) Ну, говори — я послушаю.

— Видишь ли,— промолвил Иван Иванович,— сидел я это и думал о лете. Придет, значит, лето, а с ним прилетят и мухи. Ты представляешь, как они мешают нашей работе? Ужас. Так вот я и решил: надо придумать какую-нибудь мухобойку. И я придумаю, даю тебе честное коммунистическое слово. Ты думаешь, мне не хватит таланта? Ну, скажи, голубушка!

— Отчего же не хватит? — промолвила товарищ Галакта, закатывая глаза.— Я ничуть не сомневаюсь! Бывает, талант проявляется даже у простого народа, а ты же интеллигент, с высшим образованием.

Такой отклик жены на его желание изобрести мухобойку столь вдохновил моего героя, что он тут же приступил к работе. Во-первых, он написал заявление в свою комячейку, чтоб его освободили от партнагрузки (бюро комячейки уже на следующий день освободило его от партнагрузки «как научного сотрудника, работающего над собственным изобретением»), а подав заявление, принялся за мухобойку.

Всю зиму Иван Иванович самоотверженно ломал голову и только в канун весны пришел к выводу, что в соответствии с новейшими достижениями техники мухобойку нужно делать с помощью электричества. Тогда Иван Иванович начал изучать некоторые дисциплины и ставить опыты. На его столе появились электроскопы с листочками, он создавал, скажем, противоположные электричества на соединенных электроскопах, он ловил «электрический ветер» и гасил им свечку. Он обращался к лейденской банке и франклиновому колесу и наконец, после долгого труда, был поражен в самое сердце упоминанием о т. н. опыте Гальвани. Как известно, Гальвани доказал, что мышцы и нервы животного могут быть источниками электричества, но Ивана Ивановича страшно трогало то, что при соединении нерва и мышц лягушки лягушачья ножка дрыгает. Трогало именно то, что она дрыгает. Мой герой иначе и не представлял себе смерти мухи на электрической мухобойке — только смерть, которой, так сказать, прелиминарно соответствовало дрыганье ножками.

В скором времени Иван Иванович сделался героем дня нашего, как он говорит, с возмущением отвергая позорное мешанство, «с головы до пят революционного города». он изобрел-таки электрическую мухобойку. О нем заговорили всюду, а Марфа Галактионовна стала еще больше уважать его. Секрет изобретения не оглашался, но было известно, что мухобойка крайне оригинально была мух: если муха садилась на аппарат моего героя и как раз в желательном согласно проекту месте, электричество непременно убивало ее.

— Вот только беда,— говорил Иван Иванович — что муха не всегда садится там, где нужно... Ну, ничего,— добавлял он.— Ничего!

И он был прав, добавляя это. Главное — начало, а потом как-то да утрясется: если не он усовершенствует свой аппарат — мухобойку, то сынок его Май, подростки, завершит дело талантливого отца-изобретателя. Одним словом, Иван Иванович на некоторое время успокоился, как раз на то время, пока его голову опять не пронзила новая гениальная идея.

Как уже говорилось, дом моего героя был в состоянии «социалистического соревнования». Такой чрезвычайно похвальный факт тоже мог бы подвигнуть Ивана Ивановича к мысли, что «социалистически» могут соревноваться не только коллективы, а и отдельные индивидуумы, но этого не случилось, а навел его на нужную мысль (хотя

это на первый взгляд и странно!) — навел его собственный радиорупор.

Отдыхал, значит, мой герой на диване и ждал очередного концерта с местной радиостанции. Май и Фиалка играли в спальне с мадемуазель Люси, товарищ Галакта сидела с его другом Методием Кирилловичем в кабинете. Вдруг зашипело: «Галло! Галло! Говорит радиостанция на волне...» — и т. д.

Прекрасно! Но слышит тут Иван Иванович от конференса, что сегодня радиостанция берет на себя роль плацдарма для «социалистического соревнования». Конкретно говоря, сегодня, говорит конференс, соревнуются: балалаечник, скрипач, бандурист, пианистка, домбрист, гармонист и гобойщик.

«Интересно послушать! — подумал мой герой. — Посмотрим, кто кого!»

Первым выступил балалаечник. Принимая во внимание, что именно так согласно вышеуказанному соревноваться могут только здоровые мажорные элементы нашего общества, балалаечник на этот раз счел возможным сыграть какую-то пессимистическую песенку, которой до сих пор не давали места на радиостанции. В таком же духе играли и прочие соревновальщики. Мой герой сперва недовольно качал головой, но затем пришел к той же мысли, что и балалаечник («...именно так согласно вышеуказанному соревноваться могут только здоровые, мажорные элементы нашего общества»), и, придя к этой мысли, неожиданно пришел и к другой.

— Методий Кириллович! — позвал он взволнованным голосом своего симпатичного коллегу. — Я вызываю вас на социалистическое соревнование!

Сказав это, Иван Иванович протер очки своим белоснежным платком, с благодарностью посмотрел на радиорупор и в конце концов проследовал в столовую, где его симпатичный друг сидел с его же милой женой. Момент для встречи двух приятелей оказался не совсем удачный (Методий Кириллович еще не успел полностью прийти в себя после интимного разговора с товарищем Галактой), и все-таки к согласию пришли мгновенно.

— Я принимаю ваш вызов! — наконец оправившись, решительно заявил Методий Кириллович. — Пожалуйста!

И тут же было решено, что Иван Иванович сделает три мухобойки, а Методий Кириллович станет три дня агитировать работников треста за создание фабрики по производству тех же самых мухобоек.

В таких интересных разговорах и в таких не менее интересных мыслях проходили дни моего героя.

После рождества приехал к Ивану Ивановичу брат Марфы Галактионовны, товарищ Мрачный (псевдоним). Да, тот брат, который лесничий. Брат приехал, как выяснилось, надолго, потому что его, как выяснилось, партия исключила из партии и из лесничества то ли за жульничество («...за жульничество», — говорили злые языки), то ли за оппозиционные уклоны («...за оппозиционные уклоны», — говорила товарищ Галакта). С уклонами Иван Иванович, как известно, решительно боролся, но в данном случае бороться он не мог — не потому, что речь шла о его борьбе против родственника, а потому, что мой герой был тактичным, благородным человеком и вести себя с гостем неблагородно, можно сказать, органически не мог, тем паче что по городу начали ходить «тревожные» слухи относительно каких-то «перевыборов» Политбюро.

Товарищ Мрачный целыми днями громил аппаратчиков и уверял Ивана Ивановича, что «это им так не пройдет». Иван Иванович слушал, а Марфа Галактионовна говорила.

— Я думаю, — говорила Марфа Галактионовна, — что у Зюзи есть основания быть недовольным аппаратчиками. Как ты считаешь, Жан?.. Ты знаешь, я уже давно точу зубы на Сталина.

— Я, Галакточка, ничего не имею против, — наконец вздохнул мой стойкий герой, — но что касается Сталина, я с тобой, — тут Иван Иванович оглядывался, — согласен. Согласен, Галакточка. Совершенно! На мой взгляд, он тоже... как бы это сказать... дискуссионщик... То есть следует предполагать, что он дискуссионщик.

— Следует предполагать? — кричал товарищ Мрачный. — И это говорите вы — высокоинтеллигентный человек?

Тут мой герой не то чтобы дрейфил, а просто говорил, что его не так поняли, что он, конечно, и в этом вопросе «органически» не может быть не революционером «с головы до пят» и что он хочет только, чтоб все было хорошо и чтоб победа была на стороне пролетариата, то есть чтобы можно было спокойно ходить в ячейку по четвергам и жить по-человечески. Он уже достаточно настрадался на фронтах, то есть в наробразе, когда была гражданская война.

— А все-таки, — наседали товарищ Мрачный, — все-таки скажите мне: неужели и по-вашему нужна эта идиотская самокритика?

Иван Иванович вынимал свой белоснежный платок и нервно протирал им очки. Он, конечно, знал, как он должен ответить, но он не мог, к сожалению, ответить, потому что тут как раз вмешивалась товарищ Галакта.

Марфа Галактионовна прикрывала дверь и говорила конспиративным голосом.

— Конечно, Жан, это абсурд, — говорила она. — Неужели ты и до сих пор соглашаешься? Ну, скажи мне! Скажи!

Иван Иванович вроде бы раньше соглашался, то есть считал, что товарищ Галакта тоже соглашается, но теперь он уже не мог соглашаться, тем более что, по словам товарища Мрачного, аппаратчики должны были «на днях полететь» и «вообще потерять свою силу».

— Нет!.. Не соглашаюсь! — вдруг решительно снова вздохнул Иван Иванович и тут же, подбодренный благодарным взглядом жены, добавлял: — Я даже скажу вам по секрету, что я с самого начала мало доверял этой идее. Ей-богу.

Словом, Иван Иванович говорил только то, что подсказывала ему его революционная совесть. Правда, когда товарищ Мрачный, получив должность, неожиданно изменил свои взгляды, Иван Иванович своих взглядов не изменил, он просто снова остановился на своих имевших место до приезда товарища Мрачного позициях, то есть он снова начал горячо защищать самокритику, но это доказывает только то, что мой герой, будучи ортодоксальным марксистом, не мог не владеть, и притом хорошо, ланцетом материалистической диалектики. Вот и все, плюс, конечно, революционная совесть.

И потому непонятно (решительно непонятно!), как могло случиться это большое горе, это грандиозное несчастье. Вы спрашиваете: какое несчастье, какое горе? Читайте последнюю главу — и вы увидите.

VII

Трагический финал, а также о том,
какие надо сделать выводы

Как-то Иван Иванович лежал на диване после вкусного обеда и просматривал «Вісті». Он всегда внимательно просматривал эту газету: во-первых, потому, что в ней было много правительственных распоряжений, а он не хотел быть не в курсе государственного строительства, а во-вторых, потому, что редакция этой газеты сильно трогала его подбором материала. Здесь всего было в меру: и смешного (Иван Иванович, например, очень возмущался поведением драматурга Кулиша, который в своей пьесе «Мина Мазайло» нахально высмеял мастера мажорного смеха Иону Вочревесущего. Иону Вочревесущего Иван Иванович считал едва ли не гениальным человеком), здесь было

немного о кооперации, чуть-чуть о сельском хозяйстве, а также кое-что и о культурной жизни страны. Особенно волновали Ивана Ивановича передовые статьи, а среди них те, что шли без подписи.

— Не говори, Галакточка! — часто взволнованным голосом бросал он в сторону жены. — Вот у кого поучиться бы нашим газетам! Какая красота высказывания! Сколько в этих передовых пища для сердца и ума. Как они волнуют своей тематикой! Нет, не говори, Галакточка, все-таки постановка дела — великое дело!

— Еще бы! — вздыхала Марфа Галактионовна. — Это же наша старейшая газета. Скоро у нее будет едва ли не десятилетний опыт!

Иван Иванович смотрел в окно на молодой снежок, и на душе его были радость и гордость невыразимые...

...Так вот, значит, однажды Иван Иванович лежал после вкусного обеда на диване и просматривал «Вісті».

Вдруг глаза его расширились, и он, как и тогда, когда наткнулся на случайно положенный в его портфель «страшный документ», как и тогда, он очень сильно побледнел. Нижние пальцы моего героя задрожали. Как на грех, в это время в квартире никого не было (вся семья поехала в парк шпацировать), только Явдоха возилась в кухне. Иван Иванович протер глаза и еще раз внимательно перечитал так сильно взволновавшие его строки. Потом мой герой встал с дивана и, можно сказать, даже забегал по комнате. Он никогда не метался так энергично, как сейчас, и потому следовало предположить, что он вычитал по меньшей мере: объявлена война, вражеские силы двинулись на Советскую республику или сообщение о смерти кого-то из своих любимых вождей.

— Гибель революции, — шептал он. — Явная гибель! Если газета не врет — а я ей всегда верил! — если она не врет... то... Нет! Нет! Этого не может быть! Нет! Нет!

У Ивана Ивановича даже пот выступил на лбу. Временами казалось, что он потеряет сознание и, как подстреленный заяц (правда, он в этот момент был похож скорее на, если можно так выразиться, взволнованную породистую корову), — и, как подстреленный заяц, упадет на свой сюрпризный ковер.

Но этого — слава тебе, господи! — не случилось. Мой герой понемногу начал отходить и наконец отошел совсем. Тогда он приблизился к окну и открыл его.

Запахло весенними ароматами (тогда уже шла весна). Прямо — заходило солнце. Оно заходило так обычно, будто и не было в газете ничего страшного. Аж обидно было смотреть на этот равнодушный огненный шар. Но Иван Иванович не рассеивал своего внимания: мол, плевать ему на солнце, он давно уже взял себя в руки. Правда, те руки, в которые он себя взял, все еще слегка и даже больше чем слегка дрожали, — но при чем же здесь он?

Мой герой вытер со лба вышеупомянутый пот и, не зная, с кем поделиться своими мыслями, вдруг ощутил в себе прилив нежности и большое желание поговорить с кухаркой.

— Посуду моете, Явдоха? — нежным, ласковым, чуть ли не социальным воспитательским голосом сказал Иван Иванович и остановился на пороге кухни. — Ну как оно — не трудно вам жить у нас?

— Чего там трудно! — ответила, как и всегда, несколько холодно (черная неблагодарность!) кухарка. — Чего там трудно, мы уж привыкли, барин!

В другой раз мой иногда страдающий легкой глуховатостью герой, может, и не обратил бы внимания на это возмутительное «барин». Товарищ Галакта даже считала, что это в порядке вещей: мол, ничего особенного тут нет, если кухарка называет Жана баринном, — во-первых, никто этого не слышит и, значит, нет никакой компрометации, а во-вторых, товарищ Галакта никогда не посмеет лишить Явдо-

ху свободы слова (кухарке нравится так — пусть так и говорит!). Но на этот раз Иван Иванович чуть не подскочил.

— Какой я вам барин, Явдошка! — воскликнул он в страшном отчаянии. — Разве я вам барин? — Иван Иванович мило улыбнулся и, разведя руками, пояснил: — Товарищ! Да! Товарищ!

Явдоха удивленно посмотрела на хозяина.

— Пусть будет по-вашему! — пожалала она плечами и, пожав плечами, взялась за бадейку с помоями.

— Да, да, Явдошка! — промолвил Иван Иванович дрожащим голосом. — Я вам не барин, я... я вам настоящий друг и товарищ. Я вам — вы же помните? Я вам всегда говорил, чтоб вы называли меня товарищем! (Иван Иванович и сам уже верил, что он всегда предлагал Явдохе называть себя товарищем, хотя этого, можно сказать, и не было — не потому не было, что он не хотел, а потому, что он просто забыл.) Всегда говорил, Явдошка. И теперь говорю! Да!.. — Иван Иванович снова вытер пот со своего чела и неожиданно воскликнул: — Разрешите, — воскликнул он, — я вынесу бадейку с помоями!

Это последнее предложение выскочило из уст хозяина как-то без всякой на то нужды. Но выскочив, оно уже не могло вернуться в те же самые уста, и притом так, будто его и не было (воистину слово не муха — вылетит, не поймашь даже с помощью мухобойки). Иван Иванович заволновался тем волнением, когда чувствуешь себя героем, а удивленная Явдоха решительно не хотела отдавать ему бадейку. Началась борьба. И неизвестно, чем бы она кончилась, если бы в этот момент не открылась дверь и в двери не возникла Марфа Галактионовна.

— Жан! В чем дело? — грозно сказала Марфа Галактионовна, увидев борьбу. — Что это значит?

Товарищ Галакта поняла, конечно, эту сценку как ухаживание моего героя за кухаркой, и потому не долго думая она тут же вскрикнула.

— Вон! — вскрикнула она, обращаясь к Явдохе. — Чтоб ноги твоей здесь больше не было! Вон! Вон!

— Что ты делаешь, Галакточка? — в свою очередь вскрикнул Иван Иванович. — Не делай этого, голубушка. Прошу тебя, не делай!

Но Марфа Галактионовна уже ничего не слышала и только кричала «вон!». Когда же кухарка вышла из кухни и когда красный и вспотевший Иван Иванович подвел свою жену к дивану, то она, Марфа Галактионовна, все равно не дала вымолвить и слова. Потом товарищ Галакта устроила истерику. Наконец истерика кончилась, и тогда выяснилось, в чем дело. Выяснилось после того, как мой герой окончательно убедил свою взволнованную жену, что он не ухаживать хотел за Явдохой, а только хотел показать ей, что он ничем (буквально ничем!) не отличается от нее, от кухарки, и даже может вынести бадейку с помоями. Убедил он ее не словами, а, так сказать, делом. Это случилось именно тогда, когда и товарищ Галакта прочитала в «Вестях» так взволновавшие Ивана Ивановича строчки.

— Да! Ты был прав! — уже двойным голосом (спокойным — Иван Иванович не изменил, и беспокойным — газета) сказала она, брызгая на себя одеколоном. — Да. Ты был прав. Но у тебя, Жан, нет оснований волноваться. Боже мой, отчего ты, Жан, так волнуешься? Не устраивай паники! Пожалей свое сердце! Чистка же только для низов! Члены коллегии, на мой взгляд, ни в коем случае не будут чиститься.

— Ах, Галакточка! — подстреленным голосом сказал мой герой. — Ты недочитала. — Иван Иванович подал жене номер «Вестей». — Ну вот смотри, голубушка. Здесь написано да же, что будут чистить да же членов ЦК. Ты понимаешь? Членов ЦК!

— Этого не может быть! Я не верю! — решительно отрезала Марфа Галактионовна. — Членов ЦК не могут чистить... Это просто для

народа... для массы! В противном случае мы загубили бы революцию... Да...

— Безусловно! Безусловно гибель революции! — сказал Иван Иванович и в отчаянии схватился за голову.— Ах, боже мой, что они делают! Нет, Галакточка, я таки не зря не соглашался с самокритикой. Что хочешь со мной делай, а я аппаратчикам доверять теперь не могу. Даю тебе честное коммунистическое слово. Ты понимаешь — не могу!

Взволнованный Иван Иванович бросился в кабинет и позвонил Методию Кирилловичу.

— Слышали?..— спросил он в трубку.— Ну да! Ну да!.. Ну, как вы?.. Я? Я же, знаете, мне что?.. Пожалуйста, хоть сегодня! Только я думаю, знаете... ну, словом, заходите — поговорим. Надо устроить семейный совет.

Тут мой герой закашлялся и положил трубку на ее трубковое место.

Всю ночь Ивана Ивановича и Марфу Галактионовну кусали то ли клопы, то ли блохи, и они никак не могли уснуть. А когда пришло новое утро, мой герой поспешил в учреждение. Он забыл даже поцеловать Мая и Фиалку отцовским поцелуем. Но в учреждении его ждала еще большая неприятность. Там он, во-первых, окончательно убедился, что ему обязательно придется чиститься (выходит, его любимая газета не соврала и на этот раз), во-вторых, он узнал, что работу его комячейки с сегодняшнего дня начинает обследовать специальная комиссия из райкома. Об этом сообщил Методий Кириллович.

— Зачем комиссия? Зачем обследование? — спросил побледневший за ночь Иван Иванович, без сил опускаясь в кресло.— Ну скажите мне — зачем?

— А разве вам не ясно? Наверное, хотят кого-то вычистить. И, наверное, не только из комячейки,— сказал догадливый Методий Кириллович,— а даже кое-кого и из бюро.

— И из бюро? — в отчаянии промолвил мой герой (он был членом, хотя и не очень активным, своего бюро).— Что вы говорите? Нет, вы просто сеете панику. Вы ошибаетесь, Методий Кириллович! Да, ошибаетесь... Я только не понимаю, откуда это все взялось?

— Это уж вы спросите у своего товарища Лайтера,— ответил Методий Кириллович, подчеркнув «своего».— Это, будьте уверены, это его работка.

— Моего товарища Лайтера? — до того растерялся Иван Иванович, что даже выпустил из рук очки, которые протирал своим белоснежным платком.— Вы серьезно говорите «моего»?

— Да! — как и всегда, спокойно ответил Методий Кириллович.— Именно вашего. Я не член бюро, а вы как член бюро обязаны были давно знать, что это за штучка. Разве я вам не говорил? Свой своего, так сказать!.. Почему ж вы его до сих пор...

— Ах, боже мой, ничего не понимаю! — воскликнул Иван Иванович тем же самым подстреленным голосом.— Буквально ничего!

Мой герой резво покинул Методия Кирилловича и побежал к Семену Яковлевичу, главному начальнику и члену бюро. О чем они там говорили — мне неизвестно. Однако я считаю, что это не интересует и читателя. Давать в деталях трагическую гибель моего героя я не собирался. Скажу только, что райком прислал комиссию, так сказать, необъективную: во-первых, она констатировала, что товарищ Лайтер не оппозиционер и не бузотер, а просто активный партиец, во-вторых, комиссия приказала немедленно переизбрать бюро комячейки, а в-третьих (это уж просто трагическое недоразумение), Ивану Ивановичу, Марфе Галактионовне, Методию Кирилловичу и еще многим еще до чистки суждено было «выйти из партии», как говорила впоследствии товарищ Галакта.

Иван Иванович, придя домой после «выйти из партии», склонился над своей мухобойкой и вдруг заплакал меленькими, в первый раз минорными слезами.

— Пропал! — вскрикнул он. — Боже мой, какое трагическое недо-
разумение! Почему именно мне суждено так страдать за революцию?
Чем я провинился?

Но на последний вопрос никто не ответил. Марфа Галактионовна после «выйти из партии» еще не пришла, а Май и Фиалка шпацировали где-то с мадемуазель Люси. Что ж до кухарки Явдохи, то она пока что ничего не знала, а потому и теперь тянула какую-то свою, совсем непонятную псалю, как раз ту, что, с одной стороны, вроде бы веселая, а с другой — как будто бы дразнит.

Так что мажорная новелла, можно сказать, окончена. Конечно, я и сейчас вижу недовольные лица (мол, все хорошо, да вот публицистики много), но и на этот раз, к сожалению, ничем не могу помочь.

Что же делать, дорогие читатели, если я хочу, чтоб мои произведения читали решительно все граждане нашей республики, даже такие деловые, как вот Иван Иванович и Марфа Галактионовна, а деловые люди, как известно, читают только мажорные новеллы с уклоном в публицистику. Надо, очевидно, идти на компромисс.

...А впрочем, Теккерей, например, говорит, что Свифт (вы помните «Путешествие Гулливера»?) производит на него впечатление могучего гиганта и что гибель его, Свифта, напоминает ему, Теккерее, гибель грандиозного царства.

Так думал когда-то не только Иван Иванович, но сегодня думаю и я, когда останавливаю свои временами вольтерьянский взгляд на четком силуэте злого английского сатирика.

...— И потом, почему Салтыков-Щедрин мог быть вице-губернатором, а я не могу? Правда?

Итак, до свидания, золотой мой читатель! Надеюсь еще раз встретиться с вами. В моем ящичке (довожу до вашего сведения) есть целая галерея идеологически выдержанных, монументально-реалистических типов нашей нежно-прекрасной эпохи, а вы (довожу до вашего сведения), очевидно, имеете охоту познакомиться с ними. Ну, и вот!

1929.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Можно было бы говорить о судьбе, но судьбу мы выбираем сами. М. Хвильевый прожил тридцать девять с половиной лет: родился 1(13) декабря 1893 года, а 13 мая 1933-го застрелился в своем рабочем кабинете.

По-украински «хвиля» — «волна», но еще и «мгновенно», «миг». Писатель, взявший себе псевдоним Хвильевый (его настоящая фамилия Фитилев; отец русский, мать украинка), словно провидел течение своей метеоритно-яркой жизни.

Для современного читателя, много узнавшего о прошлом, 1933 год закономерно ассоциируется с пиком голода, спровоцированного сталинщиной в нашей стране и с особой силой ударившего по украинскому крестьянству. Гораздо меньше известно о жестокой жатве 20—30-х годов на ниве украинской культуры (как и культуры казачьей, белорусской и прочих); под флагом борьбы с идейным отступничеством, и особенно «буржуазным национализмом», были репрессированы сотни одних только писателей. Микола Хвильевый просто опередил неизбежное, его облик, творчество и судьба отразили взлет и трагедию революционной интеллигенции.

«Основоположник поистине новой украинской прозы» — это определение принадлежит известному литературоведу Александру Белецкому. Оно родилось в ответ на выход в 1923 году небольшой книжки М. Хвильевого «Синие этюды». Дебют был триумфальным, известность автора «Синих этюдов» росла с каждой новой публикацией, и два года спустя из тридцати опрошенных харьковских писателей двадцать восемь безоговорочно отдали первенство М. Хвильевому. А вот поколение автора этой

заметки (я окончил школу в 1953 году), как и многие другие поколения украинцев, пребывало в полном неведении о самом существовании основоположника. Его имя было изъято из украинской культуры в начале 30-х.

Утешиться тем, что время всему определяет точную цену? Или вдуматься, какие не поддающиеся учету потери стоят за этой расхожей теперь сентенцией?

Социальная оттепель 60-х годов слабо коснулась имени и творческого наследия М. Хвелевого. Романтический силуэт писателя возник на страницах литературных мемуаров (в первую очередь «Рассказов о непокое» Ю. Смолича), но произведения не печатались по-прежнему, и после его ухода из жизни понадобилось более полувека, чтобы слово «основоположника», хоть и сильно дозированное, снова зазвучало на страницах периодических изданий Украины. За рубежом же в застойные для нас годы издавались проза, поэзия и публицистика М. Хвелевого (вплоть до американско-канадского пятитомника), труды о нем и его эпохе. Ну да нам не в новинку было отдавать за ненадобностью наше собственное духовное достояние...

Времена все-таки меняются. Теперь с частицей творчества большого украинского писателя познакомится многочисленный читатель, владеющий русским языком¹. Речь не об отвлеченном просветительстве, а о реальном духовном фундаменте межнационального взаимоуважения.

Сколько было сказано в свое время (в том числе и самим Сталиным) о неприятии М. Хвелевым «всего русского!» Но за несколько минут до смерти, собрав ближайших друзей, Хвелевый читал им под аккомпанемент гитары пушкинских «Бесов». С А. С. Пушкиным у этого писателя конфликтов не было...

Сохранилось предание, что в ночь, когда его тело лежало в осиротевшей квартире, из темноты доносилась мелодия, сыгранная неизвестным флейтистом. Флейта была любимым инструментом М. Хвелевого.

Флейте очень трудно противостоять духовому оркестру.

Микола Хвелевый был не просто представителем определенной социальной позиции, мешавшей установлению господства сталинской политической логики, но прежде всего художником, импульсивным и страстным, «мятежным коммунаром», бунтарем-интеллектуалом с романтическим мироощущением — а такой личности всегда тесно в каких бы то ни было рамках.

Его перо — ксеро новеллиста милостью божьей, принесшего в украинскую литературу новую романтическую мелодику, новые, жесткие и экспрессивные, краски, — так он стремился к постижению конфликтов эпохи (изданный на немецком в 20-е годы сборник его новелл удостоился и такого критического отзыва: «Абсолютные шедевры»). Интонации его прозы необыкновенно гибки — в них есть и вдохновенный лиризм, и скрытая ирония, и откровенный сарказм; он проявил чуткость к опыту и любимейшего Гоголя, и Мопассана, и Свифта (что подтверждается как раз «Иваном Ивановичем»).

«Иван Иванович» — сатира, доказывающая, что люди 20-х годов умели ясно видеть тенденции окружающей их действительности. Читателю судить, насколько актуально сегодня это компактное жизнеописание приспособленца с партийным билетом. Что же касается излишне оптимистического финала, то обратим внимание, что написан «Иван Иванович» в 1929 году, когда пресс упоминаемого в самой сатире «мажорно-монументального реализма» все тяжелее опускался на литературу.

Возвращение М. Хвелевого — отрадный факт: мы перестаем быть иванами ивановичами, не помнящими никакого родства. И если удалось передать мелодику и аромат слова, оставшегося нам в наследство, о большем переводчик не может и мечтать.

А. РУДЕНКО-ДЕСНЯК.

¹ Однотомник произведений М. Хвелевого, куда входит и «Иван Иванович», готовится к выходу в свет издательством «Советский писатель». Это первая книга писателя в переводе на русский язык.

ДАНЬ ЖИВЫМ

Все по справедливости: открываются архивы, выходят из забвения почти все доски накрест заколоченные имена — и русская литература XX века вновь одна из лучших в мире. Так, впрочем, считали и литературоведы в СССР году в 1952, только лучшая — на сегодняшний день в значительной мере совершенно иная, чем тогда. В частности, возвращены нашему читателю писатели-эмигранты.

Литература русского зарубежья с начала 20-х годов и по конец (примерно) 1986 года права на диалог с литературой внутрисоветской была лишена. А эмиграция слагалась из нескольких волн. Сперва были просто эмигранты (кто сам уехал, кого выслали) — в этой волне было немало людей с очень большими именами, с вышедшими еще в России собраниями сочинений. Но уезжали в те годы и люди совсем молодые; других увозили вовсе детьми. Кое-кто никуда и не уезжал — просто в силу перемены исторических границ они, в буквальном смысле слова не выходя из дома, оказывались в эмиграции — в Прибалтике, Польше, Бессарабии и т. д. В итоге к середине 20-х годов подросло и занялось бурной литературной деятельностью так называемое незамеченное поколение русской эмиграции, сотнями выходили журналы и книги на русском языке в Берлине, Париже, Праге, Варшаве, Харбине, Шанхае. Русская литературная жизнь Западного же полушария была в довоенные годы весьма бедна: туда, в Америку, по доброй воле никто не ехал, казалось — далеко, провинция. А в перечисленных выше городах Европы и Китая число одних только русских поэтов «с именами» измерялось многими десятками.

И что важно: в периодике и литературных кружках создавалась настоящая, глубокая, осмысленная школа чтения стихов. Критические статьи Владислава Ходасевича, Марка Слонима, Глеба Струве, а в более поздние годы Владимира Вейдле, Михаила Карповича, Романа Гуля и нескольких других истинных ценителей поэзии никому из поэтов «пятого сорта» на первых ролях в русском зарубежье удержаться бы не позволили. Несмотря на это, поэзия русского зарубежья разрасталась и количественно и качественно.

Потом хлынула вторая мировая, и сотни тысяч советских людей оказались не по своей воле в эмиграции — «ди-пи», перемещенные лица, вторая волна русской эмиграции, мощное ее литературное пополнение. Еще живы были Георгий Иванов и Георгий Адамович, когда всему литературному зарубежью стали хорошо известны имена эмигрантов второй волны — Ивана Елагина и Дмитрия Кленовского. Всплыли и новые имена из числа своих, первых — выходцы из Прибалтики и Шанхая. Послевоенный Париж перестал быть столицей русского зарубежья, центр культурной жизни переместился за океан, в Нью-Йорк, где четырежды в год выходил самый солидный из журналов русского зарубежья — «Новый журнал», сменивший довоенные парижские «Современные записки».

С начала 70-х годов возникла так называемая третья волна эмиграции. У нее есть своя, уже всемирно признанная репутация и свои живые классики. Но сейчас речь не об этой литературе.

Сейчас, в 1989 году, от прежней зарубежной литературы уцелели в живых считанные зубры. Доживает свои годы в Праге последняя поэтесса когда-то прославленного «Ската поэтов» Эмилия Чегринцева. Живет на покое в Принстоне Нина Берберова. Возвратились на родную землю Татьяна Ратгауз и Ирина Одоевцева. Из второй волны в Калифорнии часто и тяжело болеет один из самых блестящих литературоведов русской литературы, поэт Владимир Марков. Поэтам второй волны жизнь выпала короче, чем их старшим современникам, как и советским поэтам военного поколения (о жизни и судьбе одного выдающегося поэта второй волны см. в № 12 «Нового мира» за

1988 год). Да и сейчас, когда я пишу строки о живых поэтах,— как могу я быть уверен, что именно в данный момент они живы? Поэтому как можно скорей хочется воздать дань трем последним живым зубрам из числа поэтов эмиграции. Тем более что объединяет их всех одно — они живут в Западном полушарии. И всем за семьдесят, увь.

В 1950 году в Париже благодаря стараниям Георгия Иванова и Сергея Маковско-го прочли первую книгу выходца из Латвии Игоря Чиннова. Дату его рождения назвать трудно, сам Чиннов в приложенной к его последней по времени книге («Автограф», 1984) пишет уклончиво: «Родился накануне первой мировой войны в имении бабушки под Ригой». Так или иначе сейчас Игорю Владимировичу около восьмидесяти, живет он теперь во Флориде на положении «заслуженного профессора» в отставке.

Один из мудрейших критиков русской поэзии XX века, Владимир Вейдле, писал: «Уже первый сборник Чиннова «Монолог» может быть охарактеризован как монолог приговоренного к смерти». Что верно, то верно — большинство стихотворений Чиннова трагичны до предела. Но вспоминаются и слова З. Шаховской: «Стихи Чиннова изощренны, и законы поэтического ремесла ему прекрасно знакомы. Но за ремеслом стоит и то необъяснимое, что служит ему строем,— внутренний слух, управляющий гармонией».

Надо отметить и еще одно: Чиннов нечасто, но хорошо пишет верлибром. Хочет — рифмуется, хочет — нет. Ему как бы вообще безразлична поэтическая форма. На самом деле нет, Чиннов точно знает, когда, как и что писать. Восемь нетолстых поэтических сборников и еще немного сверх того — не такой уж большой итог за столь длинную жизнь. Скупость. Раскрепощенность. Трагичность. В эти три слова, пожалуй, уложится поэтическое кредо Чиннова.

Если Чиннов возник в русском Париже после войны как бы ниоткуда (о своей довоенной литературной деятельности Чиннов написал мне в давнем уже письме категорически: «Ничего интересного»), то второй по возрасту из предлагаемых ныне читателям поэтов явился не в Париж, а в Рио-де-Жанейро, и притом с совсем другого конца планеты — из Китая. Валерий Перелешин (псевдоним Валерия Салатко-Петрище) родился в Иркутске в 1913 году, семилетним ребенком был увезен сперва в Читу, потом в Харбин. Там стал писать стихи, там стал печататься, там в 1937—1944 годах выпустил первые четыре поэтических сборника. Но книги эти, выходявшие «на краю света» тиражом от 200 до 500 экземпляров, в Европу не попадали, поэт был известен разве что по фамилии (в первую антологию русской зарубежной поэзии «Якорь» (Берлин, 1936) его стихи все-таки входили). А позже и вовсе канул в неизвестность. Профессиональный китаист (да и вообще полиглот), Перелешин жил в Южном Китае, позже попробовал выехать в США, визы не получил и наконец уехал куда глаза глядят, то есть попросту куда дали визу. А визу дали в Бразилию. Он приехал в Рио в 1953 году, еще что-то писал несколько лет, но печататься было решительно негде. И поэт на десять лет умолк. Однако в конце 60-х годов связи с Европой как-то наладились, в 1968-м в Мюнхене вышла его пятая книга стихотворений — «Южный дом», и с тех пор поэт активнейшим образом участвует в литературной жизни русского зарубежья. На сегодняшний день им издано 13 поэтических сборников, 4 переводные книги, даже книга стихов на португальском языке, а в Амстердаме в 1987 году вышли его литературные воспоминания «Два полустанка» — о литературной жизни Харбина и Шанхая в 1930—1950 годы.

Китай, а позже Бразилия наложили неизгладимую печать на все творчество Перелешина. Но Китай от СССР — рукой подать, в нем жили в разное время сотни тысяч русских, и написано о нем (и в нем) по-русски все же немало, а крупнейший из поэтов русского Харбина Арсений Несмелов за последний год пусть с большим опозданием и посмертно, но все же пришел к советскому читателю публикациями — и очень объемными — сразу в шести журналах (Несмелов, к слову, был первым литературным наставником Перелешина). А вот для России и Бразилии, державы с населением за сто миллионов, страны многорасовой, многонациональной и многострадальной, Перелешин пока что оказался единственным связующим звеном. Даже русский язык Перелешина порой звучит по-бразильски: «...проурубишь меня, просабишь!» — не сразу и выяснишь, что в Бразилии есть птицы урубу и сабиа, русских названий для них нет, а кто не помнит мандельштамовского «Воронеж... проворонишь...» — цель замыкается, и традиция русской поэзии, ожившая в Бразилии, вновь возвращается в Россию, и в огромной симфонии русской поэзии XX века начинает

звучать новый, китайско-бразильский аккорд. Мне довелось переписываться с Перелешиним с 1971 года (а последние письма от него датированы июлем 1989 года), но лишь в 1988 году (письмо от 18 октября) пришел наконец твердый ответ от поэта на мой вопрос, хочет ли он печататься в СССР: «Сомнения нет ни малейшего: я хочу печататься в Москве... Читатель, на которого я держу прицел,— в России, как бы она ни называлась».

Но если «бразильский зубр» Перелешин и «флоридский зубр» Чиннов принадлежат все-таки к первой волне, точнее к «незамеченному поколению», то «зубр калифорнийский», поэт Николай Моршен, относится как раз ко второй волне — к той же, что и его покойный друг Иван Елагин. Он родился в Киеве в 1917 году, там же успел окончить институт, а потом — судьба «ди-пи».

Настоящее его имя — Николай Николаевич Марченко (так я и пишу на конвертах, адресованных ему). Вот и пришло мне в голову спросить поэта, откуда такое странное созвучие. Ответ — в письме ко мне от 27 июня 1978 года: «О моем псевдониме. Я говорю Моршен, но откликаюсь и на Моршён. Псевдоним этот — случаен. После войны, чтобы избежать репатриации, «я был румыном» (так называется этот период моей жизни — четыре года) — по документам, конечно. Фамилию я выбрал загадочную, по которой нельзя было определить национальность. В это время я стал печататься, и так как был всегда против псевдонимов, то и стал печатать стихи под той фамилией, которая, как я полагаю, останется со мной на всю жизнь».

Первым, насколько известно, стихи Моршена заметил и высоко оценил опять-таки Георгий Иванов в 1950 году. Однако первый свой сборник, «Тюлень», Моршен издал лишь в 1959 году, второй, «Двоеточие», в 1966-м, третий, «Эхо и зеркало», в 1979-м — вот и весь итог (не считая двух-трех десятков стихотворений, написанных позже) работы лучшего, быть может, наряду с Елагиным, поэта второй волны, по счастью, ныне здравствующего. Как и все поэты второй волны, Моршен в раннем творчестве был «набит политикой». Позже с ним произошла метаморфоза, он стал «играть» в слова и в буквы, в его стихах о Пушкине зазвучит карточный термин из «Пиковой дамы» «атанде-с!», и в слове этом он услышит имя убийцы гения, он начнет писать стихи центами (то есть составляя их из чужих строк, превращенных в свои), он станет одним из первых в русском зарубежье модернистом. К сожалению, Моршен не дал автору этих строк полной свободы выбора из его стихотворений (кто-то и что-то попросил «придержаться»), но надеюсь, что и в этой подборке Моршен останется Моршеном, тем самым, чье невообразимое поэтическое кредо — стать в поэзии... летучей рыбой, вырваться в воздух — «и рыбой, и рыбой, и рыбой — по небу!». Предать ни на кого не похожим.

Мертвым в нашей литературе воздается и еще воздастся.

Но как же далеки от Москвы Флорида, Калифорния, Бразилия. Как же мало русских людей приходит в гости к тем, кто сегодня приходит в гости к многомиллионному русскому читателю. «Библиотека поэта» публикует произведения только покойных поэтов. Но время думать и о живых.

Е. ВИТКОВСКИЙ.

ИГОРЬ ЧИННОВ

ГОЛУБЫЕ ДЕЛЬФИНЫ

* * *

Мы были в России — на юге, в июле,
И раненый бился в горячем вагоне,
И в поле нашли мы две светлые пули —
Как желуди, ты их несла на ладони —
На линии жизни, на линии счастья.

На камне две ящерицы промелькнули,
Какой-то убитый лежал, будто спящий.

Военное время, горячее поле,
Россия... Я все позабыл — так спокойней,
Здесь сад — и глубокое озеро подле.

Но если случайно сквозь тень и прохладу
Два желудя мальчик несет на ладони,
Опять — южнорусский июль на исходе
И, будто по озеру или по саду,
Тревожная зыбь по забвенью проходит.

* * *

Нет, не капризничай, не привередничай,
Скажи Создателю спасибо.
Не будь, душа, упрямой поперечницей,
Взгляни смиреннее на небо.

Печально, что тебе совсем не нравится
Тобой одушевленный грешник,
Что не сужден тебе, молодка-девица,
Прекрасный праведник-нездешник.

Что не живем с тобой в закатах розовых,
В жемчужно-яшмовых палатах,
Что сохнем под житейскими угрозами,
В печально-будничных заботах.

А все же — сад с левкоями, тюльпанами,
И зреет нежная малина,
И вечерами тихими, туманными
Мы долго слушаем Шопена.

А в полдень пчелы на кустах акации
(Жаль, кончился сезон камелий),
Котенок спит на книге о Венеции,
Куда вернемся мы в апреле.

* * *

То то, то другое, то то, то другое,
А хочется озера, сосен, покоя.

Среди ежевики, синики, черники —
И голос души, словно тень Евридики.

И я оцүтился в той роще осенней,
У берега детских моих впечатлений.

И больше не прибыль, не убыль, не гибель,
А лист, пожелтый, на водном изгибе.

И жук, малахитовый брат скарабея,
Жужжащий в траве, от нее голубея.

Там, словно под тенью священного лавра,
Корова лежит с головой Минотавра,

Египетским богом там кажется дятел,
И я наблюдаю, простой наблюдатель,

За уткой, которая в реку влетела,
Как в небо — душа (только более смело?).

ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН

НО ЖИВЕТ И СГОРЕВШЕЕ

Издалека

Это будет простое, туманное утро в Китае.
Прокричат петухи. Загрохочет далекий трамвай.
Как вчера и как завтра. Но птица отстанет от стаи,
Чтоб уже никогда не увидеть летящих стай.

Босоногое солнце, зачем-то вскочившее рано,
Побежит на неряшливый берег и на острова,
И откинутся прочь длиннокосые девы тумана,
Над рекою брезгливо подняв свои рукава.

Ты проснешься и встанешь. И, моясь холодной водою,
Недосмотренный сон отряхнешь с полусонных ресниц.
И пойдешь переулком, не видя, что над головою
Распласталась прилетная стая усталых птиц,

Это сердце мое возвращается к милым пределам,
Чтобы там умереть, где так жадно любило оно,
Где умело оно быть свободным, и чистым, и смелым,
Где пылало оно... И сгорело давным-давно.

Но живет и сгоревшее — в серой золе или пепле.
Так я жил эти годы, не вспыхивая, не дыша.
Я, должно быть, оглох, и глаза мои рано ослепли,
Или это оглохла, ослепла моя душа?

Ты пойдешь переулками до кривобокого моста,
Где мы часто прощались до завтра. Навеки прощай,
Невозвратное счастье! Я знаю спокойно и просто:
В день, когда я умру, непременно вернусь в Китай.

Над гробом

У архангела смерти легки стопы,
Он — как бич, как ночь, как судьба,
И опять жужжанье чужой толпы
Вкруг обтянутых щек и лба.

И опять на новых похоронах
Извивается скользкий змей:
Несказанный страх, баснословный страх
Разъедает сердца людей.

И псалом течет, и растет испуг —
Чернотой на каждом лице.
Столько юных тел, столько белых рук
Возвратится в землю в конце!

Столько быстрых ног, столько зорких глаз,
Нежных губ и высоких плеч...
Говорят, что тех, кто ушел от нас,
Принял благостный ангел встреч.

И утешил их милосердый Бог
В беспечальных Своих местах,

Где они пребывают как пар, как вздох,—
Уверяет старик монах.

Оттого у монаха везде кресты
И скелет посреди жилья
И под ним:

«Не забудь, что я был, как ты,—
И ты будешь таким, как я».

Молитва

Пускай не сиротой, бескрылым Недоноском,
Гонимым на земле, не принятым в раю,
Я стану глиною, о Господи, иль воском:
Ту глину претвори Ты в амфору свою!

Пусть, раскаленная в очистительном горниле,
Дыханьем севера затем охлаждена,
Она созиждется в неодолимой силе —
И меткою Твоей отмечена со дна.

Ты заключишь в нее то благовоний зерна,
То свитки древние пророков и псалмов:
Все сбережет она — прочна, огнеупорна
И радостью полна до блещущих краев!

Бездна

Чуть опадает в бессмысленном сердце хмель,
Вновь на крылах покаянья могу летать я.
Грех, ты моя удивительная качель,
Благословенье мое и мое проклятье!

Бездны твои отражают Эдем святой,
И у тебя в низинах полусумрак мира.
Падая в пропасть, захлестнут я высотой —
Выше могучих орлов и снегов Памира.

Там, оторвавшись от душных твоих цветов,
Слышу застенчивый запах фиалок рая,
И воскресаю, и — сердцем широк и нов —
Небо вбираю в себя без конца и края!

Так возврати же меня к голубым шатрам,
От ядовитых болот и смолы гоморрской
Перенеси меня в белоколонный храм
В невозмутимое утро страны приморской!

Extasis

Жгучими щупальцами неотрывными
Ты захватил и замучил меня:
Росами, грозами, звездными ливнями
В сердце низвергся — разливом огня.

Сладко и страшно, хоть гибель влекла меня,
Сердце — колодец; колодец — в огне:
В сердце — Атлантика жидкого пламени
Льется — бушует, клокочет во мне!

Плоть разлетелась броней непрочною,
Ребер застава давно снесена:

Пламя тончайшее, пренепорочное
Пляшет и плещет до самого дна.

Ты без предтечи ли и без предвестницы,
Ошеломляя захлестнутый ум,
Прямо с небес, без обещанной лестницы,
В сердца смиреннейший Капернаум?

Это бурление безмерное, дикое
Как успокоить, себя не сгубя?
Разве я море — и равновеликое,
Чтоб, отразив, убаюкать Тебя?

Сердце безбрежное и бесстенное
Все распахнулось в размах широты.
Вечностью полный, чреватый вселенною,
Кто это, Господи? Я — или Ты?

Озеро любви

Древнее озеро, скрытое в горном провале,
Даже герои пробиться к тебе не могли!
Мне же, избраннику, бездны твои колдовали
Лучше и слаще озер мелководных земли.

С каждым приходом доверчивей, ближе и ближе
Я поддаюсь обаянью твоей западни.
Томный, шепчу как во сне: утоли, утоми же!
И отзываешься ты: утони, утони!

Чудно, что ты отвечаешь так нежно и скоро,
Страшно, что алчешь, — но тайна еще не ясна,
Что не похоже ты вовсе на наши озера:
Не погибает лишь тот, кто доходит до дна.

Блудный сын

Не всем дано бродить по ковылю
Близ мельницы и на пологом спуске
Прохожего приветствовать по-русски:
Об этом я и Бога не молю.

Я за морем — и все же не делю
С бразильцами невидимой нагрузки:
Пусть милы им «кашаса» и закуски, —
От русского я хмеля во хмелю.

За столько лет с одной короткой встречи
Я не забыл самодержавной речи
И — от родных отбившийся поэт,

От правнуков любимейших поэтов —
Хочу прожить еще полсотни лет
И каждый год писать по сто сонетов!

* * *

В час последний, догорая,
Все желанья угашу:
Только мира, а не рая,
Умирая, попрошу.

Вечной славы мне не надо,
Но скользнуть бы наяву
В предвечернюю прохладу,
Тишину и синеву...

Пусть восходят в ярком свете
Отдаленные миры,—
Я усну, как дремлют дети,
Утомившись от игры.

НИКОЛАЙ МОРШЕН ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ДОЛГ

Волчья верность

Вольных пасынков рабской земли
Мы травили — борзыми, цианом,
Оплетали — обманом, арканом,
Ущемляли — презреньем, капканом,
Только вот приручить не могли.

Перелязгнув ремни и веревки
Или лапу отхрунувши, волк
Уходил от любой дрессировки,
Как велел генетический долг.

Ковылял с холодеющей кровью,
С волчьим паспортом, волчьей тропой
Из неволи в такое безмолвье,
Где хоть волком в отчаянье вой.

Чтоб, в согласии с предначертаньем
И эпохе глухой вопреки,
Волчьим пеньем и лунным сияньем —
Волчьим солнцем своим! — одурманен,
В волчью яму свалиться с сознанием
Обреченности, тайны, тоски.

Иль за обледенелою кочкой
Затеряться в российских снегах,
Околев с недоглоданной строчкой,
Словно с костью в цинготных зубах.



В отходящем, уже холодеющем дне
Заменись желтизна синевою!
Догори, доиграй, допылай в тишине
Над пожухшей от пыли травую!

Чем еще любоваться в смятении нам,
Кроме смены тонов и оттенков,
В мире схем, конференций, таблиц, стенограмм,
В мире партий, программ и застенков?

Где полярные льды затирают весну,
Где подсолнух поник головою,
Где голодные псы по ночам на луну
Заунывно стенают и воют?

Где сгибают в бараний, как водится, рог
Всех, кто верит и мыслит иначе,

Где надеются тщетно, седеют не в срок,
Говорят невпопад?.. И однако

В мире тусклых надежд и бездомных собак
По утрам расцветают цветы.
И встает Будапешт. И ведет Пастернак
Разговоры с бессмертьем на ты.

Возникают живые, как ргуть, полыньи.
Собираются в строчки слова.
Загораются солнца. Гремят соловьи.
И асфальт разрывает трава.

* * *

Я свободен, как бродяга,
И шатаюсь налегке
Там, где раньше Миннегага
Проплывала в челноке.

Где с естественной силой
В каждом камне и листке
С ней природа говорила
На индейском языке.

Та эпоха отгорела,
Облетела, как цветок,
И теперь иное дело,
Пришлый лад и новый слог.

Шпорник, заячья капуста,
Мята, дикий виноград,
Выражая свои чувства,
По-английски говорят.

Речи саксов, честной, краткой,
Не чуждается мой слух,
Но к наитьям и отгадкам
Я — увы! — в ней туюгух.

Мне родной язык роднее,
Восхитительнее всех,
Мил мне в нем и стук спондея,
И пиррихия разбег.

Я прислушиваюсь чутко,
Но никак не разберу —
То ли память шутит шутку,
То ли ум ведет игру,
То ли в голос учат листья
Речи новые свои:

Вы откуда собралися,
Колокольчики мои?
В праздник, вечером росистым
Дятел носом тук да тук.
Песни, вздохи, клики, свисты
Не пустой для сердца звук.
Шепот. Робкое дыханье.
Тень деревьев, злак долин.
Дольней лозы прозябанье.
Колокольчик дин-дин-дин...

Иванушка

Словом: наша речь о том,
Как он сделался царем.

Колико российские пииты
В дни оны жили на земли,
Толико гласно, сановито
Они высокий штиль блюли.

А коль с гудком вместо лиры
И нисходили с облаков,
То, чаю, токмо для сатиры
Иль для любовных, мню, стихшков.

Незапно, аки луч из тучи,
Сверкнул меж ними юный муж,
Писавший с каждым днем все лучше,
И русским языком к тому ж.

Легко сидел он на Пегаске,
Но правил твердою рукой,

Им помыкая без опаски —
Ни дать ни взять своим Лукой.

Он вздыбил стих неукрощенный,
Еще не обращенный в штамп,
Дабы заржал весь мир крещеный
И жеребцом дымился ямб.

И так на ржанье жеребьячем
Вознесся выше пирамид,
Что сколько мы его ни прячем,
А он главою вверх стоит.

С тех пор, хотите ль, не хотите ль,
Царем поэтов русских стал
Наш незаконный прародитель,
Наш полу-Пан, полу-пропал.

Певец скабрестнейшего склада,
Общечитаемый тайком,
Лет за сто до «Гаврилиады»
Владевший пушкинским стихом,

Лихой и буйный завсегда
И бард российских кабаков,
Родоначальник Самиздата,
Плебей без юбилейной даты,
Отца-не-помнящий, но знатно
Мать поминавший И. Барков!

Русская сирень

Сближаю ресницы и в радужном свете
В махровом букете хочу угадать,
Что в каждом загубленном ею поэте
Россия теряла опять и опять.

Увы! ничего она в них не теряла:
В обломанных ветках не видела зла,
Сгибала, срывала, ей все было мало,
Ломала сирень — а та ярче цвела.

* * *

Повисла ива у обрыва,
Где, размывая берега,
О, как поет у корня ивы
Быстротекущая река!

Но за сверкающею гранью
Течет, прозрачна и черна,
Таинственнее подсознанья,
Медлительная глубина.

С какою щедрою игрою
Уносит вдаль она свое
Непостоянное, хмельное,
Поверхностное бытие!

Где ограничило движенье
Свои свободы и права
И где вода, как вдохновенье,
Целенаправленно трезва.

Подготовка текста Е. ВИТКОВСКОГО.

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

*

АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ

1918—1956

Опыт художественного исследования

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ТЮРЕМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Глава 8

ЗАКОН-РЕБЁНОК

Мы — всё забываем. Мы помним не быль, не историю, — а только тот штампованный пунктир, который и хотели в нашей памяти пробить непрерывным долблением.

Я не знаю, свойство ли это всего человечества, но нашего народа — да. Обидное свойство. Может быть, оно и от доброты, а — обидное. Оно отдаёт нас добычею лжецам.

Так, если не надо, чтоб мы помнили даже гласные судебные процессы — то мы их и не помним. Вслух делалось, в газетах писалось, но не вдолбили нам ямкой в мозгу — и мы не помним. (Ямка в мозгу лишь от того, что каждый день по радио.) Не о молодёжи говорю, она конечно не знает, но — о современниках тех процессов. Попросите среднего человека перечислить, какие были громкие гласные суды, — вспомнит бухаринский, зиновьевский. Ещё поднаморщась — Промпартию. Всё, больше не было гласных процессов.

Что ж сказать тогда о негласных?.. Уже в 1918 сколько барабанило трибуналов! — когда не было ещё ни законов, ни кодексов, и сверяться могли судьи только с нуждами рабоче-крестьянской власти. Их подробная история ещё когда-нибудь кем-нибудь напишется ли?

Однако без малого обзора нам не обойтись. Какие-то обугленные развалины мы всё ж обязаны расщупать и в том утреннем розовом нежном тумане.

В те динамичные годы не ржавели в ножнах сабли войны, но и не пристывали к кобурам револьверы кары. Это позже придумали прятать расстрелы в ночах, в подвалах и стрелять в затылок. А в 1918 известный рязанский чекист Стельмах расстреливал днём, во дворе, и так, что ожидающие смертники могли наблюдать из тюремных окон.

Был официальный термин тогда: *внесудебная расправа*. Не потому, что не было ещё судов, а потому, что была ЧК.

Этого птенца с твердеющим клювом отогревал своим дыханием Троцкий: «Устрашение является могущественным средством политики, и надо быть ханжой, чтобы этого не понимать». И Зиновьев ликовал, ещё не предвидя своего конца: «Буквы ГПУ, как и буквы ВЧК, самые популярные в мировом масштабе».

Внесудебная, потому что так эффективнее. Суды были и судили, и казнили, но надо помнить, что параллельно им и независимо от них

шла сама собой внесудебная расправа. Как представить размеры её? М. Лацис в своём популярном обзоре деятельности ЧК даёт нам цифры¹ только за полтора года (1918 и половина 1919) и только по двадцати губерниям центральной России («цифры, представленные здесь, далеко не полны», отчасти может быть и по чекистской скромности). Вот они: расстрелянных ЧК (то есть бессудно, помимо судов) — 8389 человек (восемь тысяч триста восемьдесят девять), раскрыто контрреволюционных организаций — 412 (фантастическая цифра, зная всегдашнюю неспособность нашу к организации, да ещё общую разрозненность и упадок духа тех лет), всего арестовано — 87 тысяч. (А эта цифра отдаёт преуменьшением.)

С чем можно было бы сопоставить для оценки? В 1907 группа общественных деятелей издала сборник статей «Против смертной казни» (под ред. Гернета), где приводится поимённый перечень всех приговорённых к казни с 1826 по 1906. Составители оговариваются, что этот список неполон (однако, не ущербнее же данных Лациса, составленных в Гражданскую войну). Он насчитывает 1397 имён, откуда должны быть исключены 233 человека, которым приговор был заменён, и 270 человек не разысканных (в основном — польских повстанцев, бежавших на Запад). Остаётся 894 человека. Эта цифра за восемьдесят лет оказывается в 255 раз жиже чекистской! — а чекистская ещё дана меньше, чем по половине губерний (обильные расстрелы на Северном Кавказе, Нижней Волге сюда не вошли). Правда, составители сборника тут же приводят и другую, *предположительную* (и скорей всего натянутую в желаемом направлении) статистику, по которой приговорено к смерти (может быть и не казнено, ведь было много помилований) за один лишь 1906 год — 1310 человек. Это — как раз разгар пресловутой стольпинской реакции (в ответ на разлив революционного террора), и о нём есть ещё цифра: 950 казней за шесть месяцев². (Всего шесть месяцев они и действовали, стольпинские военно-полевые суды.) Жутко звучит, но для укрепившихся наших нервов не вытягивает и она: чекистскую-то цифирку на полгода пересчитав, всё равно получим *втрое гуще* — да это ещё по двадцати губерниям, да это ещё без судов, без трибуналов.

А — суды?

А как же! В месяц после Октябрьской революции были созданы и суды — во-первых, *народные суды*, свободно избираемые рабочими и крестьянами, — но чтоб судьи обязательно имели «политический опыт в пролетарских организациях партии» и после «предварительной тщательной проверки соответствия кандидатов своему назначению» исполкомами райсоветов, кеми и отозваны могут быть в любое время. (Декрет о Суде № 1, 24 ноября 1917, ст.ст. 12 и 13.) А коль скоро так — то и стали народных судей не выбирать всенародно, а просто назначать исполкомами Советов, — что одно и то же, поскольку Советы как известно и выражают интересы трудящихся масс.

Во-вторых, и даже опять во-первых, тем же декретом 24 ноября 1917 были учреждены *рабочие и крестьянские Революционные Трибуналы*, начиная от волостных и уездных. Эти задуманы были как орган пролетарской диктатуры, и как-то само так получилось, что Революционные Трибуналы мгновенно и возникли повсюду, а народные суды ещё потом многие месяцы не появлялись, особенно в глухих углах. Итак, революционные трибуналы взяли на себя все дела, включая уголовные.

Но успокоим, что не так была велика и разница между народными судами и трибуналами: когда позже, в 1919, появятся начала уголовного права РСФСР, там характеристика тех и других судов почти

¹ М. Я. Лацис (Судрабс). Два года борьбы на внутреннем фронте. М. ГИЗ. 1920, стр. 74—76.

² «Былое», СПб., 1907, № 2/14, стр. 80.

совпадёт: и для тех и для других нет никаких пределов применяемых наказаний, и те и другие должны иметь безусловно свободные руки: закон не устанавливает никаких карательных санкций, и за судами полная свобода в выборе репрессий, неограниченное право в применении их (если лишение свободы, то можно — на неопределённый срок, то есть до особого распоряжения). Народный суд, точно так же, как и ревтрибунал, руководствуется лишь революционным правосознанием и революционной совестью. Приговоры как тех, так и других судов — окончательные и не подлежат никакому обжалованию ни в какой инстанции. Народные суды, как и Революционные Трибуналы, не связаны в своей деятельности никакими формальными условиями, единственным мериллом оценки является степень того вреда, который принесён действиями подсудимого интересам революционной борьбы, приговор определяется целесообразностью в интересах обороны и трудового строительства. (Поначалу ревтрибуналы имели даже заседателей, назначаемых местными советами, но затем обрели свою более чёткую форму постоянной тройки, но так, чтоб один член тройки выделялся местной коллегией губчека — и так осуществлялась бы на всех этажах живая спайка между ревтрибуналами и ЧК.)

4 мая 1918 был декрет о создании Верховного Революционного Трибунала при ВЦИК — и тогда полагали, что это — завершение трибуналостроительства. Но, о, как ещё было до этого далеко!

Ещё оказалось необходимо создать, для поддержания деятельности железных дорог, единую для всей страны систему *Революционных железнодорожных Трибуналов*.

Затем — единую систему *Революционных Трибуналов войск Внутренней Охраны*.

В 1918 году все эти системы уже действовали дружно, не давая на территории РСФСР никакого убежища преступлению и проступку против революционной борьбы масс, — однако зоркий глаз товарища Троцкого увидел несовершенство этой полноты — и 14 октября 1918 он подписал приказ о сформировании ещё новой системы *Революционных Военных Трибуналов*.

Всецело занятый заботами Реввоенсовета Республики и спасением Республики от внешних врагов, этот наш вождь и вдохновитель не добавил более подробной разработки своего замысла — но зато исключительно удачно выбрал председателя центрального Революционного Военного Трибунала Республики — в лице товарища Данишевского, который не только блистательно создал и развил всю систему этих ещё новых трибуналов, но и написал теоретическое обоснование их в виде отдельной брошюры³. Один экземпляр брошюры чудом перехранился и попал в наши руки. Правда, на брошюре стоит гриф «секретно» — но за давностью лет быть может простится мне некоторая оттуда разгласка (вышесказанное о судах тоже взято оттуда).

Сразу после Октября, в духе его лозунгов и как уже заведено было в армии с Февраля, предполагалось, что в Красной Армии будут действовать выборные полковые и дивизионные суды. Но демократической деятельностью их не успели насладиться — и вскоре от них вообще отказались. Всё равно повсюду самочинно возникали военно-полевые суды, тройки, а само собой действовали (расстреливали) фронтовые органы ВЧК и само собой — органы контрразведки, предшественники Особых Отделов. В те жестокие для Республики месяцы, когда товарищ Троцкий сказал во ВЦИК: «Мы, сыны рабочего класса, заключили договор со смертью, а стало быть и с победой», — потребовалось заставить всех и каждого подтянуться и исполнить свой долг.

³ К. Х. Данишевский. Революционные Военные Трибуналы. М. Издание Реввоентрибунала Республики. 1920.

«Революционные Военные Трибуналы — это в первую очередь органы уничтожения, изоляции, обезвреживания и терроризирования врагов Рабоче-Крестьянского отечества и только во вторую очередь — это суды, устанавливающие степень виновности данного субъекта» (стр. 5). «Революционные Военные Трибуналы — ещё более чрезвычайные, чем революционные трибуналы, которые врезались в общую стройную систему единого народного суда» (стр. 6).

Неужели — «ещё более чрезвычайные»? Дух захватывает, сперва даже не верится: что же может быть чрезвычайнее ревтрибунала? Заслуженный деятель их, куратор многих приговоров тех лет, поясняет нам:

«Рядом с органами судебными должны существовать органы, если хотите, судебной расправы» (стр. 8).

Теперь читатель различает? С одной стороны ЧК — это внесудебная расправа. С другой стороны — ревтрибунал, очень упрощённый, весьма немилосердный, но всё-таки отчасти как бы — суд. А между ними? Догадываетесь? А между ними как раз и не хватает органа *судебной расправы* — вот это и есть Революционный Военный Трибунал!

«Революционные Военные Трибуналы с первого дня своего существования были боевыми органами революционной власти... Сразу был взят определённый тон и курс, не допускающий никаких колебаний... Нам пришлось умело воспользоваться накопленным ревтрибуналами опытом и его дальше развивать» (стр. 13) — и это ещё до первой инструкции, изданной только в январе 1919. Также, для сближения с ЧК, был перехвачен и опыт, чтоб один член реввоен трибунала назначался от Особого Отдела фронта. Но у фронтов существование было ограниченное — а при их отмирании реввоен трибуналы не отмирали, а учреждались в областях и округах «для борьбы и непосредственной расправы во время восстаний» (стр. 19).

Судили реввоен трибуналы за «трудовое дезертирство», которое «при данной обстановке является таким же актом контрреволюции, как и вооружённое восстание против рабочих и крестьян» (стр. 21), — это кто ж такой многочисленный, восстать и против рабочих и против крестьян? Даже — за «грубое отношение к подчинённым, неаккуратное исполнение служебных обязанностей, нерадение по службе, незнание своих прав...» (стр. 23) и др. и др. Реввоен трибуналы — совсем не только для военных, но и для всех гражданских лиц, проживающих в районе фронта. Они есть — орган классовой борьбы трудового народа. Чтобы не возникли споры с ревтрибуналами, действующими рядом, размежёвку установили такую: кто какое дело взял к производству, тот и судит — и ничьему пересмотру и обжалованию не подлежит. Приговоры регулировались в зависимости от военного положения: после победы на Юге с весны 1920 была директива по реввоен трибуналам уменьшить расстрелы — и действительно за первое полугодие их было только 1426 (без ревтрибуналов! без желдор трибуналов! без трибуналов ВОХРы! без ЧК! без Особых Отделов! — вспомним и столыпинскую цифру 950, остановившую всю анархию убийств по всей России, вспомним и 894 человека за восемьдесят лет России). А летом 1920 началась польская война — и только за июль — август насудили реввоен трибуналы (без... без... без...) — 1976 расстрелов (стр. 43, по следующим месяцам не дано).

Имели реввоен трибуналы право *непосредственной немедленной расправы* с дезертирами и с агитаторами против Гражданской войны (то есть пацифистами, — стр. 37). Должны были различать убийство уголовное (не-расстрел) и убийство политическое (расстрел, — стр. 38); воровство у частного лица («трибуналы должны быть чутки и мягки», ибо буржуазные богатства толкают людей на воровство) и воровство народного достояния («вся тяжесть революционной кары»). «Никакое Уложение о наказаниях составить невозможно и без-

ло бы неразумно», но «не обойтись без руководящих директив и инструкций» (стр. 39). «Очень часто Революционным Военным Трибуналом приходится действовать в обстановке, где трудно даже определить, действует ли Трибунал в качестве такового или же просто в качестве боевого отряда. Нередко... происходит параллельно работа в зале заседания Трибунала и на улице». Расстрел «не может считаться наказанием, это просто физическое уничтожение врага рабочего класса» и «может быть применён в целях запугивания (террора) подбных преступников» (стр. 40). «Наказание не есть возмездие за «вину», не есть искупление вины...». Трибунал «высняет личность преступника, поскольку... возможно уяснить её на основании образа его жизни и прошлого» (стр. 44).

В реввоен трибуналах «отпадает самый смысл апелляционного права, установленного буржуазией... При советском строе эта волокита никому не нужна» (стр. 46). «Устанавливать практику апелляции абсолютно недопустимо», «право подавать кассационные жалобы отрицается» (стр. 49). «Приговор приходится привести в исполнение почти немедленно, чтобы эффект репрессии был как можно сильнее» (стр. 50), «необходимо у преступников отнять всякую надежду отменить или изменить приговор Революционного Военного Трибунала» (стр. 50). «Революционный Военный Трибунал — это необходимый и верный орган Диктатуры Пролетариата, долженствующий через неслыханное разорение, через океаны крови и слёз провести рабочий класс... в мир свободного труда, счастья трудящихся и красоты» (стр. 59).

Можно бы ещё и ещё цитировать, но довольно! Дадим взгляду углубиться в то прошлое и пройтись по тогдашней пылающей карте нашей страны, представить себе эти живые человеческие местности, не названные в трибунальской брошюре. Каждое взятие города в ходе Гражданской войны отмечалось не только ружейными дымками во дворе ЧК, но и бессонными заседаниями трибунала. И для того, чтоб эту пулю получить, не надо было непременно быть белым офицером, сенатором, помещиком, монахом, кадетом или эсером. Лишь белых мягких немозолистых рук в те годы было совершенно довольно для расстрельного приговора. Но можно догадаться, что в Ижевске или Воткинске, Ярсславе или Муроме, Козлове или Тамбове мятежи недёшево обошлись и корявым рукам. В тех свитках — внесудебной расправы и расправы судебной — если они когда-нибудь перед нами опадут, удивительнее всего будет число простых крестьян. Потому что нет числа крестьянским волнениям и восстаниям с восемнадцатого по двадцать первый год, хоть не украсили они цветных листов «Истории гражданской войны», никто не фотографировал и для кино не снимал эти возбуждённые толпы с кольями, вилами и топорами, идущие на пулемёты, а потом со связанными руками — *десять за одно!* — в шеренги, построенные для расстрела. Сапожковское восстание так и помнят в одном Сапожке, пителинское — в одном Пителине. Из того же обзора Лациса за те же полтора года по двадцати губерниям узнаём и число подавленных восстаний — 344⁴. (Крестьянские восстания ещё с 1918 года обозначили словом «кулацкие», ибо не могли же крестьяне восставать против рабоче-крестьянской власти! Но как объяснить, что всякий раз восставало не три избы в деревне, а вся деревня целиком? Почему масса бедняков своими такими же вилами и топорами не убивала восставших «кулаков», а вместе с ними шла на пулемёты? Лацис: «прочих крестьян [кулак] обещаниями, клеветой и угрозами заставлял принимать участие в этих восстаниях»⁵. Но — что ж обещательней, чем лозунги комбеда? что ж угрозней, чем пулемёты ЧОНа (Частей Особого Назначения)!

⁴ М. Я. Лацис. Два года борьбы..., стр. 75.

⁵ Там же, стр. 70.

А сколько ещё затягивало в те жернова совсем случайных, ну совсем случайных людей, уничтожение которых составляет неизбежную половину сути всякой стреляющей революции?

Вот дело толстовца И. Е-ва, 1919, рассказанное им самим сегодня. Ещё и в 1968 фамилии написать нельзя.

При объявлении всеобщей обязательной мобилизации в Красную Армию (через год после: «Долой войну! Штык в землю! По домам!») в одной только Рязанской губернии до сентября 1919 было «выловлено и отправлено на фронт 54 697 дезертиров»⁶ (а сколько-то ещё на месте пристрелено для примера). Е-в же не дезертировал вовсе, а открыто отказывался от военной службы по религиозным соображениям. Он мобилизован насильно, но в казармах не берёт оружия, не ходит на занятия. Возмущённый комиссар части передаёт его в ЧК с запискою: «не признаёт советской власти». Допрос. За столом трое, перед каждым по нагану. «Видели мы таких героев, сейчас на колени упадёшь! Немедленно соглашайся воевать, иначе тут и застрелим!» Но Е-в твёрд: он не может воевать, он — приверженец свободного христианства. Передаётся его дело в рязанский городской ревтрибунал.

Открытое заседание, в зале — человек сто. Любезный старенький адвокат. Учёный обвинитель (слово «прокурор» запрещено до 1922) Никольский, тоже старый юрист. Один из заседателей пытается выяснить у подсудимого его воззрения («как же вы, представитель трудящегося народа, можете разделять взгляды аристократа графа Толстого?»), председатель трибунала обрывает и не даёт выяснять. Ссора.

Заседатель — Вот вы не хотите убивать людей и отговариваете других. Но белые начали войну, а вы нам мешаете защищаться. Вот мы отправим вас к Колчаку, проповедуйте там своё непротивление!

Е-в — Куда отправите, туда и поеду.

Обвинитель — Трибунал должен заниматься не всяким уголовным деянием, а только контрреволюционным. По составу преступления требую передать это дело в народный суд.

Председатель — Ха! Деяние! Ишь ты, какой законник! Мы руководствуемся не законами, а нашей революционной совестью!

Обвинитель — Я настаиваю, чтобы вы внесли моё требование в протокол.

Защитник — Я присоединяюсь к обвинителю. Дело должно слушаться в обычном суде.

Председатель — Вот старый дурак! Где его выискали?

Защитник — Сорок лет работаю адвокатом, а такое оскорбление слышу первый раз. Занесите в протокол.

Председатель (хохочет) — Занесём! Занесём!

Смех в зале. Суд удаляется на совещание. Из совещательной комнаты слышны крики раздора. Вышли с приговором: расстрелять!

В зале шум возмущения.

Обвинитель — Я протестую против приговора и буду жаловаться в Комиссариат юстиции!

Защитник — Я присоединяюсь к обвинителю!

Председатель — Очистить зал!!!

Повели конвоиры Е-ва в тюрьму и говорят: «Если бы, браток, все такие были, как ты — добро! Никакой бы войны не было, ни белых, ни красных!» Пришли к себе в казарму, собрали красноармейское собрание. Оно осудило приговор. Написали протест в Москву.

Ожидая каждый день смерти и воочию наблюдая расстрелы из окна, Е-в просидел тридцать семь дней. Пришла замена: пятнадцать лет строгой изоляции.

Поучительный пример. Хотя революционная законность отчасти и победила, но сколько усилий это потребовало от председателя трибунала! Сколько ещё расстроенности, недисциплинированности, несо-

⁶ Там же, стр. 74.

знательности! Обвинение — заодно с защитой, конвоиры лезут не в своё дело слать резолюцию. Ох, не легко становиться Диктатуре Пролетариата и новому суду! Разумеется, не все заседания такие разболтанные, но и такое же не одно! Сколько ещё уйдёт лет, пока выживится, направится и утвердится нужная линия, пока защита станет заодно с прокурором и судом, и с ними же заодно подсудимый, и с ними же заодно все резолюции масс!

Проследить этот многолетний путь — благодарная задача историка. А нам — как двигаться в том розовом тумане? Кого опрашивать? Расстрелянные не расскажут, рассеянные не расскажут. Ни подсудимых, ни адвокатов, ни конвоиров, ни зрителей, хоть бы они и сохранились, нам искать не дадут.

И, очевидно, помочь нам может только *обвинение*.

Вот попал к нам от доброхотов не уничтоженный экземпляр книги обвинительных речей неистового революционера, первого рабоче-крестьянского наркомвоенна, Главковерха, потом — зачинателя Отдела Исключительных Судов Наркомюста (готовился ему персональный пост Трибуна, но Ленин этот термин отменил⁷), славного обвинителя величайших процессов, а потом разоблачённого лютото врага народа Н. В. Крыленко⁸. И если всё-таки хотим мы провести наш краткий обзор гласных процессов, если затягивает нас искус глотнуть судебного воздуха первых послереволюционных лет — нам надо суметь прочесть эту книгу. Другого не дано. А недостающее всё, а провинциальное всё надо восполнить мысленно.

Разумеется, предпочли бы мы увидеть стенограммы тех процессов, услышать загромождённые драматические голоса тех первых подсудимых и тех первых адвокатов, когда ещё никто не мог предвидеть, в каком неумолимом череду будет всё это проглатываться — и с этими ревтрибуналами вместе.

Однако, объясняет Крыленко, издать стенограммы «было неудобно по ряду технических соображений» (стр. 4), удобно же — только его обвинительные речи да приговоры трибуналов, уже тогда вполне совпадавшие с требованиями обвинителя.

Мол, архивы московского и Верховного ревтрибуналов оказались (к 1923 году) «далеко не в таком порядке... По ряду дел стенограмма... оказалась настолько невразумительно записанной, что приходилось либо вымарывать целые страницы, либо восстанавливать текст по памяти» (!), а «ряд крупнейших процессов» (в том числе — по мятежу левых эсеров, по делу адмирала Щастного, по делу английского посла Локкарта) «прошёл вовсе без стенограммы» (стр. 4—5).

Странно. Осуждение левых эсеров была не мелочь — после Февраля и Октября это был третий исходный узел нашей истории, переход к однопартийной системе в государстве. И расстреляли немало. А стенограмма не велась.

А «военный заговор» 1919 года «ликвидирован ВЧК в порядке внесудебной расправы» (стр. 7), так вот тем и «доказано его наличие» (стр. 44). (Там всего арестовано было больше тысячи человек⁹ — так неужто на всех суды заводить?)

Вот и рассказывай ладком да порядком о судебных процессах тех лет...

Но важные принципы мы всё-таки узнаём. Например, сообщает нам верховный обвинитель, что ВЦИК имеет право вмешиваться в любое судебное дело. «ВЦИК милует и казнит по своему усмотрению неограниченно» (стр. 13, курсив наш. — А. С.). Например, приговор к шести месяцам заменял на десять лет (и, как понимает читатель, для

⁷ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, изд. 5-е, т. 36, стр. 210.

⁸ Н. В. Крыленко. За пять лет (1918—1922). Обвинительные речи по наиболее крупным процессам, заслушанным в Московском и Верховном Революционных Трибуналах М.—Пгд. ГИЗ. 1923.

⁹ М. Я. Л а ц и с. Два года борьбы..., стр. 46.

этого весь ВЦИК не собирался на пленум, а поправлял приговор, скажем, Свердлов в кабинете). Всё это, объясняет Крыленко, «выгодно отличает нашу систему от фальшивой теории разделения властей» (стр. 14), теории о независимости судебной власти. (Верно, говорил и Свердлов: «Это хорошо, что у нас законодательная и исполнительная власть не разделены, как на Западе, глухой стеной. Все проблемы можно *быстро решать*». Особенно по телефону.)

Ещё откровеннее и точнее в своих речах, прозвеневших на тех трибуналах, Крыленко формулирует *общие задачи советского суда*, когда суд был «одновременно и творцом права (разрядка Крыленко)... и о р у д и е м п о л и т и к и» (стр. 3, разрядка моя.— А. С.).

Творцом права — потому что четыре года не было никаких кодексов: царские отбросили, своих не составили. («И пусть мне не говорят, что наш уголовный суд должен действовать, опираясь исключительно на существующие писанные нормы. Мы живём в процессе Революции...») (стр. 407). «Трибунал — это не тот суд, в котором должны возродиться юридические тонкости и хитросплетения... Мы творим новое право и *новые этические нормы*» (стр. 22, курсив мой.— А. С.). «Сколько бы здесь ни говорили о вековечном законе права, справедливости и так далее — мы знаем... как дорого они нам обошлись» (стр. 505, курсив мой.— А. С.).

(Да если в а ш и сроки сравнивать с н а ш и м и, так может не так и дорого? Может с вековечной справедливостью — поуютнее?..)

Потому не нужны юридические тонкости, что не приходится выяснять — виновен подсудимый или не виновен: понятие *виновности*, это старое буржуазное понятие, вытравлено теперь (стр. 318).

Итак, мы услышали от товарища Крыленко, что революционный трибунал — это *не тот суд!* В другой раз мы услышим от него, что трибунал — это *вообще не суд*: «Трибунал есть орган классовой борьбы рабочих, направленный против их врагов», и должен действовать «с точки зрения интересов Революции... имея в виду наиболее желательные для рабочих и крестьянских масс результаты» (стр. 73).

Люди не есть люди, а «определённые носители определённых идей». «Каковы бы ни были индивидуальные качества [подсудимого], к нему может быть применен только один метод оценки: это — оценка с точки зрения классовой целесообразности» (стр. 79).

То есть, ты можешь существовать, только если это целесообразно для рабочего класса. А «если эта целесообразность потребует, чтобы карающий меч обрушился на головы подсудимых, то никакие... убеждения словом не помогут» (стр. 81), — ну, там доводы адвокатов и т. д. «В нашем революционном суде мы руководствуемся не статьями и не степенью смягчающих обстоятельств; в Трибунале мы должны исходить из соображений целесообразности» (стр. 524).

В те годы многие вот так: жили-жили, вдруг узнали, что существование их — нецелесообразно.

Следует понимать: не то ложится тяжестью на подсудимого, что он уже сделал, а то, что он с м о ж е т сделать, если его теперь же не расстреляют. «Мы охраняем себя не только от прошлого, но и от будущего» (стр. 82).

Ясны и всеобщие декларации товарища Крыленко. Уже во всём рельефе они надвигают на нас весь тот судебный период. Через весенние испарения вдруг прорезается осенняя прозрачность. И может быть — не надо дальше? не надо перелистывать процесс за процессом? Вот эти декларации и будут непреклонно применены.

Только, зажмурившись, представить судебный залик, ещё не украшенный золотом. Истолюбивых трибунальцев в простеньких френчах, худощавых, с ещё не разъеденными ряшками. А на *обвинительной власти* (так любит называть себя Крыленко) пиджачок гражданский распахнут и в воротном вырезе виден уголок тельняшки.

По-русски верховный обвинитель изъясняется так: «мне интересен вопрос факта!»; «конкретизируйте момент тенденции!»; «мы оперируем в плоскости анализа объективной истины». Иногда, глядишь, блеснёт и латинской пословицей (правда, из процесса в процесс одна и та же пословица, через несколько лет появляется другая). Ну да ведь и то сказать — за всей революционной беготнёй два факультета кончил. Что к нему располагает — выражается о подсудимых от души: «профессиональные мерзавцы!» И нисколько не лицемерит. Вот не нравится ему улыбка подсудимой, он ей и выляпывает грозно, ещё до всякого приговора: «А вам, гражданка Иванова, с вашей усмешкой, мы найдём цену и найдём возможность сделать так, чтобы вы не смелись больше *никогда!*» (стр. 296, курсив мой.— А. С.).

Так что пустимся?..

Дело «Русских Ведомостей». Этот суд, из самых первых и ранних, — суд над словом. 24 марта 1918 года эта известная «профессорская» газета напечатала статью Савинкова «С дороги». Охотнее схватили бы самого Савинкова, но *дорога* проклятая, где его искать? Так закрыли газету и приволокли на скамью подсудимых престарелого редактора П. В. Егорова, предложили ему объяснить: как посмел? ведь четыре месяца уже Новой Эры, пора привыкнуть!

Егоров наивно оправдывается, что статья — «видного политического деятеля, мнения которого имеют общий интерес, независимо от того, разделяются ли редакцией». Далее, он не увидел клеветы в утверждении Савинкова: «не забудем, что Ленин, Натансон и К⁰ приехали в Россию через Берлин, то есть что немецкие власти оказали им содействие при возвращении на родину», — потому что на самом деле так и было, воюющая кайзеровская Германия помогла товарищу Ленину вернуться.

Воскликает Крыленко, что он и не будет вести обвинения по клевете (почему же?..), газету судят за *попытку воздействия на умы!* (А разве смеет газета иметь такую цель?!)

Не ставит в обвинение газете и фраза Савинкова: «надо быть безумцем-преступником, чтобы серьёзно утверждать, что международный пролетариат нас поддержит», — потому что он ведь нас ещё поддержит...

За попытку же воздействия на умы приговор: газету, издаваемую с 1864 года, перенёсшую все немыслимые реакции — Уварова, Победоносцева, Столыпина, Кассо и кого там ещё — ныне закрыть навсегда! (За одну статью и — навсегда! Вот так надо держаться у власти.) А редактору Егорову... стыдно сказать, как в какой-то Греции... три месяца одиночки. (Не так стыдно, если подумать: ведь это только восемнадцатый год! ведь если выживет старик — опять же посадят, и сколько раз ещё посадят!)

Как ни странно, но в те громовые годы так же ласково давались и брались взятки, как отвеку на Руси, как довеку в Союзе. И даже и особенно неслись даяния в судебные органы. И, робеем добавить, — в ЧК. Красно переплетенные с золотым тиснением тома истории молчат, но старые люди, очевидцы, вспоминают, что в отличие от сталинского времени судьба арестованных политических в первые годы революции сильно зависела от взятки: их нестеснительно брали и по ним честно выпускали. И вот Крыленко, отобрав лишь дюжину дел за пятилетие, сообщает нам о двух таких процессах. Увы, и московский и Верховный трибуналы продирались к совершенству непрямым путём, грязли в неприличии.

Дело трёх следователей московского ревтрибунала (апрель 1918). В марте 1918 был арестован Беридзе, спекулянт золотыми слитками. Жена его, как это было принято, стала искать путей выкупить мужа.

Ей удалось найти цепочку знакомства к одному из следователей, тот привлек ещё двоих, на тайной встрече они потребовали с неё двести пятьдесят тысяч, после торговли скинули до шестидесяти тысяч, из них половину вперёд, а действовать через адвоката Грина. Всё обошлось бы безвестно, как проходили гладко сотни сделок, и не попало бы дело в крыленковскую летопись и в нашу (и на заседание Совнаркома даже!), если бы жена не стала жаться с деньгами, не привезла бы Грину только пятнадцать тысяч аванса вместо тридцати, а главное, по женской суетливости не перерешила бы за ночь, что адвокат не солиден, и утром не бросилась бы к новому — присяжному поверенному Якулову. Не сказано, кто именно, но видимо Якулов и решил зацемить следователей.

В этом процессе интересно, что все свидетели, начиная со злополучной жены, стараются давать показания в пользу подсудимых и смазывать обвинение (что невозможно на процессе политическом!). Крыленко объясняет так: это из обывательских соображений, они чувствуют себя чужими нашему Революционному Трибуналу. (Мы же осмелимся обывательски предположить: а не научились ли свидетели бояться за полгода диктатуры пролетариата? Ведь большая дерзость нужна — топить следователей ревтрибунала. А — что потом с тобой?..)

Интересна и аргументация обвинителя. Ведь месяц назад подсудимые были его сподвижники, соратники, помощники, это были люди, безраздельно преданные интересам Революции, а один из них, Лейст, был даже «суровым обвинителем, способным метать громы и молнии на всякого, кто посягнёт на основы», — и что ж теперь о них говорить? откуда искать порочащее? (Ибо взятка сама по себе порочит недостаточно.) А понятно, откуда: прошлое! анкета!

«Если присмотреться» к этому Лейсту, то «найдутся чрезвычайные любопытные сведения». Мы заинтригованы: это давний авантюрист? Нет, но — сын профессора Московского университета! А профессор-то не простой, а такой, что за двадцать лет уцелел через все реакции из-за безразличия к политической деятельности! (Да ведь не смотря на реакцию и у Крыленко тоже экстерном принимали...) Удивляться ли, что сын его — двурушник?

А Подгайский — тот сын судейского чиновника, безусловно черносотенца, иначе как бы отец двадцать лет служил в судебных органах? А сынишка тоже готовился к судебной деятельности. Но случилась революция — и шнырнул в ревтрибунал. Ещё вчера это рисовалось благородно, но теперь это отвратительно!

Гнуснее же их обоих, конечно, — Гугель. Он был издателем — и что же предлагал рабочим и крестьянам в качестве умственной пищи? — он «питал широкие массы недоброкачественной литературой», не Марксом, а книгами буржуазных профессоров с мировыми именами (тех профессоров мы тоже вскоре встретим на скамье подсудимых).

Гневается и диву даётся Крыленко: что за людишки пролезли в трибунал? (Недоумеваем и мы: из кого ж состоят рабоче-крестьянские трибуналы? почему пролетариат поручил разить своих врагов именно такой публике?)

А уж адвокат Грин «свой человек» в следственной коллегии, который кого угодно может освободить — это «типичный представитель той разновидности человеческой породы, которую Маркс назвал *лижками* капиталистического строя» и куда входят жандармы, священники и... нотариусы (стр. 500), кроме всех ещё адвокатов, разумеется.

Кажется, не пожалел сил Крыленко, требуя беспощадного, жестокого приговора без внимания к «индивидуальным оттенкам вины», — но какая-то вязкость, какое-то оцепенение охватило вечно-бодрый трибунал, и еле промямлил он: следователям по шести месяцев тюрьмы, а с адвоката — денежный штраф. (Лишь пользуясь правом ВЦИК «казнить неограниченно», Крыленко добился там, в «Метрополе», чтобы следователям врезали по десять лет, а пьявке-адвокату — пять

с полной конфискацией. Крыленко прогремел бдительностью и чуть-чуть не получил своего *Трибуна*.)

Мы создаём, что как среди революционных масс тогда, так и среди наших читателей сегодня этот несчастный процесс не мог не подорвать веры в святость трибунала. И с тем большей робостью переходим к следующему процессу, касательному к учреждению, ещё более возвышенному;

Дело Косырева (15 февраля 1919). Ф. М. Косырев и дружки его Либерт, Роттенберг и Соловьёв прежде служили в комиссии снабжения Восточного фронта (ещё против войск Учредительного Собрания, до Колчака). Установлено, что там они находили способы получать зараз от семидесяти тысяч до одного миллиона рублей, разъезжали на рысаках, кутили с сёстрами милосердия. Их комиссия приобрела себе дом, автомобиль, их артельщик кутил в «Яре». (Мы не привыкли представлять таким 1918 год, но так свидетельствует ревтрибунал.)

Впрочем, не в этом состоит дело: никого из них за Восточный фронт не судили и даже всё простили. Но диво! — едва лишь была расформирована их комиссия по снабжению, как все четверо с добавлением ещё Назаренко, бывшего сибирского бродяги, дружка Косырева по уголовной каторге, были приглашены составить... контрольно-ревизионную коллегию ВЧК!

Вот что это была за Коллегия: она *имела полномочия проверять закономерность действий всех остальных органов ВЧК*, право истребования и просмотра любого дела в любой стадии производства и отмены решения всех остальных органов ВЧК, кроме только Президиума ВЧК!!! (стр. 507) Немаловато! — вторая власть в ВЧК после Президиума! — в следующем ряду за Дзержинским — Урицким — Петерсом — Лацисом — Менжинским — Ягодой!

Образ жизни сотоварищей при этом остался прежний, они несколько не возгордились, не занеслись: с каким-то Максимычем, Лёнкой, Рафаильским и Мариупольским, «не имеющими никакого отношения к коммунистической организации», они на частных квартирах и в гостинице «Савой» устраивают «роскошную обстановку... там царят карты (в банке по тысяче рублей), выпивка и дамы». Косырев же обзаводится богатой обстановкой (семьдесят тысяч), да не брезгует тащить из ВЧК столовые серебряные ложки, серебряные чашки (а в ВЧК они откуда?..), да даже и просто стаканы. «Вот куда, а не в идейную сторону... направляется его внимание, вот что берёт он для себя от революционного движения». (Отрекаясь теперь от полученных взятков, этот ведущий чекист не смаргивает солгать, что у него... лежит двести тысяч рублей наследства в чикагском банке!.. Таковую ситуацию он, видимо, реально представляет наряду с мировой революцией.)

Как же правильно использовать своё надчеловеческое право кого угодно арестовать и кого угодно освободить? Очевидно, надо намечать ту рыбку, у которой икра золотая, а такой в 1918 году было немало в сетях. (Ведь революцию делали слишком впопыхах, всего не доглядели, и сколько же драгоценных камней, ожерелий, браслетов, колец, серёг успели попрыгать буржуазные дамочки.) А потом искать контакты с родственниками арестованных через кого-то подставного.

Такие фигуры тоже проходят перед нами на процессе. Вот двадцатидвухлетняя Успенская, она окончила петербургскую гимназию, а на высшие курсы не попала. Тут — власть Советов, и весной восемнадцатого года Успенская явилась в ВЧК предложить свои услуги в качестве осведомительницы. По наружности она подходила, её взяли.

Само стукачество (тогда — сексотство) Крыленко комментирует так, что *для себя «мы в этом ничего зазорного не видим, мы это считаем своим долгом... не самый факт работы позорит; раз человек признаёт, что эта работа необходима в интересах революции — он должен идти»* (стр. 512, курсив мой. — А. С.). Но, увы, Успенская, оказывается,

не имеет политического кредо! — вот что ужасно. Она так и отвечает: «я согласилась, чтобы мне платили определённые проценты» по раскрытым делам и ещё «пополам делиться» с кем-то, кого Трибунал обходит, велит не называть. Своими словами Крыленко так выражает: Успенская «не проходила по личному составу ВЧК и работала *поштучно*» (стр. 507). Ну да впрочем, по-человечески её понимая, объясняет нам обвинитель: она привыкла не считать денег, что такое ей несчастные пятьсот рублей зарплаты в ВСНХ, когда одно вымогательство (посодействовать купцу, чтоб сняли пломбы с его магазина) даёт ей пять тысяч рублей, другое — с Мещерской-Гревс, жены арестованного, — семнадцать тысяч. Впрочем, Успенская недолго оставалась простой сексоткой, с помощью крупных чекистов она через несколько месяцев была уже коммунисткой и следователем.

Однако никак мы не доберёмся до сути дела. А. П. Мещерский, крупный заводчик, был арестован за неуступчивость в экономических переговорах с советским правительством (Ю. Лариным). Его жену Е. И., у которой подозревали драгоценности и деньги, чекисты стали шантажировать, приходили сами к ней домой, с каждым разом рисуя положение мужа всё более подрастрельным и требуя всё больших сумм для выкупа. Мещерская-Гревс в отчаянии сама донесла о шантаже (через того самого присяжного поверенного Якулова, который уже завалил следователей-взяточников и, видимо, имел классовую ненависть ко всей системе пролетарского судопроизводства). Председатель трибунала тоже совершил классовую ошибку: вместо того, чтобы просто предупредить товарища Дзержинского и всё уладить по-семейному, — распорядился дать Мещерской для взятки номерные ассигнации — и в её квартире посадить за занавеской стенографистку. И пришёл некий Гodelюк, закадычный друг Косырева, чтобы договориться о цене выкупа (потребовал шестьсот тысяч рублей!). И застенографированы были все ссылки Гodelюка на Косырева, на Соловьёва, на других комиссаров, все его рассказы, кто в ВЧК сколько тысяч берёт, и под стенограмму же получил Гodelюк свой меченый аванс, а Мещерской выдал пропуску для прохода в ВЧК, уже выписанные контрольно-ревизионной коллегией, Либертом и Роттенбергом (там, в ЧК, торг должен был продолжаться). А на выходе — был накрыт! И в растерянности дал показания. (А Мещерская успела побывать и в контрольно-ревизионной коллегии, и уже затребовано туда для проверки дело её мужа.)

Но позвольте! Но ведь такое разоблачение пятнает небесные одежды ЧК! Да в уме ли этот председатель московского ревтрибунала? Да своим ли делом он занимается?

А таков был, оказывается, момент — момент, вовсе скрытый от нас в складках нашей величественной Истории! Оказывается, первый год работы ЧК произвёл несколько отталкивающее впечатление даже на партию пролетариата, ещё к тому не привыкшую. Всего только первый год, первый шаг славного пути был пройден ВЧК, а уже, как не совсем внятно пишет Крыленко, возник «спор между судом и его функциями — и внесудебными функциями ЧК... спор, разделявший в то время партию и рабочие районы на два лагеря» (стр. 14). Потому-то дело Косырева и могло возникнуть (а до той поры всем сходило), и могло подняться даже до всегосударственного уровня.

Надо было спасать ВЧК! Спасать ВЧК! Соловьёв просит Трибунал допустить его в Таганскую тюрьму к посаженному (увы, не на Лубянку) Гodelюку — *побеседовать*. Трибунал отказывает. Тогда Соловьёв *проникает в камеру* Гodelюка и безо всякого трибунала. И вот совпадение: как раз тут Гodelюк тяжело заболевает, да. («Едва ли можно говорить о наличии злой воли Соловьёва», — расшаркивается Крыленко.) И, чувствуя внезапное приближение смерти, Гodelюк потрясённо рассказывает, что мог оболгать ЧК, и просит дать бумагу и написать письменное отречение: всё неправда, в чём он оболгал Косырева

и других комиссаров ЧК, и что было застенографировано через занавеску — тоже всё неправда!

О, сколько сюжетов! О, где Шекспир? Сквозь стены прошёл Соловьёв, слабые камерные тени, Годелюк отрекается слабеющей рукой — а нам в театрах, а нам в кино только уличным пением «Вихрей враждебных» передают революционные годы...

«А кто пропуска ему выписал?» — настаивает Крыленко, пропуска для Мещерской не из воздуха взялись? Нет, обвинитель «не хочет говорить, что Соловьёв к этому делу причастен, потому что... нет достаточных данных», но предполагает он, что «оставшиеся на свободе граждане с рыльцем в пушку» могли послать Соловьёва в Таганку.

Тут бы в самый раз допросить Либерта и Роттенберга, и вызваны они! — но не явились! Вот так просто, не явились, уклонились. Так позвольте, Мещерскую же допросить! Представьте, и эта загруханная аристократка тоже имела смелость не явиться в Ревтрибунал!

После захвата взятки, Мещерский был выпущен на поруки Якулова — и с женою бежал в Финляндию. Зато уж Якулова к моменту суда над Косыревым с удовольствием посадили под стражу — может быть, за эти самые поруки, а то — как пьювистого змея. На суд его приводили свидетельствовать под конвоем, а скоро, надо думать, расстреляли. (И теперь мы удивляемся: как дошло до беззакония, почему никто не боролся?)

А Годелюк отрёкся — и умирает. А Косырев ничего не признаёт! И Соловьёв ни в чём не виноват! И допрашивать некого...

Зато какие свидетели по собственной доброй воле приехали в Трибунал! — заместитель председателя ВЧК товарищ Петерс — и даже сам Феликс Эдмундович прибыл, встревоженный. Его продолговатое сожигающее лицо подвизника обращено к замершему трибуналу, и он проникновенно свидетельствует в защиту ни в чём не виновного Косырева, в защиту его высоких моральных, революционных и деловых качеств. Показания эти, увы, не приведены нам, но Крыленко так передаёт: «Соловьёв и Дзержинский расписывали прекрасные качества Косырева» (стр. 522). (Ах, неосторожный прапорщик! — через двадцать лет припомнят тебе на Лубянке этот процесс!) Легко догадаться, что мог говорить Дзержинский: что Косырев — железный чекист, беспощадный к врагам; что он — хороший товарищ. Горячее сердце, холодная голова, чистые руки.

И из хлама клеветы восстаёт перед нами бронзовый рыцарь Косырев. К тому ж и биография его выявляет недюжинную волю. До революции он был судим несколько раз — и всё больше за убийство: за то, что (в Костроме) обманым образом с целью грабежа проник к старушке Смирновой и *удушил её собственными руками*. Потом — за покушение на убийство своего отца и за убийство сотоварища с целью воспользоваться его паспортом. В остальных случаях Косырев судился за мошенничество, а в общем много лет провёл на каторге (понятно его стремление к роскошной жизни!), и только царские амнистии его выручали.

Тут строгие справедливые голоса крупнейших чекистов прервали обвинителя, указали ему, что все те предыдущие суды были помещичье-буржуазные и не могут быть приняты во внимание нашим новым обществом. Но что это? Зарвавшийся прапорщик с обвинительной кафедры Ревтрибунала отколол в ответ такую идейно-порочную тираду, что даже негармонично нам приводить её здесь, в стройном изложении трибунальских процессов:

«Если в старом царском суде было что-нибудь хорошее, чему мы могли доверять, так это только суд присяжных... К решению присяжных можно было всегда относиться с доверием, и там наблюдался минимум судебных ошибок» (стр. 522).

Тем более обидно слышать подобное от товарища Крыленко, что за три месяца перед тем на процессе провокатора Романа Малиновского, бывшего любимцем Ленина несмотря на четыре уголовных суди-

мости в прошлом, кооптированного в ЦК и посланного в Думу, Обвинительная Власть занимала классово-безупречную позицию:

«В наших глазах каждое преступление есть продукт данной социальной системы, и в этом смысле уголовная судимость по законам капиталистического общества и царского времени не является в наших глазах тем фактом, который кладёт раз навсегда несмываемое пятно... Мы знаем много примеров, когда в наших рядах находились лица, имевшие в прошлом подобные факты, но мы никогда не делали отсюда вывода, что необходимо изъять такого человека из нашей среды. Человек, который знает наши принципы, не может опасаться, что наличие судимости в прошлом угрожает его поставить вне рядов революционеров...» (стр. 337, курсив мой.— А. С.).

Вот как умел партийно говорить товарищ Крыленко! А тут, благодаря его порочному рассуждению, затемнился образ рыцаря Косырева. И создалась на трибунале такая обстановка, что товарищ Дзержинский вынужден был сказать: «У меня на секунду (ну, на секунду только! — А. С.) возникла мысль, не падает ли гражданин Косырев жертвой политических страстей, которые в последнее время разгорелись вокруг Чрезвычайной Комиссии?»

Спыхватился Крыленко: «Я не хочу и никогда не хотел, чтобы настоящий процесс стал процессом не Косырева и Успенской, а процессом над ЧК. Этого я не только не могу хотеть, я должен всеми силами бороться против этого!.. Во главе Чрезвычайной Комиссии были поставлены наиболее ответственные, наиболее честные и выдержанные товарищи, которые брали на себя тяжёлый долг разить, хотя бы с риском совершить ошибку... За это Революция обязана сказать своё спасибо... Я подчёркиваю эту сторону для того, чтобы мне... никто не мог потом сказать: „он оказался орудием политической измены“» (стр. 509—510, курсив мой.— А. С.). (Скажут!..)

Вот по какому лезвию ходил Верховный Обвинитель! Но, видно, были у него какие-то контакты, ещё из подпольных времён (да от Ленина недалёк), откуда он узнавал, как повернётся завтра. Это заметно по нескольким процессам, и здесь тоже. Какие-то были веяния в начале 1919 года, что — хватит! пора обуздать ВЧК! Да был тот момент и «прекрасно выражен в статье Бухарина, когда он говорит, что на место законной революционности должна стать революционная законность».

Диалектика, куда ни ткни! И вырывается у Крыленко: «Ревтрибунал призывается стать на смену чрезвычайным комиссиям». (На смену??..) Он впрочем «должен быть... не менее страшным в смысле осуществления системы устрашения, террора и угрозы, чем была Чрезвычайная Комиссия» (стр. 511).

Была?.. Да он её уже похоронил?!.. Позвольте, вы — на смену, а куда же чекистам? Грозные дни! Поспешись и свидетелем в длинной до пят шинели.

Но может быть, ложные у вас источники, товарищ Крыленко? Да, затмилось небо над Лубянской в те дни. И могла бы иначе пойти эта книга. Но так я предполагаю, что съездил железный Феликс к Владимиру Ильичу, потолковал, объяснил. И — разотмилось. Хотя через два дня, 17 февраля 1919, особым постановлением ВЦИК и была ЧК лишена её судебных прав (а внесудебные остались?), — «правда не адалого» (стр. 14)!

А наше однодневное разбирательство ещё тем осложнилось, что отвратительно вела себя негодница Успенская. Даже со скамьи подсудимых она «забросала грязью» ещё других видных чекистов, не затронутых процессом, и даже самого товарища Петерса! (Оказывается, она использовала его чистое имя в своих шантажных операциях: она уже запросто сживала у Петерса в кабинете при его разговоре с другими разведчиками.) Теперь она намекает на какое-то тёмное дореволюционное прошлое товарища Петерса в Риге. Вот какая змея выросла из

неё за восемь месяцев, несмотря на то, что эти восемь месяцев она находилась среди чекистов! Что делать с такой? Тут Крыленко вполне сомкнулся с мнением чекистов: «пока не установится прочный строй, а до этого ещё далеко (? разве?)... в интересах защиты Революции... — нет и не может быть никакого другого приговора для гражданки Успенской, кроме *уничтожения её*». Не расстрелял, так и сказал: уничтожения! Да ведь девчонка-то молоденькая, гражданин Крыленко! Ну, дайте ей десятку, ну — четвертную, к тому-то времени строй уже будет прочный? Увы: «Другого ответа нет и не может быть в интересах общества и Революции — и иначе нельзя ставить вопроса. Никакое изолирование в *данном случае* не принесёт плодов» (стр. 515)!

Вот насолила.. Значит, знает много...

А Косыревым пришлось пожертвовать тоже. Расстреляли. Будут другие цели.

И неужели когда-нибудь мы будем читать старые лубянские архивы? Нет, сожгут. Уже сожгли.

Как видит читатель, это был процесс малозначный, на нём можно было и не задерживаться. А вот

Дело «церковников» (11—16 января 1920) займёт по мнению Крыленко «соответствующее место в анналах русской революции». Прямо-таки в анналах. То-то Косырева за один день свернули, а этих мыкали пять дней.

Вот основные подсудимые: А. Д. Самарин — известное в России лицо, бывший обер-прокурор Синода, старатель освобождения церкви от царской власти, враг Распутина и вышиблен им с поста (но обвинитель считает: что Самарин, что Распутин — какая разница?); Кузнецов, профессор церковного права Московского университета; московские протоиереи Успенский и Цветков. (О Цветкове сам же обвинитель: «крупный общественный деятель, быть может, лучший из тех, кого могло дать духовенство, филантроп».)

А вот их вина: они создали «Московский Совет Объединённых Приходов», а тот создал (из верующих сорока — восьмидесяти лет) добровольную охрану патриарха (конечно, безоружную), учредив в его подворья постоянные дневные и ночные дежурства с такой задачей: при опасности патриарху от властей — собирать народ набатом и по телефону и всей толпой потом идти за патриархом, куда его повезут, и просить (вот она, контрреволюция!) Совнарком отпустить патриарха!

Какая древнерусская, святорусская затея! — по набату собраться и валить толпой с челобитьем!..

Удивляется обвинитель: а какая опасность грозит патриарху? зачем придумано его защищать?

Ну, в самом деле: только того, что уже два года, как ЧК ведёт внесудебную расправу с неудобными; только того, что незадолго в Киеве четверо красноармейцев убили митрополита; только того, что уже на патриарха «дело закончено, остаётся переслать его в Ревтрибунал», и «только из бережного отношения к широкому рабоче-крестьянским массам, ещё находящимся под влиянием клерикальной пропаганды, мы оставляем этих наших классовых врагов *пока в покое*» (стр. 67) — и какая же тревога православным о патриархе? Все два года не молчал патриарх Тихон — слал послания народным комиссарам, и священству, и пастве; его послания (вот где первый Самиздат!), не взятые типографами, печатались на машинках; обличал уничтожение невинных, разорение страны — и какое ж теперь беспокойство за жизнь патриарха?

А вот вторая вина подсудимых. По всей стране идёт опись и реквизиция церковного имущества (это уже — сверх закрытия монасты-

рей, сверх отнятых земель и угодий, это уже о блюдах, о чашах и паникадилах речь) — Совет же приходов распространял и воззвание к мирянам: сопротивляться и реквизициям, бья в набат. (Да ведь естественно! Да ведь и от татар защищали храмы так же!)

И третья вина: наглая непрерывная *погача заявлений* в Совнарком о глумлениях местных работников над церковью, о грубых кощунствах и нарушениях закона о свободе совести. Заявления же эти, хоть и не удовлетворённые (показания Бонч-Бруевича, управделами СНК), приводили к дискредитации местных работников.

Обозрев теперь все вины подсудимых, что ж можно потребовать за эти ужасные преступления? Не подскажет ли и читателю революционная совесть? Да только расстрел! Как Крыленко и потребовал (для Самарина и Кузнецова).

Но пока возились с проклятой законностью, да выслушивали слишком длинные речи слишком многочисленных буржуазных адвокатов (не приводимые нам по техническим соображениям), стало известно, что... отменена смертная казнь! Вот тебе раз! Не может быть, как так? Оказывается, Дзержинский распорядился по ВЧК (ЧК — и без расстрела?). А на трибуналы СНК распространил? Ещё нет. И воспрял Крыленко. И продолжал требовать расстрела, обосновывая так:

«Если бы даже полагать, что укрепляющееся положение Республики устраняет непосредственную опасность от таких лиц, всё же мне представляется несомненным, что в этот период созидательной работы.. чистка.. от старых деятелей-хамелеонов.. является требованием революционной необходимости». «Постановлением ВЧК об отмене расстрелов... Советская власть гордится». Но: это «ещё не обязывает нас считать, что вопрос об отмене расстрелов разрешён раз навсегда... во все времена Советской власти» (стр. 80—81).

Очень пророчески! Вернут расстрел, вернут, и весьма вскоре! Ведь ещё какую вереницу надо ухлопать! (Ещё и самого Крыленко, и многих классовых братьев его...)

Что ж, послушался трибунал, приговорил Самарина и Кузнецова к расстрелу, но подогап под амнистию: в концентрационный лагерь *до полной победы над мировым империализмом!* (И сегодня б ещё им там сидеть...) а «лучшему, кого могло дать духовенство», — пятнадцать лет с заменой на пятёрку.

Были и другие подсудимые, пристёгнутые к процессу, чтоб хоть немного иметь вещественного обвинения: монахи и учителя Звенигорода, обвинённые по звенигородскому делу лета 1918 года, но почему-то полтора года не суждённые (а может быть уже разок и суждённые, а теперь ещё разок, поскольку целесообразно). В то лето в звенигородский монастырь явились *совработники* к игумену Ионе¹⁰, велели («поворачивайтесь живей!») выдать хранимые мощи преподобного Саввы. Совработники при этом не только курили в храме (очевидно, и в алтаре) и уж конечно не снимали шапок, но тот, который взял в руки череп Саввы, стал в него плевать, подчёркивая мнимость святости. Были и другие кощунства. Это и привело к набату, народному мятежу и убийству кого-то из совработников. Остальные потом отперлись, что не кощунствовали и не плевали, и Крыленко достаточно их заявления.

Да кто же не помнит этих сцен? Первое впечатление всей моей жизни, мне было, наверно, года три-четыре: как в кисловодскую церковь входят остроголовые (чекисты в будёновках), прорезают обомлевшую онемевшую толпу молящихся и прямо в шишаках, прерывая богослужение, — в алтарь.

Так вот теперь судили и... этих совработников? Нет, — этих монахов.

¹⁰ Бывший гвардеец-кавалергард Фиргуф, который «потом варуг духовно переродился, всё роздал нищим и ушёл в монастырь; — я, впрочем, не знаю, была ли в действительности эта раздача». Да ведь если допустить духовные перерождения, — что ж останется от классовой теории?

Мы просим читателей сквозно иметь в виду: ещё с 1918 определился такой наш судебный обычай, что каждый московский процесс (разумеется, кроме несправедливого процесса над ЧК) не есть отдельный суд над случайно стекшимися обстоятельствами, нет: это — сигнал судебной политики; это — витринный образец, по которому со склада отпускают для провинции; это — тип, это — перед разделом арифметического задачника одно образцовое решение, по которому ученики дальше сообразят сами.

Так, если сказано — «процесс церковников», то поймём во множественном числе. Да впрочем и сам Верховный Обвинитель охотно разъясняет нам: *«почти по всем Трибуналам Республики прокатись»* (стр. 61). Совсем недавно были они в Северодвинском, Тверском, Рязанском Трибуналах, в Саратове, Казани, Уфе, Сольвычегодске, Царёвококшайске. Судилось духовенство, псаломщики и активные прихожане — представители неблагодарной «православной церкви, освобождённой Октябрьской революцией».

Читателю помнится тут противоречие: почему же многие эти процессы — ранее московского образца? Это — лишь недостаток нашего изложения. Судебное и внесудебное преследование освобождённой церкви началось ещё в 1918 году и, судя по звенигородскому делу, уже тогда достигло остроты. В октябре 1918 патриарх Тихон писал в послании Совнаркому, что нет свободы церковной проповеди, что «уже заплатили кровью мученичества многие смелые церковные проповедники... Вы наложили руку на церковное достояние, собранное поколениями верующих людей, и не задумались нарушить их посмертную волю». (Наркомы, конечно, послания не читали, а управделы вот уж хохотали: нашёл, чем корить,— посмертная воля! Да с... мы хотели на наших предков!— мы только на потомков работаем.) «Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, ни в чём не повинных, а просто по огульному обвинению в какой-то расплывчатой и неопределённой контрреволюционности». Правда, с подходом Деникина и Колчака остановились, чтоб облегчить православным защиту революции. Но едва Гражданская война стала спадать — снова взялись за церковь и вот *прокатилось* по трибуналам, и в 1920 ударили и по Троице-Сергиевой лавре, добрались до мощей этого шовиниста Сергия Радонежского, перетряхнули их в московский музей.

Патриарх цитирует Ключевского: «Ворота лавры Преподобного затворятся и лампы погаснут над его гробницей только тогда, когда мы растратим без остатка весь духовный нравственный запас, завещанный нам нашими великими строителями земли Русской, как Преподобный Сергий». Не думал Ключевский, что эта растрата совершится почти при его жизни.

Патриарх просил приёма у Председателя Совета Народных Комиссаров, чтоб уговорить не трогать лавру и мощи, ведь отделена же Церковь от государства! Отвечено было, что Председатель товарищ Ленин занят обсуждением важных дел и свидание не может состояться в ближайшие дни.

Ни — в позднейшие.

И был циркуляр Наркомюста (25 августа 1920) о ликвидации всяких вообще святых мощей, ибо именно они затрудняли нам светоносное движение к новому справедливому обществу.

Следуя дальше за выбором Крыленко, оглядим и рассмотренное в *Верхтрибе* (так мило сокращают они между собой, а для нас-то, букашек, как рывкнут: встать! Суд идёт!)

Дело «Тактического центра» (16—20 августа 1920) — двадцать во семь подсудимых и ещё сколько-то обвиняемых заочно по недоступности.

Голосом, ещё не охрипшим в начале страстной речи, весь освещённый классовым анализом, поведывает нам Верховный Обвинитель, что кроме помещиков и капиталистов «существовал и продолжает существовать ещё один общественный слой, над социальным бытием

которого *давнo задумываются* представители революционного социализма... Это слой — так называемой интеллигенции... В этом процессе мы будем иметь дело с *судом истории над деятельностью русской интеллигенции* и с судом революции над ней (стр. 34).

Специальная узость нашего исследования не даёт возможности охватить, как же именно *задумывались* представители революционного социализма над судьбой так называемой интеллигенции и что же именно они для неё надумали? Однако нас утешает, что материалы эти опубликованы, всем доступны и могут быть собраны с любой подробностью. Поэтому лишь для ясности общей обстановки в Республике напомним мнение Председателя Совета Народных Комиссаров тех лет, когда все эти трибунальские заседания происходят.

В письме Горькому 15 сентября 1919 (мы его уже цитировали) Владимир Ильич отвечает на хлопоты Горького по поводу арестов интеллигенции и об основной массе тогдашней русской интеллигенции («околокадетской») пишет: «на деле это не мозг [нации], а говно»¹¹. В другой раз он говорит Горькому: «это — её [интеллигенции] вина будет, если мы разобьём слишком много горшков...» Если она ищет справедливости — почему она не идёт к нам?.. «Мне от интеллигенции и попала пуля»¹² (то есть от Каплан).

Об интеллигенции он выражался: гнило-либеральная; «благочестивая»; «разгильдяйство, столь обычное у «образованных» людей»; считал, что она всегда недомысливает, что она «изменила рабочему делу». (Но именно рабочему делу — когда она присягала?)

Эту насмешку над интеллигенцией, это презрение к ней потом уверенно перехватили публицисты 20-х годов, и газеты 20-х годов, и быт, и наконец — сами интеллигенты, проклявшие своё вечное недомыслие, вечную двойственность, вечную беспозвоночность, и безнадежное *отставание от эпохи*.

И справедливо же! Вот рожочет под сводами Верхтриба голос Обвинительной Власти и возвращает нас на скамью:

«Этот общественный слой... подвергся за эти годы испытанию всеобщей переоценки». Переоценка, так часто говорилось тогда. И как же она прошла? А вот: «Русская интеллигенция, войдя в горнило Революции с лозунгами народовластия, вышла из него союзником чёрных (даже не белых!) генералов, наёмным (!) и послушным агентом европейского империализма. Интеллигенция попала свои знамена и забросала их грязью» (Крыленко, стр. 54).

И только потому «нет нужды добивать отдельных её представителей», что «эта социальная группа отжила свой век».

На раскрытие XX столетия! Какая мощь предвидения! О, научные революционеры! (*Добивать*, однако, пришлось. Ещё все 20-е годы добывали и добывали.)

С неприязнью осматриваем мы двадцать восемь лиц союзников чёрных генералов, наёмников европейского империализма. Особенно шибаёт нам в нос этот *Центр* — тут и Тактический Центр, тут и Национальный Центр, тут и Правый Центр (а в память из процессов двух десятилетий лезут Центры, Центры и Центры, то инженерные, то меньшевистские, то троцкистско-зиновьевские, то право-бухаринские, и все разгромлены, и все разгромлены, и только потому мы с вами ещё живы). Уж где Центр, там конечно рука империализма.

Правда, от сердца несколько отлегает, когда мы слышим далее, что судимый сейчас Тактический Центр *не был организацией*, что у него не было: 1) устава; 2) программы; 3) членских взносов. А что же было? Вот что: они *встречались*! (Мурашки по спине.) *Встречаясь же, ознакамливались с точкой зрения друг друга!* (Ледяной холод.)

¹¹ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 51, стр. 48.

¹² «В. И. Ленин и А. М. Горький». М. Изд. Академии наук 1961, стр. 263.

Обвинения очень тяжёлые и поддержаны уликами: на двадцать восемь обвиняемых 2 (две) улики (стр. 38). Это — два письма отсутствующих (они за границей) деятелей: Мякотина и Фёдорова. Отсутствующих, но до Октября состоявших в тех же разных Комитетах, что и присутствующие, и это даёт нам право отождествить отсутствующих и присутствующих. А письма вот о чём: о *расхождении* с Деникиным по таким маленьким вопросам, как крестьянский (нам не говорят, но очевидно: советуют Деникину отдать землю крестьянам), еврейский, федеративно-национальный, административного управления (демократия, а не диктатура) и другие. И какой же вывод из улик? Очень простой: тем самым доказана переписка *и единство присутствующих с Деникиным!* (Б-р-р... гав-гав!)

Но есть и прямые обвинения присутствующим: обмен информацией со своими знакомыми, проживавшими на окраинах (в Киеве, например), не подвластных центральной советской власти! То есть, допустим, раньше это была Россия, а потом в интересах мировой революции мы тот бок уступили Германии, а люди продолжают записочку посылать: как там, Иван Иванович, живёте? а мы вот как... И Н. М. Кишкин (член ЦК кадетов) даже со скамьи подсудимых нагло оправдывается: «человек не хочет быть слепым и стремится узнать всё, что делается всюду».

Узнать всё, что делается всюду??.. Не хочет быть слепым??.. Так справедливо же квалифицирует их действия обвинитель как предательство! *предательство по отношению к Советской Власти!*

Но вот самые страшные их действия: в разгар Гражданской войны они... писали труды, составляли записки, проекты. Да, «знатоки государственного права, финансовых наук, экономических отношений, судебного дела и народного образования», они *писали труды!* (И, как легко догадаться, нисколько при этом не опираясь на предшествующие труды Ленина, Троцкого и Бухарина...) Профессор С. А. Котляревский — о федеративном устройстве России, В. И. Стемковский — по аграрному вопросу (и, вероятно, без коллективизации...), В. С. Муравлевич — о народном образовании в будущей России, профессор Карташёв — законопроект о вероисповеданиях. А (великий) биолог Н. К. Кольцов (ничего не выдавший от родины, кроме гонений и казни) разрешал этим буржуазным китам собираться для бесед у него в институте. (Сюда же угодил и Н. Д. Кондратьев, которого в 1931 окончательно засудят по ТКП.)

Обвинительное наше сердце так и прыгает из груди, опережая приговор. Ну, какую, какую кару вот этим генеральским подручным? Одна им кара — расстрел! Это не требование обвинителя — это уже приговор трибунала! (Увы, смягчили потом: концентрационный лагерь до конца Гражданской войны.)

В том-то и вина подсудимых, что они не сидели по своим углам, досасывая четвертушку хлеба, «они сталкивались и сговаривались между собой, каков должен быть государственный строй после падения советского».

На современном научном языке это называется: они изучали альтернативную возможность.

Грохочет голос обвинителя, но какая-то трещинка слышится нам, как будто он глазами шнырнул по кафедре, ищет ещё бумажку? цитатку? Мгновение! надо на цырлах подать! не эту ли, Николай Васильевич, пожалуйста:

«для нас... понятие *истязания* заключается уже в самом факте содержания политических заключённых в тюрьме...»

Вот что! Политических держать в тюрьме — это истязание! И это говорит обвинитель! — какой широчайший взгляд! Восходит новая юстиция! Дальше,

«...Борьба с царским правительством была их [политических] второй натурой и не бороться с царизмом они не могли» (стр. 17).

Как не могли не изучать альтернативных возможностей?.. Может быть, мыслить — это даже первая натура интеллигента?

Ах, не ту цитату подсунили по неловкости, не из того процесса. Вот конфуз!.. Но Николай Васильевич уже в своей руладе:

«И даже если бы обвиняемые здесь, в Москве, не ударили пальцем о палец — (оно как-то похоже, что так и было...) — всё равно: ...в такой момент даже разговоры за чашкой чая, какой строй должен сменить падающую якобы Советскую власть, являются контрреволюционным актом... Во время гражданской войны преступно не только всякое действие [против советской власти]... *преступно само бездействие*» (стр. 39).

Ну вот теперь всё понятно. Их приговорят к расстрелу — за бездействие. За чашку чая.

Например, петроградские интеллигенты решили в случае прихода Юденича «прежде всего озаботиться созывом демократической городской думы» (то есть, чтоб отстоять её от генеральской диктатуры).

Крыленко: — Мне хотелось бы им крикнуть: «Вы обязаны были думать прежде всего — как бы лечь костями, но не допустить Юденича!!»

А они — не легли.

(Впрочем, и Николай Васильевич не лёг.)

А ещё такие есть подсудимые, кто был *осведомлён!* — и молчал. («Знал — не сказал» по-нашенскому.)

А вот уже не бездействие, вот уже активное преступное действие: через Л. Н. Хрущёву, члена политического Красного Креста (тут же и она, на скамье), другие подсудимые *помогали бутырским заключённым деньгами* (можно себе представить этот поток капиталов — на тюремный ларёк) и вещами (да ещё, глядя, шерстяными?).

Нет меры их злодеяниям! Да не будет же удержу и пролетарской каре!

Как при падающем киноаппарате, косою неразборчивой лентой проносятся перед нами двадцать восемь дореволюционных мужских и женских лиц. Мы не заметили их выражений! — они напуганы? презрительны? горды?

Ведь их ответов нет! ведь их последних слов нет! — по техническим соображениям... Покрывая эту недостачу, обвинитель напеваёт нам: «Это было сплошное самобичевание и раскаяние в совершённых ошибках. Политическая невыдержанность и промежуточная природа интеллигенции... — (да-да, ещё вот это: промежуточная природа!) — ...в этом факте всецело оправдала ту марксистскую оценку интеллигенции, которая всегда давалась ей большевиками» (стр. 8).

А кто эта женщина молодая промелькнула?

Это — дочь Толстого, Александра Львовна. Спросил Крыленко: что она делала на этих беседах? Ответила: «Ставила самовар!» — Три года концлагеря!

По зарубежному журналу «На чужой стороне»¹³ мы можем установить, что на самом деле было.

Ещё летом 1917 при Временном правительстве возник Союз общественных деятелей — помочь довести войну до победного конца и противодействовать социалистическим течениям, особенно эсерам. После октябрьского переворота многие видные члены уехали, другие остались, больше нельзя было созывать съездов, заниматься организованной деятельностью, но интеллигенты привыкли думать, оценивать события, обмениваться мыслями — и им трудно было сразу от этой привычки отстать. Близость к академическому миру позволяла им придавать своим встречам вид научных конференций. Обсуждать же было тогда многое что: Брест-Литовский мир, выход из войны ценой потери огромных территорий, новые отношения с бывшими союзниками и бывшими врагами, в то время как в Европе война продолжалась. Одни — во имя свободы и демократии, а также союзнического долга, — считали, что надо продолжать помогать союзникам, а Брестский мир за-

¹³ «На чужой стороне». Историко-литературные сборники под ред. С. П. Мельгунова. Берлин — Прага. (С. П. Мельгунов, «Суд истории над интеллигенцией», III, 1923. С. А. Котляревский, «Национальный центр» в Москве в 1918», VIII, 1924.)

ключён людьми, не имевшими полномочий от страны. Некоторые надеялись, что как только Красная Армия укрепится, так советская власть порвёт с немцами. Другие надеялись, напротив, на немцев, что они, став по договору хозяевами половины России, теперь устроят большевиков. (А немцы справедливо считали, что работать на кадетов значит работать на англичан, и всякое другое правительство, кроме советского, возобновит войну с Германией.)

На этих разногласиях летом 1918 из Союза общественных деятелей выделился Национальный Центр — а по сути просто кружок, резко-союзнической ориентации, кадетский по составу, но как огня боявшийся возобновления партийной формы, решительно запрещённый большевиками. Ничего этот кружок не делал, кроме замаскированных собраний в институте профессора Кольцова. Иногда посылали своих членов на Кубань для осведомления — но те канивали там и как бы забывали о московских. (Впрочем, и союзники выказывали к Добровольческой армии самый слабый интерес.) Но более всего Национальный Центр сосредоточился на мирной выработке законопроектов для будущей России.

Одновременно с Национальным Центром и левее его создался Союз Возрождения (в основном эсеровский — неудобно объединяться с кадетами, возобновлялись привычные партийные направления и представления) — для борьбы и против немцев и против большевиков. Но и эта борьба показалась им невозможной на большевистской территории и сводилась к отсылке людей на юг. Однако и районы Добровольческой армии отталкивали их своею реакционностью.

Задыхаясь в вакууме военного коммунизма, весной 1919 все три — Совет общественных деятелей, Национальный Центр и Союз Возрождения, решили поддерживать систематическую координацию и для этого выделили по два человека. Образовавшаяся шестёрка иногда собиралась, в течение 1919, затем замерла, перестала существовать. Аресты же их начались только в 1920 году — и тогда-то, во время следствия, шестёрка была громко обозвана «Тактическим центром».

Аресты произошли по доносу одного из бледных участников Национального Центра — Н. Н. Виноградского, он продолжал быть и успешливым «наседкой» в камере Особого Отдела, через которую пропускали многих участников, — а они, с наивностью тех ещё крыловских лет, открыто рассказывали в камере то, что хотели утаить от следователя.

Известный русский историк С. П. Мельгунов, также попавший в число подсудимых и притом главных (член шестёрки), в эмиграции написал изнехота воспоминания об этом процессе — может быть и избежал бы писать, если б не опубликовалась как раз вот эта самая наша книга Крыленко с вот этой самой громовой речью. И Мельгунов с досадой на себя и однодельцев рисует нам такую известную для советского следствия картину: никаких улик у следствия не было, «ни одного документа в деле не оказалось. Весь обвинительный материал почерпнут был из показаний самих подсудимых... Все будущие участники процесса во время предварительного следствия не держались тактики молчания... Казалось, что принципиальным неговорением я без нужды отягчаю свою судьбу и, может быть, судьбу других... Когда стоишь перед возможностью расстрела, не всегда думаешь об истории».

В «Красной книге ВЧК» (т. II, М., 1922) многие показания подследственных приведены дословно, и они, увы, неприглядны.

Мельгунов без юмора ставит в упрёк следователю Якову Агранову (который их всех и скрутил) — обман его и других подследственных, ловкое дурачение, о котором он считает, что «большого издевательства надо мною быть не могло», хуже, мол, всякого физического воздействия. И Мельгунов, столь пронизательно потом объяснявший немало исторических лиц русской революции, тут сам легко попадает: подтверждает участие в Союзе Возрождения тех лиц, которые как будто уже прояснились из письменных показаний, ему предъявленных. И вообще «стал давать более или менее связные показания» — как рассказ, без выделения следовательских вопросов. (Эти показания изумляли и подавляли однодельцев, которым их показывали в свою очередь: как будто он рассказывал всё своею неудержимой охотой.)

«Купил» их всех Агранов и на том, что поскольку это — «дело прошлое», все эти центры уже не заседают давно — то и опасности подследственным никакой нет, ЧК выясняет всё лишь для исторического интереса. Многих обворожил Яков Саулович любезностью. Перед другими резко поставил равенство советской власти и России и, стало быть, преступность бороться против первой, если любишь вторую. И так получил от некоторых действительно униженные и угодливые показания. (В частности, статья Котляревского, указанная в сноске, была исследованием арестанта по заданию Агранова.)

А на суде? Мельгунов: «Революционная традиция [интеллигенции] требовала известного героизма, а в душе не было нужного для такого героизма пафоса. Превратить суд в демонстрацию протеста — означало сознательное ухудшение не только своего положения, но и других».

Вот так легко попадалась на чекистский крючок и сдавалась и гибла русская интеллигенция, такая свободолюбивая, такая непримиримая, такая несгибаемая при царе — когда за неё и не брались.

Но того ярче и страшней другая удача Агранова — «таганцевское дело» 1921 года (хотя оно не к этой главе относится, потому что с у д а

не было). Профессор Таганцев сорок пять дней следствия героически молчал. А потом убедил его Агранов подписать с ним соглашение:

«Я, Таганцев, сознательно начинаю делать показания о нашей организации, не утаивая ничего... не утаю ни одного лица, причастного к нашей группе. Всё это я делаю для облегчения участи участников нашего процесса.

Я, уполномоченный ВЧК Яков Саулович Агранов, при помощи гражданина Таганцева обязуюсь быстро закончить следственное дело и после окончания передать в гласный суд... Обязуюсь, что ни к кому из обвиняемых не будет применена высшая мера наказания».

И по таганцевскому делу — ЧК расстреляла восемьдесят семь человек.

Так восходило солнце нашей свободы. Таким упитанным шалуном рос наш октябрёнок-Закон.

Мы теперь совсем не помним этого.

Глава 9

ЗАКОН МУЖАЕТ

Наш обзор уже затянулся. А ведь мы ещё и не начинали. Ещё все главные, ещё все знаменитые процессы впереди. Но основные линии уже прорисованы.

Посопутствуем нашему закону ещё и в пионерском возрасте. Упомянем давно забытый и даже не политический

Процесс Главтопа (май 1921) — за то, что он касался инженеров, или *спецов*, как говорилось тогда.

Прошла жесточайшая из четырёх зим Гражданской войны, когда уж вовсе не осталось, чем топить, и поезда не дотягивали до станций, и в столицах был холод и голод, и волна заводских забастовок (теперь вычеркнутых из истории). Знаменитый вопрос: кто виноват?

Ну, конечно, не Общее Руководство. Но даже и не Местное! — вот важно. Если «товарищи, чьё пришедшие со стороны» (коммунисты-руководители), не имели правильного представления о деле, то для них «наметить правильный подход к вопросу» должны были спецы!¹⁴ Так значит: «не руководители виноваты... — виноваты те, кто высчитывал, пересчитывал и составлял план» (как накормить и натопить полями). Виноват не кто *заставлял*, а кто *составлял!* Плановость обернулась дутостью — спецы и виноваты. Что цифры не сошлись — «это вина спецов, а не Совета Труда и Оборон», даже «и не ответственных руководителей Главтопа». Нет ни угля, ни дров, ни нефти — это спецами «создано запутанное, хаотическое положение». И их же вина, что они не выстаивали против срочных телефонограмм Рыкова — и выдавали, и отпускали кому-то не по плану.

Во всём виноваты спецы! Но не беспощаден к ним пролетарский суд, приговоры мягки. Конечно, в пролетарских рёбрах сохраняется нутряная чуждость к этим проклятым спецам, — однако без них не потянешь, всё в развале. И Трибунал их не травит, даже говорит Крыленко, что с 1920 года «о саботаже нет речи». Спецы виноваты, да, но они не по злости, а просто — путаники, не умеют лучше, не научились работать при капитализме, или просто эгоисты и взяточники.

Так в начале восстановительного периода намечен удивительный пункт снисходительности к инженерам.

Богат был гласными судебными процессами 1922 год — первый мирный год, так богат, что вся эта наша глава почти и уйдёт на один

¹⁴ Н. В. Крыленко. За пять лет..., стр. 381.

этот год. (Удивятся: война прошла — и такое оживление судов? Но ведь и в 1945 и в 1948 Дракон оживился чрезвычайно. Нет ли тут самой простой закономерности?)

Хотя в декабре 1921 и постанавливал IX съезд Советов «сужать компетенцию ВЧК»¹⁵ — и с тем замыслом ужималась она и переименовывалась в ГПУ, — но уже в октябре 1922 права ГПУ были снова расширены, а в декабре Дзержинский говорил корреспонденту «Правды» (17.12.22): «теперь нам нужно о с о б е н н о з о р к о присматриваться к антисоветским течениям и группировкам. ГПУ сжало свой аппарат, но оно укрепило его качественно».

В начале того года не упустим

Дело о самоубийстве инженера Ольденборгера (Верхтриб, февраль 1922) — никем уже не помнимый, незначительный и совсем не характерный процесс. Потому не характерный, что объём его — одна единственная человеческая жизнь, и она уже окончилась. А если б не окончилась, то именно тот инженер, да с ним человек десять, образуя центр, и сидели бы перед Верхтрибом, и тогда процесс был бы вполне характерный. А сейчас на скамье — видный партийный товарищ Седельников, да два рабкриновца, да два профсоюзника.

Но, как дальняя лопнувшая струна у Чехова, что-то щемящее есть в этом процессе раннего предшественника шахтинцев и «Промпартии».

В. В. Ольденборгер тридцать лет проработал на московском водопроводе и стал его главным инженером, видимо, ещё с начала века. Прошёл Серебряный Век искусства, четыре Государственных Думы, три войны, три революции — а вся Москва пила воду Ольденборгера. Акмеисты и футуристы, реакционеры и революционеры, юнкера и красногвардейцы, СНК, ЧК и РКИ — пили чистую холодную воду Ольденборгера. Он не был женат, у него не было детей, во всей жизни его был — только этот один водопровод. В 1905 он не допустил на водопровод солдат охраны — «потому что солдатами могут быть по неловкости поломаны трубы или машины». (А бастовать водопроводу никто не помешал тогда, в 1905 оставляли Москву и без воды — может быть, Ольденборгер и перекрыл?) На второй день февральской революции он сказал своим рабочим, что революция кончилась, хватит, все по местам, вода должна идти. И в московских октябрьских боях была у него одна забота: сохранить водопровод. Его сотрудники забастовали в ответ на большевистский переворот, пригласили его. Он ответил: «с технической стороны я, простите, не бастую. А в остальном.. в остальном я, ну да...» Он принял для бастующих деньги от стачечной комиссии, выдал расписку, но сам побежал добывать муфту для испортившейся трубы.

И всё равно он враг! Он вот что сказал рабочему: «Советская власть не продержится и двух недель». Есть новая предзнэповская установка, и Крыленко разрешает себе пооткровенничать с Верхтрибом «Так думали тогда не только спецы, — так думали не раз и мы» (стр. 439, курсив мой. — А. С.).

И всё равно он враг! Как сказал нам товарищ Ленин: для наблюдения за буржуазными специалистами нуждаемся в сторожевом псе РКИ.

Двух таких сторожевых псов стали постоянно держать при Ольденборгере. (Один из них — плут-конторщик водопровода Макаров Землянский, уволенный за «неблаговидные поступки», подался в РКИ «потому что там лучше платят», поднялся в Центральный Наркомат потому что «там оплата ещё лучше», — и оттуда приехал контролировать своего бывшего начальника, мстить обидчику от всего сердца. Ну, и местком не дремал, конечно, — этот лучший защитник рабочи:

¹⁵ «Собрание Уставлений РСФСР», 1922, № 4, стр. 42.

интересов. Ну, и коммунисты же возглавили водопровод. «Только рабочие должны стоять у нас во главе, только коммунисты должны обладать всей полнотой руководства,— правильность этой позиции подтвердилась и данным процессом» (стр. 433). Ну, и московская же партийная организация глаз не спускала с водопровода. (А за ней сзади — ещё ЧК.) «На здоровом чувстве классовой неприязни строили мы в своё время нашу армию; во имя её же ни одного ответственного поста мы не поручаем людям не нашего лагеря, не приставив к ним... комиссара» (стр. 434). Сразу стали все главного инженера поправлять, направлять, учить и без его ведома перемещать технического персонал («рассосали всё гнездо дельцов»).

И всё равно водопровода не спасли! Дело не лучше стало идти, а хуже! — так умудрялась шайка инженеров исподтишка проводить злой умысел. Более того: переступив свою промежуточную интеллигентскую природу, из-за которой никогда в жизни он резко не выражался, Ольденборгер осмелился назвать действия нового начальника водопровода Зенюка («фигуры глубоко симпатичной» Крыленко «по своей внутренней структуре») — самодурством!

Вот тогда-то стало ясно, что «инженер Ольденборгер сознательно предаёт интересы рабочих и является прямым и открытым противником диктатуры рабочего класса». Стали зазывать на водопровод прозерочные комиссии — однако комиссии находили, что всё в порядке и вода идёт нормально. Рабкриновцы на этом не помирились, они сытали и сыпали доклады в РКИ. Ольденборгер просто хотел «разрушить, испортить, сломать водопровод в политических целях», да не смел это сделать. Ну, в чём могли — мешали ему, мешали расточительному ремонту котлов или замене деревянных баков на бетонные. Вожжи рабочих стали вьвязь говорить на собраниях водопровода, что их главный инженер — «душа организованного технического саботажа» и надо не верить ему и во всём сопротивляться.

И всё равно работа не исправилась, а пошла хуже!..

И что особенно ранило «потомственную пролетарскую психологию» рабкриновцев и профсоюзников — что большинство рабочих на дококачках, «заражённые мелкобуржуазной психологией», стояли на стороне Ольденборгера и не видели его саботажа. А тут ещё подошли выборы в Моссовет, и от водопровода рабочие выдвинули кандидатуру Ольденборгера, которой партиячейка, разумеется, противопоставила партийную кандидатуру. Однако она оказалась безнадёжной из-за фальшивого авторитета главного инженера среди рабочих. Тем не менее комячейка послала в райком, во все инстанции и объявила на общем собрании свою резолюцию: «Ольденборгер — центр и душа саботажа, в Моссовете он будет нашим политическим врагом!» Рабочие тветили шумом и криками «неправда!», «врёт!».. И тогда секретарь арткома товарищ Седельников прямо объявил в лицо тысячеголому пролетариату: «С такими черносотенцами я и говорить не хочу!», другом месте, мол, поговорим.

Приняли такие партийные меры: исключили главного инженера з... коллегии по управлению водопроводом, создали для него постоянную обстановку следствия, непрерывно вызывали его в многочисленные оmissии и подкомиссии, допрашивали и давали задания к срочному исполнению. Каждую его неявку заносили в протоколы «на случай удущего судебного процесса». Через Совет Труда и Оборонь (председатель — товарищ Ленин) добились назначения на водопровод Чрезвычайной Тройки» (Рабкрин, Совет Профсоюзов и тов. Куйышев).

А вода уже четвёртый год всё шла по трубам, москвичи пили и него не замечали...

Тогда тов. Седельников написал статью в «Экономическую жизнь»: ввиду волнующих общественное мнение слухов о катастрофическом состоянии водопровода» он сообщил много новых тревожных слухов

и даже: что водопровод качает воду под землю и «сознательно подмывает фундамент всей Москвы» (заложенный ещё Иваном Калитой). Вызвали комиссию Моссовета. Она нашла: «состояние водопровода удовлетворительное, техническое руководство рационально». Ольденборгер опроверг все обвинения. Тогда Седельников благодушно: «я ставил своей задачей *сделать шум* вокруг вопроса, а дело спецов разобратся в этом вопросе».

И что ж оставалось рабочим вождям? Какое последнее, но верное средство? Донос в ВЧК! Седельников так и сделал! Он «видит картину сознательного разрушения водопровода Ольденборгером», у него не вызывает сомнения «наличие на водопроводе, в сердце Красной Москвы, контрреволюционной организации». К тому ж и: катастрофическое состояние Рублёвской башни!

Но тут Ольденборгер допускает бестактную оплошность, беспозвоночный и промежуточный интеллигентский выпад: ему «зарезали» заказ на новые заграничные котлы (а старых в России сейчас починить невозможно) — и он кончает с собой. (Слишком много для одного, да ведь ещё и не тренированы.)

Дело не упущено, контрреволюционную организацию можно найти и без него, рабкриновцы берутся всю её выявить. Два месяца идут какие-то глухие манёвры. Но дух начинающегося НЭПа таков, что «надо дать урок и тем и другим». И вот — процесс Верховного Трибунала. Крыленко в меру суров. Крыленко в меру неумолим. Он понимает: «Русский рабочий, конечно, был прав, когда в каждом *не своём* видел скорее врага, чем друга», но: «при дальнейшем изменении нашей практической и общей политики, может быть, нам придётся идти ещё на большие уступки, отступить и лавировать; быть может, партия окажется принуждённой избрать тактическую линию, против которой станет возражать примитивная логика честных самоотверженных борцов» (стр. 458).

Ну, правда, рабочих, свидетельствующих против товарища Седельникова и рабкриновцев, трибунал «третировал с лёгкостью». И бестревожно отвечал подсудимый Седельников на угрозы обвинителя: «Товарищ Крыленко! Я знаю эти статьи; но ведь *здесь не классовых врагов судят*, а эти статьи относятся к врагам класса».

Однако и Крыленко сгущает бодро. Заведомо ложные доносы государственным учреждениям... при увеличивающих вину обстоятельствах (личная злоба, сведение личных счётов)... использование служебного положения... политическая безответственность... злоупотребление властью, авторитетом советских работников и членов РКП(б).. дезорганизация работы на водопроводе... ущерб Моссовету и Советской России, потому что мало таких специалистов... заменить невозможно... «*Не будем уже говорить об индивидуальной личной утрате..* В наше время, когда борьба представляет главное содержание нашей жизни, мы как-то привыкли мало считаться с этими невозвратимыми утратами... (стр. 458) Верховный Революционный Трибунал должен сказать своё веское слово... Уголовная кара должна лечь со всей суровостью!.. Мы не шутки пришли играть здесь!..»

Батюшки, что ж им теперь? Неужели...? Мой читатель привык и подсказывает: в с е х р а с . . .

Совершенно верно. Всех рас-смешить: ввиду чистосердечного раскаяния подсудимых приговорить их к... общественному порицанию!

Две правды...

А Седельникова будто бы — к одному году тюрьмы.

Разрешите не поверить.

О, барды 20-х годов, кто представляет их светлым бурлением радости! Даже краем коснувшись, даже только детством коснувшись —

ведь их не забыть. Эти хари, эти мурлы, травившие инженеров,— в 20-е-то годы они и отъедались.

Но видим теперь, что и с восемнадцатого...

* * *

В двух следующих процессах мы несколько отдохнём от нашего излюбленного верховного обвинителя: он занят подготовкой к большому процессу эсеров. (Провинциальные процессы эсеров, вроде Саратовского, 1919, были и раньше.) Этот грандиозный процесс уже заранее вызвал волнение в Европе, и спохватился Наркомюст: ведь четыре года судим, а Уголовного кодекса нет, ни старого, ни нового. Наверно, и забота о Кодексе не вовсе миновала Крыленку: надо было заранее всё увязывать.

Предстоявшие же церковные процессы были *внутренние*, прогрессивную Европу не интересовали, и можно было повернуть их без Кодекса.

Мы уже видели, что отделение церкви от государства понималось государством так, что сами храмы и всё, что в них навешано, наставлено и нарисовано, отходят к государству, а церкви остаётся лишь та церковь, что в *рёбрах*, согласно Священному Писанию. И в 1918 году, когда политическая победа казалась уже одержанной, быстрее и легче, чем ожидалось, приступили к церковным конфискациям. Однако этот наскок вызвал слишком большое народное возмущение. В разгоравшуюся Гражданскую войну неразумно было создавать ещё внутренний фронт против верующих. Пришлось диалог коммунистов и христиан пока отложить.

В конце же Гражданской войны, как её естественное последствие, разразился небывалый голод в Поволжье. Так как он не очень украшает венец победителей в этой войне, то о нём и буркают у нас не более, как по две строки. А голод этот был — до людоедства, до поедания родителями собственных детей — такой голод, какого не знала Русь и в Смутное Время (ибо тогда, свидетельствуют летописцы, выстаивали по несколько лет под снегом и льдом неразделанные хлебные зароды). Один фильм об этом голоде, может быть, переосветил бы всё, что мы видели, и всё, что мы знаем о революции и Гражданской войне. Но нет ни фильмов, ни романов, ни статистических исследований — это стараются забыть, это не красит. К тому ж и причину всякого голода мы привыкли сталкивать на кулаков, — а среди всеобщей смерти кто ж были кулаки? В. Г. Короленко в «Письмах к Луначарскому»¹⁶ (вопреки обещанию последнего, никогда у нас не изданных) объясняет нам повальное выголаживание и обнищание страны: это — от падения всякой производительности (трудовые руки заняты оружием) и от падения крестьянского доверия и надежды хоть малую долю урожая оставить себе. Да когда-нибудь кто-нибудь подсчитает и те многомесячные многовагонные продовольственные поставки по Брестскому миру — из России, лишившейся языка протеста, и даже из областей будущего голода — в кайзеровскую Германию, довоёвывающую на Западе.

Прямая и короткая причинная цепочка: потому поволжане ели своих детей, что большевики захватили силою власть и вызвали Гражданскую войну.

Но гениальность политика в том, чтоб извлечь успех и из народной беды. Это озарением приходит — ведь три шара ложатся в лузы одним ударом: *пусть попы и накормят теперь Поволжье!* ведь они — христиане, они — добренькие!

- 1) Откажут — и весь голод переложим на них, и церковь разгромим;
- 2) согласятся — выметем храмы;

¹⁶ «Задруга». Париж. 1922; Самиздат. 1967.

3) и во всех случаях пополним валютный запас.

Да вероятно догадка была навеяна действиями самой церкви. Как показывает патриарх Тихон, ещё в августе 1921, в начале голода, церковь создала епархиальные и всероссийские комитеты для помощи голодающим, начали сбор денег. Но допустить прямую помощь от церкви и голодающему в рот значило подорвать диктатуру пролетариата. Комитеты запретили, а деньги отобрали в казну. Патриарх обращался за помощью и к Папе Римскому, и к архиепископу Кентерберийскому, — но и тут оборвали его, разъяснив, что вести переговоры с иностранцами уполномочена только советская власть. Да и не из чего раздувать тревогу: писали газеты, что власть имеет все средства справиться с голодом и сама.

А на Поволжье ели траву, подметки и грызли дверные косяки. И наконец в декабре 1921 Помгол (государственный комитет помощи голодающим) предложил церкви: пожертвовать для голодающих церковные ценности — не все, но не имеющие богослужебного канонического употребления. Патриарх согласился, Помгол составил инструкцию: все пожертвования — только добровольно! 19 февраля 1922 Патриарх выпустил послание: разрешить приходским советам жертвовать предметы, не имеющие богослужебного значения.

И так всё опять могло расплыться в компромиссе, обволакивающим пролетарскую волю.

Мысль — удар молнии! Мысль — декрет! Декрет ВЦИК 26 февраля: изъять из храмов в с е ценности — для голодающих!

Патриарх написал Калинину — тот не ответил. Тогда 28 февраля Патриарх издал новое, роковое послание: с точки зрения Церкви подобный акт — святотатство, и мы не можем одобрить изъятия.

Из полустолетнего далека легко теперь упрекнуть Патриарха. Может быть, руководители христианской Церкви не должны были отвлекаться мыслями: а нет ли у советской власти других ресурсов или к т о довёл Волгу до голода; не должны были держаться за эти ценности, совсем не в них предстояло возникнуть (если предстояло) новой крепости веры. Но и надо представить себе положение этого несчастного Патриарха, избранного уже после Октября, короткие годы руководившего Церковью только теснимой, гонимой, расстреливаемой — и доверенной ему на сохранение.

И тут же в газетах началась беспроигрышная травля Патриарха и высших церковных чинов, удушающих Поволжье костлявой рукой голода! И чем твёрже упорствовал Патриарх, тем слабей становилось его положение. В марте началось движение и среди духовенства — уступить ценности, войти в согласие с властью. Опасения, которые здесь оставались, выразил Калинину список Антонин Грановский, вошедший в ЦК Помгола: «верующие тревожатся, что церковные ценности могут пойти на *иные*, узкие и чуждые их сердцам цели». (Зная общие принципы Передового Учения, опытный читатель согласится, что это — очень вероятно. Ведь нужды Коминтерна и освобождающегося Востока не менее остры, чем поволжские.)

Также и петроградский митрополит Вениамин пребывал в бесспорном порыве: «это — Богово, и мы всё отдадим сами». Но не надо изъятия, пусть это будет вольная жертва. Он тоже хотел контроля духовенства и верующих: сопровождать церковные ценности до того момента, как они превратятся в хлеб для голодающих. Он терзался, как при всём этом не преступить и осуждающей воли Патриарха.

В Петрограде как будто складывалось мирно. На заседании петроградского Помгола 5 марта 1922 создавалась, по рассказу свидетеля, даже радушная обстановка. Вениамин огласил: «Православная Церковь готова всё отдать на помощь голодающим» и только в насильственном изъятии видит святотатство. Но тогда изъятие и не понадобится! Председатель Петропомгола Канатчиков заверил, что это вызовет благожелательное отношение советской власти к церкви. (Как бы

не так!) В тёплом порыве все встали. Митрополит сказал: «Самая главная тяжесть — рознь и вражда. Но будет время — сольются русские люди. Я сам во главе молящихся сниму ризы с Казанской Божьей матери, сладкими слезами оплачу их и отдам». Он благословил большевиков — членов Помгола, и те с непокрытыми головами провожали его до подъезда. «Петроградская правда» от 8, 9 и 10 марта¹⁷ подтверждает мирный и успешный исход переговоров, благожелательно пишет о митрополите. «В Смольном договорились, что церковные чаши, ризы в присутствии верующих будут перелиты в слитки».

И опять же вымазывается какой-то компромисс! Ядовитые пары христианства отравляют революционную волю. Такое единение и такая сдача ценностей не нужны голодающим Поволжья! Сменяется бесхребетный состав Петропомгола, газеты взирают на «дурных пастырей» и «князей церкви», и разъясняется церковным представителям: не надо никаких ваших жертв! и никаких с вами переговоров! *всё принадлежит власти* — и она возьмёт, что считает нужным.

И началось в Петрограде, как и всюду, принудительное изъятие со столкновениями.

Теперь были законные основания начать церковные процессы¹⁸.

Московский церковный процесс (26 апреля — 7 мая 1922), в Политехническом музее, Мосревтрибунал, председатель Бек, прокуроры Лунин и Лонгинов. Семнадцать подсудимых, протоиереев и мирян, обвинённых в распространении патриаршего воззвания. Это обвинение — важней самой сдачи или несдачи ценностей. Протоиерей А. Н. Заозерский в своём храме ценности сдал, но в принципе отстаивает патриаршее воззвание, считая насильственное изъятие святотатством — и стал центральной фигурой процесса — и будет сейчас *р а с с т р е л я н*. (Что и доказывает: не голодающих важно накормить, а сломить в удобный час церковь.)

5 мая вызван в Трибунал свидетелем — патриарх Тихон. Хотя публика в зале — уже подобранная, подсаженная (в этом 1922 год не сильно отличается от 1937 и 1968), но так ещё въелась закваска Руси и так ещё плёнкой закваска Советов, что при входе Патриарха поднимается принять его благословение больше половины присутствующих.

Патриарх берёт на себя всю вину за составление и рассылку воззвания. Председатель старается допытаться: да не может этого быть! да неужели своею рукой — и все строчки? да вы, наверно, только под писали, а кто писал? а кто советчики? И потом: зачем вы в воззвании упоминаете о травле, которую газеты ведут против вас? (Ведь травят в а с, зачем же это слышать н а м?..) Что вы хотели выразить?

Патриарх — Это надо спросить у тех, кто травлю поднимал, с какой целью это поднимается?

Председатель — Но ведь это ничего общего не имеет с религией!

Патриарх — Это исторический характер имеет.

Председатель — Вы употребили выражение, что пока вы с Помголом вели переговоры — «за спиною» был выпущен декрет?

Патриарх — Да.

Председатель — Таким образом вы считаете, что советская власть поступила неправильно?

Сокрушительный аргумент! Ещё миллионы раз нам его повторяют в следовательских ночных кабинетах! И мы никогда не будем сметь так просто ответить, как

Патриарх — Да.

Председатель — Законы, существующие в государстве, вы считаете для себя обязательными или нет?

¹⁷ Статьи «Церковь и голод», «Как будут изъяты церковные ценности».

¹⁸ Материалы взяты мною из «Очерков по истории церковной смуты» Анатолия Краснова-Левитина (Самиздат, ч. 1, 1962) и «Записи допроса патриарха Тихона» (том V Судебного Дела).

Патриарх — Да, признаю, поскольку они не противоречат правилам благочестия.

(Все бы так отвечали! Другая была б наша история!)

Идёт переспрос о канонике. Патриарх поясняет: если Церковь сама передаёт ценности — это не святотатство, а если отбирать помимо её воли — святотатство. В воззвании не сказано, чтобы вообще не сдавать, а только осуждается сдача против воли.

Изумлён *председатель товарищ Бек* — Что же для вас в конце концов более важно — церковные каноны или точка зрения советского правительства?

(Ожидаемый ответ — ...советского правительства.)

— Хорошо, пусть святотатство по канонам, — восклицает *обвинитель*, — но с точки зрения м и л о с е р д и я!

(Первый раз и за пятьдесят лет последний вспоминают на Трибунале это убогое милосердие...)

Проводится и филологический анализ. «Святотатство» от слова свято-тать.

Обвинитель — Значит, мы, представители советской власти, — воры по святым вещам?

(Долгий шум в зале. Перерыв. Работа комендантских помощников.)

Обвинитель — Итак, вы представителей советской власти, ВЦИК, называете ворами?

Патриарх — Я привожу только каноны.

Далее обсуждается термин «кощунство». При изъятии из церкви Василия Кесарийского иконная риза не входила в ящик, и тогда её топтали ногами. Но сам Патриарх там не был?

Обвинитель — Откуда вы знаете? Назовите фамилию того священника, который вам это рассказывал! (=мы его сейчас посадим!)

Патриарх не называет.

Значит — ложь!

Обвинитель наседает торжествующе — Нет, кто эту гнусную клевету распространил?

Председатель — Назовите фамилии тех, кто топтал ризу ногами? — (Они ведь при этом визитные карточки оставляли.) — Иначе Трибунал не может вам верить!

Патриарх не может назвать.

Председатель — Значит, вы заявляете голословно!

Ещё остаётся доказать, что Патриарх хотел свергнуть советскую власть. Вот как это доказывается: «агитация является попыткой подготовить настроение, чтобы в будущем подготовить и свержение».

Трибунал постановляет возбудить против Патриарха уголовное дело.

7 мая выносится приговор: из семнадцати подсудимых — одиннадцать к расстрелу. (Расстреляют пятерых.)

Как говорил Крыленко, мы не шутки пришли играть.

Ещё через неделю Патриарх отстранён и арестован. (Но это ещё не самый конец. Его пока отвозят в Донской монастырь и там будут содержать в строгом заточении, пока верующие привыкнут к его отсутствию. Помните, удивлялся не так давно Крыленко: а какая опасность грозит Патриарху?.. Верно, когда подкрадётся, не сможешь ни звонком, ни телефоном.)

Ещё через две недели арестовывают в Петрограде и митрополита Вениамина. Он не был высокий сановник церкви, ни даже — назначенный, как все митрополиты. Весною 1917 — впервые со времён древнего Новгорода — избрали митрополита в Москве (Тихона) и в Петрограде (Вениамина). Общедоступный, кроткий, частый гость на заводах и фабриках, популярный в народе и в низшем духовенстве, — их голо-

сами и был избран Вениамин. Не понимая времени, задачей своей он видел свободу церкви от политики, «ибо в прошлом она много от неё пострадала». Этого-то митрополита и вывели на

Петроградский церковный процесс (9 июня — 5 июля 1922). Обвиняемых (в сопротивлении сдаче церковных ценностей) было несколько десятков человек, в том числе — профессора богословия, церковного права, архимандриты, священники и миряне. Председателю трибунала Семёнову — двадцать пять лет от роду (по слухам — булочник). Главный обвинитель — член коллегии Наркомюста П. А. Красиков — ровесник и красноярский, а потом эмигрантский приятель Ленина, чью игру на скрипке Владимир Ильич так любил слушать.

Ещё на Невском и на повороте с Невского что ни день густо стоял народ, а при провозе митрополита многие опускались на колени и пели «Спаси, Господи, люди Твоя!». (Само собою, тут же, на улице, как и в здании суда, арестовывали слишком ретивых верующих.) В зале большая часть публики — красноармейцы, но и те всякий раз вставали при входе митрополита в белом клобуке. А обвинитель и трибунал называли его *врагом народа* (словечко уже было, заметим).

От процесса к процессу сгущаясь, уже очень чувствовалось стеснённое положение адвокатов. Крыленко ничего нам не рассказал о том, но тут рассказывает очевидец. Главу защитников Бобрищева-Пушкина самого *посадить* загредел угрозами Трибунал — и так это было уже в нравах времени, и так это было реально, что Бобрищев-Пушкин поспешил передать адвокату Гуровичу золотые часы и бумажник... А свидетеля профессора Егорова Трибунал и постановил тут же заключить под стражу за высказывания в пользу митрополита. Но оказалось, что Егоров к этому готов: с ним — толстый портфель, а в нём — еда, бельё и даже одеяльце.

Читатель замечает, как суд постепенно приобретает знакомые нам формы.

Митрополит Вениамин обвиняется в том, что злонамеренно вступил в соглашение с... советской властью и тем добился смягчения декрета об изъятии ценностей. Своё обращение к Помголу злонамеренно распространял в народе (Самиздат!). И действовал в согласии с мировой буржуазией.

Священник Красницкий, один из главных живоцерковников и сотрудник ГПУ, свидетельствовал, что священники сговорились вызвать на почве голода восстание против советской власти.

Были заслушаны свидетели только обвинения, а свидетели защиты не допущены к показаниям. (Ну, как похоже!.. Ну, всё больше и больше...)

Обвинитель Смирнов требовал «шестнадцать голов». Обвинитель Красиков воскликнул: «Вся православная церковь — контрреволюционная организация. Собственно, следовало бы посадить в тюрьму всю церковь!»

(Программа очень реальная, она вскоре почти удалась. И хорошая база для Диалога коммунистов и христиан.)

Пользуемся редким случаем привести несколько сохранившихся фраз адвоката (С. Я. Гуровича), защитника митрополита:

«Доказательств виновности нет, фактов нет, нет и обвинения... Что скажет история?— (Ох, напугал! Да забудет и ничего не скажет!)— Изъятие церковных ценностей в Петрограде прошло с полным спокойствием, но петроградское духовенство — на скамье подсудимых, и чьи-то руки подталкивают их к смерти. Основной принцип, подчёркиваемый вами,— польза советской власти. Но не забывайте, что на крови мучеников растёт Церковь.— (А у нас не вырастет!) — Больше нечего сказать, но и трудно расстаться со словом. Пока длятся прения — подсудимые живы. Кончатся прения — кончится жизнь...»

Трибунал приговорил к смерти десятерых. Этой смерти они про-

ждали больше месяца, до конца процесса эсеров (как если б готовили их расстреливать вместе с эсерами). После того ВЦИК шестерых помиловал, а четверо (митрополит Вениамин; архимандрит Сергей, бывший член Государственной Думы; профессор права Ю. П. Новицкий; и присяжный поверенный Ковшаров) расстреляны в ночь с 12 на 13 августа.

Мы очень просим читателя не забывать о принципе провинциальной множественности. Там, где было два церковных процесса, там было их двадцать два.

* * *

К процессу эсеров очень торопились с Уголовным кодексом: пора было уложить гранитные глыбы Закона! 12 мая, как договорились, открылась сессия ВЦИК, а с проектом Кодекса всё ещё не успевали — он только подан был в Горки Владимиру Ильичу на просмотр. Шесть статей Кодекса предусматривали своим высшим пределом расстрел. Это не удовлетворило Ленина. 15 мая на полях проекта Ильич добавил ещё шесть статей, по которым также необходим расстрел (в том числе — по статье 69: пропаганда и агитация... в частности — призыв к пассивному противодействию правительству, к массовому невыполнению воинской или налоговой повинности¹⁹.) И ещё один случай расстрела: за не разрешённое возвращение из-за границы (ну, как все социалисты то и дело шныряли прежде). И ещё одну кару, равную расстрелу: высылку за границу. (Предвидел Владимир Ильич то недалёкое время, когда отбою не будет от рвущихся к нам из Европы, но выехать от нас на Запад никого нельзя будет понудить добровольно.) Главный вывод Ильич так пояснил наркому юстиции:

«т. Курский! По-моему, надо расширить применение расстрела (с заменой высылкой за границу)... ко всем видам деятельности меньшевиков, с.р. и т. п.; найти формулировку, ставящую эти деяния в связь с международной буржуазией» (курсив и разрядка Ленина²⁰).

Расширить применение расстрела! — чего тут не понять? (Много ли высылали за границу?) *Террор — это средство убеждения*²¹, кажется ясно!

А Курский всё же недопонял. Он вот чего, наверно, не дотягивал: как эту формулировку составить, как эту самую связь запетлять. И на другой день он приезжал к председателю СНК за разъяснениями. Эта беседа нам не известна. Но вдогонку, 17 мая, Ленин послал из Горок второе письмо:

«т. Курский! В дополнение к нашей беседе посылаю Вам набросок дополнительного параграфа Уголовного кодекса... Основная мысль, надеюсь, ясна, несмотря на все недостатки черняка: открыто выставить принципиальное и политически правдивое (а не только юридически-узкое) положение, мотивирующее *суть и оправдание* террора, его необходимость, его пределы.

Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать надо как можно шире, ибо только революционное правосознание и революционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее широкого.

С коммунистическим приветом

Ленин»²².

Комментировать этот важный документ мы не берёмся. Над ним уместны тишина и размышление.

¹⁹ То есть, как Выборгское воззвание, за что царское правительство врезало по три месяца тюрьмы.

²⁰ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 189.

²¹ Там же, т. 39, стр. 405.

²² Там же, т. 45, стр. 190.

Документ тем особенно важен; что он — из последних земных распоряжений ещё не охваченного болезнью Ленина, важная часть его политического завещания. Через девять дней после этого письма его постигнет первый удар, от которого лишь неполно и ненадолго он оправится в осенние месяцы 1922 года. Быть может и написаны оба письма Курскому в том же светлом беломраморном будуаре-кабинетике, угловом второго этажа, где уже стояло и ждало будущее смертное ложе вождя.

А дальше прикладывался тот самый черняк, два варианта дополнительного параграфа, из которого через несколько лет вырастет и 58-4 и вся наша матушка 58-я Статья. Читаешь и восхищаешься: вот оно что значит *формулировать как можно шире!* вот оно что значит — применения *более широкого!* Читаешь и вспоминаешь, как широко хватала родимая...

«...пропаганда или агитация, или участие в организации, или содействие (объективно содействующие или *способные содействовать*)... организациям или лицам, деятельность которых имеет характер...»

Да дайте мне сюда Блаженного Августина, я его сейчас же в эту статью вгоню!

Всё было, как надо, внесено, перепечатано; расстрел расширен — и сессия ВЦИК в двадцатых числах мая приняла и постановила ввести Уголовный кодекс в действие с 1 июня 1922 года.

И теперь на законнейшем основании начался двухмесячный

Процесс эсеров (8 июня — 7 августа 1922). Верховный Трибунал. Обычный председатель товарищ Карклин (хорошая фамилия для судьи) был для этого ответственного процесса заменён оборотистым Георгием Пятаковым.

Если бы мы с читателем не были уже достаточно подкованы, что главное во всяком судебном процессе не так называемая «вина», а — целесообразность, может быть мы бы не сразу распахнувшейся душой приняли бы этот процесс. Но *целесообразность* срабатывает без осечки: в отличие от меньшевиков эсеры были сочтены ещё опасными, ещё нерассеянными, недобитыми — и для крепости новосозданной диктатуры (пролетариата) целесообразно было их добить.

А не зная этого принципа, можно ошибочно воспринять весь процесс как партийную месть.

Над обвинениями, высказанными в этом суде, невольно задумаешься, перенося их на долгую, протяжную и всё тянущуюся историю государств. За исключением считанных парламентских демократий в считанные десятилетия вся история государств есть история переворотов и захватов власти. И тот, кто успеваешь сделать переворот проворней и прочней, от этой самой минуты осеняется светлыми ризами Юстиции, и каждый прошлый и будущий шаг его — законен и отдан одам, а каждый прошлый и будущий шаг его неудачливых врагов — преступен, подлежит суду и законной казни.

Всего неделю назад принят Уголовный кодекс — но вот уже пятилетнюю прожитую послереволюционную историю трамбуют в него. И двадцать, и десять, и пять лет назад эсеры были — соседняя по свержению царизма революционная партия, взявшая на себя (благодаря особенностям своей тактики террора) главную тяжесть каторги, почти не доставшейся большевикам.

А теперь вот первое обвинение против них: эсеры — инициаторы Гражданской войны! Да, это — он и её начали! Они обвиняются, что в дни октябрьского переворота вооружённо воспротивились ему. Когда Временное правительство, ими поддерживаемое и отчасти ими составленное, было законно сметено пулемётным огнём матросов, — эсеры совершенно незаконно пытались его отстоять. (Другое дело — очень вяло пытались, тут же и колебались, тут же и отрекались. Но

вина их от этого не меньше.) И даже на выстрелы отвечали выстрелами, и даже подняли юнкеров, состоявших у того свергаемого правительства на военной службе.

Разбитые оружейно, они не покаялись и политически. Они не стали на колени перед Совнаркомом, объявившим себя правительством. Они продолжали упорствовать, что единственно законным было предыдущее правительство. Они не признали тут же краха своей двадцатилетней политической линии (а крах-то конечно был, хотя выяснился не враз), не попросили их помиловать, распустить, перестать считать партией. (На тех же основаниях незаконны и все местные и окраинные правительства — Архангельское, Самарское, Уфимское или Омское, Украинское, Донское, Кубанское, Уральское или Закавказские, поскольку они объявляли себя правительствами уже после того, как объявил себя Совнарком.)

А вот и второе обвинение: они углубили пропасть Гражданской войны тем, что 5 и 6 января 1918 выступили как демонстранты и тем самым бунтовщики против законной власти Рабоче-Крестьянского правительства: они поддерживали своё незаконное (избранное всеобщим свободным равным тайным и прямым голосованием) Учредительное Собрание против матросов и красногвардейцев, законно разгоняющих и то Собрание и тех демонстрантов. Потому-то и началась Гражданская война, что не все жители одновременно и послушно подчинились законным декретам Совнаркома.

Обвинение третье: они не признали Брестского мира — того законного и спасительного Брестского мира, который не отрубал у России головы, а только часть туловища. Тем самым, устанавливает обвинительное заключение, налицо «все признаки государственной измены и преступных действий, направленных к вовлечению страны в войну».

Государственная измена! — она тоже перевертушка, её как поставишь...

Отсюда же вытекает и тяжкое четвёртое обвинение: летом и осенью 1918 года, когда кайзеровская Германия еле достаивала свои последние месяцы и недели против союзников, а советское правительство, верное Брестскому договору, поддерживало Германию в этой тяжёлой борьбе поездными составами продовольствия и ежемесячными золотыми уплатами — эсеры предательски готовились (даже не готовились, а по своей манере больше обсуждали: а что, если бы...) взорвать путь перед одним таким поездом и оставить золото на родине — то есть они «готовились к преступному разрушению нашего народного достояния — железных дорог». (Тогда ещё не стыдились и не скрывали, что — да, вывозилось русское золото в будущую империю Гитлера, и не навенуло Крыленке с его двумя факультетами, историческим и юридическим, и из помощников никто не подшепнул, что если рельсы стальные — народное достояние, то может быть и золотые слитки?..)

Из четвёртого обвинения неумолимо вытягивается пятое: технические средства для такого взрыва эсеры намеревались приобрести на деньги, полученные у союзных представителей (чтобы не отдавать золота Вильгельму, они хотели взять деньги у Антанты) — а это уже крайний предел предательства! (На всякий случай бормотнул Крыленко, что и со штабом Людендорфа эсеры были связаны, но не в тот огород перелетал камень, и покинули.)

Отсюда уже совсем недалеко до обвинения шестого: эсеры в 1918 году были *шпионами* Антанты! Вчера революционеры — сегодня шпионы! — тогда это, наверно, звучало взрывно. С тех-то пор за много процессов набило оскомину до мордоворота.

Ну, и седьмое, десятое — это сотрудничество с Савинковым, или Филоненко, или кадетами, или «Союзом Возрождения», и даже белоподкладочниками или даже белогвардейцами.

Вот эта цепь обвинений хорошо протянута прокурором. (Вернули ему эту кличку, к процессу.) Кабинетным ли высиживанием или внезапным озарением за кафедрю он находит здесь ту сердечно-согратательную, обвинительно-дружескую ноту, на которой в последующих процессах будет вытягивать всё увереннее и гуще, и которая в тридцать седьмом году даст ошеломляющий успех. Нота эта — найти единство между судящими и судимыми, — и против всего остального мира. Мелодия эта играет на самой любимой струне подсудимого. С обвинительной кафедры эсерам говорят: *ведь мы же с вами — революционеры!* (Вы и мы — это мы!) И как же вы могли так пасть, чтоб объединиться с кадетами? (да наверно сердце ваше разрывается!) с офицерами? Учить белоподкладочников вашей разработанной блестящей технике конспирации?! (Это — особый характер октябрьского переворота: объявить войну всем партиям сразу и тут же запретить им объединяться между собой: «тебя не гребут — не подмаживай».)

У иных подсудимых и как не разниться сердцу: ну как они могли так низко пасть? Ведь это сочувствие прокурора в светлом зале — оно очень пробирает узника, привезённого из камеры.

И ещё такую логическую тропочку находит Крыленко (очень она пригодится Вышинскому против Каменева и Бухарина): входя с буржуазией в союзы, вы принимали от неё денежную помощь. Сперва вы брали на дело, ни в коем случае не для партийных целей — *а где грань? Кто это разделит?* Ведь дело — тоже партийная цель? И так, вы докатились: вас, партию социалистов-революционеров, содержит буржуазия?! Да где же ваша революционная гордость?

Набралась обвинений мера полная и с присыпкой — и уж мог бы Трибунал уходить на совещание, отклёпывать каждому заслуженную казнь, — да вот ведь неурядица:

- всё, в чём здесь обвинена партия эсеров, — относится к 1917 и 1918 годам;
- в феврале 1919 совет партии эсеров постановил прекратить борьбу против большевистской власти (изнемогли ли от борьбы или проникнувшись социалистической совестью). И 27 февраля 1919 большевистское правительство объявило эсерам амнистию за всё прошлое. Партия была легализована, вышла из подполья — а через две недели начались массовые аресты, и всю головку тоже взяли (вот это — по-нашему!);
- с тех пор они не боролись на воле, и тем более не боролись, сидя в тюрьме (ЦК сидел в Бутырках и почему-то не бежал, как обычно при царе), — так они после амнистии ничего не совершили до нынешнего 1922 года.

Как же выйти из положения?

Мало того, что они не ведут борьбы, — они признали власть Советов! (То есть, отреклись от своего бывшего Временного, да и от Учредительного тоже.) И только просят произвести перевыборы этих Советов со свободной агитацией партий. (И даже тут на процессе подсудимый Гендельман, член ЦК: «Дайте нам возможность пользоваться всей гаммой так называемых гражданских свобод — и мы не будем нарушать законов». Дайте им, да ещё «всей гаммой!»)

Слышите? Вот оно, где прорвалось враждебное буржуазное звериное рыло! Да нешто можно? Да ведь *серьёзный момент!* Да ведь *окружены врагами!* (И через двадцать, и через пятьдесят, и через сто лет так будет.) А вам — свободную агитацию партий, сукины дети!?

Люди политически трезвые, говорит Крыленко, могли в ответ только рассмеяться, только плечами пожать. Справедливо было решено: «немедленно всеми мерами государственной репрессии пресечь этим группам возможность агитировать против власти» (стр. 183). Вот и весь ЦК эсеров (кого ухватили) посадили в тюрьму!

Но — в чём их теперь обвинить? «Этот период не является в такой мере обследованным судебным следствием», — сетует наш прокурор.

Впрочем, одно-то обвинение было верное: в том же феврале 1919 эсеры вынесли резолюцию (но не проводили в жизнь — однако по новому Уголовному кодексу это всё равно): тайно агитировать в Красной Армии, чтобы красноармейцы *отказывались участвовать в карательных экспедициях* против крестьян.

Это было низкое коварное предательство революции! — отговаривать от карательных экспедиций.

Ещё можно было обвинить их во всём том, что говорила, писала и делала (больше говорила и писала) так называемая «Заграничная делегация ЦК» эсеров — те главные эсеры, которые унесли ноги в Европу.

Но этого всё было маловато. И вот что было удумано: «многие из сидящих здесь подсудимых не подлежали бы обвинению в данном процессе, если бы не обвинения их в организации террористических актов!»... Когда, мол, издавалась амнистия 1919 года, «никому из деятелей советской юстиции не приходило в голову», что эсеры организовали ещё и террор против деятелей советского государства! (Ну, кому, в самом деле, в голову могло прийти, чтобы: эсеры — и вдруг террор? Да приди в голову — пришлось бы заодно и амнистировать. Это просто счастье, что тогда — в голову не приходило. Лишь когда понадобилось — теперь пришло.) А это обвинение не амнистировано (ведь амнистирована только *борьба*) — и вот Крыленко предъявляет его!

Прежде всего: что с к а з а л и вожди эсеров (а чего эти говоруны не высказали за жизнь!..) ещё в первые дни после октябрьского переворота? Нынешний лидер подсудимых, да и лидер партии, Абрам Гоц сказал тогда: «Если Смольные самодержцы посягнут и на Учредительное Собрание... партия с-р вспомнит о своей старой испытанной тактике».

От неукротимых эсеров — естественно этого и ждать. И правда, трудно поверить, чтоб они отказались от террора.

«В этой области исследования», — жалуется Крыленко, — из-за конспирации «свидетельские показания... будут мало». «Этим до чрезвычайности затруднена моя задача... В этой области приходится в некоторых моментах бродить в потёмках» (стр. 236, — а язычок-то!).

Задача Крыленки тем затруднена, что террор против советской власти трижды обсуждался на ЦК с-р в 1918 и был *трижды отвергнут* (несмотря и на разгон Учредительного). И теперь, спустя годы, надо доказать, что эсеры всё же вели террор.

Тогда они постановили: не раньше, чем большевики перейдут к казням социалистов. А в 1920: если большевики посягнут на жизнь заложников-эсеров, то партия возьмётся за оружие. (А других заложников пусть хоть и добывают...)

Так вот: почему с оговорками? Почему не абсолютно отказались? «Почему не было высказываний абсолютно отрицательного характера?»

Что партия в общем не проводила террора, это ясно даже из обвинительной речи Крыленки. Но натягиваются такие факты: в голове одного подсудимого был проект взорвать паровоз совнаркомовского поезда при переезде в Москву — значит, ЦК виноват в терроре. А исполнительница Иванова с о д н о й пироксилиновой пашкой дежурила одну ночь близ станции — значит, покушение на поезд Троцкого и, значит, ЦК виноват в терроре. Или: член ЦК Донской предупредил Ф. Каплан, что она будет исключена из партии, если выстрелит в Ленина. Так — мало! Почему — не категорически запретили? (Или: почему не донесли на неё в ЧК?) Всё же Каплан прилипает: была эсеркой.

Только то и наципал Крыленко с мёртвого петуха, что эсеры не приняли мер по прекращению индивидуальных террористических

актов своих безработных томящихся боевиков. (Да и те боевики мало что сделали. Семёнов направил руку Сергеева, убившего Володарского,— но ЦК остался чистеньким в стороне, даже публично отрёкся. Да потом этот же Семёнов и его подруга Коноплёва с подозрительной готовностью обогатили своими добровольными показаниями и ГПУ, и теперь Трибунал, и этих-то самых страшных боевиков держат на советском суде бесконвойно, между заседаниями они ходят спать домой.)

Об одном свидетеле Крыленко разъясняет так: «если бы человек хотел вообще выдумать, то вряд ли этот человек выдумал бы так, чтобы случайно попасть как раз в точку» (стр. 251). (Очень сильно! Это можно сказать обо всяком подделанном показании.) О Коноплёвой наоборот: достоверность её показания именно в том, что она не в сёе показывает то, что необходимо обвинению. (Но достаточно для расстрела подсудимых.) «Если мы поставим вопрос, что Коноплёва выдумывает всё это... то ясно: выдумывать так выдумывать» (он знает!)— а она вишь не до конца. А есть и так: «Могла ли произойти эта встреча? Такая возможность не исключена». Не исключена?— значит, бы л а! Катай-валяй!

Потом — «подрывная группа». Долго о ней толкуют, вдруг: «распущена за бездеятельность». Так что и уши забиваете? Было несколько денежных экспроприаций из советских учреждений (оборачиваться-то не на что эсерам, квартиры снимать, из города в город ездить). Но раньше это были изящные благородные экссы, как выражались все революционеры. А теперь, перед советским судом? — «грабёж и укрывательство краденого».

В материалах процесса освещается мутным жёлтым немигающим фонарём закона неуверенная, заколебленная, запетлившаяся после-революционная история этой пафосно-говорливой, а по сути растерявшейся, беспомощной и даже бездеятельной партии, не устоявшей против большевиков. И каждое её решение или нерешение, и каждое её метание, порыв или отступление — теперь обращаются и вменяются ей только в вину, в вину, в вину.

И если в сентябре 1921, за десять месяцев до процесса, уже сидя в Бутырьках, арестованный ЦК писал на волю новоизбранному ЦК, что не на всякое свержение большевистской диктатуры он согласен, а только — через сплочение трудящихся масс и агитационную работу (то есть, и сидя в тюрьме, не согласен он освободиться ни террором, ни заговором, ни вооружённым восстанием!), так и это выворачивается им в первейшую вину: ага, значит, на свержение согласны!

Ну, а если всё-таки в свержении не виновны, в терроре почти не виновны, экспроприаций почти нет, за всё остальное давно прощены? Наш любимый прокурор вытягивает заветный запасец: «В крайнем случае *негонесение* есть состав преступления, который по отношению ко всем без исключения подсудимым имеет место и должен считаться установленным» (стр. 305).

Партия эсеров уже в том виновна, что не донесла на себя! Вот это без промаха! Это — открытие юридической мысли в новом Кодексе, это — мощёная дорога, по которой покаты и покаты в Сибирь благодарных потомков.

Да и просто, в сердцах выпаливает Крыленко: «ожесточённые вечные противники» — вот кто такие подсудимые! А тогда и без процесса ясно, что с ними надо делать.

Кодекс так ещё нов, что даже главные контрреволюционные статьи Крыленко не успел запомнить по номерам — но как он сечёт этими номерами! как глубокомысленно приводит и истолковывает их! — будто десятилетиями только на тех статьях и качается нож гильотины. И вот что особенно ново и важно: различения *методов* и *средств*, которое проводил старый царский Кодекс, у нас нет!

Ни на квалификацию обвинения, ни на карательную санкцию они не влияют! Для нас намерение или действие — всё равно! Вот была вынесена резолюция — за неё и судим. А там «проводилась она или не проводилась — это никакого существенного значения не имеет» (стр. 185). Жене ли в постели шептал, что хорошо бы свергнуть советскую власть, или агитировал на выборах, или бомбы бросал — всё едино! *Наказание — одинаково!!!*

Как у провидчивого художника из нескольких резких угольных черт вдруг восстаёт желанный портрет — так и нам всё больше выступает в набросках 1922 года — вся панорама тридцать седьмого, сорок пятого, сорок девятого.

Это — первый опыт процесса, публичного даже на виду у Европы, и первый опыт «негодования масс». И негодование масс особенно удалось.

А вот как дело было. Два социалистических Интернационала — 2-й и 2½-й (Венское Объединение), если не восторженно, то вполне спокойно наблюдали четыре года, как большевики во славу социализма режут, жгут, топят, стреляют и дают свою страну, это всё понималось как грандиозный социальный эксперимент. Но весной 1922 объявила Москва, что сорок семь эсеров предаются суду Верховного Трибунала — и ведущие социалисты Европы забеспокоились и встревожились.

В начале апреля 1922 в Берлине собралось — для установления «единого фронта» против буржуазии — совещание трёх Интернационалов (от Коминтерна — Бухарин, Радек), и социалисты потребовали от большевиков отказаться от этого суда. «Единый фронт» очень был нужен в интересах мировой революции, и коминтерновская делегация самовольно дала обязательство: что процесс будет гласный; что представители всех Интернационалов могут присутствовать, вести стенографические отчёты; что будут допущены защитники, желаемые подсудимыми; и, самое главное, опережая компетентность суда (для коммунистов дело плёвое, но социалисты тоже согласились): на этом процессе не будет вынесено смертных приговоров.

Ведущие социалисты радовались: они просто решили ехать сами защитниками подсудимых. А Ленин (он доживал свои последние недели перед первым параличом, но не знал того) сурово отозвался в «Правде»: «Мы заплатили слишком много». Как же можно было обещать, что не будет смертных приговоров, и разрешить допуск социал-предателей на наш суд? По последующему мы увидим, что и Троцкий с ним был вполне согласен, да и Бухарин вскоре раскаялся. Газета германских коммунистов «Роте фане» отозвалась, что большевики были бы идиотами, если бы сочли необходимым выполнять принятые обязательства: дело в том, что «единый фронт» в Германии провалился, так что зря и обещания все были даны. Но коммунисты уже тогда начали понимать безграничную силу своих исторических приёмов. Ближе к процессу, в мае, «Правда» написала: «Мы в точности выполним обязательство. Но вне судебного процесса эти господа должны быть поставлены в такие условия, которые обеспечили бы нашу страну от поджигательской тактики этих негодяев». И под такой аккомпанемент в конце мая знаменитые социалисты Вандервельде, Розенфельд и Теодор Либкнехт (брат убитого Карла) выехали в Москву.

Уже начиная от пограничной станции и на всех остановках вагон социалистов штурмовали гневные демонстрации трудящихся, требуя отчёта в их контрреволюционных намерениях, от Вандервельде же — почему он подписал грабительский Версальский договор? А то — вышибали в вагоне стёкла и обещали самим морду набить. Но наиболее пышно их встретили на Видавском вокзале в Москве: площадь была заполнена демонстрациями со знамёнами, оркестрами, пением. На огромных плакатах: «Господин королевский министр Вандервельде! Когда вы предстанете перед судом Революционного Трибунала?»

«Каин, Каин, где брат твой Карл?» При выходе иностранцев — кричали, свистели, мяукали, угрожали, а хор пел:

Едет, едет Вандервельде,
Едет к нам всемирный хам.
Конечно, рады мы гостям,
Однако жаль, что нам, друзья,
Его повесить здесь нельзя.

(И тут случилась неловкость: Розенфельд разглядел в толпе самого Бухарина, весело свистевшего, пальцы в рот.) В последующие дни по Москве на разукрашенных грузовиках разъезжали балаганы Петрушек, на эстраде близ памятника Пушкину шёл постоянный спектакль с изображением предательства эсеров и их защитников. А Троцкий и другие ораторы разъезжали по заводам и в зажигательных речах требовали смертной казни эсерам, после чего проводили голосование партийных и беспартийных рабочих. (Уже в то время знали много возможностей: несогласных уволить с завода при безработице, лишить рабочего распределителя — это уж не говоря о ЧК.) Голосовали. Затем пустили по заводам петиции с требованием смертной казни, газеты заполнялись этими петициями и цифрами подписей. (Правда, несогласные ещё были, даже выступали — и кое-кого приходилось арестовывать.)

8 июня начался суд. Судили тридцать два человека, из них двадцать два подсудимых из Бутырок и десять раскаявшихся, уже бесконвойных, которых защищал сам Бухарин и несколько коминтерновцев. (Веселятся в одной и той же трибунальской комедии и Бухарин и Пятаков, не чуя насмешки запасливой судьбы. Но оставляет судьба и время подумать — ещё по пятнадцать лет жизни каждому, да и Крыленке.) Пятаков держался резко, мешал подсудимым высказываться. Обвинение поддерживали Луначарский, Покровский, Клара Цеткин. (Обвинительный акт подписала и жена Крыленки, которая вела следствие, — дружные семейные усилия.)

В зале было немало — тысяча двести человек, но из них только двадцать два родственника двадцати двух подсудимых, а остальные все — коммунисты, переодетые чекисты, подобранная публика. Часто из публики прерывали криками и подсудимых и защитников. Переводчики искажали для защитников смысл процесса, для процесса — слова защитников, ходатайства их трибунал отвергал с издёвкой, свидетели защиты не были допущены, стенограммы велись так, что нельзя было узнать собственных речей.

На первом же заседании Пятаков заявил, что суд заранее отказывается от беспристрастного рассмотрения дела и намерен руководствоваться исключительно соображениями об интересах советской власти.

Через неделю иностранные защитники имели бестактность подать суду жалобу, что как будто нарушается берлинское соглашение — на что Трибунал гордо ответил, что он — суд и не может быть связан никаким соглашением.

Защитники-социалисты окончательно упали духом, их присутствие на этом суде только создавало иллюзию нормального судопроизводства, они отказались от защиты и только хотели теперь уехать к себе в Европу — но их не выпускали. Пришлось знатным гостям *объявить голодовку!* — лишь после этого им разрешили выехать, 19 июня. А жаль, потому что они лишились самого впечатляющего зрелища — 20 июня, в годовщину убийства Володарского.

Собрали заводские колонны (на каких заводах запирали ворота, чтобы прежде не разбежались, на каких отбирали контрольные карточки, где, напротив, кормили обедом), на знамёнах и плакатах — «смерть подсудимым», воинские колонны само собою. И на Красной площади начался митинг. Выступал Пятаков, обещая суровое наказа-

ние, Крыленко, Каменев, Бухарин, Радек, весь цвет коммунистических ораторов. Затем манифестанты двинулись к зданию суда, а возвратившийся Пятаков велел подвести подсудимых к открытым окнам, под которыми бушевала толпа. Они стояли под градом оскорблений и издевательств, в Гоца угодила доска «смерть социалистам-революционерам». Всё это вместе заняло пять послерабочих часов, уже смеркалось (полубелая ночь в Москве)— и Пятаков объявил в зале, что делегация митинга просит впустить её. Крыленко дал разъяснение, что хотя законами это не предусмотрено, но по духу советской власти вполне можно. И делегация ввалилась в зал, и здесь два часа произносила ругательные грозные речи, требовала смертной казни, а судьи слушали, жали руки, благодарили и обещали беспощадность. Накал был такой, что подсудимые и их родственники ожидали прямо тут и линчевания. (Гоц, внук богатого чаеоторговца, тоже сочувственника революции, такой успешливый террорист при царе, участник покушений и убийств — Дурново, Мина, Римана, Акимова, Шувалова, Рачковско-го,— вот уж, за всю свою боевую карьеру так не попадал!) Но кампания народного гнева тут и оборвалась, хотя суд продолжался ещё полтора месяца. Через день и советские защитники с суда ушли (ждали и их арест и высылка).

Тут — узнаётся много знакомых будущих черт, но поведение подсудимых ещё далеко не сломлено, и ещё не понуждены они говорить против самих себя. Их ещё поддерживает и традиционное обманное представление левых партий, что они — защитники интересов трудящихся. После утеранных лет примирения и сдачи к ним возвратилась поздняя стойкость. Подсудимый Берг обвиняет большевиков в расстреле демонстрантов, защищавших Учредительное Собрание; подсудимый Либеров говорит: «я признаю себя виновным в том, что в 1918 году я недостаточно работал для свержения власти большевиков» (стр. 103). И Евгения Ратнер о том же, и опять Берг: «Считаю себя виновным перед рабочей Россией в том, что не смог со всей силой бороться с так называемой рабоче-крестьянской властью, но я надеюсь что моё время ещё не ушло». (Ушло, голубчик, ушло.) Есть тут и старая страсть к звучанию фразы — но есть же и твёрдость!

Аргументирует прокурор: обвиняемые опасны Советской России ибо *считают благом всё, что делали*. «Быть может некоторые из подсудимых находят своё утешение в том, что когда-нибудь летописец будет о них или об их поведении на суде отзываться с похвалой»

Подсудимый Гендельман зачёл декларацию: «Мы не признаём вашего суда!..» И, сам юрист, он выделился спорами с Крыленкой (с подтасовке свидетельских показаний, об «особых методах обращения со свидетелями до процесса» — читай: о явности обработки их в ГПУ (Это уже всё есть! — немного осталось дожать до идеала.) Оказывает ся: предварительное следствие велось под наблюдением прокурора (Крыленки же), и при этом сознательно сглаживались отдельные не согласованности в показаниях.

Ну что ж, ну есть шероховатости. Недоработки — есть. Но в конце концов «нам надлежит с совершенной ясностью и хладнокровностью сказать... занимает нас не вопрос о том, как суд истории будет оценивать творимое нами дело» (стр. 325).

А пока, выворачиваясь, Крыленко — должно быть, первый и последний раз в советской юриспруденции — вспоминает о *дознании* о первичном дознании, ещё до следствия! И вот как это у него ловко выкладывается: то, что было без наблюдения прокурора и вы считали следствием, — то было дознание. А то, что вы считаете переследствием под оком прокурора, когда увязываются концы и заворачиваются болты, — так это и есть следствие! Хаотические «материалы органов дознания, не проверенные следствием, имеют гораздо меньшую судебную доказательную ценность, чем материалы следствия» (стр. 238) когда направляют его умело.

Ловок, в ступе не утолчёшь.

По-деловому говоря, обидно Крыленке полгода к этому процессу готовиться, да два месяца на нём гавкаться, да часиков пятнадцать вытягивать свою обвинительную речь, тогда как все эти подсудимые «не раз и не два были в руках чрезвычайных органов в такие моменты, когда эти органы имели чрезвычайные полномочия; но благодаря тем или иным обстоятельствам *им удалось уцелеть*» (стр. 322), и вот теперь на Крыленке работа — тянуть их на законный расстрел.

Конечно, «приговор должен быть один — расстрел всех до одного!». Но, великодушно оговаривается Крыленко, поскольку дело всё-таки у мира на виду, — сказанное прокурором «не является указанием для суда», которое бы тот был «обязан непосредственно принять к сведению или исполнению» (стр. 319).

И хорош же тот суд, которому это надо объяснять!..

После призыва прокурора к расстрелу — подсудимым предложено было заявить о раскаянии и об отречении от партии. Все отклонили.

А трибунал в своём приговоре проявил дерзость: он изрёк расстрел действительно не «всем до одного», а только двенадцати человекам. Остальным — тюрьмы, лагеря, да ещё на дополнительную сотню человек выделил дело производством.

И — помните, помните, читатель: на Верховный Трибунал «смотрят все остальные суды Республики, [он] даёт им руководящие указания» (стр. 407), приговор Верхтриба используется «в качестве указующей директивы» (стр. 409). Скольких ещё по провинции закатают — это уж вы смеяйте сами.

А пожалуй всего этого процесса стоит кассация Президиума ВЦИК. Сперва приговор трибунала поступил на конференцию РКП(б). Там было предложение заменить расстрел высылкой за границу. Но Троцкий, Сталин и Бухарин (такая тройка, и заодно!): дать двадцать четыре часа на отречение и тогда пять лет ссылки, иначе немедленный расстрел. Прошло предложение Каменева, которое и стало решением ВЦИК: расстрельный приговор утвердить, но исполнением приостановить. И дальнейшая судьба осуждённых будет зависеть от поведения эсеров, оставшихся на свободе (очевидно — и заграничных). Если будет продолжаться хотя бы подпольно-заговорщицкая работа, а тем более — вооружённая борьба эсеров, — эти двенадцать будут расстреляны.

Так их подвергли пытке смертью: любой день мог быть днём расстрела. Из доступных Бутырок скрыли в Лубянку, лишили свиданий, писем и передач — впрочем и некоторых жён тут же арестовали и выслали из Москвы.

На полях России уже жали второй мирный урожай. Нигде, кроме дворов ЧК, уже не стреляли (в Ярославле — Перхурова, в Петрограде — митрополита Вениамина; и присно, и присно, и присно). Под лазурным небом синими водами плыли за границу наши первые дипломаты и журналисты. Центральный Исполнительный Комитет Рабочих и Крестьянских депутатов оставлял за пазухой пожизненных заложников.

Члены правящей партии прочли тогда шестьдесят номеров «Правды» о процессе (они все читали газеты) — и все говорили — да, да, да. Никто не вымолвил — нет.

И чему они потом удивлялись в тридцать седьмом? На что жаловались?.. Разве не были заложены все основы бессудия — сперва внесудебной расправой ЧК, судебной расправой реввоен трибуналов, потом вот этими ранними процессами и этим юным Кодексом? Разве 1937 не был тоже целесообразен (сообразен целям Сталина, а может быть и Истории)?

Пророчески же сорвалось у Крыленки, что не прошлое они судят, а будущее.

Лихо косою только первый взмах сделать

* * *

Около 20 августа 1924 перешёл советскую границу Борис Викторovich Савинков. Он тут же был арестован и отвезён на Лубянку.

Об этом возвращении много плелось догадок. Но вот недавно и советский журнал «Нева» (1967, № 11) подтвердил объяснение, данное в 1933 Бурцевым («Былое», Париж, Новая серия — II, Библ-ка «Иллюстрированной России», кн. 47): склонив к предательству одних агентов Савинкова и одурочив других, ГПУ через них закинуло верный крючок: здесь, в России, томится большая подпольная организация, но нет достойного руководителя! Не придумать было крючка зацепистей! Да и не могла смятенная жизнь Савинкова тихо окончиться в Ницце.

Следствие состояло из одного допроса — только добровольные показания и оценки деятельности. 23 августа уже было вручено обвинительное заключение. (Скорость невероятная, но это произвело эффект. Кто-то верно рассчитал: вымучивать из Савинкова жалкие ложные показания — только бы разрушило картину достоверности.)

В обвинительном заключении, уже отработанном выворотной терминологией, в чём только Савинков не обвинялся: и «последовательный враг беднейшего крестьянства»; и «помогал российской буржуазии осуществлять империалистические стремления» (то есть, в 1918 был за продолжение войны с Германией); и «сносился с представителями союзного командования» (это когда был управляющим военного министерства!); и «провокационно входил в солдатские комитеты» (то есть, избирался солдатскими депутатами); и уж вовсе курам на смех — имел «монархические симпатии». Но это всё старое. А были и новые, дежурные обвинения всех будущих процессов: деньги от империалистов; шпионаж для Польши (Японию пропустили!..) и — цианистым калием хотел перетравить Красную Армию (но ни одного красноармейца не отравил).

26 августа начался процесс. Председателем был Ульрих (впервые его встречаем), а обвинителя не было вовсе, как и защиты. Савинков мало и лениво защищался, почти не спорил об уликах. И, кажется, очень сюда пришлась, смущала подсудимого эта мелодия: *ведь мы же с вами — русские!.. вы и мы — это мы!* Вы любите Россию, несомненно, мы уважаем вашу любовь, — а разве не любим мы? Да разве мы сейчас и не есть крепость и слава России? А вы хотели против нас бороться? Покайтесь!..

Но чуднее всего был приговор: «применение высшей меры наказания не вызывается интересами охранения революционного правопорядка и, полагая, что мотивы мести не могут руководить правосознанием пролетарских масс», — заменить расстрел десятью годами лишения свободы.

Это — сенсационно было, это много тогда смутило умов: помягчение власти? перерождение? Ульрих в «Правде» даже объяснялся и обвинялся, почему Савинкова помиловали. Ну, да ведь за семь лет какая ж и крепкая стала советская власть! — неужели она боится какого-то Савинкова! (Вот на двадцатом году послабееет, уж там не взыщете, будем сотнями тысяч стрелять.)

Так после первой загадки возвращения стал второю загадкой несмертный этот приговор. (Бурцев объясняет тем, что Савинкова отчасти обманули наличием каких-то оппозиционных комбинаций в ГПУ, готовых на союз с социалистами, и он сам ещё будет освобождён и привлечён к деятельности — и так он пошёл на сговор со следствием.) После суда Савинкову разрешили... послать открытые письма за границу, в том числе и Бурцеву, где он убеждал эмигрантов-революционеров, что власть большевиков зиждется на народной поддержке и недопустимо бороться против неё.

А в мае 1925 две загадки были покрыты третьёю: Савинков в мрачном настроении выбросился из неограждённого окна во внутренний двор Лубянки, и гепеушники, ангелы-хранители, просто не успевали подхватить и спасти его. Однако оправдательный документ на всякий случай (чтобы не было неприятностей по службе) Са

винков им оставил, разумно и связно объяснил, зачем покончил с собой — и так верно, и так в духе и слоге Савинкова письмо было составлено, что вполне верили: никто не мог написать этого письма, кроме Савинкова, что он кончил с собою в сознании политического банкротства. (Так и Бурцев многопроходливый свёл всё происшедшее к ренегатству Савинкова, так и не усумнясь ни в подлинности его писем, ни в самоубийстве. И у всякой пронизательности есть свои пределы.)

И мы-то, мы, дурачё, лубянские поздние арестанты, доверчиво попугайничали, что железные сетки над лубянскими лестничными пролётами натянуты с тех пор, как бросился тут Савинков. Так покоряемся красивой легенде, что забываем: ведь опыт же тюремщиков международен! ведь сетки такие в американских тюрьмах были уже в начале века — а как же советской технике отставать?

В 1937 году, умирая в колымском лагере, бывший чекист Артур Шрюбель рассказал кому-то из окружающих, что он был в числе тех четырёх, кто выбросили Савинкова из окна пятого этажа в лубянский двор! (И это не противоречит нынешнему повествованию в журнале «Нева»: этот низкий подоконник, почти как у двери балконной, — выбрали комнату! Только у советского писателя ангелы зазевались, а по Шрюбелю — кинулись дружно.)

Так вторая загадка — необычайно милостивого приговора, развязывается грубой третьей.

Случ этот глух, но меня достиг, а я передал его в 1967 М. П. Якубовичу, и тот с сохранившейся ещё молодой оживлённостью, с заблещивающими глазами воскликнул: «Верю! Сходится! А я-то Блюмкину не верил, думал, что хвастает». Разъяснилось: в конце 20-х годов под глубоким секретом рассказывал Якубовичу Блюмкин, что это он написал так называемое предсмертное письмо Савинкова, по заданию ГПУ. Оказывается, когда Савинков был в заключении, Блюмкин был постоянно допущенное к нему в камеру лицо — он «развлекал» его вечерами. (Почуял ли Савинков, что это смерть к нему зачастила — вкрадчивая, дружественная смерть, в которой никак не угадаешь явления гибели?) Это и помогло Блюмкину войти в манеру речи и мысли Савинкова, в круг его последних мыслей.

Спросят: а зачем — из окна? А не проще ли было отравить? Наверно, кому-нибудь останки показывали или предполагали показать.

Где, как не здесь, досказать и судьбу Блюмкина, в его чекистском всемогуществе когда-то бесстрашно осуженного Мандельштамом. Эренбург начал о Блюмкине — и вдруг застыдился и покинул. А рассказать есть что. После разгрома левых эсеров в 1918 убийца Мирбаха не только не был наказан, не только не разделил участи всех левых эсеров, но был Дзержинским прибережён (как хотел он и Косырева прибереечь), внешне обращён в большевизм. Его держали видимо для ответственных мокрых дел. Как-то, на рубеже 30-х годов, он ездил за границу для тайного убийства. Однако дух авантюризма или восхищение Троцким завели Блюмкина на Принцевы острова: спросить у законоучителя, не будет ли поручения в СССР? Троцкий дал пакет для Радека. Блюмкин привёз, передал, и вся его поездка к Троцкому осталась бы в тайне, если бы сверкающий Радек уже тогда не был бы стукачом. Радек за а л л Блюмкина, и тот поглощён был пастью чудовища, которое сам выкармливал из рук ещё первым кровавым молочком.

А все главные и знаменитые процессы — всё равно впереди...

Глава 10

ЗАКОН СОЗРЕЛ

Но где же эти толпы, в безумии лезущие на нашу пограничную колючую проволоку с Запада, а мы бы их расстреливали по статье 71 УК за самовольное возвращение в РСФСР? Вопреки научному предвидению не было этих толп, и втуне осталась статья, продиктованная Лениным. Единственный на всю Россию такой чудак нашёлся Савинков, но и к нему не извернулись применить ту статью. Зато противоположная кара — высылка за границу вместо расстрела, была испробована густо и незамедлительно.

Ещё в тех же днях, в горячах, когда сочинялся Кодекс, Владимир Ильич, не оставляя блеснувшего замысла, написал 19 мая 1922:

«т. Дзержинский! К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции. Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим... Надо поставить дело так, чтобы этих «военных шпионов» изловить и излавливать постоянно

и систематически и высылать за границу. Прошу показать это секретно, не размножая, членам Политбюро»²³.

Естественная в этом случае секретность вызвалась важностью и поучительностью меры. Прорезающе-ясная расстановка классовых сил в Советской России только и нарушалась этим студенистым бесконтурным пятном старой буржуазной интеллигенции, которая в идеологической области играла подлинную роль военных шпионов — и ничего нельзя было придумать лучше, как этот застойник мысли поскорей соскочить и вышвырнуть за границу.

Сам товарищ Ленин уже слёг в своём недуге, но члены Политбюро, очевидно, одобрили, и товарищ Дзержинский провёл излавливание, и в конце 1922 около трёхсот виднейших русских гуманитариев были посажены на... баржу?.. нет, на пароход, и отправлены на европейскую свалку. (Из имён утвердившихся и прославившихся там были философы Н. О. Лосский, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, Ф. А. Степун, Б. П. Вышеславцев, Л. П. Карсавин, И. А. Ильин; затем историки С. П. Мельгунов, В. А. Мякотин, А. А. Кизеветтер, И. И. Лапшин; литераторы и публицисты Ю. И. Айхенвальд, А. С. Изгоев, М. А. Осоргин, А. В. Пешехонов. Малыми группами досылали ещё и в начале 1923, например секретаря Льва Толстого В. Ф. Булгакова. По худым знакомствам туда попадали и математики — Д. Ф. Селиванов.)

Однако излавливать постоянно и систематически — не вышло. От рёва ли эмиграции, что это ей «подарок», прояснилось, что и эта мера — не лучшая, что зря упускался хороший расстрельный материал, а на той свалке мог произрасти ядовитыми цветами. И — покинули эту меру. И всю дальнейшую очистку вели либо к *Духонину*, либо на Архипелаг.

Утверждённый в 1926 (и вплоть до хрущёвского времени) улучшенный Уголовный кодекс скрутил все прежние верви политических статей в единый прочный бредень 58-й — и заведён был на эту ловлю. Ловля быстро расширилась на интеллигенцию инженерно-техническую — тем более опасную, что она занимала сильное положение в народном хозяйстве, и трудно было её контролировать при помощи одного только Передового Учения. Прояснялось теперь, что ошибкой был судебный процесс в защиту Ольденборгера (а хороший там Центр сколачивался!) и — поспешным отпускательное заявление Крыленки: «о саботаже инженеров уже не было речи в 1920 — 21 годах»²⁴. Не саботаж, так хуже — *вредительство* (это слово открыто было, кажется, шахтинским рядовым следователем).

Едва было понято, что искать: вредительство, — и тут же, несмотря на небывалость этого понятия в истории человечества, его без труда стали обнаруживать во всех отраслях промышленности и на всех отдельных производствах. Однако, в этих дробных находках не было цельности замысла, не было совершенства исполнения, а натура Сталина, да и вся ищущая часть нашей юстиции очевидно стремились к ним. Да наконец же созрел наш Закон и мог явить миру нечто действительно совершенное! — единый, крупный, хорошо согласованный процесс, на этот раз над инженерами. Так состоялось

Шахтинское дело (18 мая — 15 июля 1928). Спецприсутствие Верховного Суда СССР, председатель А. Я. Вышинский (ещё ректор 1-го МГУ), главный обвинитель Н. В. Крыленко (знаменательная встреча! как бы передача юридической эстафеты²⁵), пятьдесят три подсудимых, пятьдесят шесть свидетелей. Грандиозно!!!

Увы, в грандиозности была и слабость этого процесса: если

²³ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 54, стр. 265—266.

²⁴ Н. В. Крыленко. За пять лет..., стр. 437.

²⁵ А членами были старые революционеры Васильев-Южин и Антонов-Саратовский. Располагало само уже простецкое звучание их фамилий. Запоминаются. Вдруг в 1962 читаешь в «Известиях» некрологи о жертвах репрессий — и кто же подписал? Долгожитель Антонов-Саратовский! Может, и сам отведал? Но эти х не вспоминает.

на каждого подсудимого тянуть только по три нитки, то уже их сто пятьдесят девять, а у Крыленки лишь десять пальцев и у Вышинского десять. Конечно, «подсудимые стремились раскрыть обществу свои тяжёлые преступления», но — не все, только — шестнадцать. А тринадцать «извивались». А двадцать четыре вообще себя виновными не признали²⁶. Это вносило недопустимый разноречивый, массы вообще не могли этого понять. Наряду с достоинствами (впрочем, достигнутыми уже в предыдущих процессах) — беспомощностью подсудимых и защитников, их неспособностью сместить или отклонить глыбу приговора, недостатки нового процесса били в глаза, и кому-кому, а опытному Крыленке были непростительны.

На пороге бесклассового общества мы в силах были, наконец, осуществить и *бесконфликтный судебный процесс* (отражающий внутреннюю бесконфликтность нашего строя), где к единой цели стремились бы дружно и суд и прокурор, и защита, и подсудимые.

Да и масштабы Шахтинского дела — одна угольная промышленность и только Донбасс, были несоизмеримы эпохе.

Очевидно тут же, в день окончания Шахтинского дела, Крыленко стал копать новую вместилищную яму (в неё свалились даже два его сотоварища по Шахтинскому делу — общественные обвинители Осадчий и Шейн). Нечего и говорить, с какой охотой и умением ему помогал весь аппарат ОГПУ, уже переходящий в твёрдые руки Ягоды. Надо было создать и раскрыть инженерную организацию, объёмляющую всю страну. Для этого нужно было несколько сильных вредительских фигур во главе. Такую безусловно сильную, нетерпимо-гордую фигуру кто ж в инженерии не знал? — Петра Акимовича Пальчинского. Крупный горный инженер ещё в начале века, он в мировую войну уже был товарищем председателя Военно-Промышленного Комитета, то есть руководил военными усилиями всей частной русской промышленности. После Февраля он стал товарищем министра торговли и промышленности. За революционную деятельность он преследовался при царе; трижды сажался в тюрьму после Октября (1917, 1918, 1922), с 1920 — профессор Горного института и консультант Госплана. (Подобно о нём — часть третья, гл. 10.)

Этого Пальчинского и наметили как главного подсудимого для нового грандиозного процесса. Однако, легкомысленный Крыленко, вступая в новую для себя страну инженерии, не только не знал сопромата, но даже о возможном сопротивлении душ совсем ещё не имел понятия, несмотря на десятилетнюю уже громкую прокурорскую деятельность. Выбор Крыленки оказался ошибочным. Пальчинский выдержал все средства, какие знало ОГПУ — и не сдался, и умер, не подписав никакой чуши. С ним вместе прошли испытания и они видимо не сдались — Н. К. фон Мекк и А. Ф. Величко. В пытках ли они погибли или расстреляны — этого мы пока не знаем, но они доказали, что можно сопротивляться и можно устоять, — и так оставили пламенный отблеск упрека всем последующим знаменитым подсудимым.

Скрывая своё поражение, Ягода опубликовал 24 мая 1929 года краткое коммюнике ОГПУ о расстреле их троих за крупное вредительство и осуждений ещё многих других непоименованных²⁷.

А сколько времени зря потрачено! — почти целый год! А сколько допросных ночей! а сколько следовательских фантазий! — и всё впустую. Приходилось Крыленке начинать всё сначала, искать фигуру и блестящую, и сильную — и вместе с тем совсем слабую, совсем податливую. Но настолько плохо он понимал эту проклятую инженерскую породу, что ещё год ушёл у него на неудачные пробы. С лета 1929 возился он с Хренниковым, но и Хренников умер, не согласившись на низкую роль. Согнули старого Федотова, но он текстильщик, не выигрывающая отрасль! И ещё пропал год! Страна ждала всеобъемлющего

²⁶ «Правда», 24 мая 1928, стр. 3.

²⁷ «Известия», 24 мая 1929.

вредительского процесса, ждал товарищ Сталин, — а у Крыленки никак не вытанцовывалось. И только летом 1930 года кто-то нашёл, предложил: директор Теплотехнического института Рамзин! — арестовали, и в три месяца был подготовлен и сыгран великолепный спектакль, подлинное совершенство нашей юстиции и недостижимый образец для юстиции мировой —

Процесс «Промпартии» (25 ноября — 7 декабря, 1930). Спецприсутствие Верховного суда, тот же Вышинский, тот же Антонов-Саратовский, тот же любимец наш Крыленко.

Теперь уже не возникает «технических причин», мешающих предложить читателю полную стенограмму процесса — вот она²⁸, или не допустить иностранных корреспондентов.

Величие замысла: на скамье подсудимых вся промышленность страны, все её отрасли и плановые органы. (Только глаз устроителя видит щели, куда провалилась горная промышленность и железнодорожный транспорт.) Вместе с тем — скупость в использовании материала: обвиняемых только восемь человек (учтены ошибки Шахтинского дела).

Вы воскликнете: и восемь человек могут представить всю промышленность? Да нам даже много! Трое из восьми — только по текстилю, как важнейшей оборонной отрасли. Но тогда наверно толпы свидетелей? Семь человек, таких же вредителей, тоже арестованных. Но кипы уличающих документов? чертежи? проекты? директивы? сводки? соображения? донесения? частные записки? Ни одного! то есть — ни одной бумажки! Да как же это ГПУ ушами прохлопало? — столько арестовало и ни одной бумажки не цапнуло? «Много было», но «всё уничтожено». Потому что: «где держать архив?» Выносятся на процесс лишь несколько открытых газетных статей — эмигрантских и наших. Но как же вести обвинение?!.. Да ведь — Николай Васильевич Крыленко. Да ведь не первый день. «Лучшей уликой при всех обстоятельствах является всё же сознание подсудимых»²⁹.

Но признание какое — не вынужденное, а душевное, когда раскаяние вырывает из груди целые монологи, и хочется говорить, говорить, обличать, бичевать! Старику Федотову предлагают сесть, хватит, — нет, он навязывается давать ещё объяснения и трактовки! Пять судебных заседаний кряду даже не приходится задавать вопросов: подсудимые говорят, говорят, объясняют, и ещё потом просят слова, чтобы дополнить упущенное. Они дедуктивно излагают всё необходимое для обвинения безо всяких вопросов. Рамзин после пространных объяснений ещё даёт для ясности краткие резюме, как для сероватых студентов. Больше всего подсудимые боятся, чтоб что-нибудь осталось неразъяснённым, кто-нибудь не разоблачён, чья-нибудь фамилия не названа, чьё-нибудь вредительское намерение — не растолковано. И как чествяет сами себя! — «я — классовый враг», «я — подкуплен», «наша буржуазная идеология». Прокурор: «Это была ваша ошибка?» Чарновский: «И преступление!» Крыленке просто делать нечего, он пять заседаний пьёт чай с печеньем или что там ему приносят.

Но как подсудимые выдерживают такой эмоциональный взрыв? Магнитофонной записи нет, а защитник Оцеп описывает: «Деловито текли слова обвиняемых, холодно и профессионально-спокойно». Вот те раз! — такая страсть к исповеди — и деловито? холодно? да больше того, видимо, свой раскаянный и очень гладкий текст они так вяло вымывают, что часто просят их Вышинский говорить громче, ясней, ничего не слышно.

Стройность процесса несколько не нарушает и защита: она согласна со всеми возникающими предложениями прокурора; обвинительную речь прокурора называет исторической, свои же доводы —

²⁸ «Процесс Промпартии». М. «Советское законодательство», 1931.

²⁹ Там же, стр. 452.

узкими и произносимыми против сердца, ибо «советский защитник прежде всего советский гражданин» и «вместе со всеми трудящимися защита переживает чувство возмущения» преступлениями подзащитных («Процесс Промпартии», стр. 488). В судебном следствии защита задаёт робкие скромные вопросы и тотчас же отшатывается от них, если прерывает Вышинский. Адвокаты и защищают-то лишь двух безобидных текстильщиков, и не спорят о составе преступления, ни — о квалификации действий, а только: нельзя ли подзащитному избежать расстрела? Полезнее ли, товарищи судьи, «его труп или его труд».

И каковы же зловонные преступления этих буржуазных инженеров? Вот они. Планировались уменьшенные темпы развития (например, годовой прирост продукции в се-го лишь 20—22%, когда трудящиеся готовы дать 40 и 50%). Замедлялись темпы добычи местных топлив. Недостаточно быстро развивали Кузбасс. Использовали теоретико-экономические споры (снабжать ли Донбасс электричеством Днепро-ГЭСа? строить ли сверхмагистраль Москва — Донбасс?) для задержки решения важных проблем. (Пока инженеры спорят, а дело, мол, стоит.) Задерживали рассмотрение инженерных проектов (не утверждали мгновенно). В лекциях по *сопромату* проводили *антисоветскую линию*. Устанавливали устарелое оборудование. Омертвляли капиталы (вгоняли их в дорогостоящие и долгие постройки). Производили ненужные (!) ремонты. Дурно использовали металл (неполнота ассортимента железа). Создавали диспропорции между цехами, между сырьём и возможностью его обработать (и особенно это выявилося в текстильной отрасли, где построили на одну-две фабрики больше, чем собрали урожай хлопка). Затем делались прыжки от минималистских к максималистским планам. И началось явное вредительское ускоренное развитие всё той же злополучной текстильной промышленности. И самое главное: планировались (но ни разу нигде не были совершены) диверсии в энергетике. Таким образом вредительство было не в виде поломок или порч, но плановое и оперативное, и оно должно было привести ко всеобщему кризису и даже экономическому параличу в 1930 году! А не привело — только из-за встречных промфинпланов масс (удвоение цифр!).

— Те-те-те... — что-то заводит скептический читатель.

Как? Вам этого мало? Но если на суде мы каждый пункт повторим и разжуём по пять — по восемь раз — то, может, получится уже не мало?

— Те-те-те, — тянет своё читатель 60-х годов. — А не могло ли это всё происходить именно из-за встречных промфинпланов? Будет тебе диспропорция, если любое профсобрание, не спрося Госплана, может как угодно перекорёжить все пропорции.

О, горек прокурорский хлеб! Ведь каждое слово решили публиковать! Значит, инженеры тоже будут читать. Назвался груздем — полезай в кузов! И бесстрашно бросается Крыленко рассуждать и допрашивать об инженерных подробностях! И развороты и вставные листы огромных газет наполняются петитом технических тонкостей. Расчёт, что одурет любой читатель, не хватит ему ни вечеров, ни выходного, так не будет всего читать, а только заметит рефрены через каждые несколько абзацев: вредили! вредили! вредили!

А если всё-таки начнёт? Да каждую строку?

Он увидит тогда, через нудь самооговоров, составленных совсем неумно и неловко, что не за дело, не за свою работу взялась лубянская удавка. Что выпархивает из грубой петли сильнокрылая мысль XX века. Арестанты — вот они, взятые, покорны, подавлены, а мысль — выпархивает! Даже напуганные усталые языки подсудимых успевают нам всё назвать и сказать.

Вот в какой обстановке они работали. Калинин: «У нас ведь создано техническое недоверие». Ларичев: «Хотели бы мы этого или не хотели, а мы эти 42 миллиона тонн нефти должны добыть (то есть, сверху так приказано)... потому что всё равно 42 млн. тонн нельзя добыть ни при каких условиях» («Процесс Промпартии», стр. 325).

Между такими двумя невозможностями и зажата была вся работа несчастного поколения наших инженеров. — Теплотехнический институт гордится главным своим исследованием — резко повышен коэффициент использования топлива; исходя из этого в перспективный план ставятся меньшие потребности в добыче топлива — значит, вредили, преуменьшая топливный баланс! — В транспортный план поставили переоборудование всех вагонов на автосцепку — значит, вредили, омертвляли капитал! (Ведь ав-

тосценка внедрится и оправдывает себя лишь в длительный срок, а нам дай завтра! — Чтобы лучше использовать однопутные железные дороги, решили укрупнять паровозы и вагоны. Так это — модернизация? Нет, вредительство! — ибо придётся тратить средства на укрепление верхней части мостов и пути! — Из глубокого экономического рассуждения, что в Америке дешёв капитал и дороги рабочие руки, у нас же — наоборот, и потому нельзя нам перенимать по-мартышечьи, вывел Федотов: ни к чему нам сейчас покупать дорогие американские конвейерные машины, на ближайшие десять лет нам выгоднее подешевле купить менее совершенные английские и поставить к ним больше рабочих, а через десять лет всё равно неизбежно менять, какие б ни были, тогда купим подороже. Так вредительство! — под видом экономии он не хочет, чтоб в советской промышленности были передовые машины! — Стали строить новые фабрики из железобетона вместо более дешёвого бетона с объяснением, что за сто лет они очень себя оправдают — так вредительство! омертвление капиталов! поглощение дефицитной арматуры! (На зубы, что ли, её сохранять?)

Со скамьи подсудимых охотно уступает Федотов:

— Конечно, если каждая копейка на счету сегодня, тогда считайте вредительством. Англичане говорят: я не так богат, чтобы покупать дешёвые вещи...

Он пытается мягко разъяснить твердолобому прокурору:

— Всякого рода теоретические подходы дают нормы, которые в конце концов являются (сочтены будут!) вредительскими... (стр. 365).

Ну, как ещё ясней может сказать запуганный подсудимый?. То, что для нас — теория, то для вас — вредительство! Ведь вам надо хватать сегодня, нисколько не думая о завтрашнем...

Старый Федотов пытается разъяснить, где гибнут сотни тысяч и миллионы рублей из-за дикой спешки пятилетки: хлопок не сортируется на местах, чтоб каждой фабрике слался тот сорт, который соответствует её назначению, а шлют безалаберно, вперемешку. Но не слушает прокурор! С упорством каменного тупицы он десять раз за процесс возвращается, и возвращается, и возвращается к более наглядному, из кубиков сложенному вопросу: почему стали строить «фабрики-дворцы» — с высокими этажами, широкими коридорами и слишком хорошей вентиляцией? Разве это не явное вредительство? Ведь это — омертвление капитала, безвозвратное!! Разъясняют ему буржуазные вредители, что Наркомтруд хотел в стране пролетариата строить для рабочих просторно и с хорошим воздухом (значит, в Наркомтруде вредители тоже, запишите!), врачи хотели высоту этажа девять метров, Федотов снизил до шести метров — так почему не до пяти?? вот вредительство! (А снизил бы до четырёх с половиной — уже наглое вредительство: хотел бы создать свободным советским рабочим кошмарные условия капиталистической фабрики.) Толкуют Крыленке, что по общей стоимости всей фабрики с оборудованием тут речь идёт о трёх процентах суммы — нет, опять, опять, опять об этой высоте этажа! И: как смели ставить такие мощные вентиляторы? Их рассчитывали на самые жаркие дни лета... Зачем же на самые жаркие дни? В самые жаркие дни пусть рабочие немного и попарятся!

А между тем: «Диспропорции были природождённые... Головоутиная организация выполнила это до «Инженерного центра» (стр. 204). «Никакие вредительские действия и не нужны... Достаточны надлежащие действия, и тогда всё придёт само собой» (стр. 202). Чарновский не может выразиться ясней! ведь это после многих месяцев Лубянки и со скамьи подсудимых. Достаточны надлежащие (то есть, указанные надлежащими головотяпами) действия — и немислимый план сам же себя подточит — Вот их вредительство: «Мы имели возможность выпустить, скажем, тысячу тонн, а должны были — (то есть по дурацкому плану) — три тысячи, и мы не приняли мер к этому выпуску».

Для официальной, просмотренной и прочищенной, стенограммы тех лет — согласитесь, это немало.

Много раз доводит Крыленко своих артистов до усталых интонаций — от чуши, которую заставляют молоть и молоть, когда стыдно за драматурга, но приходится играть ради куска жизни.

Крыленко — Вы согласны?

Федотов — Я согласен. Хотя в общем не думаю... (стр. 425).

Крыленко — Вы их подтверждаете?

Федотов — Собственно говоря... в некоторых частях... Как будто в общем — да (стр. 356).

У инженеров (ещё тех, на воле, ещё не посаженных, кому предстоит бодро работать после судебного поношения всего сословия) — у них выхода нет. Плохо — всё. Плохо да и плохо нет. Плохо вперёд и плохо назад. Торопились — вредительская спешка, не торопились — вредительский срыв темпов. Развивали отрасль осторожно — умышленная задержка, саботаж; подчинились прыжкам прихоти — вредительская диспропорция. Ремонт, улучшение, капитальная подготовка — омертвление капиталов; работа до износа оборудования — диверсия! (Причём всё это следователи будут узнавать у них самих так:

бессонница — карцер — а теперь сами приведите убедительные примеры, где вы могли вредить.)

— Дайте яркий пример! Дайте яркий пример вашего вредительства! — понукает нетерпеливый Крыленко.

(Дадут, дадут вам яркие примеры! Будет же кто-нибудь скоро писать и историю техники этих лет! Он даст вам все примеры и непримеры. Оценит он вам все судороги вашей припадочной пятилетки в четыре года. Узнаем мы тогда, сколько народного богатства и сил погубло впустую. Узнаем, как все лучшие проекты были загублены, а исполнены худшие и худшим способом. Ну, да если хунвейбины руководят алмазными инженерами — что из того может доброго выйти? Дилетанты-энтузиасты — они-то наворочали ещё больше тупых начальников.)

Да, подробнее — невыгодно. Чем подробнее, тем как-то меньше тянут злодеяния на расстрел.

Но погодите, ещё же не всё! Ещё самые главные преступления — впереди! Вот они, вот они, доступны и понятны даже неграмотному!! Промпартия: 1) готовила интервенцию; 2) получала деньги от империалистов; 3) вела шпионаж; 4) распределяла портфели в будущем правительстве.

И всё! И все рты закрылись. И все возражатели потупились. И только слышен топот демонстраций и рёв за окном: «Смерти! Смерти! Смерти!»

А — подробнее нельзя?.. — А зачем вам подробней? Ну хорошо, пожалуйста, только будет ещё страшней. Всем руководил французский генеральный штаб. Ведь у Франции нет ни своих забот, ни трудностей, ни борьбы партий, достаточно свистнуть — и дивизии шагают на интервенцию! Сперва наметили её на 1928 год. Но не договорились, не увязали. Ладно, перенесли на 1930. Опять не договорились. Ладно, на 1931. Собственно вот что: Франция сама воевать не будет, а только берёт себе (за общую организацию) часть Правобережной Украины. Англия — тем более воевать не будет, но для страха обещает выслать флот в Чёрное море и в Балтийское (за это ей — кавказскую нефть). Главные же воители вот кто: сто тысяч эмигрантов (они давно разбежались, разъехались, но по свистку сразу соберутся). Потом — Польша (ей — половину Украины). Румыния (известны её блистательные успехи в первой мировой войне, это страшный противник). Латвия! И Эстония! (Эти две малых страны охотно покинут заботы своих молодых государственных устройств и всей массой повалят на завоевание.) А страшнее того — направление главного удара. Как, уже известно? Да! Оно начнётся из Бессарабии и дальше, о п и р а с ь на правый берег Днепра — п р я м о на Москву!³⁰ И в этот роковой момент на всех железных дорогах... будут взрывы?? — нет, *будут созданы пробки!* И на электростанциях Промпартия тоже выкрутит пробки, и весь Союз погрузится во тьму, и все машины останоятся, в том числе и текстильные! Разразятся диверсии. (Внимание, подсудимые. До закрытого заседания методов диверсии не называть! заводов не называть! географических пунктов не называть! фамилий не называть, ни иностранных, ни даже наших!) Присоедините сюда смертельный удар по текстилю, который к этому времени будет нанесён! Добавьте, что две-три текстильные фабрики вредительски строятся в Белоруссии, они послужат *опорной базой для интервентов* (стр. 356, нисколько — не шутят)! Уж имея текстильные фабрики, интервенты неумолимо рванут на Москву! Но самый коварный заговор вот: хотели (не успели) осушить кубанские плавни, полесские болота и болото около Ильмень-озера (точные места Вышинский запрещает называть, но один свидетель пробалтывает) — и тогда интервентам откроются кратчай-

³⁰ Эту стрелку — кто начертил Крыленке на папиросной пачке? Не тот ли, кто всю нашу оборону продумал к 1941 году?..

шие пути, и они, не промокая ног и конских копыт, достигнут Москвы. (Татарам почему так было трудно? Наполеон почему Москвы не нашёл? Да из-за полесских и ильменских болот. А осушат — и обнажили белокаменную!) Ещё, ещё добавьте, что под видом лесопильных заводов построены (мест не называть, тайна!) ангары, чтобы самолёты интервентов не стояли под дождём, а туда бы заруливали. А также построены (мест не называть!) *помещения для интервентов!* (Где квартировали бездомные оккупанты всех предыдущих войн?..) Все инструкции об этом подсудимые получали от загадочных иностранных господ **К.** и **Р.** (имён не называть ни в коем случае! да наконец и государств не называть) (стр. 409). А в последнее время было даже приступлено к «подготовке изменнических действий отдельных частей Красной Армии» (родов войск не называть! частей не называть! фамилий не называть!). Этого, правда, ничего не сделали, но зато намеревались (тоже не сделали) в каком-то центральном армейском учреждении сколотить ячейку финансистов, бывших офицеров белой армии. (Ах, белой армии? Запишите, арестовать!) Ячейки антисоветски настроенных студентов... (Студентов? Запишите, арестовать.)

(Впрочем, гни-гни — не переломи. Как бы трудящиеся не приуныли, что теперь всё пропало, что советская власть всё прохлопала. Освещают и эту сторону: *много намечалось, а сделано мало! Ни одна промышленность существенных потерь не понесла.*)

Но почему же всё-таки не состоялась интервенция? По разным сложным причинам. То Пуанкаре во Франции не выбрали, то наши эмигранты-промышленники считали, что их бывшие предприятия ещё недостаточно восстановлены большевиками — пусть большевики лучше поработают! Да и с Польшей — Румынией никак не могли договориться.

Хорошо, не было интервенции, но была же Промпартия! Вы слышите топот? Вы слышите ропот трудящихся масс: *«Смерти! Смерти! Смерти!»* Шагают «те, которым в случае войны придётся своей жизнью, лишениями и страданиями искупить результаты работы этих лиц» (стр. 437, — из речи Крыленки).

(А ведь как в воду смотрел: именно — жизнями, лишениями и страданиями искупают в 1941 году эти доверчивые демонстранты — работу *этих лиц!* Но куда ваш палец, прокурор? но куда показывает ваш палец?)

Так вот — почему «Промышленная партия»? Почему — партия, а не Инженерно-Технический Центр?? Мы привыкли — Центр!

Был и Центр, да. Но решили преобразоваться в Партию. Это солиднее. Так будет легче бороться за портфели в будущем правительстве. Это «мобилизует инженерно-технические массы для борьбы за власть». А с кем бороться? А — с другими партиями! Во-первых — с Трудовой Крестьянской партией, ведь у них же — двести тысяч человек! Во-вторых — с меньшевистской партией! А Центр? Вот три партии вместе и должны были составить Объединённый Центр. Но ГПУ разгромило. И хорошо, что нас разгромили! (Подсудимые все рады.)

(Сталину лестно разгромить ещё три Партии! Много ли славы добавят три «центра»!)

А уж раз партия — то ЦК, да, свой ЦК! Правда, никаких конференций, никаких выборов ни разу не было. Кто хотел, тот и вошёл, человек пять. Все друг другу уступали. И председательское место все друг другу уступали. Заседаний тоже не бывало — ни у ЦК (никто не помнит, но Рамзин хорошо помнит, он назовёт!), ни в отраслевых группах. Какое-то безлюдье даже... Чарновский: «да формального образования Промпартии не было». А сколько же членов? Ларичев: «подсчёт членов труден, точный состав неизвестен». А как же вредили? как передавали директивы? Да так, кто с кем встретится в учреждении — передаст на словах. А дальше каждый вредит по сознательности. (Ну, Рамзин две тысячи членов уверенно называет. Где две, там посадят

и пять. Всего же в СССР, по данным суда, — тридцать — сорок тысяч инженеров. Значит, каждый седьмой сядет, шестерых напугают.) — А контакты с Трудовой Крестьянской? Да вот встретятся в Госплане или ВСНХ — и «планируют систематические акты против деревенских коммунистов»...

Где это мы уже видели? Ба, вот где: в «Аиде», Радамеса напутствуют в поход, гремит оркестр, стоит восемь воинов в шлемах и с пиками, а две тысячи нарисованы на заднем холсте.

Такова и Промпартия.

Но ничего, идёт, играет! (Сейчас даже поверить нельзя, как это грозно и серьёзно тогда выглядело, как душило нас.) И ещё вдалбливается от повторений, ещё каждый эпизод по несколько раз проходит. И от этого множатся ужасные видения. А ещё, чтоб не пресно, подсудимые вдруг на две копейки «забудут», «пытаются уклониться», — тут их сразу «стискивают перекрестными показаниями» и получается живо, как во МХАТе.

Но — пережал Крыленко. Задумал он ещё одной стороной выплата Промпартию — показать социальную базу. А уж тут стихия классовая, анализ не поведёт, и отступил Крыленко от системы Станиславского, ролей не раздал, пустил на импровизацию: пусть, мол, каждый расскажет о своей жизни, и как он относился к революции, и как дошёл до вредительства.

И эта опрометчивая вставка, одна человеческая картина, вдруг испортила все пять актов.

Первое, что мы изумлённо узнаём: что эти киты буржуазной интеллигенции все восемь — из бедных семей. Сын крестьянина, сын многодетного конторщика, сын ремесленника, сын сельского учителя, сын коробейника. Все восьмеро учились на медные гроши, на своё образование зарабатывали себе сами, и с каких лет? — с двенадцати, с тринадцати, с четырнадцати лет! кто уроками, кто на паровозе. И вот что чудовищно. при царизме никто не загородил им пути образования! Они все нормально кончили реальные училища, затем высшие технические, стали крупными знаменитыми профессорами. (Как же так? А нам говорили... только дети помещиков и капиталистов...? Календари же не могут врать?..)

А вот с е й ч а с, в советское время, инженеры были очень затруднены: им почти невозможно дать своим детям высшее образование (ведь дети интеллигенции — это последний сорт, вспомним). Не спорит суд. И Крыленко не спорит. (Подсудимые сами спешат оговориться, что, конечно, на фоне общих побед — это неважно.)

Начинаем мы немного различать и подсудимых (до сих пор они очень сходно говорили). Возрастная черта, разделяющая их, — она же и черта порядочности. Кому под шестьдесят и больше — объяснения тех вызывают сочувствие. Но бойки и бесстыдны сорокатрёхлетние Рамзин и Ларичев и тридцатидевятилетний Очкин (это тот, который на Главтоп донёс в 1921), а все главные показания на Промпартию и интервенцию идут от них. Рамзин был таков (при ранних чрезмерных успехах), что вся инженерия ему руки не подавала — вынес! А на суде намёки Крыленки он схватывает с четверти слова и подаёт чёткие формулировки. Все обвинения и строятся на памяти Рамзина. Такое у него самообладание и напор, что действительно мог бы (по заданию ГПУ, разумеется) вести в Париже полномочные переговоры об интервенции. — Успешлив был и Очкин: в двадцать девять лет уже «имел безграничное доверие СТО и Совнаркома».

Не скажешь этого о шестидесятидвухлетнем профессоре Чарновском: анонимные студенты травили его в стенной газете; после двадцати трёх лет чтения лекций его вызвали на общее студенческое собрание «отчитаться о своей работе» (не пошёл).

А профессор Калинин в 1921 возглавил открытую борьбу против советской власти — именно: профессорскую забастовку! Вспом-

ним их академическую автономию³¹. В 1921 профессора МВТУ переизбрали Калининкова ректором на новый срок, а наркомат не пожал, назначил своего. Забастовали тогда и студенты (ещё ведь не было настоящих пролетарских студентов), и профессора, — и целый год был Калининков ректором вопреки воле советской власти. (Только в 1922 скрутили голову их автономии, уже после многих арестов.)

Федотову — шестьдесят шесть лет, а его инженерный фабричный стаж на одиннадцать лет старше всей РСДРП. Он переработал на всех прядильных и текстильных фабриках России (как ненавистны такие люди, как хочется от них скорее избавиться!). В 1905 он ушёл с директорского места у Морозова, бросил высокую зарплату — предпочёл пойти на «красных похоронах» за гробом рабочих, убитых казаками. Сейчас он болен, плохо видит, вечерами из дому выйти не мог, даже в театр.

И они — готовили интервенцию? экономическую разруху?

У Чарновского много лет подряд не было свободных вечеров, так он был занят преподаванием и разработкой новых наук (организация производства, научные начала рационализации). Инженеров-профессоров тех лет мне сохранила память детства, именно такими они и были: вечерами донимали их дипломанты, проектанты, аспиранты, они к своей семье выходили только в одиннадцать вечера. Ведь тридцать тысяч на всю страну, на начало пятилетки — ведь на разрыв они!

И — готовили кризис? и — шпионили за подачки?

Одну честную фразу сказал Рамзин на суде: «Путь вредительства чужд внутренней конструкции инженерства».

Весь процесс Крыленко принуждает подсудимых пригибаться и извиняться, что они — «малограмотны», «безграмотны» в политике. Ведь политика — это гораздо трудней и выше, чем какое-нибудь металлостроение или турбостроение! Здесь тебе ни голова не поможет, ни образование. Нет, ответьте, с каким настроением вы встретили Октябрьскую революцию? — Со скепсисом. — То есть, сразу враждебно? Почему? Почему? Почему?

Донимает их Крыленко своими теоретическими вопросами — и из простых человеческих обмолвок, не по ролям, приоткрывается нам ядро правды — что было на самом деле, из чего выдут весь пузырь.

Первое, что инженеры увидели в октябрьском перевороте — развал. (И действительно начался развал на много лет.) Ещё они увидели — лишение простейших свобод. (И эти свободы уже никогда не вернулись.) Как могли инженеры воспринять *диктатуру рабочих* — этих своих подсобников в промышленности, мало квалифицированных, не охватывающих ни физических, ни экономических законов производства, — но вот занявших главные столы, чтобы руководить инженерами? Почему инженерам не считать более естественным такое построение общества, когда его возглавляют те, кто могут разумно направлять его деятельность? (И, обходя лишь нравственное руководство обществом, — разве не к этому ведёт сегодня вся социальная кибернетика? Разве профессиональные политики — не чирьи на шее общества, мешающие ему свободно вращать головой и двигать руками?) И почему инженерам не иметь политических взглядов? Ведь политика — это даже не род науки, это — эмпирическая область, не описываемая никаким математическим аппаратом да ещё подверженная человеческому эгоизму и слепым страстям. (Даже на суде высказывает Чарновский: «политика должна всё-таки до известной степени руководиться выводами техники».)

Дикий напор военного коммунизма мог только претить инженерам, в бессмыслице инженер участвовать не может — и вот до 1920 года большинство их бездействует, хотя и бедствует пещерно. Начал-

³¹ Часть первая, глава 2.

ся НЭП — инженеры охотно приступили к работе: НЭП они приняли за симптом, что власть образумилась. Но увы, условия не прежние: инженерство не только рассматривается как социально-подозрительная прослойка, не имеющая даже права учить своих детей; инженерство не только оплачивается неизмеримо ниже своего вклада в производство; но спрашивая с него успех производства и дисциплину на нём — лишили его прав эту дисциплину поддерживать. Теперь любой рабочий может не только не выполнить распоряжения инженера, но — безнаказанно его оскорбить и даже ударить, — и как представитель правящего класса рабочий при этом — всегда прав.

Крыленко возражает — Вы помните процесс Ольденборгера? (То есть, как мы его, де, защищали.)

Федотов — Да. Чтоб обратить ваше внимание на положение инженера, нужно было потерять жизнь.

Крыленко (разочарованно) — Ну, так вопрос не стоял.

Федотов — Он умер и не он один умер. Он умер добровольно, а многие были убиты. (Стр. 228.)

Крыленко молчит. Значит, правда. (Перелистайте ещё процесс Ольденборгера, вообразите ту травлю. И с концовкой: «многие были убиты».)

Итак, инженер во всём виноват, когда он ещё ни в чём не провинился! А ошибись он где-то действительно, ведь он человек, — так его растерзают, если коллеги не прикроют. Разве они оценят откровенность?.. Так иногда инженеры вынуждены и солгать перед партийным начальством?

Чтобы восстановить авторитет и престиж инженерства, ему действительно нужно объединиться и выручать друг друга — они все под угрозой. Но для такого объединения не нужна никакая конференция, никакие членские билеты. Как всякое взаимопонимание умных, чётко мыслящих людей, оно достигается немногими тихими, даже случайно сказанными словами, голосования совершенно не нужны. В резолюциях и в партийной палке нуждаются лишь ограниченные умы. (Вот этого никак не понять Сталину, ни следователям, ни всей их компании! — у них нет опыта таких человеческих взаимоотношений, они такого никогда не видели в партийной истории!) Да такое единство давно уже существует между русскими инженерами в большой неграмотной стране, оно уже проверено несколькими десятилетиями — но вот его заметила новая власть и встревожилась.

А тут наступает 1927 год. Куда испарилось благоразумие НЭПа! — да оказывается весь НЭП был — циничный обман. Выдвигают взбалмошные нереальные проекты сверхиндустриального скачка, объявляются невозможные планы и задания. В этих условиях — что делать коллективному инженерному разуму — инженерной головке Госплана и ВСНХ? Подчиниться безумию? Отойти в сторону? Им-то самим ничего, на бумаге можно написать любые цифры, — но «нашим товарищам, практическим работникам, будет не под силу выполнять эти задания». Значит, надо постараться умерить эти планы, разумно отрегулировать их, самые чрезмерные задания вовсе устранить. Иметь как бы свой инженерный Госплан для корректировки глупости руководителей — и самое смешное, что в их же интересах! и в интересах всей промышленности и народа, ибо всегда будут отводиться разорительные решения и подниматься с земли пролитые и просыпанные миллионы. Среди общего гама о количестве, о плане и переплане — отстаивать «качество — душу техники». И студентов воспитывать так.

Вот она, тонкая нежная ткань правды. Как было.

Но высказать это вслух в 1930 году? — уже расстрел!

А для ярости толпы — этого мало, не видно!

И поэтому молчаливый и спасительный для всей страны сговор инженерства надо перемалевать в грубое вредительство и интервенцию.

Так во вставной картине представилось нам бесплотное — и бесплодное! — видение истины. Расползлась режиссёрская работа, уже проговорился Федотов о бессонных ночах(!) в течение восьми месяцев его сидки; о каком-то важном работнике ГПУ, который *пожал руку* ему(?) недавно (так это был уговор? выполняйте свои роли — и ГПУ выполнит своё обещание?). Да вот уже и свидетели, хоть роли у них несравненно меньше, начинают сбиваться.

Крыленко — Вы принимали участие в этой группе?

Свидетель *Кирпотенко* — Два-три раза, когда разрабатывались вопросы интервенции.

Как раз это и нужно!

Крыленко (поощрительно) — Дальше!

Кирпотенко (пауза) — ...Кроме этого ничего не известно.

Крыленко побуждает, напоминает.

Кирпотенко (тупо) — Кроме интервенции мне больше ничего не известно (стр. 354).

А на очной ставке с Куприяновым у него уже и факты не сходятся. Сердится Крыленко и кричит на бестолковых арестантов:

— *Тогда надо сделать, чтобы ответы были одинаковы!* (стр. 358).

Но вот в антракте, за кулисами, всё снова подтянуто к стандарту. Все подсудимые снова на ниточках, и каждый ожидает дёрга. И Крыленко дёргает сразу всех восьмерых: вот промышленники-эмигранты напечатали статью, что никаких переговоров с Рамзиным и Ларичевым не было и никакой «промпартии» они не знают, а показания подсудимых скорей всего вымучены пытками. Так что вы на это скажете?..

Боже! как возмущены подсудимые! Нарушая всякую очерёдность, они просят поскорее дать им высказаться! Куда делось то измученное спокойствие, с которым они несколько дней унижали себя и своих коллег! Из них просто вырывается клокочущее негодование на эмигрантов! Они рвутся сделать письменное заявление для газет — коллективное письменное заявление подсудимых *в защиту мегогов ГПУ!* (Ну, разве не украшение, разве не бриллиант?)

Рамзин — Что мы не подвергались пыткам и истязаниям — достаточно доказательство наше присутствие здесь!

Так куда ж годятся те пытки, когда вывести на суд нельзя!

Федотов — Заключение в тюрьму принесло пользу не одному мне... Я даже лучше чувствую себя в тюрьме, чем на воле.

Очкин: и я, и я лучше!

Просто уж по благородству отказываются Крыленко и Вышинский от такой письменной коллективки. А — написали бы! а подписали бы!

Да может ещё у кого-нибудь подозрение таится? Так товарищ Крыленко уделяет им от блеска своей логики: «Если допустить хотя бы на одну секунду, что эти люди говорят неправду — то *почему именно их арестовали* и почему вдруг эти люди *заговорили?*» (стр. 452)

Вот сила мысли! — и за тысячи лет не догадывались обвинители: сам факт ареста уже доказывает виновность! Если подсудимые невиновны — так зачем бы их тогда арестовали? А уж если арестовали — значит виноваты!

И действительно: почему б они заговорили?

«Вопрос о пытках мы отбросим в сторону!.. но психологически поставим вопрос: почему сознаются? А я спрошу: *а что им оставалось делать?*» (стр. 454).

Ну, как верно! Как психологически! Кто сживал в этом учреждении, вспомните: а что оставалось делать?..

(Иванов-Разумник пишет³², что в 1938 он сидел с Крыленко в одной камере, в Бутырках, и место Крыленки было под нарами. Я очень

³² Иванов-Разумник. Тюрьмы и ссылки. Нью-Йорк. Изд-во им. Чехова. 1953.

живо это себе представляю (сам лазил): там такие низкие нары, что только по-пластунски можно подползти по грязному асфальтовому полу, но новичок сразу никак не приноровится и ползёт на карачках. Голову-то он подсунет, а выпяченный зад так и останется снаружи. Я думаю, верховному прокурору было особенно трудно приноровиться, и его ещё не исхудавший зад подолгу торчал во славу советской юстиции. Грешный человек, со злорадством представляю этот застрявший зад, и во всё долгое описание этих процессов он меня как-то успокаивает.)

Да более того, развивает прокурор, если б это всё была правда (о попытках)— непонятно, что бы понудило всех единогласно, без всяких уклонений и споров так хором признаваться?.. Да где они могли совершить такой гигантский сговор?— ведь они не имели общения друг с другом во время следствия?!

(Через несколько страниц уцелевший свидетель расскажет нам, где...)

Теперь не я читателю, но пусть читатель мне разъяснит, в чём же пресловутая «загадка московских процессов 30-х годов» (сперва дивились «Промпартии», потом перенеслась загадка на процессы партийных вождей)?

Ведь не две тысячи замешанных и не двести—триста вывели на суд, а только восемь человек. Хором из восьми не так уж невысказанно управлять. А вы брать Крыленко мог из тысячи, и два года выбирал. Не сломился Пальчинский — расстрелян (и посмертно объявлен «руководителем Промпартии», так его и поминают в показаниях, хоть от него ни словечка не осталось). Потом надеялись выбить нужное из Хренникова — не уступил им Хренников. Так сноса петигом один раз: «Хренников умер во время следствия». Дуракам пишите петитом, а мы-то знаем, мы двойными буквами напишем: ЗАМУЧЕН ВО ВРЕМЯ СЛЕДСТВИЯ! (Посмертно и он объявлен руководителем «Промпартии». Но хоть бы один фактик от него, хоть бы одно показание в общий хор — нет ни одного. Потому что не дал ни одного!) И вдруг находка — Рамзин! Вот энергия, вот хватка! И чтобы жить — на всё пойдёт! А что за талант! В конце лета его арестовали, вот перед самым процессом — а он не только вжился в роль, но как бы не он и всю пьесу составил, и охватил гору смежного материала, и всё подаёт с иголочки, любую фамилию, любой факт. А иногда ленивая витиеватость: «Деятельность Промпартии была настолько разветвлена, что даже при одиннадцатидневном суде нет возможности вскрыть с полной подробностью» (то есть: ищите! ищите дальше!). «Я твёрдо уверен, что небольшая антисоветская прослойка ещё сохранилась в инженерных кругах» (кусь-кусь, хватайте ещё!). И до чего способен: знает, что загадка, и загадку надо художественно объяснить. И, как палка бесчувственный, вдруг находит в себе «черты русского преступления, для которого очищение — во всенародном покаянии».

Рамзин незаслуженно обойден русской памятью. Я думаю, он вполне выслужил стать нарицательным типом цинического и ослепительного предателя. Бенгальский огонь предательства! Не он был один такой за эту эпоху, но он — на виду.

Так значит вся трудность Крыленко и ГПУ была — только не ошибиться в выборе лиц. Но риск не велик: следственный брак всегда можно отправить в могилу. А кто пройдёт и решето и сито — тех подлечи, подкорми и выводи на процесс!

И в чём тогда загадка? Как его обработать? А так: вы ж и т ь х о т и т е? (Кто для себя не хочет, тот для детей, для внуков.) Вы понимаете, что расстрелять вас, не выходя из двора ГПУ, уже ничего не стоит? (Несомненно так. А кто ещё не понял — тому курс лубянского выматывания.) Но и нам и вам выгоднее, если вы сыграете некоторый спектакль, текст которого вы сами же и напишете, как специалисты, а мы, прокуроры, разучим и постараемся запомнить технические термины. (На суде Крыленко иногда сбивается, ось вагона вместо оси паровоза.)

Выступать вам будет неприятно, позорно — надо перетерпеть! Ведь жить дороже! — А какая гарантия, что вы нас потом не расстреляете? — А за что мы вам будем мстить? Вы — прекрасные специалисты и ни в чём не провинились, мы вас ценим. Да посмотрите, уже сколько вредительских процессов, и всех, кто вёл себя прилично, мы оставили в живых. (Пощадить послушных подсудимых предыдущего процесса — важное условие успеха будущего процесса. Так цепочкой и передаётся эта надежда до самого Зиновьева-Каменева.) Но уж только выполните в се наши условия до последнего! Процесс должен работать на пользу социалистическому обществу!

И подсудимые выполняют все условия...

Всю тонкость интеллектуальной инженерной оппозиции вот они подают как грязное вредительство, доступное пониманию последнего ликбезника. (Но ещё нет толчёного стекла, насыпанного в тарелки трудящихся! — до этого ещё и прокуратура не додумалась.)

Затем — мотив идейности. Они начали вредить? — из враждебной идейности, но теперь дружно сознаются? — опять-таки из идейности, покорённые (в тюрьме) пламенным доменным ликом третьего года Пятилетки! В последних словах они хотя и просят себе жизни, но это — не главное для них. (Федотов: «Нам нет прощения! Обвинитель прав!») Для этих странных подсудимых сейчас, на пороге смерти, главное — убедить народ и весь мир в непогрешимости и дальновидности советского правительства. Рамзин особенно славословит «революционное сознание пролетарских масс и их вождей», которые «сумели найти неизмеримо более верные пути экономической политики», чем учёные, и гораздо правильной рассчитали темпы народного хозяйства. Теперь «я понял, что надо сделать бросок, что надо сделать скачок³³, что надо штурмом взять...» (стр. 504) и т. д. Ларичев: «Советский Союз не победим отживающим капиталистическим миром». Калинин: «Диктатура пролетариата есть неизбежная необходимость... Интересы народа и интересы советской власти сливаются в одну целеустремлённость». Да кстати и в деревне «правильна генеральная линия партии, уничтожение кулачества». Обо всём у них есть время подсудачить в ожидании казни... И даже для такого предсказания есть проход в горле раскаявшихся интеллигентов: «По мере развития общества индивидуальная жизнь должна суживаться... Коллективная воля есть высшая форма» (стр. 510).

Так усилиями восьмерной упряжки достигнуты все цели процесса:

1. Все недостатки в стране, и голод, и холод, и безодёжье, и неразбериха, и явные глупости — всё списано на вредителей-инженеров.
2. Народ напуган нависшей интервенцией и готов к новым жертвам.
3. Инженерная солидарность нарушена, вся интеллигенция напугана и разрознена.

И чтоб сомнений не оставалось, эту цель процесса ещё раз отчётливо возглашает Рамзин:

«Я хотел, чтобы в результате теперешнего процесса Промпартии на тёмном и позорном прошлом всей интеллигенции... можно было поставить раз и навсегда крест» (стр. 49).

Туда ж и Ларичев: «Эта каста должна быть разрушена... Нет и не может быть лояльности среди инженерства!..» (стр. 508). И Очкин: интеллигенция «это есть какая-то слякоть, нет у неё, как сказал государственный обвинитель, хребта, есть безусловная бесхребетность... Насколько неизмеримо выше чутьё пролетариата» (стр. 509). (И всегда у пролетариата главное почему-то — ч у т ь ё... Всё через ноздри.)

И за что ж этих старателей расстреливать?.. Сперва объявлена казнь главным, но тут же сменено на десятки. (И поехал Рамзин уstraивать теплотехническую шарашку.)

³³ Вот как у нас говорилось в 1930, когда Мао ещё ходил в молодых!

Так писалась десятилетиями история нашей интеллигенции — от анафемы двадцатого года (помнит читатель: «не мозг нации, а говно», «союзник чёрных генералов», «наёмный агент империализма») до анафемы тридцатого.

Удивляться ли, что слово «интеллигенция» утвердилось у нас как брань?

Вот как делаются гласные судебные процессы! Ищущая сталинская мысль наконец достигла своего идеала. (То-то позавидуют недотыки Гитлер и Геббельс, сунутся на позор со своим поджогом рейхстага...)

Стандарт достигнут — и теперь может держаться многолетие и повторяться хоть каждый сезон — как скажет Главный Режиссёр. Благоугодно же Главному назначить следующий спектакль уже через три месяца. Сжатые сроки репетиций, но ничего. Смотрите и слушайте! Только в нашем театре! Премьера

Процесс Союзного Бюро Меншевиков (1—9 марта 1931). Спецприсутствие Верховного Суда, председатель почему-то Шверник, а так все на местах — Антонов-Саратовский, Крыленко, помощник его Рогинский. Режиссура уверена в себе (да и материал не технический, а партийный, привычный) — и вывела на сцену четырнадцать подсудимых.

И всё проходит не только гладко — одурающе гладко.

Мне было тогда двенадцать лет, уже третий год я внимательно вычитывал всю политику из больших «Известий». От строки до строки я прочёл и стенограммы этих двух процессов. Уже в «Промпартии» отчётливо ощущалась детскому сердцу избыточность, ложь, подстройка, но там была хоть грандиозность декораций — всеобщая интервенция! паралич всей промышленности! распределение министерских портфелей! В процессе же меньшевиков всё те же были вывешены декорации, но поблекшие, и актёры артикулировали вяло, и был спектакль скучен до зевоты, унылое бездарное повторение. (Неужели Сталин мог это почувствовать через свою носорожью кожу? Как объяснить, что отменил ТКП и несколько лет не было процессов?)

Было бы скучно опять толковать по стенограмме. Но я имею свежий рассказ одного из главных подсудимых на том процессе — Михаила Петровича Якубовича, а сейчас его ходатайство о реабилитации с изложением подтасовок просочилось в наш спаситель — Самиздат, и уже люди читают, как это было³⁴.

В реабилитации ему отказано: ведь процесс их вошёл в золотые скрижали нашей истории, ведь ни камня вытаскивать нельзя — как бы не рухнуло! За М. П. Якубовичем остаётся судимость, но в утеху назначена *персональная* пенсия за революционную деятельность! Каких только уродств у нас не бывает.

Его рассказ вещественно объясняет нам всю цепь московских процессов 30-х годов.

Как составилось не существующее «Союзное Бюро»? У ГПУ было плановое задание: доказать, что меньшевики ловко пролезли и захватили в контрреволюционных целях многие важные государственные посты. Истинное положение к схеме не подходило: настоящие меньшевики никаких постов не занимали. Но такие и не попали на процесс. (В. К. Иков, говорят, действительно состоял в нелегальном, тихо пребывавшем и ничего не делавшем московском бюро меньшевиков, — но на процессе об этом и не знали, Иков прошёл вторым планом, получил *восьмёрку*.) ГПУ имело такую схему: чтобы было два от ВСНХ, два от Наркомторга, два от Госбанка, один от Центросоюза, один от

³⁴ Письмо М. Якубовича Генеральному Прокурору СССР, 1967 («Архив Самиздата», Мюнхен, № АС150).

Госплана. (До чего уныло-неизобретательно!) Поэтому брали подходящих по должности. А меньшевики ли они на самом деле — это по слухам. Иные попались и вовсе не меньшевики, но приказано им считаться меньшевиками. Истинные политические взгляды обвиняемых совсем не интересовали ГПУ. Не все осуждённые даже друг друга знали. Соскребали и свидетелями где каких меньшевиков находили. (Все свидетели потом непременно получали свои сроки.)

Одним из них был Кузьма Антонович Гвоздев, горькой судьбы человек, — тот самый Гвоздев, председатель рабочей группы при Военно-Промышленном комитете, кого Февральская революция сперва освободила из Крестов, позже сделала министром труда. Гвоздев стал одним из мучеников-догосидчиков ГУЛАГа. Первый раз чекисты хватили его в 1919, но он сумел ускользнуть (а семью его долго держали в осаде, как под арестом, и детей не пускали в школу). Потом арест отменили, но в 1928 взяли окончательно, и с тех пор он непрерывно сидел до 1957 года. В этом году вернулся тяжело больной и вскоре умер.

Услужливо и многословно выступал свидетелем опять Рамзин. Но надежда ГПУ была на главного подсудимого Владимира Густавовича Громана (печально известного деятеля Государственной Думы) и на провокатора Петунина.

Теперь представим М. Якубовича. Он начал революционерить так рано, что даже не кончил гимназии. В марте 1917 он был уже председателем смоленского совдепа. Под напором убеждения (а оно постоянно куда-то его тащило) он был сильным успешным оратором. На съезде Западного фронта он опрометчиво назвал *врагами народа* тех журналистов, которые призывают к продолжению войны — это в апреле 1917! едва не был снят штюками с трибуны, извинился, но тут же в речи нашёл такие ходы и так забрал аудиторию, что в конце речи снова обозвал тех журналистов врагами народа, но уже под бурные аплодисменты — и избран был в делегацию, посылаемую в Петросовет. Там же, едва приехав, с лёгкостью того времени был кооптирован в военную комиссию Петросовета, влиял на назначения армейских комиссаров³⁵, в конце концов сам поехал комиссаром армии на Юго-Западный фронт и в Бердичеве лично арестовал Деникина (после корниловского мятежа) и весьма жалел (ещё и на процессе), что Деникина тут же не расстреляли.

Ясноглазый, всегда очень искренний и всегда совершенно захваченный своей, реальной или нереальной, идеей, он в партии меньшевиков ходил в молодых, да и был таков. Это не мешало ему, однако, с дерзостью и горячностью предлагать руководству свои проекты, вроде того чтобы: весной 1917 сформировать с-д правительство или в 1919 — меньшевикам войти в Коминтерн (Дан и другие неизменно отвергали все его варианты). В июле 1917 он больно переживал и считал роковой ошибкой, что социалистический Петросовет одобрил вызов Временным правительством войск против большевиков, хотя и выступивших с оружием. Едва произошёл октябрьский переворот, Якубович предложил своей партии всецело поддержать большевиков и своим участием и воздействием улучшить создаваемый ими государственный строй. В конце концов он был проклят Мартовым, а к 1920 году и окончательно вышел из меньшевиков, убедаясь, что бессилён повернуть их на стезю большевизма.

Я для того так подробно всё это называю, чтобы выяснено: Якубович не меньшевиком, а большевиком был всю революцию, самым искренним и вполне бескорыстным. А в 1920 он ещё был и смоленским губпродкомиссаром (среди них — единственный не большевик) и даже был по Наркомпроду отмечен как лучший! (Уверяет, что обходился без карательных отрядов; не знаю; на суде упомянул, что представлял заградительные.) В 20-е годы он редактировал «Торговую газе

³⁵ Не путать с генштаба полковником Якубовичем, который в то же время на тех же заседаниях представлял военное министерство.

ту», занимал и другие заметные должности. Когда же в 1930 таких вот именно «пролезших» меньшевиков надо было набрать по плану ГПУ — его и арестовали.

Как и все, достался он мясникам-следователям, и применили они к нему всю гамму — и морозный карцер, и жаркий закупоренный, и битьё по половым органам. Мучили так, что Якубович и его подельник Абрам Гинзбург в отчаянии вскрыли себе вены. После поправки их уже не пытали и не били, только была двухнедельная бессонница. (Якубович говорит: «Только бы заснуть! Уже ни совести, ни чести...») А тут ещё и очные ставки с другими, уже сдавшимися, тоже подталкивают «сознаваться», городить вздор. Да сам следователь (Алексей Алексеевич Наседкин): «Я знаю, знаю, что ничего этого не было! Но — требуют от нас!»

Однажды, вызванный к следователю, Якубович застаёт там замученного арестанта. Следователь усмехается: «Вот Моисей Исаевич Тейтельбаум просит вас принять его в вашу антисоветскую организацию. Поговорите без меня посвободнее, я пока уйду». Ушёл. Тейтельбаум действительно умоляет: «Товарищ Якубович! Прошу вас, примите меня в ваше Союзное Бюро меньшевиков! Меня обвиняют во «взятках с иностранных фирм», грозят расстрелом. Но лучше я умру контриком, чем уголовником!» (А скорей — обещали, что контрика и пощадят? Он не ошибся: получил детский србк, пятёрку.) До чего же скудно было у ГПУ с меньшевиками, что набирали обвиняемых из добровольцев!.. (И ведь важная роль ждала Тейтельбаума: связь с заграничными меньшевиками и со Вторым Интернационалом! Но по уговору — пятёрка, честно.) С одобрения следователя Якубович принял Тейтельбаума в Союзное Бюро.

И других «зачислял», кто и не просился, например, И. И. Рубина. Тот успешно отрёкся на очной ставке с Якубовичем. Потом его долго мотали, «доследовали» в Суздальском изоляторе. Там он встретился в одной камере с Якубовичем и Шером, показывавшими против него (а когда возвращался в камеру из карцера, они ухаживали за ним, делились продуктами). Рубин спросил Якубовича: «Как вы могли придумать, что я — член Союзного Бюро?» И Якубович ответил (ответ изумительный, тут целое столетие русской интеллигенции): «Весь народ страдает — и мы, интеллигенты, должны страдать».

Но был в следствии Якубовича и такой вдохновительный момент: его вызвал на допрос сам Крыленко. Оказывается, они прекрасно друг с другом были знакомы, ибо в те же годы «военного коммунизма» (проеж первых процессов) в ту же Смоленскую губернию Крыленко приезжал укреплять програботу, и даже спал в одной комнате с Якубовичем. И вот что сказал теперь Крыленко:

— Михаил Петрович, скажу вам прямо: я считаю вас коммунистом! — (Это очень подбодрило и выпрямило Якубовича.) — Я не сомневаюсь в вашей невинности. Но наш с вами партийный долг — провести этот процесс. — (Крыленке Сталин приказал, а Якубович затрепетал для идеи, как рьяный конь, который сам спешит сунуть голову в хомут.) — Прошу вас всячески помогать, идти навстречу следствию. А на суде в случае непредвиденного затруднения, в самую сложную минуту я попрошу председателя дать вам слово.

!!!

И Якубович — обещал. С сознанием долга — обещал. Пожалуй, такого ответственного задания ещё не давала ему советская власть за все годы службы.

За несколько дней до процесса в кабинете старшего следователя Дмитрия Матвеевича Дмитриева было созвано первое оргзаседание Союзного Бюро меньшевиков: чтоб согласовать и каждый бы роль свою лучше понял. (Вот так и ЦК «Промпартии» заседал! Вот где подсудимые «могли встретиться», чему дивился Крыленко.) Но так много наворочено было лжи, не вмещаемой в голову, что участники тутали, за одну репетицию не усвоили, собирались и второй раз.

С каким же чувством выходил Якубович на процесс? За все принятые муки, за всю ложь, натолканную в грудь — устроить на суде мировой скандал? Но ведь:

1) это будет удар в спину советской власти! Это будет отрицанием всей жизненной цели, для которой Якубович живёт, всего того пути, которым он выдирался из ошибочного меньшевизма в правильный большевизм;

2) после такого скандала не дадут умереть, не расстреляют просто, а будут снова пытаться, уже в мечь, доведут до безумия, а тело и без того измучено пытками. Для такого ещё нового мучения — где найти нравственную опору? в чём почерпнуть мужество?

(Я по горячему звуку слов записал эти его аргументы — редчайший случай получить как бы «посмертное» объяснение участника такого процесса. И я нахожу, что это всё равно, как если бы причину своей загадочной судебной покорности объяснили нам Бухарин или Рыков: та же искренность, та же партийная преданность, та же человеческая слабость, такое же отсутствие нравственной опоры для борьбы — из-за того, что нет *отдельной* позиции.)

И на процессе Якубович не только покорно повторял всю серую жвачку лжи, выше которой не поднялась фантазия ни Сталина, ни его подмастерий, ни измученных подсудимых. Но и сыграл он свою вдохновенную роль, обещанную Крыленке.

Так называемая Заграничная Делегация меньшевиков (по сути — вся верхушка их ЦК) напечатала в «Vorwärts» своё отмежевание от подсудимых. Они писали, что это — позорнейшая судебная комедия, построенная на показаниях провокаторов и несчастных обвиняемых, вынужденных к тому террором. Что подавляющее большинство подсудимых уже более десяти лет как ушли из партии и никогда в неё не возвращались. И что смехотворно большие суммы фигурируют на процессе — такие деньги, которыми и вся партия никогда не располагала.

И Крыленко, зачтя статью, просил Шверника дать подсудимым высказаться (то же дёрганье всеми нитками сразу, как и на «Промпартии»). И все — выступили. И все защищали методы ГПУ против меньшевистского ЦК...

Но что вспоминает теперь Якубович об этом своём «ответе», как и о своей последней речи? Что он говорил отнюдь не только по обещанию, данному Крыленке, что он не просто поднялся, но его подхватил, как щепку, поток раздражения и красноречия. Раздражения — на кого? Узнавший и пытки, и вскрывавший вены, и обмиравший уже не раз, он теперь искренно негодовал — не на прокурора! не на ГПУ! — нет! на Заграничную Делегацию!! Вот она, психологическая переплюсовка! В безопасности и комфорте (даже нищая эмиграция конечно комфорт по сравнению с Лубянкой) они там, бессовестные, самодовольные — как могли не пожалеть э т и х за муки и страдания? как могли так нагло отречься и отдать несчастных их участи? (Сильный получил-ся ответ, и устроители процесса торжествовали.)

Даже рассказывая в 1967 году, Якубович затрясся от гнева на Заграничную Делегацию, на их предательство, отречение, их измену социалистической революции, как он упрекал их ещё в 1917.

А стенограммы процесса при этом разговоре не было у нас. Позже я достал её и прочёл: ведь он на том самом процессе громогласно нёс, что Заграничная Делегация по поручению Второго Интернационала *давала им директивы вредить!* — и на них же громогласно сердился. Заграничные меньшевики писали не бессовестно, не самодовольно, они именно жалели несчастных жертв процесса, но указывали, что это давно не меньшевики — так и правда. На что же так устойчиво разгневался Якубович? А как заграничные меньшевики могли бы не отдать подсудимых их участи?

Мы любим сердиться на безответных, на тех, кто слабей. Это есть в человеке. И аргументы сами как-то ловко подсакивают, что мы правы.

Крыленко же сказал в обвинительной речи, что Якубович — фанатик контрреволюционной идеи, и потому он требует для него — *расстрела!*

И Якубович не только в тот день ощутил в подглазьях слезу благодарности, но и по сей день, проташась по многим лагерям и изоляторам, ещё и сегодня благодарен Крыленке, что тот не унижал, не оскорблял, не высмеивал его на скамье подсудимых, а верно назвал *фанатиком* (хотя и противоположной идеи) и потребовал простого благородного расстрела, кончающего все муки! Якубович и сам в последнем слове согласился: преступления, в которых я сознался (он большое значение придаёт этому удачному выражению «*в которых я сознался*» — понимающий должен же, мол, уразуметь: а не *которые я совершил!*), достойны высшей меры наказания — и я не прошу снисхождения! не прошу оставить мне жизнь! (Рядом на скамье переполошился Громан: «Вы с ума сошли! вы перед товарищами не имеете такого права!»)

Ну, разве не находка для прокуратуры?³⁶

И разве ещё не объяснены процессы 1936—1938 годов?

А не над этим разве процессом понял и поверил Сталин, что и главных своих врагов-болтунов он вполне загонит, вполне сорганизует вот в такой же спектакль?

* * *

Да пощадит меня снисходительный читатель! До сих пор бестрепетно выводило моё перо, не сжималось сердце, и мы скользили беззаботно, потому что все пятнадцать лет находились под верной защитой то законной революционности, то революционной законности. Но дальше нам будет больно: как читатель помнит, как десятки раз нам объяснено, начиная с Хрущёва, «примерно с 1934 года началось нарушение ленинских норм законности».

И как же нам теперь вступить в эту пучину беззакония? Как же нам проволочиться ещё по этому горькому плёсу?

Впрочем по знатности имён подсудимых эти, следующие, суды были на виду у всего мира. Их не обронили из внимания, о них писали, их истолковывали. И ещё будут толковать. И нам лишь немного коснуться — их *загадки*.

Оговоримся, хотя не крупно: изданные стенографические отчёты не полностью совпадали со сказанным на процессах. Один писатель, имевший пропуск в числе подобранной публики, вёл беглые записи и потом убедился в этих несовпадениях. Все корреспонденты заметили и заминку с Крестинским, когда понадобился перерыв, чтобы вправить его в колено заданных показаний. (Я так себе представляю: перед процессом составлялась аварийная ведомость: графа первая — фамилия подсудимого, графа вторая — какой приём применять в перерыве, если на суде отступит от текста, графа третья — фамилия чекиста, ответственного за приём. И если Крестинский вдруг сбился, то уже известно, кто к нему бежит и что делать.)

Но неточности стенограммы не меняют и не извиняют картины. С изумлением проглядел мир три пьесы подряд, три обширных дорожных спектакля, в которых крупные вожди бесстрашной коммунистической партии, перевернувшей, перетревожившей весь мир, теперь

³⁶ И эта роковая судьба — изневолю и искренно помогать нашим мучителям, товалась Якубовичу ещё раз, уже старику, в 1974: в инвалидный дом под Караганой приехали к нему чекисты и получили беседу, статью и даже кинолентку его выступления против «Архипелага». Но, связанные своими же путами, чекисты не пустили того широко, потому что Якубович оставался фигурой нежелательной. Однако ещё и в 1978 они замешали его в ложь против меня. (Примечание 1978.)

выходили унылыми покорными козлами и блеяли всё, что было приказано, и блевали на себя, и раболепно унижали себя и свои убеждения, и признавались в преступлениях, которых никак не могли совершить.

Это не видано было в памятной истории. Это особенно поражало по контрасту после недавнего процесса Димитрова в Лейпциге: как лев рыкающий отвечал Димитров нацистским судьям, а тут его товарищи из той же самой несгибаемой когорты, перед которой трепетал весь мир, и самые крупные из них, кого называли «ленинской гвардией», — теперь выходили перед судом облитые собственной мочой.

И хотя с тех пор многое как будто разъяснено (особенно удачно — Артуром Кёстлером) — *загадка* всё так же расхоже обращается.

Писали о тибетском зелье, лишаящем воли, о применении гипноза. Всего этого при объяснении никак не стоит отвергать: если средства такие были в руках НКВД, то непонятно, какие моральные нормы могли бы помешать прибегнуть к ним? Отчего же бы не ослабить и не затмить волю? А известно, что в 20-е годы крупные гипнотизёры покидали гастрольную деятельность и переходили служить в ГПУ. Достоверно известно, что в 30-е годы при НКВД существовала школа гипнотизёров. Жена Каменева получила свидание с мужем перед самым процессом и нашла его заторможенным, не самим собою. (Она успела об этом рассказать прежде, чем сама была арестована.)

Но почему Пальчинского или Хренникова не сломили ни тибетским зельем, ни гипнозом?

Нет, без объяснения более высокого, психологического, тут не обойтись.

Недоумевают особенно потому, что ведь это всё — старые революционеры, не дрогнувшие в царских застенках, что это — закалённые, пропечённые, просмолённые и так далее борцы. Но здесь — простая ошибка. Это были не те старые революционеры, эту славу они прихватили по наследству, по соседству от народников, эсеров и анархистов. Те, бомбометатели и заговорщики, видели каторгу, знали *сроки*, — но настоящего неумолимого *следствия* отроду не видели и те (потому что его в России вообще не было). А эти не знали ни следствия, ни сроков. Никакие особенные «застенки», никакой Сахалин, никакая особенная якутская каторга никогда не досталась большевикам. Известно о Дзержинском, что ему выпало всех тяжелей, что он всю жизнь провёл по тюрьмам. А по нашим меркам отбыл он нормальную десятку, простой *червонец*, как в наше время любой колхозник; правда среди той десятки — три года каторжного центра, так и тоже не невидаль.

Вожди партии, кого вывели нам в процессах тридцать шестого — тридцать восьмого годов, имели в своём революционном прошлом короткие и мягкие тюремные посадки, непродолжительные ссылки а каторги и не нюхали. У Бухарина много мелких арестов, но какие-то шуточные; видимо даже одного года подряд он нигде не отсидел чуть-чуть побыл в ссылке на Онеге³⁷. Каменев, с его долгой агитационной работой и разъездами по всем городам России, просидел два года в тюрьмах да полтора в ссылке. У нас шестнадцатилетним пацанам и то давали сразу пять лет. Зиновьев, смешно сказать, *не просидел и трёх месяцев!* не имел *ни одного приговора!* По сравнению с рядовыми туземцами нашего Архипелага они — младенцы, они не видели тюрьмы. Рыков и И. Н. Смирнов арестовывались несколько раз, просидели лет по пять, но как-то легко проходили их тюрьмы, изо всех ссылок они без затруднения бежали, то попадали под амнистию. До посадки на Лубянку они вообще не представляли ни подлинной тюрьмы ни клещей несправедливого следствия. (Нет оснований предполагать, что попади в эти клещи Троцкий — он вёл бы себя не так униженно)

³⁷ Все данные здесь — из сорок первого тома Энциклопедического словаря «Грнат», где собраны автобиографические или достоверные биографические очерки деятелей РКП(б).

жизненный костяк у него оказался бы крепче: не с чего ему оказаться. Он тоже знал лишь лёгкие тюрьмы, никаких серьёзных следствий да два года ссылки в Усть-Кут. Грозность Троцкого как председателя Реввоенсовета и создателя реввоенрибуналов досталась ему дешево и не выявляет истинной твёрдости: кто многих велел расстрелять — ещё как скисает перед собственной смертью! Эти две твёрдости друг с другом не связаны.) А Радек — провокатор (да не один же он на все три процесса!). А Ягода — отъявленный уголовник.

(Этот убийца-миллионер не мог вместить, чтобы высший над ним Убийца не нашёл бы в своём сердце солидарности в последний час. Как если бы Сталин сидел тут, в зале, Ягода уверенно настойчиво попросил пощады прямо у него: «Я обращаюсь к Вам! Я для Вас построил два великих канала!..» И рассказывает бытчик там, что в эту минуту за окошком второго этажа зала, как бы за кисеёю, в сумерках, зажглась спичка и, пока прикуривали, увиделась тень трубки.— Кто был в Бахчисарае и помнит эту восточную затею?— в зале заседаний государственного совета на уровне второго этажа идут окна, забранные листами жести с мелкими дырочками, а за окнами — неосвещённая галерея. Из зала никогда нельзя догадаться: есть ли там кто или нет. Хан незрим, и совет всегда заседает как бы в его присутствии. При отъявленно восточном характере Сталина я очень верю, что он наблюдал за комедиями в Октябрьском зале. Я допустить не могу, чтоб он отказал себе в этом зрелище, в этом наслаждении.)

А ведь всё наше недоумение только и связано с верой в необыкновенность этих людей. Ведь по поводу рядовых протоколов рядовых граждан мы же не задаёмся загадкой: почему там столько наговорено на себя и на других?— мы принимаем это как понятное: человек слаб, человек уступает. А вот Бухарина, Зиновьева, Каменева, Пятакова, И. Н. Смирнова мы заранее считаем сверхлюдьми — и только из-за этого, по сути, наше недоумение.

Правда, режиссёрам спектакля здесь как будто трудней подобрать исполнителей, чем в прежних инженерных процессах: там выбирали из сорока бочек, а здесь труппа мала, главных исполнителей все знают, и публика желает, чтоб играли непременно они.

Но всё-таки был же отбор! Самые дальновидные и решительные из обречённых — те и в руки не дались, те покончили с собою до ареста (Скрышник, Томский, Гамарник). А дали себя арестовать те, кто хотели жить. А из хотящего жить можно вить верёвки!.. Но и из них некоторые как-то же иначе вели себя на следствии, опомнились, упёрлись, погибли в глухости, но хоть без позора. Ведь почему-то же не вывели на гласные процессы Шляпникова, Рудзутака, Постышева, Енукидзе, Чубаря, Косиора, да того же и Крыленку, хотя их имена вполне бы укрепили те процессы.

Самых податливых и вывели! Отбор всё-таки был.

Отбор был из меньшего ряда, зато усатый Режиссёр хорошо знал каждого. Он знал и вообще, что они слабаки, и слабости каждого порознь знал. В этом и была его мрачная незаурядность, главное психологическое направление и достижение его жизни: видеть слабости людей на нижнем уровне бытия.

И того, кто представляется из дали времён самым высшим и светлым умом среди опозоренных и расстрелянных вождей (и кому очевидно посвятил Кёстлер своё талантливое исследование) — Н. И. Бухарина, его тоже на нижнем уровне, где соединяется человек с землёю, Сталин видел насквозь и долгою мёртвою хваткою держал и даже, как с мышонком, поигрывал, чуть приотпуская. Бухарин от слова до слова написал всю нашу действующую (бездействующую), такую прекрасную на слух конституцию — там в подоблачном уровне он свободно порхал и думал, что обыграл Кобу: подsunул ему конституцию, которая заставит того смягчить диктатуру. А сам уже был — в пасти.

Бухарин не любил Каменева и Зиновьева и ещё когда судили их в первый раз, после убийства Кирова, высказал близким: «А что? Это такой народ. Что-нибудь может быть и было...» (Классическая формула обывателя тех лет: «Что-нибудь, наверно, было... У нас зря не посадят»). Это в 1935 году говорит первый теоретик партии!) Второй же процесс Каменева — Зиновьева, летом 1936, он провёл на Тянь-Шане, охотясь, ничего не знал. Спустился с гор во Фрунзе — и прочёл уже приговор обоим к расстрелу и газетные статьи, из которых было видно, какие уничтожающие показания они дали на Бухарина. И кинулся он задерживать всю эту расправу? И воззвал к партии, что творится чудовищное? Нет, лишь послал телеграмму Кобе: приостановить расстрел Каменева и Зиновьева, чтобы... Бухарин мог приехать на очную ставку и оправдаться.

Поздно! Кобе было достаточно именно протоколов, зачем ему живые очные ставки?

Однако ещё долго Бухарина не брали. Он потерял «Известия», всякую деятельность, всякое место в партии — и в своей кремлёвской квартире, в Потешном дворце Петра, полгода жил как в тюрьме. (Впрочем, на дачу ездил осенью — и кремлёвские часовые как ни в чём не бывало приветствовали его.) К ним уже никто не ходил и не звонил. И все эти месяцы он бесконечно писал письма: «Дорогой Коба!.. Дорогой Коба!.. Дорогой Коба!..», оставшиеся без единого ответа.

Он ещё искал сердечного контакта со Сталиным!

А *дорогой Коба*, прищурясь, уже репетировал... Коба уже много лет как сделал пробы на роли, и знал, что *Бухарчик* свою сыграет отлично. Ведь он уже отрёкся от своих посаженных и сосланных учеников и сторонников (малочисленных, впрочем), он стерпел их разгром³⁸. Он стерпел разгром и поношение своего направленные мысли, ещё как следует и не рождённого. А теперь, ещё главный редактор «Известий», ещё кандидат Политбюро, вот он так же снёс как законное расстрел Каменева и Зиновьева. Он не возмутился ни громогласно, ни даже шёпотом. Так это всё и были пробы на роль!

А ещё прежде, давно, когда Сталин грозил исключить его (их всех в разное время!) из партии — Бухарин (они все!) отрекался от своих взглядов, чтоб только остаться в партии! Так это и была проба на роли! Если так они ведут себя ещё на воле, ещё на вершинах почёта и власти — то когда их тело, еда и сон будут в руках лубянских суфлёров, они безупречно подчинятся тексту драмы.

И в эти предарестные месяцы что было самой большой боязнью Бухарина? Достоверно известно: боязнь быть исключённым из Партии! лишиться Партии! остаться жить, но вне Партии! Вот на этой-то (их всех!) черте и великолепно играл дорогой Коба, с тех пор как сам стал Партией. У Бухарина (у них у всех!) не было своей *отдельной точки зрения*, у них не было своей действительно оппозиционной идеологии, на которой они могли бы обособиться, утвердиться. Сталин объявил их оппозицией прежде, чем они стали, и тем лишил их всякой мощи. И все усилия их направились — удержаться в Партии. И при том же не повредить Партии!

Слишком много необходимостей, чтобы быть независимым!

Бухарину назначалась, по сути, заглавная роль — и ничто не должно было быть скомкано и упущено в работе Режиссёра с ним, в работе времени и в собственном его вживании в роль. Даже посылка в Европу минувшей зимой за рукописями Маркса не только внешне была нужна для сети обвинений в завязанных связях, но бесцельная свобода гастрольной жизни ещё неотклонимее преуказывала возврат на главную сцену. И теперь под тучами чёрных обвинений — долгий, бесконечный неарест, изнурительное домашнее томление —

³⁸ Одного Ефима Цейтлина отстоял, и то не надолго.

оно лучше разрушало волю жертвы, чем прямое давление Лубянки. (А то — и не уйдёт, того тоже будет — год.)

Как-то Бухарина вызвал Каганович и в присутствии крупных чекистов устроил ему очную ставку с Сокольниковым. Тот дал показания о «параллельном Правом Центре» (то есть параллельном троцкистскому), о подпольной деятельности Бухарина. Каганович напористо провёл допрос, потом велел увести Сокольникова и дружески сказал Бухарину: «Всё врёт, б...!»

Однако газеты продолжали печатать возмущение масс. Бухарин звонил в ЦК. Бухарин писал письма: «Дорогой Коба!..» — с просьбой снять с него обвинения публично. Тогда было напечатано расплывчатое заявление прокуратуры: «для обвинения Бухарина не найдено объективных доказательств».

Радек осенью звонил ему, желая встретиться. Бухарин отгородился: мы оба обвиняемые, зачем навлекать новую тень? Но их дачи известинские были рядом, и как-то вечером Радек пришёл: «Что бы я потом ни говорил, знай, что я ни в чём не виноват. Впрочем, ты уцелеешь: ты же не был связан с троцкистами».

И Бухарин верил, что он уцелеет, что из партии его не исключат — это было бы чудовищно! К троцкистам он, действительно, всегда относился худо: вот они поставили себя вне партии — и что вышло! А надо держаться вместе, делать ошибки — так вместе.

На ноябрьскую демонстрацию (своё прощание с Красной площадью) они с женой пошли по редакционному пропуску на гостевую трибуну. Вдруг — к ним направился вооружённый красноармеец. Захолонуло! — здесь? в такую минуту?.. Нет, берёт под козырёк: «Товарищ Сталин удивляется, почему вы здесь? Он просит вас занять своё место на Мавзолею».

Так из жарка в ледок все полгода и перекидывали его. 5 декабря с ликованием приняли бухаринскую конституцию и нарекли её во веки сталинской. На декабрьский пленум ЦК привели Пятакова с выбитыми зубами, ничуть уже и на себя не похожего. За спиной его стояли немые чекисты (ягодинцы, Ягода тоже ведь проверялся и готовился на роль). Пятаков давал гнуснейшие показания на Бухарина и Рыкова, тут же сидевших среди вождей. Орджоникидзе приставил к уху ладонь (он недослышивал): «Скажите, а вы добровольно даёте все эти показания?» (Заметка! Получит пулю и Орджоникидзе.) «Совершенно добровольно», — пошатывался Пятаков. И в перерыве сказал Бухарину Рыков: «Вот у Томского — воля, ещё в августе понял и кончил. А мы с тобой, дураки, остались жить».

Тут гневно и проклинаяще выступали Каганович (он так хотел верить невинности Бухарчика! — но не выходило...) и Молотов. А Сталин! — какое широкое сердце! какая память на доброе: «Всё-таки я считаю, вина Бухарина не доказана. Рыков может быть и виноват, но не Бухарин». (Это помимо его желания кто-то стягивал обвинения на Бухарина!)

Из ледка в жарок. Так падает воля. Так вживаются в роль потерянного героя.

Тут непрерывно стали на дом носить протоколы допросов: прежних юношей из Института Красной Профессуры, и Радека, и всех других — и все давали тяжелейшие доказательства бухаринской чёрной измены. Ему на дом несли не как обвиняемому, о нет! — как члену ЦК, лишь для осведомления...

Чаще всего, получив новые материалы, Бухарин говорил двадцатидвухлетней жене, только этой весной родившей ему сына: «Читай ты, я не могу!» — а сам зарывался головой под подушку. Два револьвера были у него дома (и время давал ему Сталин!) — он не кончил с собой.

Разве он не вжился в назначенную роль?..

И ещё один гласный процесс прошёл — и ещё одну пачку расстреляли... А Бухарина щадили, а Бухарина не брали...

В начале февраля 1937 он решил объявить домашнюю голодовку: чтобы ЦК разобрался и снял с него обвинения. Объявил в письме Дорогому Коба — и честно выдерживал. Тогда созван был пленум ЦК с повесткой: 1. О преступлениях Правого Центра. 2. Об антипартийном поведении товарища Бухарина, выразившемся в голодовке.

И заколебался Бухарин: а может быть в самом деле он чем-то оскорбил Партию?.. Небритый, исхудалый, уже арестант и по виду, приплёлся он на пленум. — «Что это ты выдумал?» — душевно спросил Дорогой Коба. — «Ну как же, если такие обвинения? Хотят из партии исключить...» Сталин сморщился от несуразицы: «Да никто тебя из партии не исключит!»

И Бухарин поверил, оживился, охотно каялся перед пленумом, тут же снял голодовку. (Дома: «Ну-ка отрежь мне колбасы! Коба сказал — меня не исключают».) Но в ходе пленума Каганович и Молотов (вот ведь дерзкие! вот ведь со Сталиным не считают!)³⁹ обзывали Бухарина фашистским наймитом и требовали расстрелять.

И снова пал духом Бухарин, и в последние свои дни стал сочинять «письмо к будущему ЦК». Заученное наизусть и так сохранённое, оно недавно стало известно всему миру. Однако не сотрясло его. (Как и «будущий ЦК». А чего стоит адрес! — ЦК, выше нет морального авторитета.) Ибо что решил этот острый блестящий теоретик донести до потомства в своих последних словах? Ещё один вопль восстановить его в партии (дорогим позором заплатил он за эту преданность!). И ещё одно заверение, что «полностью одобряет» всё происшедшее до 1937 года включительно. А значит — не только все предыдущие глумливые процессы, но и — все зловонные потоки нашей великой тюремной канализации!

Так он расписался, что достоин нырнуть в них же...

Наконец, он вполне созрел быть отданным в руки суфлёров и младших режиссёров — этот мускулистый человек, охотник и борец! (В шуточных схватках при членах ЦК он сколько раз клал Кобу на лопатки! — наверно, и этого не мог ему Коба простить.)

И у подготовленного так, и у разрушенного так, что ему уже и пытки не нужны, — чем у него позиция сильнее, чем была у Якубовича в 1931 году? В чём не подвластен он тем самым двум аргументам? Даже он слабей ещё, ибо Якубович смерти жаждал, а Бухарин её боится.

И оставался уже нетрудный диалог с Вышинским по схеме:

— Верно ли, что всякая оппозиция против Партии есть борьба против Партии? — Вообще — да. Фактически — да. — Но борьба против Партии не может не перерасти в войну против Партии? — По логике вещей — да. — Значит, с убеждениями оппозиции в конце концов могли бы быть совершены любые мерзости против Партии (убийства, шпионства, распродажа Родины)? — Но позвольте, они не были совершены. — *Но могли бы?* — Ну, теоретически говоря... (ведь теоретики!..) — Но вышшими-то интересами для вас остаются интересы Партии? — Да, конечно, конечно! — Так вот осталось совсем небольшое расхождение: надо реализовать эвентуальность, надо в интересах посрамления всякой впредь оппозиционной идеи — признать за совершённое то, что только могло теоретически совершиться. Ведь могло же? — Могло... — Так надо возможное признать действительным, только и всего. Небольшой философский переход. Договорились?.. Да, ещё! ну, не вам объяснять: если вы теперь на суде отступите и скажете что-нибудь иначе — вы понимаете, что вы только сыграете на руку мировой буржуазии и только повредите Партии. Ну и, разумеется, вы сами тогда не лёгкой умрёте смертью. А всё сойдёт

³⁹ Каких мы богатейших показаний лишаемся, покоя благородную молотовскую старость!

хорошо — мы, конечно, оставим вас жить: тайно отправим на остров Монте-Кристо и там вы будете работать над экономикой социализма.— Но в прошлых процессах вы, кажется, расстреляли? — Ну, что вы сравниваете — они и вы! И потом, мы многих оставили, это только по газетам.

Так может, уж такой густой загадки и нет?

Всё та же непобедимая мелодия, через столько уже процессов, лишь в вариациях: *ведь мы же с вами — коммунисты!* И как же вы могли склониться — выступить против нас? Покайтесь! Ведь вы и мы вместе — это мы!

Медленно зреет в обществе историческое понимание. А когда созреет — такое простое. Ни в 1922, ни в 1924, ни в 1937 ещё не могли подсудимые так укрепиться в точке зрения, чтобы на эту завораживающую, замораживающую мелодию крикнуть с поднятой головой:

— Нет, *с вами* мы не революционеры!.. Нет, *с вами* мы не русские!.. Нет, *с вами* мы не коммунисты!

А кажется, только бы крикнуть! — и рассыпались декорации, обвалилась штукатурка грима, бежал по чёрной лестнице режиссёр, и суфлёры шнырнули по норам крысиным. И на дворе бы — сразу шестидесятые!

* * *

Но даже и прекрасно удавшиеся спектакли были дороги, хлопотны. И решил Сталин больше не пользоваться открытыми процессами.

Вернее, был у него в тридцать седьмом году замах провести широкую сеть публичных процессов в *районах* — чтобы чёрная душа оппозиции стала наглядна для масс. Но не нашлось хороших режиссёров, непосильно было так тщательно готовиться, и сами обвиняемые были не такие замысловатые — и получился у Сталина конфуз, да только об этом мало кто знает. На нескольких процессах сорвалось — и было оставлено.

Об одном таком процессе уместно здесь рассказать — о *Кадыйском деле*, подробные отчёты которого уже начали было печататься в ивановской областной газете.

В конце 1934 в дальней глухомани Ивановской области на стыке с нынешними Костромской и Нижегородской, создан был новый район, и центром его стало старинное неторопливое село Кадый. Новое руководство было назначено туда из разных мест, и сознакомились уже в Кадые. Они увидели глухой печальный нищий край, измождённый хлебозаготовками, тогда как требовал он, напротив, помощи деньгами, машинами и разумного ведения хозяйства. Так сложилось, что первый секретарь райкома Фёдор Иванович Смирнов был человек со стойким чувством справедливости, заврайзо Ставров — коренной мужик, из крестьян-«интенсивников», то есть тех рачительных и грамотных крестьян, которые в 20-х годах вели своё хозяйство на основах науки (за что и поощрялись тогда советской властью; ещё не решено было тогда, что всех этих интенсивников придётся выгребать). Из-за того, что Ставров вступил в партию, он не погиб при раскулачивании (а может быть и сам раскулачивал?). На новом месте попытались они что-то для крестьян сделать, но сверху скатывались директивы, и каждая — против их начинаний: как будто нарочно изобретали там, наверху, что сделать мужикам горше и круче. И однажды кадыйцы написали докладную в область, что необходимо снизить план хлебозаготовок — район не может его выполнить, иначе обнищает дальше опасного предела. Надо вспомнить обстановку 30-х годов (да только ли 30-х?), чтоб оценить, какое это было святотатство против Плана и какой бунт против власти! Но по ухваткам того же времени меры не были приняты в лоб и сверху, а пущены на местную самодеятельность. Когда Смирнов был в отпуске, его заместитель Василий Фёдорович Романов, второй секретарь, провёл такую резолюцию на райкоме: «успехи района были бы ещё более блестящими (?), если бы не троцкист Ставров».

Началось «персональное дело» Ставрова. (Интересна ухватка: *разгелить!* Смирнова пока напугать, нейтрализовать, заставить отшатнуться, а до него потом доберёмся — это в малых масштабах именно сталинская тактика в ЦК.) На бурных партийных собраниях выяснилось, однако, что Ставров столько же троцкист, сколько римский иезуит. Председатель райпо Василий Григорьевич Власов, человек со случайным клочным образованием, но тех самобытных способностей, которые так удивляют в русских, кооператор-самородок, красноречивый, находчивый в диспутах, запальющийся до полного раскала вокруг того, что он считает верным, убеждал партийное собрание исключить из партии — Романова, секретаря райкома, за клевету! И дали Романову выговор! Последнее слово Романова очень характерно для этой породы людей и их уверенности в общей обстановке: «Хотя тут и доказали, что Ставров — не троцкист, но я уверен, что он троцкист. *Партия разберётся*, и в моём выговоре тоже». И Партия разобралась: почти немедленно районное НКВД арестовало Ставрова, через месяц — и предрайсполкома эстонца Универа — и вместо него Романов стал предРИКом. Ставрова отвезли в областное НКВД, там он сознался: что он — троцкист; что он всю жизнь блокировался с эсерами; что в своём районе состоит членом подпольной *правой* организации (букет — тоже достойный того времени, не хватает прямой связи с Антантой). Может быть, он и не сознался, но этого никто никогда не узнает, потому что в Ивановской внутрянке он под пытками умер. А листы протоколов были написаны. Вскоре арестовали и секретаря райкома Смирнова, главу предполагаемой *правой* организации; заврайфо Сабурова и ещё кого-то.

Интересно, как решалась судьба Власова. Нового предРИКа Романова он недавно призывал исключить из партии. Как смертельно он обидел районного прокурора Русова, мы уже писали (глава 4). Начальника райНКВД Н. И. Крылова он обидел тем, что отстоял от посадки за мнимое вредительство двух своих оборотистых толковых кооператоров с замутнённым соцпроисхождением. (Власов всегда брал на работу всяких «бывших» — они отлично владели делом и к тому же старались; пролетарские же выдвигенцы ничего не умели и ничего, главное, не хотели делать.) И всё-таки НКВД ещё готово было пойти с кооперацией на мировую! Заместитель райНКВД Сорокин сам пришёл в райпо и предложил Власову: дать для НКВД бесплатно («как-нибудь потом спишешь») на семьсот рублей мануфактуры (тряпичники! а для Власова это было две месячных зарплаты, он крохи не брал себе незаконной). «Не дадите — будете жалеть». Власов выгнал его: «Как вы смеете мне, коммунисту, предлагать такую сделку!» На другой же день в райпо явился Крылов уже как представитель райкома партии (этот маскарад и все приёмчики — душа тридцать седьмого года!) и велел собрать партийное собрание с повесткой дня: «О вредительской деятельности Смирнова — Универа в потребительской кооперации», докладчик — товарищ Власов. Тут что ни приём, то перл! Никто пока не обвиняет Власова! Но достаточно ему сказать два слова о вредительской деятельности бывшего секретаря райкома в его, Власова, области, и НКВД прервёт: «а где же были *вы?* почему вы не пришли своевременно к нам?» В таком положении многие терялись и увязали. Но не Власов! Он сразу же ответил: «Я делать доклада не буду! Пусть докладчиком будет Крылов — ведь это он арестовал и ведёт дело Смирнова — Универа!» Крылов отказался: «Я не в курсе». Власов: «А если даже *вы* не в курсе — так они арестованы без основания!» И собрание просто не состоялось. Но часто ли люди смели обороняться? (Обстановка тридцать седьмого года не будет полной, мы утратим из виду ещё сильных людей и сильные решения, если не упомянем, что поздно вечером того же дня в кабинет к Власову пришли старший бухгалтер райпо Т. и заместитель его Н. и принесли ему десять тысяч рублей: «Василий Григорьевич! Бегите этой ночью! Только этой ночью,

иначе вы пропали!» Но Власов считал, что не пристало коммунисту бежать.) На утро в районной газете появилась резкая заметка о работе райпо (ведь наша печать была всегда рука об руку с НКВД), к вечеру предложено было Власову сделать в райкоме отчёт о работе (что ни шаг — то всесоюзный тип!).

Это был 1937 год, второй год *Mikojan-prosperity* в Москве и других крупных городах, и сейчас иногда встретишь у журналистов и писателей воспоминания, как уже тогда наступала сытость. Это вошло в историю и рискует там остаться. А между тем в ноябре 1936 года, через два года после отмены хлебных карточек, было издано по Ивановской области (и другим) тайное распоряжение о *запрете мучной торговли*. В те годы многие хозяйки в мелких посёлках, а особенно в деревнях, ещё пекли хлеб сами, пекарен не было. Запрет мучной торговли означал: хлеба не есть! В районном центре Кады образовались непомерные, никогда не виданные хлебные очереди (впрочем, нанесли удар и по ним: в феврале 1937 запрещено было выпекать в райцентрах чёрный хлеб, а лишь дорогой белый). В Кадыйском же районе не было других пекарен, кроме районной, из деревень теперь валили за чёрным сюда. И мука на складах райпо была — но двумя запретами перегорожены были все пути дать её людям!! Власов, однако, нашёлся и вопреки государственным хитрым установлениям накормил район в тот год: он отправился по колхозам и в восьми из них договорился, что те в пустующих «кулацких» избах создадут общественные пекарни (то есть попросту привезут дров и поставят баб к готовым русским печам, но — общественным, а не личным), райпо же обязуется снабжать их мукой. Вечная простота решения, когда оно уже найдено! Не строя пекарен (у него не было средств), Власов их построил за один день. Не ведя мучной торговли, он непрерывно отпускал муку со склада и требовал из области ещё. Не продавая в райцентре чёрного хлеба, он давал району чёрный хлеб. Да, буквы постановления он не нарушил, но он нарушил дух постановления — экономить муку, а народ — морить, и его было за что *критиковать* на райкоме.

После этой критики ещё одну ночь он пережил, а днём был арестован. Строгий маленький пегушок (маленького роста, он всегда держался несколько заносчиво, закидывая голову), он попытался не сдать партбилета (вчера на райкоме не было решения об его исключении!) и депутатскую карточку (он избран народом и нет решения РИКа о лишении его депутатской неприкосновенности!). Но милиционеры не разумели таких формальностей, они накинулись и отняли силой. — Из райпо его вели в НКВД по улице Кады днём, и молодой товаровед его, комсомолец, из окна райкома увидел. Ещё не все тогда люди (особенно в деревнях по простоте) научились говорить не то, что думают. Товаровед воскликнул: «Вот сволочи! И моего хозяина взяли!» Тут же не выходя из комнаты, его исключили и из райкома, и из комсомола, и он покатился известной тропкой в яму.

Власов был поздно взят по сравнению со своими однодельцами, дело было почти завершено уже без него и теперь подстраивалось под открытый процесс. Его привезли в Ивановскую внутрирку, но, как на последнего, на него уже не было нажима с пристрастием, снято было два коротких допроса, не был допрошен ни единый свидетель, и папка следственного дела была наполнена сводками райпо и вырезками из районной газеты. Власов обвинялся: 1) в создании очередей за хлебом; 2) в недостаточном ассортиментном минимуме товаров (как будто где-то эти товары были и кто-то предлагал их Кадыю); 3) в излишке завезённой соли (а это был обязательный «мобилизационный» запас — ведь по старинке в России на случай войны всегда боятся остаться без соли).

В конце сентября обвиняемых повезли на открытый процесс в Кады. Это был путь не близкий (вспомнишь дешевизну ОСО и закры-

тых судов!): от Иванова до Кинешмы — вагон-заком, от Кинешмы до Кадыя — сто десять километров на автомобилях. Автомобилей было больше десятка — и следуя необычной вереницей по пустынному старому тракту, они вызывали в деревнях изумление, страх и предчувствие войны. За безупречную и устрашающую организацию всего процесса отвечал Ключин (начальник спецсекретного отдела облНКВД, по контрреволюционным организациям). Охрана была — сорок человек из резерва конной милиции, и каждый день с 24 по 27 сентября подсудимых везли по Кадыю с саблями наголо и выхваченными наганями из райНКВД в недостроенный клуб и назад — по селу, где они недавно были правительством. Окна в клубе уже были вставлены, сцена же — недостроена, не было электричества (вообще его не было в Кадые), и вечерами суд заседал при керосиновых лампах. Публику привозили из колхозов по развёрстке. Валил и весь Кадый. Не только сидели на скамьях и на окнах, но густо стояли в проходах, так что человек до семисот умещалось всякий раз. Передние же скамьи были постоянно отводимы коммунистам, чтобы суд всегда имел благожелательную опору.

Составлено было спецприсутствие областного суда из зампреда облсуда Шубина, членов — Биче и Заозёрова. Выпускник Дерптского университета областной прокурор Карасик вёл обвинение (хотя обвиняемые все отказались от защиты, но казённый адвокат был им навязан для того, чтобы процесс не остался без прокурора). Обвинительное заключение, торжественное, грозное и длинное, сводилось к тому, что в Кадыйском районе орудовала подпольная право-бухаринская группа, созданная из Иванова (сиречь — жди арестов и там) и ставившая целью посредством вредительства свергнуть советскую власть в селе Кадый (большого захолустья *правые* не могли найти для начала!).

Прокурор заявил ходатайство: хотя Ставров умер в тюрьме, но его предсмертные показания зачитать здесь и считать данными на суде (а на ставровских-то показаниях все обвинения группы и построены!). Суд согласен: включить показания умершего, как если б он был жив (с тем, однако, преимуществом, что уже никто из подсудимых не сумеет его оспорить).

Но кадыйская темнота этих учёных тонкостей не уловила, она ждёт — что дальше. Зачитываются и заново протоколируются показания убитого на следствии. Начинается опрос подсудимых и — конфуз! они все отказываются от своих признаний, сделанных на следствии!

Неизвестно, как поступили бы в этом случае в Октябрьском зале Дома Союзов, — а здесь решено без стыда продолжать! Судья упрекает: как же вы могли на следствии показывать иначе? Универ, ослабевший, едва слышимым голосом: «как коммунист, я не могу на открытом суде рассказывать о методах допроса в НКВД». (Вот и модель бухаринского процесса! вот это-то их и сковывает: они больше всего боятся, чтобы народ не подумал худо о партии. Их судьи давно уже оставили эту заботу.)

В перерыве Ключин обходит камеры подсудимых. Власову: «Слышал, как скурвились Смирнов и Универ, сволочи? Ты же должен признать себя виновным и рассказывать всю правду!» «Только правду! — охотно соглашается ещё не ослабевший Власов. — Только правду, что вы ничем не отличаетесь от германских фашистов!» Ключин свирепет: «Смотри, б..., кровью расплатишься!»⁴⁰ С этого времени в процессе Власов со вторых ролей переводится на первые — как *идейный вдохновитель* группы.

⁴⁰ Скоро, скоро прольётся твоя собственная! — в ежовский косяк энкаведешников захвачен будет Ключин и в лагере зарублен стукачом Губайдулиным.

Толпе, забивающей проходы, яснее вот когда. Суд бесстрашно ломится разговаривать о хлебных очередях, о том, что каждого тут и держит за живое (хотя, конечно, перед процессом хлеб продавали неслитанно, и сегодня очередей нет). Вопрос подсудимому Смирнову: «Знали вы о хлебных очередях в районе?» — «Да, конечно, они тянулись от магазина к самому зданию райкома». — «И что же вы предприняли?» Несмотря на истязания, Смирнов сохранил звучный голос и покойную уверенность в правоте. Этот ширококостный русский человек с простым лицом не торопится и зал слышит каждое слово: «Так как все обращения в областные организации не помогали, я поручил Власову написать докладную товарищу Сталину». — «И почему же вы её не написали?» (Они ещё не знают!.. Проворонили!) — «Мы написали, и я её отправил фельдсвязью прямо в ЦК, минуя область. Копия сохранилась в делах райкома».

Не дышит зал. Суд переполошен, и не надо бы дальше спрашивать, но кто-то всё же спрашивает:

— И что же?

Да этот вопрос у всех в зале на губах: «И что же?»

Смирнов не рыдает, не стонет над гибелью идеала (вот этого не хватает московским процессам!). Он отвечает звучно, спокойно.

— Ничего. *Ответа не было.*

В его усталом голосе: так я, собственно, и ожидал.

Ответа не было! От Отца и Учителя ответа не было! Открытый процесс уже достиг своей вершины! уже он показал массе чёрное нутро Людоеда! Уже суд мог бы и закрыться! Но нет, на это не хватает им такта и ума, и они ещё три дня будут толочься на подмоченном месте.

Прокурор разоряется: двурушничество! Вот значит вы как! — одной рукой вредили, а другой смели писать товарищу Сталину! И ещё ждали от него ответа?? Пусть ответит подсудимый Власов — как он додумался до такого кошмарного вредительства — прекратить продажу муки? прекратить выпечку ржаного хлеба в районном центре!

Петушка Власова и поднимать не надо, он сам торопится вскочить и пронзительно кричит на весь зал:

— Я согласен полностью ответить за это перед судом, если вы покинете трибуну обвинителя, прокурор Карасик, и сядете рядом со мной!

Ничего не понятно. Шум, крики. Призовите к порядку, что такое?..

Получив слово таким захватом, Власов теперь охотно разъясняет:

— На запрет продажи муки, на запрет выпечки хлеба пришли постановления президиума Облисполкома. Постоянным членом президиума является областной прокурор Карасик. Если это вредительство — почему же вы не наложили прокурорского запрета? Значит, вы — вредитель раньше меня?..

Прокурор задохнулся, удар верный и быстрый. Не находится и суд. Мямлит:

— Если надо будет (?) — будем судить и прокурора. А сегодня мы судим вас.

(Две правды — зависит от ранга!)

— Так я требую, чтоб его увели с прокурорской кафедры! — ключёт неугомонный Власов.

Перерыв...

Ну, какое воспитательное значение для массы имеет подобный процесс?

А они тянут своё. После допроса обвиняемых начинаются допросы свидетелей. Бухгалтер Н.

— Что вам известно о вредительской деятельности Власова?

— Ничего.

— Как это может быть?

— Я был в свидетельской комнате, я не слышал, что говорилось.

— Не надо слышать! Через ваши руки проходило много документов, вы не могли не знать.

— Документы все были в порядке.

— Но вот — пачка районных газет, даже тут сказано о вредительской деятельности Власова. А вы ничего не знаете?

— Так и допрашивайте тех, кто писал эти статьи!

Заведующая хлебным магазином.

— Скажите, много ли у советской власти хлеба?

(А ну-ка! Что ответить?.. Кто решится сказать: я не считал?)

— Много...

— А почему ж у вас очереди?

— Не знаю...

— От кого это зависит?

— Не знаю...

— Ну, как вы не знаете? У вас кто был руководитель?

— Василий Григорьевич.

— Какой к чертям Василий Григорьевич! Подсудимый Власов! Значит от него и зависело.

Свидетельница молчит.

Председатель диктует секретарю: «Ответ. Вследствие вредительской деятельности Власова создавались хлебные очереди, несмотря на огромные запасы хлеба у советской власти».

Подавляя собственные опасения, прокурор произнёс гневную длинную речь. Защитник в основном защищал себя, подчёркивая, что интересы родины ему так же дороги, как и любому честному гражданину.

В последнем слове Смирнов ни о чём не просил и ни в чём не раскаивался. Сколько можно восстановить теперь, это был человек твёрдый и слишком прямодушный, чтобы пронести голову целой через тридцать седьмой год.

Когда Сабуров попросил сохранить ему жизнь — «не для меня, но для моих маленьких детей», Власов с досадой одёрнул его за пиджак: «Дурак ты!»

Сам Власов не упустил последнего случая высказать дерзость:

— Я не считаю вас за суд, а за артистов, играющих водевиль суда по написанным ролям. Вы — исполнители гнусной провокации НКВД. Всё равно вы приговорите меня к расстрелу, что б я вам ни сказал. Я только верю: наступит время — и вы станете на наше место!..⁴¹

С семи часов вечера и до часу ночи суд сочинял приговор, а в зале клуба горели керосиновые лампы, сидели под саблями подсудимые, и гудел народ, не расходясь.

Как долго писали приговор, так долго и читали его с нагромождением всех фантастических вредительских действий, связей и замыслов. Смирнова, Универа, Сабурова и Власова приговорили к расстрелу, двух к десяти годам, одного — к восьми. Кроме того выводы суда вели к разоблачению в Кадые ещё и комсомольской вредительской организации (её и не замедлили посадить; товароведа молодого помните?), а в Иванове — центра подпольных организаций, в свою очередь, конечно, подчинённого Москве (под Бухарина пошёл подкоп).

После торжественных слов «к расстрелу!» судья оставил паузу для аплодисментов — но в зале было такое мрачное напряжение, слышны были вздохи и плач людей чужих, крики и обмороки родственников, что даже с двух передних скамей, где сидели члены партии, аплодисментов не зазвучало, а это уже было совсем неприлично. «Ой, батюшки, что ж вы делаете?!» — кричали суду из зала. Отчаянно залилась жена Универа. И в полутьме зала в толпе произошло движение. Власов крикнул передним скамьям:

— Ну что ж вы-то, сволочи, не хлопаете? Коммунисты!

⁴¹ Говоря обобщённо, — в этом одном он ошибся.

Политрук взвода охраны подбежал и стал тыкать ему в лицо револьвер. Власов потянулся вырвать револьвер, подбежал милиционер и отбросил своего политрука, допустившего ошибку. Начальник конвоя скомандовал «к оружию!» — и тридцать карабинов милицейской охраны и пистолеты местных энкаведешников были направлены на подсудимых и на толпу (так и казалось, что она кинется отбивать осуждённых).

Зал был освещён всего лишь несколькими керосиновыми лампами, и полутьма увеличивала общую путаницу и страх. Толпа, окончательно убеждённая если не судебным процессом, то направленными на неё теперь карабинами, в панике и давясь, полезла не только в двери, но и в окна. Затрещало дерево, зазвенели стёкла. Едва не затоптанная, без сознания, осталась лежать под стульями до утра жена Универа.

Аплодисментов так и не было...

Пусть маленькое примечание будет посвящено восьмилетней девочке Зое Власовой. Она любила отца взахлёб. Больше она не смогла учиться в школе (её дразнили: «твой папа вредитель!»), она вступала в драку: «мой папа хороший!»). Она прожила после суда всего один год (до того не болела), за этот год *ни разу не засмеялась*, ходила всегда с опущенной головой, и старухи предсказывали: «в землю глядит, умрёт скоро». Она умерла от воспаления мозговой оболочки, и при смерти всё кричала: «Где мой папа? Дайте мне папу!»

Когда мы подсчитываем миллионы погибших в лагерях, мы забываем умножить на два, на три...

А приговорённых не только нельзя было тотчас же расстрелять, но теперь ещё пуще надо было охранять, потому что им-то терять уже больше было нечего, а надлежало для расстрела препроводить их в областную центр.

С первой задачей — этапировать их по ночной улице в НКВД, справились так: каждого приговорённого сопровождало пятеро. Один нёс фонарь. Один шёл впереди с поднятым пистолетом. Двое держали смертника под руки и ещё пистолеты в своих свободных руках. Ещё один шёл сзади, нацелясь приговорённому в спину.

Остальная милиция была расставлена равномерно, чтобы предотвратить нападение толпы.

Теперь каждый разумный человек согласится, что если бы возюкаться с открытыми судами, — НКВД никогда бы не выполнило своей великой задачи.

Вот почему открытые политические процессы в нашей стране не привились.

Глава 11

К ВЫСШЕЙ МЕРЕ

Смертная казнь в России имеет зубчатую историю. В Уложении Алексея Михайловича доходило наказание до смертной казни в пятидесяти случаях, в воинском уставе Петра уже двести таких артикулов. А Елизавета, не отменив смертных законов, однако и не применила их ни единожды: говорят, она при восшествии на престол дала обет никого не казнить — и все двадцать лет царствования никого не казнила. Притом вела Семилетнюю войну! — и обошлась. Для середины XVIII века, за полстолетия до яacobинской рубилочки, пример удивительный. Правда, мы напустились всё прошлое своё высмеивать; ни поступка, ни намерения доброго мы там никогда не признаём. Так и Елизавету можно вполне очернить: заменяла она казнь — кнутовым боем, вырыванием ноздрей, клеймением «ворь» и вечною ссылкой в Сибирь. Но молвим и в защиту императрицы: а как же было ей круче повернуть, вопреки общественным представлениям? А может и сегодняшний смертник, чтоб только солнце для него не погасло, весь этот комплекс

избрал бы для себя по доброй воле, да мы по гуманности ему не предлагаем? И может в ходе этой книги ещё склонится к тому читатель, что двадцать, да даже и десять лет наших лагерей потяжелее елизаветинской казни?

По нашей теперешней терминологии, Елизавета имела тут взгляд общечеловеческий, а Екатерина II — классовый (и стало быть, более верный). Совсем уж никого не казнить ей казалось жутко, необоротно. И для защиты себя, трона и строя, то есть в случаях политических (Мирович, московский чумной бунт, Пугачёв) она признала казнь вполне уместной. А для уголовников, — отчего ж бы и не считать отменённой?

При Павле отмена смертной казни была подтверждена. (А войн было много, но полки — без трибуналов.) И во всё долгое царствование Александра I вводилась смертная казнь только для воинских преступлений, учинённых в походе (1812). (Тут же скажут нам: а шпицрутенами насмерть? Да слов нет, негласные убийства конечно были, так довести человека до смерти можно и профсоюзным собранием! Но всё-таки отдать Божью жизнь через голосование над тобою судейских — ещё полвека от Пугачёва до декабристов не доставалось в нашей стране даже и государственным преступникам.)

От пяти повешенных декабристов смертная казнь за государственные преступления у нас не отменялась, она была подтверждена Уложениями 1845 и 1904 годов, пополнялась ещё и военно-уголовными законами, — но была отменена для всех преступлений, судимых обычными судами.

И сколько же человек было за это время в России казнено? Мы уже приводили (глава 8) подсчёты либеральных деятелей 1905—1907 годов: за восемьдесят лет 894 казни, то есть в среднем по одиннадцать человек в год. Добавим более строгие цифры знатока русского уголовного права Н. С. Таганцева⁴². До 1905 года смертная казнь в России была мерой исключительной. За тридцать лет с 1876 до 1905 (время народовольцев и террористических актов, не *намерений*, высказанных в коммунальной кухне; время массовых забастовок и крестьянских волнений; время, в которое создались и окрепли все партии будущей революции) было казнено 486 человек, то есть около семнадцати человек в год по стране. (Это — вместе с уголовными казнями!)⁴³. За годы первой революции и подавления её число казней взметнулось, поражая воображение русских людей, вызывая слёзы Толстого, негодование Короленко и многих и многих: с 1905 по 1908 было казнено около 2200 человек (сорок пять человек в месяц!). Но казнили в основном за террор, убийство, разбой. Это была эпидемия казней, как пишет Таганцев. (Тут же она и оборвалась).

Странно читать, что когда в 1906 были введены военно-полевые суды, то из сложнейших проблем было: кому казнить? (Требовалось — в течение суток от приговора.) Расстреливали войска — производило неблагоприятное впечатление на войска. А палач-доброволец часто не находился. Докоммунистические головы не догадывались, что один палач и в затылок — может многих перестрелять.

Временное правительство при своём вступлении отменило смертную казнь вовсе. В июле 1917 оно возвратило её для Действующей армии и фронтовых областей — за воинские преступления, убийства, изнасилования, разбой и грабёж (чем те районы весьма тогда изобиловали). Это была — из самых непопулярных мер, погубивших Временное правительство. Лозунг большевиков к перевороту был: «долой смертную казнь, восстановленную Керенским!»

Сохранился рассказ, что в Смольном в самую ночь с 25 на 26 октября возникла дискуссия: одним из первых декретов не отменить ли

⁴² Н. С. Таганцев. Смертная казнь. СПб. 1913. (Уже мы «таганцевское дело» видели, глава 8.)

⁴³ В Шлиссельбурге с 1884 по 1906 казнено... тринадцать человек.

навечно смертную казнь? — и Ленин тогда высмеял утопизм своих товарищей, он-то знал, что без смертной казни несколько не продвигнуться в сторону нового общества. Однако, составляя коалиционное правительство с левыми эсерами, уступили их ложным понятиям, и с 28 октября 1917 казнь была всё-таки отменена. Ничего хорошего от этой «добренькой» позиции выйти, конечно, не могло. (Да и как отменяли? В начале 1918 велел Троцкий судить Алексея Щастного, но-произведённого адмирала, за то, что он отказался потопить Балтфлот. Председатель Верхтриба Каркин ломаным русским языком приговорил быстро: «расстрелять в двадцать четыре часа». В зале завоновались: отменена! Обвинитель Крыленко разъярился: «Что вы волнуетесь? Отменена — смертная казнь. А Щастного мы не казним — расстреливаем». И расстреляли.)

Если судить по официальным документам, смертная казнь была восстановлена во всех правах с июня 1918 — нет, не «восстановлена», а — установлена как новая эра казней. Если считать, что Лацис⁴⁴ не преуменьшает, а лишь только не имеет полных сведений, и что ревтрибуналы выполнили по крайней мере такую же судебскую работу, как ЧК бессудную, мы найдём, что по двадцати центральным губерниям России за шестнадцать месяцев (июнь 1918 — октябрь 1919) было расстреляно более 16 тысяч человек, то есть более *тысячи в месяц*⁴⁵. (Кстати, тут были расстреляны и председатель первого русского (Петербургского, 1905 год) совдепа Хрусталёв-Носарь, и тот художник, кто создал для всей Гражданской войны эскиз былинного красноармейского костюма.)

А ещё же — реввоен трибуналы с их тоже тысячными месячными цифрами. И желдортрибуналы (см. гл. 8, стр. 295).

Впрочем, даже может быть не этими, произнесёнными или не произнесёнными как приговор, одиночными расстрелами, потом сложившимися в тысячи, оледенила и опьянила Россию наступившая в 1918 эра казней.

Ещё страшней нам кажется мода воюющих сторон, а потом победителей — на *потопление барж*, всякий раз с не сосчитанными, не переписанными, даже и не перекликнутыми сотнями людей, особенно офицеров и других заложников — в Финском заливе, в Белом, Каспийском и Чёрном морях, ещё и в Байкале. Это не входит в нашу узко-судебную историю, но это — история *нравов*, откуда — всё дальнейшее. Во всех наших веках от первого Рюрика была ли полоса таких жестокостей и стольких убийств, какими большевики сопровождали и закончили Гражданскую войну?

Мы пропустили бы характерный зубец, если б не сказали, что смертная казнь отменялась... в январе 1920 года, да! Иной исследователь может стать даже в тупик перед этой доверчивостью и беззащитностью диктатуры, которая лишила себя карающего меча, когда ещё на Кубани был Деникин, в Крыму Врангель, а польская конница седлалась к походу. Но, во-первых, тот декрет был весьма благоразумен: он *не распространялся на реввоен трибуналы*, а только на ЧК и тыловые трибуналы. Поэтому предназначенных к расстрелу можно было предварительно передвигать к расстрелу поближе. Так например, для истории сохранилось распоряжение:

«Секретно. Циркулярно.

Председателям ч. к., в. ч. к. — по особым отделам.

Ввиду отмены смертной казни предлагаем всех лиц, кои почисляющимся разным преступлениям подлежат высшим мерам наказа-

⁴⁴ Уже цитированный обзор «Два года борьбы...», стр. 75.

⁴⁵ Уж пошло на сравнение, так ещё одно: за восемьдесят вершинных лет инквизиции (1420—1498) по всей Испании было осуждено на сожжение 10 тысяч человек, то есть около десяти человек в месяц.

ния — отправлять в полосу военных действий, как место, куда декрет об отмене смертной казни не распространяется.

15 апреля 1920 года № 325/16.756
Управляющий особ. отд. ВЧК
/подпись/

Ягода».

Во-вторых, декрет был *подготовлен предварительной чисткой тюрем* (широкими расстрелами заключённых, могущих потом попасть «под декрет». Сохранилось в архивах заявление бутырских заключённых от 5 мая 1920:

«У нас, в Бутырской тюрьме, уже после подписания декрета об отмене смертной казни расстреляно ночью 72 человека. Это было кошмарно по своей подлости».)

Но в-третьих, что самое утешительное, действие декрета было краткосрочно — четыре месяца (пока снова в тюрьмах не накопилось). Декретом от 28 мая 1920 права расстрела были возвращены ВЧК.

Революция спешит всё переименовать, чтобы каждый предмет увидеть новым. Так и «смертная казнь» была переименована — в *высшую меру* и не «наказания» даже, а *социальной защиты*. Основы уголовного законодательства 1924 объясняют нам, что установлена эта высшая мера временно, *впредь до полной её отмены ЦИКом*.

И в 1927 её действительно начали *отменять*: её оставили *лишь* для преступлений против государства и армии (58-я и воинские), ещё правда для бандитизма (но известно широкое политическое истолкование «бандитизма» в те годы да и сегодня: от «басмача» и до литовского лесного партизана всякий вооружённый националист, не согласный с центральной властью, есть «бандит», как же без этой статьи остаться? И лагерный повстанец и участник городского волнения — тоже «бандит»). По статьям же, защищающим частных лиц, по убийствам, грабежам и изнасилованиям, — к десятилетию Октября расстрел отменили.

А к пятнадцатилетию Октября добавлена была смертная казнь по закону от «седьмого-восьмого» — тому важнейшему закону уже наступающего социализма, который обещал подданному пулю за каждую государственную кроху.

Как всегда, особенно поначалу накинута на этот закон, в 1932 — 1933, и особенно рьяно стреляли тогда. В это *мирное* время (ещё при Кирове...) в одних только ленинградских Крестах в декабре 1932 ожидало своей участи **единовременно двести шестьдесят пять смертников**⁴⁶ — а за целый год по одним Крестам и за тысячу завалило?

И что ж это были за злодеи? Откуда набралось столько заговорщиков и смутьянов? А например, сидело там шесть колхозников изпод Царского Села, которые вот в чём провинились: после колхозного (их же руками!) покоса они прошли и сделали по кочкам подкос для своих коров. **Все эти шесть мужиков не были помилованы ВЦИКом, приговор приведён в исполнение!**

Какая Салтычиха? какой самый гнусный и отвратительный крепостник мог бы убить шесть мужиков за несчастные окоски?.. Да ударь он их только розгами по разу, — мы б уже знали и в школах проклинали его имя⁴⁷. А сейчас — ухнуло в воду и гладенько. И только надежду надо таить, что когда-нибудь подтвердят документами рассказ моего живого свидетеля. Если бы Сталин никогда и никого больше не убил, — то только за этих шестерых царскосельских мужиков я бы считал его достойным четвертования! И ещё смеют нам виз-

⁴⁶ Свидетельство Б., разносившего по камерам смертников пищу.

⁴⁷ Только неизвестно в школах, что Салтычиха по приговору (классового) суда отсидела за свои зверства одиннадцать лет в подземной тюрьме Ивановского монастыря в Москве (А. С. Пру г а в и н. Монастырские тюрьмы. Издание «Посредника». 1906, стр. 39).

жать: «как вы смели его разоблачать?», «тревожить великую тень?», «Сталин принадлежит мировому коммунистическому движению!» — Да. И — уголовному кодексу.

Впрочем, Ленин с Троцким — чем же лучше? Начинали — они. Однако вернёмся к бесстрастию и беспристрастию. Конечно, ВЦИК непременно бы «полностью отменил» высшую меру, раз это было обещано, — да в том беда, что в 1936 Отец и Учитель «полностью отменил» сам ВЦИК. А уж *Верховный Совет* скорей звучал под Анну Иоанновну. Тут и «высшая мера» *наказания* стала, а не «защиты» какой-то непонятной. Расстрелы 1937-38 года даже для сталинского уха не ущемались уже в «защиту».

Об этих расстрелах — какой правовед, какой уголовный историк приведёт нам проверенную статистику? где тот *спецхран*, куда бы нам проникнуть и вычитать цифры? Их нет. Их и не будет. Осмелимся поэтому лишь повторить те цифры-слухи, которые посвежу, в 1939-40 годах, бродили под бутырскими сводами и истекали от крупных и средних павших ежовцев, прошедших те камеры незадолго (они-то знали!). Говорили ежовцы, что в два эти года расстреляно по Союзу пол миллиона «политических» и четыреста восемьдесят тысяч блатарей (59-3, их стреляли как «опору Ягоды»; этим и подрезан был «старый воровской благородный» мир).

Насколько эти цифры невероятны? Считая, что расстрелы велись не два года, а лишь полтора, мы должны ожидать (для 58-й статьи) в среднем в месяц двадцать восемь тысяч расстрелянных. Это по Союзу. Но сколько было мест расстрела? Очень скромно будет посчитать, что — полтораста. (Их было больше, конечно. В одном только Пскове под многими церквями в бывших кельях отшельников были устроены пыточные и расстрельные помещения НКВД. Ещё и в 1953 в эти церкви не пускали экскурсантов: «архивы»; там и паутины не выметали по десять лет, такие «архивы». Перед началом реставрационных работ оттуда кости вывозили грузовиками.) Тогда значит в одном месте, в один день вводили на расстрел по шесть человек. Разве это фантастично? Это преуменьшено даже! Из Красnodара свидетельствуют, что там в главном здании ГПУ на Пролетарской в 1937-38 каждую ночь расстреливали больше двухсот человек! (По другим источникам к 1 января 1939 расстреляно один миллион семьсот тысяч человек.)

В годы Отечественной войны по разным поводам применение смертной казни то расширялось (например, военизация железных дорог), то обогащалось по формам (с апреля 1943 — указ о повешении).

Все эти события несколько замедлили обещанную полную, окончательную и навечную отмену смертной казни, однако терпением и преданностью наш народ всё-таки выслужил её: в мае 1947 применил Иосиф Виссарионович крахмальное жабо перед зеркалом, понравилось — и продиктовал президиуму Верховного Совета отмену смертной казни в мирное время (с заменой на — двадцать пять лет, четвертную).

Но народ наш неблагодарен, преступен и не способен ценить великодушие. Поэтому побряхтели-побряхтели правители два с половиной года без смертной казни, и 12 января 1950 издан Указ противоположный: «ввиду поступивших заявлений от национальных республик (Украина?..), от профсоюзов (милые эти профсоюзы, всегда знают, что надо), крестьянских организаций (это среди сна продиктовано, все крестьянские организации растоптал Милостивец ещё в год Великого Перелома), а также от деятелей культуры» (вот это вполне правдоподобно) возвратили смертную казнь для уже накопившихся «изменников родины, шпионов и подрывников-диверсантов».

И уж как начали возвращать нашу привычную, нашу головушку, так и потянулось без усилия: 1954 — за умышленное убийство тоже; май 1961 — за хищение государственного имущества тоже, и подделку денег тоже, и террор в местах заключения (это кто стукачей убивает

и пугает лагерную администрацию); июль 1961 — за нарушение правил о валютных операциях; февраль 1962 — за посягательство (замах рукой) на жизнь милиционеров и дружинников; и тогда же — за изнасилование; и тут же сразу — за взяточничество.

Но всё это — временно, *впредь до полной отмены*. И сегодня так записано.

И выходит, что дольше всего мы без казни держались при Елизавете Петровне.

* * *

В благополучном и слепом нашем существовании смертники рисуются нам роковыми и немногочисленными одиночками. Мы инстинктивно уверены, что *мы-то* в смертную камеру никогда бы попасть не могли, что для этого нужна если не тяжкая вина, то во всяком случае выдающаяся жизнь. Нам ещё много нужно перетряхнуть в голове, чтобы представить: в смертных камерах пересидела тьма самых серых людей за самые рядовые поступки, и — кому как повезёт — очень часто не помилование получали они, а *вышку* (так называют арестанты «высшую меру», они не терпят высоких слов и всё называют как-нибудь поглубей и покороче).

Агроном райзо получил смертный приговор за ошибки в анализе колхозного зерна! (а может быть не угодил начальству анализом?) — 1937 год.

Председатель кустарной артели (изготавливавшей ниточные катушки!) Мельников приговорён к смерти за то, что в мастерской случился пожар от locomобильной искры! — 1937 год. (Правда, его помиловали и дали десятку.)

В тех же Крестах в 1932 году ждали смерти: Фельдман — за то, что у него нашли валюту; Файтелевич, консерваторец, за продажу стальной ленты для перьев. Исконная коммерция, хлеб и забава еврея, тоже стала достойна казни!

Удивляться ли тогда, что смертную казнь получил ивановский деревенский парень Гераська: на Николу вешнего гулял в соседней деревне, выпил крепко и стукнул кулаком по заду — не милиционера, нет! — но милицкую лошадь! (Правда, той же милиции на зло он оторвал от сельсовета доску обшивки, потом сельсоветский телефон от шнура и кричал: «громи чертей!»...)

Наша судьба угодить в смертную камеру не тем решается, что мы сделали что-то или чего-то не сделали, — она решается кручением большого колеса, ходом внешних могучих обстоятельств. Например, обложен блокадою Ленинград. Его высший руководитель товарищ Жданов что должен думать, если в делах ленинградского ГБ в такие суровые месяцы не будет смертных казней? Что Органы бездействуют, не так ли? Должны же быть вскрыты крупные подпольные заговоры, руководимые немцами извне? Почему же при Сталине в 1919 такие заговоры были вскрыты, а при Жданове в 1942 их нет? Заказано — сделано: открываются несколько разветвлённых заговоров! Вы спите в своей нетопленной ленинградской комнате, а когтистая чёрная рука уже сносится над вами. И от вас тут ничего не зависит. Намечается такой-то, генерал-лейтенант Игнатовский — у него окна выходят на Неву и он вынул белый носовой платок высморкаться — сигнал! А ещё Игнатовский как инженер любит беседовать с моряками о технике. Засечено! Игнатовский взят. Пришла пора рассчитывать! — итак, назовите сорок членов вашей организации. Называет. Так если вы — капельдинер Александринки, то шансы быть названным у вас невелики, а если вы профессор Технологического института — так вот вы и в списке — и что же от вас зависело? А по такому списку — всем расстрел.

И всех расстреливают. И вот как остаётся в живых Константин Иванович Страхович, крупный русский гидродинамик: какое-то ещё высшее начальство в госбезопасности недоволено, что список мал

и расстреливается мало. И Страховича намечают как подходящий центр для вскрытия новой организации. Его вызывает капитан Альтшуллер: «Вы что ж? нарочно поскорее всё признали и решили уйти на тот свет, чтобы скрыть подпольное правительство? Кем вы там были?» Так, продолжая сидеть в камере смертников, Страхович попадает на новый следственный круг! Он предлагает считать его минпросом (хочется кончить всё поскорей!), но Альтшуллеру этого мало. Следствие идёт, группу Игнатовского тем временем расстреливают. На одном из допросов Страховича охватывает гнев: он не то что хочет жить, но он устал умирать и, главное, до противности подкатила ему ложь. И он на перекрестном допросе при каком-то большом чине стучит по столу: «Это в а с всех расстреляют! Я не буду больше лгать! Я все показания вообще беру обратно!» И вспышка эта помогает! — его не только перестают следовать, но надолго забывают в камере смертников.

Вероятно, среди всеобщей покорности вспышка отчаяния всегда помогает.

И вот столько расстреляно — сперва тысячи, потом сотни тысяч. Мы делим, множим, вздыхаем, проклинаям. И всё-таки — это цифры. Они поражают ум, потом забываются. А если б когда-нибудь родственники расстрелянных сдали бы в одно издательство фотографии своих казнённых, и был бы издан альбом этих фотографий, несколько томов альбома, — то перелистыванием их и последним взглядом в померкшие глаза мы бы много почерпнули для своей оставшейся жизни. Такое чтение, почти без букв, легло бы нам на сердце вечным наслоем.

В одном моём знакомом доме, где бывшие ээки, есть такой обряд: 5 марта, в день смерти Главного Убийцы, выставляются на столах фотографии расстрелянных и умерших в лагере — десятков несколько, кого собрали. И весь день в квартире торжественность — полуцерковная, полумузейная. Траурная музыка. Приходят друзья, смотрят на фотографии, молчат, слушают, тихо переговариваются; уходят, не попрощавшись.

Вот так бы везде... Хоть какой-нибудь рубчик на сердце мы бы вынесли из этих смертей.

Чтоб — *не напрасно* всё же!..

Как это всё происходит? Как люди *ждут*? Что они чувствуют? О чём думают? К каким приходят решениям? И как их *берут*? И что они ощущают в последние минуты? И как именно... это... их... это...?

Естественно большая жажда людей проникнуть за завесу (хоть никого из нас это, конечно, никогда не постигнет). Естественно и то, что пережившие рассказывают не о самом последнем — ведь их помиловали.

Дальше — знают палачи. Но палачи не будут говорить. (Тот крепостовский знаменитый дядя Лёша, который крутил руки назад, надевал наручники, а если уводимый вскрикивал в ночном коридоре «прощайте, братцы!», то и комом рот затыкал, — зачем он будет вам рассказывать? Он и сейчас, наверное, ходит по Ленинграду, хорошо одет. Если вы его встретите в пивной на островах или на футболе — спросите!)

Однако и палач не знает всего до конца. Под какой-нибудь сопроводительный машинный грохот неслышно освобождая пули из пистолета в затылки, он обречён тупо не понимать совершаемого. До конца-то и он не знает! До конца знают только убитые — и, значит, никто.

Ещё, правда, художник — неявно и неясно, но кое-что знает вплоть до самой пули, до самой верёвки.

Вот от помилованных и от художников мы и составили себе прилизительную картину смертной камеры. Знаем, например, что ночью не спят, а *ждут*. Что успокаиваются только утром.

Нароков (Марченко) в романе «Мнимые величины»⁴⁸, сильно испорченным предварительным заданием — всё написать как у Достоевского, и ещё даже более разодрать и умиливать, чем Достоевский, — смертную камеру, однако, и саму сцену расстрела написал, по-моему, очень хорошо. Нельзя проверить, но как-то верится.

Догадки более ранних художников, например Леонида Андреева, сейчас уже поневоле отдадут крыловскими временами. Да и как фантаст мог бы вообразить, например, смертные камеры тридцать седьмого года? Он плёл бы обязательно свой психологический шнурочек: как ждуть? как прислушиваются?.. Кто ж был мог предвидеть и описать нам такие неожиданные ощущения смертников:

1. Смертники страдают от *холода*. Спать приходится на цементном полу, под окном это минус три градуса (Страхович). Пока расстрел, тут замёрзнешь.

2. Смертники страдают от *тесноты и духоты*. В одиночную камеру втиснуто семь (меньше и не бывает), десять, пятнадцать или двадцать в восемь смертников (Страхович, Ленинград, 1942). И так сдавлены они недели и месяцы! Так что там кошмар твоих семи повешенных! Уже не о казни думают люди, не расстрела боятся, а — как вот сейчас ноги вытянуть? как повернуться? как воздуха глотнуть?

В 1937 году, когда в ивановских тюрьмах — Внутренней, № 1, № 2 и КПЗ, сидело одновременно до сорока тысяч человек, хотя рассчитаны они были вряд ли на три-четыре тысячи, — в тюрьме № 2 смешали: следственных, осуждённых к лагерю, смертников, помилованных смертников и ещё воров — и все они *несколько дней* в большой камере *стояли вплотную* в такой тесноте, что невозможно было поднять или опустить руку, а притиснутому к нарам могли сломать колено. Это было зимой, и чтобы не задохнуться — заключённые выдавили стёкла в окнах. (В этой камере ожидал своей смерти уже приговорённый к ней седой как лунь член РСДРП с 1898 Алалыкин, покинувший партию большевиков в 1917 после Апрельских тезисов.)

3. Смертники страдают от *голода*. Они ждуть после смертного приговора так долго, что главным их ощущением становится не страх расстрела, а муки голода: где бы поесть? Александр Бабич в 1941 в Красноярской тюрьме пробыл в смертной камере семьдесят пять суток! Он уже вполне покорился и ждал расстрела как единственно возможного конца своей нескладной жизни. Но он опух с голода — и тут ему заменили расстрел десятью годами, и с этого он начал свой лагерь. — А какой вообще рекорд пребывания в смертной камере? Кто знает рекорд?.. Всеволод Петрович Голицын, староста (!) смертной камеры, просидел в ней сто сорок суток (1938) — но рекорд ли это? Слава нашей науки, академик Н. И. Вавилов прождал расстрела несколько месяцев, да как бы и не год; в состоянии смертника был эвакуирован в Саратовскую тюрьму, там сидел в подвальной камере без окна, и когда летом 1942, помилованный, был переведён в общую камеру, то ходить не мог, его на прогулку выносили на руках.

4. Смертники страдают *без медицинской помощи*. Охрименко за долгое сидение в смертной камере (1938) сильно заболел. Его не только не взяли в больницу, но и врач долго не шла. Когда же пришла, то не вошла в камеру, а через решётчатую дверь, не осматривая и ни о чём не спрашивая, протянула порошки. А у Страховича началась водянка ног, он объяснил это надзирателю — и прислали... зубного врача.

Когда же врач вмешивается, то должен ли он лечить смертника, то есть продлить ему ожидание смерти? Или гуманность врача в том, чтобы настоять на скорейшем расстреле? Вот опять сценка от Страховича: входит врач и, разговаривая с дежурным, тычет пальцем

⁴⁸ Нью-Йорк. Издательство им. Чехова. 1952.

в смертников: «покойник!.. покойник!.. покойник!..». (Это он выделяет для дежурного дистрофиков, настаивая, что нельзя же так изводить людей, что пора же расстреливать!)

А отчего, в самом деле, так долго их держали? Не хватало палачей? Надо сопоставить с тем, что очень многим смертникам предлагали и даже *просили* их подписать просьбу о помиловании, а когда они очень уж упирались, не хотели больше сделок, то подписывали от их имени. Ну, а ход бумажек по изворотам машины и не мог быть быстрее, чем в месяцы.

Тут, наверно, вот что: стык двух разных ведомств. Ведомство следственно-судебное (как мы слышали от членов Военной Коллегии, это было — едино) гналось за раскрытием кошмарно-грозных дел и не могло не дать преступникам достойной кары — расстрелов. Но как только расстрелы были произнесены, записаны в актив следствия и суда — сами эти чучела, называемые осуждёнными, их уже не интересовали: на самом-то деле никакой крамолы не было, и ничто в государственной жизни не могло измениться от того, останутся ли приговорённые в живых или умрут. И так они доставались полностью на усмотрение тюремного ведомства. Тюремное же ведомство, примыкавшее к ГУЛАГу, уже смотрело на заключённых с хозяйственной точки зрения, их цифры были — не побольше расстрелять, а побольше рабочей силы послать на Архипелаг.

Так посмотрел начальник внутренки Большого Дома Соколов и на Страховича, который в конце концов соскучился в камере смертников и стал просить бумагу и карандаш для научных занятий. Сперва он писал тетрадку «О взаимодействии жидкости с твёрдым телом, движущимся в ней», «Расчёт баллист, рессор и амортизаторов», потом «Основы теории устойчивости», его уже отделили в отдельную «научную» камеру, кормили получше, тут стали поступать заказы с Ленинградского фронта, он разрабатывал им «объёмную стрельбу по самолётам» — и кончилось тем, что Жданов заменил ему смертную казнь пятнадцатью годами (но просто медленно шла почта с Большой Земли: вскоре пришла обычная *помилóвка* из Москвы, и она была пощеднее ждановской: всего только десятка).

Все тюремные тетради у Страховича и сейчас целы. А «научная карьера» его за решёткой на этом только начиналась. Ему предстояло возглавить один из первых в СССР проектов турбореактивного двигателя.

А Н. П., доцента-математика, в смертной камере решил эксплуатнуть для своих личных целей следователь Кружков (да-да, тот самый, воруя): дело в том, что он был — студент-заочник! И вот он вызвал П. из смертной камеры — и давал решать задачи по теории функций комплексного переменного в своих (а скорее всего даже и не своих) контрольных работах.

Так что понимала мировая литература в предсмертных страданиях?..

Наконец (рассказ Чавдарова) смертная камера может быть использована как элемент следствия, как приём воздействия. Двух несознающихся (Красноярск) внезапно вызвали на «суд», «приговорили» к смертной казни и перевели в камеру смертников. (Чавдаров обмолвился: «над ними была инсценировка суда». Но в положении, когда всякий суд — инсценировка, каким словом назвать ещё этот лже-суд? Сцена на сцене, спектакль, вставленный в спектакль.) Тут им дали глотнуть этого смертного быта сполна. Потом посадили наседок, якобы тоже «смертников». И те вдруг стали раскаиваться, что были так упрямы на следствии, и просили надзирателя передать следователю, что готовы всё подписать. Им дали подписать заявления, а потом увели из камеры днём, значит — не на расстрел.

А те истинные смертники в этой камере, которые послужили материалом для следовательской игры, — они тоже что-нибудь чувство-

вали, когда вот люди «раскаивались» и их миловали? Ну да это режиссёрские издержки.

Говорят, Константина Рокоссовского, будущего маршала, в 1939 году дважды вывозили в лес на мнимый ночной расстрел, наводили на него стволы, потом опускали и везли в тюрьму. Это тоже — высшая мера, применённая как следовательский приём. И ничего же, сбошлось, жив-здоров, и не обижается.

А убить себя человек даёт почти всегда покорно. Отчего так гипнотизирует смертный приговор? Чаще всего помилованные не вспоминают, чтоб в их смертной камере кто-нибудь сопротивлялся. Но бывают и такие случаи. В ленинградских Крестах в 1932 году смертники отняли у надзирателей револьверы и стреляли. После этого была принята техника: разглядевши в глазок, кого им надобно брать, вваливались в камеру сразу пятеро невооружённых надзирателей и кидались хватать одного. Смертников в камере было восемь—десять, но ведь каждый из них послал апелляцию Калинин, каждый ждал себе прощения, и поэтому: «умри ты сегодня, а я завтра». Они расступались и безучастно смотрели, как обречённого крутили, как он кричал о помощи, а ему забивали в рот детский мячик. (Смотря на детский мячик — ну догадаешься разве обо всех его возможных применениях?.. Какой хороший пример для лектора по диалектическому методу!)

Надежда! Что больше ты — крепишь или расслабляешь? Если бы в каждой камере смертники дружно душили входящих палачей — не верней ли прекратились бы казни, чем по апелляциям во ВЦИК? Уже на ребре могилы — почему бы не сопротивляться?

Но разве и при аресте не так же было всё обречено? Однако все арестованные, на коленях, как на отрезанных ногах, ползли поприщем надежды.

* * *

Василий Григорьевич Власов помнит, что в ночь после приговора, когда его вели по тёмному Кадыю и четырьмя пистолетами трясли с четырёх сторон, мысль его была: как бы не застрелили сейчас, провокаторски, якобы при попытке к бегству. Значит, он ещё не поверил в свой приговор! Ещё надеялся жить...

Теперь его содержали в комнате милиции. Уложили на канцелярском столе, а два-три милиционера при керосиновой лампе непрерывно дежурили тут же. Они говорили между собой: «Четыре дня я слушал-слушал, так и не понял: за что их осудили?» — «А, не нашего ума дело!»

В этой комнате Власов прожил пять суток: ждали утверждения приговора, чтобы расстрелять в Кадые же: очень трудно было конвоировать смертников дальше. Кто-то подал от него телеграмму о помиловании: «Виновным себя не признаю, прошу сохранить жизнь». Ответа не было. Все эти дни у Власова так тряслись руки, что он не мог нести ложки, а пил ртом из тарелки. Навешал поиздеваться Ключин. (Вскоре после Кадыйского дела ему предстоял перевод из Иванова в Москву. В тот год у этих багровых звёзд гулаговского неба были крутые восходы и заходы. Нависла пора отрясать и их в ту же яму, да они этого не ведали.)

Ни утверждения, ни помилования не приходило, и пришлось-таки четверых приговорённых везти в Кинешму. Повезли их в четырёх полуторках, в каждой один приговорённый с семью милиционерами.

В Кинешме — подземелье монастыря (монастырская архитектура, освобождённая от монашеской идеологии, сгожалась нам очень). Там подбавили ещё других смертников, повезли арестантским вагоном в Иваново.

На товарном дворе в Иваново отделили троих: Сабурова, Власова и из чужой группы, а остальных увели сразу — значит, на расстрел, чтоб не загружать тюрьму. Так Власов и простился со Смирновым.

Трёх оставшихся посадили в промозглой октябрьской сырости во дворе тюрьмы № 1 и держали часа четыре, пока уводили, приводили и обсыскивали другие этапы. Ещё, собственно, не было доказательств, что их сегодня же не расстреляют. Эти четыре часа ещё надо просидеть на земле и передумать! Был момент, Сабуров понял так, что ведут на расстрел (а вели в камеру). Он не закричал, но так вцепился в руку соседа, что закричал от боли тот. Охрана потащила Сабурова волоком, подталкивая штыками.

В той тюрьме было четыре смертных камеры — в одном коридоре с детскими и больничными! Смертные камеры были о двух дверях: обычная деревянная с волчком и железная решётчатая, а каждая дверь о двух замках (ключи у надзирателя и корпусного порознь, чтоб не могли отпереть друг без друга). 43-я камера была через стену от следовательского кабинета, и по ночам, когда смертники ждут расстрела, ещё крики истязуемых драли им уши.

Власов попал в 61-ю камеру. Это была одиночка: длиной метров пять, а шириною чуть больше метра. Две железные кровати были мертво прикованы толстым железом к полу, на каждой кровати вальтом лежало по два смертника. И ещё четырнадцать лежало на цементном полу поперёк.

На ожидание смерти каждому оставили меньше квадратного аршина! Хотя давно известно, что даже мертвец имеет право на *три аршина* земли — и то ещё Чехову казалось мало...

Власов спросил, сразу ли расстреливают. «Вот мы давно сидим, а всё ещё живы...»

И началось ожидание — такое, как оно известно: всю ночь все не спят, в полном упадке ждут вывода на смерть, слушают шорохи коридора (ещё из-за этого растянутого ожидания падает способность человека сопротивляться). Особенно тревожны те ночи, когда днём кому-нибудь было помилование: с воплями радости ушёл он, а в камере сгустился страх — ведь вместе с помилованием сегодня прикатились с высокой горы и кому-то отказы, и ночью за кем-то придут...

Иногда ночью гремят замки, падают сердца — меня? не меня! а вертухай открыл деревянную дверь за какой-нибудь чушью: «Убереите вещи с подоконника!» От этого отпирания может быть все четырнадцать стали на год ближе к своей будущей смерти; может быть, полсотни раз так отпереть — и уже не надо тратить пулю! — но как ему благодарны, что всё обошлось: «Сейчас уберём, гражданин начальник!»

С утренней оправки, освобождённые от страха, они засыпали. Потом надзиратель вносил бачок с баландой и говорил: «Доброе утро!» По уставу полагалось, чтобы вторая, решётчатая дверь открывалась только в присутствии дежурного по тюрьме. Но, как известно, сами люди лучше и ленивее своих установлений и инструкций, — и надзиратель входил в утреннюю камеру без дежурного и совершенно по-человечески, нет, это дороже, чем просто по-человечески! — обращался: «Доброе утро!»

К кому же ещё на земле оно было добрее, чем к ним! Благодарные за теплоту этого голоса и теплоту этой жижи, они теперь засыпали до полудня. (Только-то утром они и ели! Уже проснувшись днём, многие есть не могли. Кто-то получал передачи — родственники могли знать, а могли и не знать о смертном приговоре, — передачи эти становились в камере общими, но лежали и гнили в затхлой сырости.)

Днём ещё было в камере лёгкое оживление. Приходил начальник корпуса — или мрачный Тараканов, или расположенный Макаров — предлагал бумаги на заявления, спрашивал, не хотят ли, у кого есть деньги, выписать покурить из ларька. Эти вопросы казались или слишком дикими, или чрезвычайно человеческими: делался вид, что они никакие и не смертники?

Осуждённые выламывали донья спичечных коробок, размечали их как домино и играли. Власов разряжался тем, что рассказывал ко-

му-нибудь о потребительской кооперации, а это всегда приобретает у него комический оттенок. (Его рассказы о кооперации замечательны и достойны отдельного изложения.) Яков Петрович Колпаков, председатель судогодского райисполкома, большевик с весны 1917 года, с фронта, сидел десятки дней, не меняя позы, стиснув голову руками, а локти в колени, и всегда смотрел в одну и ту же точку стены. (Весёлой же и лёгкой должна была ему вспоминаться весна семнадцатого года!.. А кого-то (офицеров) и тогда убивали.) Говорившись Власова его раздражала: «Как ты можешь?» — «А ты к раю готовишься? — огрызался Власов, сохраняя и в быстрой речи круглое оканье. — Я только одно себе положил — скажу палачу: ты — один! не судьи, не прокуроры — ты один виноват в моей смерти, с этим теперь и живи! Если б не было вас, палачей-добровольцев, не было б и смертных приговоров! И пусть убивает, гад!»

Колпаков был расстрелян. Расстрелян был Константин Сергеевич Аркадьев, бывший заведующий александровского (Владимирской области) райзо. Прощание с ним почему-то прошло особенно тяжело. Среди ночи притопали за ним шесть человек охраны, резко торопили, а он, мягкий, воспитанный, долго вертел и мял шапку в руках, оттягивая момент ухода — ухода от последних земных людей. И когда говорил последнее «прощайте», голоса почти совсем уже не было.

В первый миг, когда указывают жертву, остальным становится легче («не я!»), — но сейчас же после ухода становится вряд ли легче, чем тому, кого повели. На весь следующий день обречены оставшиеся молчать и не есть.

Впрочем, Гераська, громивший сельсовет, много ел и много спал, по-крестьянски обжившись и здесь. Он как будто поверить не мог, что его расстреляют. (Его и не расстреляли: заменили десяткой.)

Некоторые на глазах сокамерников за три-четыре дня становились седыми.

Когда так затажно ждут смерти — отрастают волосы, и камеру ведут стричь, ведут мыть. Тюремный быт прокачивает своё, не зная приговоров.

Кто-то терял связную речь и связное понимание — но всё равно они оставались ждать своей участи здесь же. Тот, кто сошёл с ума в камере смертников, сумасшедшим и расстреливается.

Помилований приходило немало. Как раз в ту осень 1937 впервые после революции ввели пятнадцати- и двадцатипятилетние сроки, и они оттянули на себя много расстрелов. Заменяли и на десятку. Даже и на пять заменяли, в стране чудес возможны и такие чудеса: вчера ночью был достоин казни, сегодня утром — детский срок, лёгкий преступник, в лагере имеешь шанс быть бесконвойным.

Сидел в их камере В. Н. Хоменко, шестидесятилетний кубанец, бывший есаул, «душа камеры», если у смертной камеры может быть душа: шутовал, улыбался в усы, не давал вида, что горько. — Ещё после японской войны он стал негоден к строю и усовершенся по неводству, служил в губернской земской управе, а к 30-м годам был при ивановском областном земельном управлении «инспектором по фонду коня РККА», то есть как бы наблюдающим, чтобы лучшие кони доставались армии. Он посажен был и приговорён к расстрелу за то, что вредительски рекомендовал кастрировать жеребят до трёх лет, чем «подрывал боеспособность Красной Армии». — Хоменко подал кассационную жалобу. Через пятьдесят пять дней вошёл корпусной и указал ему, что на жалобе он написал не ту инстанцию. Тут же, на стенке, карандашом корпусного, Хоменко перечеркнул одно учреждение, написал вместо него другое, как будто заявление было на пачку папирос. С этой корявой поправкой жалоба ходила ещё шестьдесят дней, так что Хоменко ждал смерти уже четыре месяца. (А пождать год-другой, — так и все же мы её годами ждём, Косую! Разве весь мир наш — не камера смертников?..) И пришла ему — *полная реабилита-*

и опять же проволоки колючей острота), и осторожность (арестантская) где-то рядышком тут прилегает,— а *рог*? Да *рог* прямо торчит, выпирает! прямо в нас и наставлен!

А если окинуть глазом весь русский острожный обычай, обиход, ну заведение это всё за последние, скажем, лет девяносто,— так так и видишь не *рог* уже, а — два рога: народовольцы начинали с кончика рога — там, где он самое бодает, где нестерпимо принять его даже грудной костью — и постепенно всё это становилось покруглей, пократистей, сползало сюда, к коклю, и стало уже как бы даже и не *рог* совсем — стало шёрстной открытой площадочкой (это начало XX века) — но потом (после 1917) быстро нащупались первые хребтинки второго кохла — и по ним, через раскоряченье, через «не имеете права!» стало это всё опять подниматься, сужаться, строжесть, рожеть — и к тридцать восьмому году опять впились человеку вот в эту выемку надключичную пониже шеи: *тюрзак!*⁴⁹ И только как колокол сторожевой, ночной и дальний,— по одному удару в год: Тон-н-н!..⁵⁰

Если параболу эту прослеживать по какому-нибудь из шлессельбуржцев («Запечатленный труд» Веры Фигнер), то страшно вначале: у арестанта — номер, и никто его по фамилии не зовёт; жандармы — как будто на Лубянке учены: от себя ни слова. Заикнёшься «мы...» — «Говорите только о себе!». Тишина гробовая. Камера в вечных полусумерках, стёкла мутные, пол асфальтовый. Форточка открывается на сорок минут в день. Кормят щами пустыми да кашей. Не дают научных книг из библиотеки. Два года не видишь ни человека. Только после трёх лет — пронумерованные листы бумаги.

А потом, исподволь,— набавляется простору, округляется: вот и белый хлеб, вот и чай с сахаром на руки; деньги есть — подкупай; и куренье не запрещается; стёкла вставили прозрачные, фрамуга открыта постоянно, стены перекрасили посветлей; смотришь, и книги по абонементу из санкт-петербургской библиотеки; между огородами — решётки, можно разговаривать и даже лекции друг другу читать. И уже арестантские руки на тюрьму насадают: ещё нам землицы, ещё! Вот два обширных тюремных двора разделили под насаждения. А цветов и овощей — уже четырёхста пятьдесят сортов! Вот уже — научные коллекции, столярка, кузница, деньги зарабатываем, книги покупаем, даже политические⁵¹, а из-за границы журналы. И переписка с родными. Прогулка? — хоть и полный день.

И постепенно, вспоминает Фигнер, «уже не смотритель кричал, а мы на него кричали». А в 1902 он отказался отправить её жалобу, и за это *она со смотрителя сорвала погоны!* Последствие было такое: приехал военный следователь и всячески перед Фигнер *извинялся* за невежу-смотрителя!

Как же произошло это всё сползание и уширение? Кое-что объясняет Фигнер гуманностью отдельных комендантов, другое — тем, что «жандармы сжились с охраняемыми», привыкли. Немало тут истекло от стойкости арестантов, от достоинства и умения себя вести. И всё ж я думаю: воздух времени, общая эта влажность и свежесть, обгоняющая грозovou тучу, этот ветерок свободы, уже протягивающий по обществу,— он решил! Без него бы можно было по понедельникам учить с жандармами Краткий Курс (но не умели тогда), да подтягивать, да подструивать. И вместо «запечатленного труда» получила бы Вера Николаевна за срыв погон — *девять грамм* в подвале.

Раскачка и расслабление царской тюремной системы не сами, конечно, стались — а от того, что всё общество заодно с революционерами раскачивало и высмеивало её, как могло. Царизм проиграл

⁴⁹ ТЮРемное ЗАКлючение (официальный термин).

⁵⁰ ТОН — Тюрьма Особого Назначения.

⁵¹ П. А. Красиков (тот самый, который будет на смерть судить митрополита Вениамина) читает в Петропавловской крепости «Капитал» (да только год один, освобождают его).

ция! (За это время Ворошилов так и распорядился: кастрировать до трёх лет.) То — голову с плеч, то — пляши изба и печь!

Помилований приходило немало, многие всё больше надеялись. Но Власов, сопоставляя с другими своё дело и, главное, поведение на суде, находил, что у него наворочено тяжче. И кого-то же надо расстреливать? Уж половину-то смертников — наверно надо? И верил он, что его расстреляют. Хотелось только при этом головы не согнуть. Отчаянность, свойственная его характеру, у него возвратно накоплялась, и он настроился дерзить до конца.

Подвернулся и случай. Обходя тюрьму, зачем-то (скорей всего — чтоб нервы пощекотать) велел открыть двери их камеры и стал на пороге Чингули — начальник следственного отдела ивановского НКВД. Он заговорил о чём-то, спросил:

— А кто здесь по Кадыйскому делу?

Он был в шёлковой сорочке с короткими рукавами, которые только-только появлялись тогда и ещё казались женскими. И сам он или эта его сорочка были обвеваны сладящими духами, которые и потянуло в камеру.

Власов проворно вспрыгнул на кровать, крикнул пронзительно:

— Что это за колониальный офицер?! Пошёл вон, убийца!! — и сверху сильно, густо плюнул Чингули в лицо.

И — попал!

И тот — обтёрся и отступил. Потому что войти в эту камеру он имел право только с шестью охранниками, да и то неизвестно — имел ли.

Благоразумный кролик не должен так поступать. А что если именно у этого Чингули лежит сейчас твоё дело и именно от него зависит виза на помилование? И ведь недаром же спросил: «Кто здесь по Кадыйскому делу?» Потому наверно и пришёл.

Но наступает предел, когда уже не хочется, когда уже противно быть благоразумным кроликом. Когда кроличью голову освещает обшее понимание, что все кролики предназначены только на мясо и на шкурки, и поэтому выигрыш возможен лишь в отсрочке, не в жизни. Когда хочется крикнуть: «Да будьте вы прокляты, уж стреляйте поскорей!»

За сорок один день ожидания расстрела именно это чувство озлобления всё больше охватывало Власова. В ивановской тюрьме дважды предлагали ему написать заявление о помиловании — а он отказывался.

Но на сорок второй день его вызвали в бокс и огласили, что Президиум ЦИК СССР заменяет ему высшую меру наказания — двадцатью годами заключения в исправительно-трудовых лагерях с последующими пятью годами лишения прав.

Бледный Власов улыбнулся криво и даже тут нашёлся сказать:

— Странно. Меня осудили за неверие в победу социализма в одной стране. Но разве Калинин — верит, если думает, что ещё и через двадцать лет понадобятся в нашей стране лагеря?..

Тогда это недостижимо казалось — через двадцать.

Странно, они понадобились и через сорок.

Глава 12

ТЮРЗАК

Ах, доброе русское слово — *острог* — и крепкое-то какое! и сколочено как! В нём, кажется, — сама крепость этих стен, из которых не вырвешься. И всё тут стянуто в этих шести звуках — и строгость, и острога́, и острота (ежовая острота, когда иглами в морду, когда мёрзлой роже мятель в глаза, острота затёсанных кольев предзонника

свою голову не в уличных перестрелках февраля, а ещё за несколько десятилетий прежде: когда молодёжь из состоятельных семей стала считать побывку в тюрьме честью, а армейские (и даже гвардейские) офицеры пожать руку жандарму — бесчестьем. И чем больше ослаблялась тюремная система, тем чётче выступала победоносная «этика политических» и тем явственней члены революционных партий ощущали силу свою и своих собственных законов, а не государственных.

И на том пришёл в Россию Семнадцатый год, и на плечах его — Восемнадцатый. Почему мы сразу к восемнадцатому: предмет нашего разбора не позволяет нам задерживаться на семнадцатом: с марта все политические тюрьмы (да и уголовные), срочные и следственные, и вся каторга опустели, и как этот год пережили тюремные и каторжные надзиратели — надо удивляться, а наверно что огородиками перебились, картошкой. (С 1918 у них много легче пошло, а на Шпалерной так и в 1928 ещё дослуживали новому режиму, ничего.)

Уже с последнего месяца 1917 стало выясняться, что без тюрем никак нельзя, что иных и держать-то негде, кроме как за решёткой (см. главу 2) — ну, просто потому, что места им в новом обществе нет. Так площадку между рогами на ощупь перешли и стали нащупывать второй рог.

Разумеется, сразу было объявлено, что ужасы царских тюрем больше не повторятся: что не может быть никакого «донимающего исправления», никакого тюремного молчания, одиночек, разъединённых прогулок и разного там ровного шага гуськом, и даже камер запертых! ⁵² — встречайтесь, дорогие гости, разговаривайте сколько хотите, жалуйтесь друг другу на большевиков. А внимание новых тюремных властей было направлено на боевую службу внешней охраны и приём царского наследства по тюремному фонду (это как раз не та была государственная машина, которую следовало ломать и строить заново). К счастью обнаружилось, что Гражданская война не причинила разрушений всем основным центрам или острогам. Не миновать только было отказаться от этих загаженных старых слов. Теперь назвали их *политизоляторам*, соединённым этим названием выказывая: признание членов бывших революционных партий политическими противниками и указывая не на карательный характер решёток, а необходимость лишь изолировать (и, очевидно, временно) этих старомодных революционеров от поступательного хода нового общества. Со всем тем и приняли своды старых централов (а Суздальский кажется и с Гражданской войны) — эсеров, анархистов и социал-демократов.

Все они вернулись сюда с сознанием своих арестантских прав и с давней проверенной традицией — как их отстаивать. Как законное (у царя отбитое и революцией подтверждённое) принимали они специальный *политпаёк* (включая и полпачки папирос в день); покупки с рынка (творог, молоко); свободные прогулки по много часов в день; обращение надзора к ним на «вы» (а сами они перед тюремной администрацией не поднимались); объединение мужа и жены в одной камере; газеты, журналы, книги, письменные принадлежности и личные вещи до бритв и ножниц — в камере; трижды в месяц — отправку и получение писем; раз в месяц свидание; уж конечно ничем не zagrożенные окна (ещё тогда не было и понятия «намордник»); хождение из камеры в камеру беспрепятственное; прогулочные дворики с зеленью и сиренью; вольный выбор спутников по прогулке и переброс мешочка с почтой из одного прогулочного дворика на другой; и отправку беременных ⁵³ за два месяца до родов из тюрьмы в ссылку.

⁵² Сборник «От тюрем к воспитательным учреждениям». М. «Советское законодательство». 1934.

⁵³ С 1918 эсерск не стеснялись брать в тюрьму и беременными.

Но это всё — только *политрежим*. Однако политические 20-х годов хорошо ещё помнили нечто и повыше: самоуправление политических и оттого ощущение себя в тюрьме частью целого, звеном общины. Самоуправление (свободное избрание старост, представляющих перед администрацией все интересы всех заключённых) ослабляло давление тюрьмы на отдельного человека, принимая его всеми плечами раз, и умножало каждый протест слитием всех голосов.

И всё это они взялись отстаивать! А тюремные власти всё это взялись отнять! И началась глухая борьба, где не рвались артиллерийские снаряды, лишь изредка гремели винтовочные выстрелы, а звон выбиваемых стёкол ведь не слышен далее полуверсты. Шла глухая борьба за остатки свободы, за остатки права иметь суждение, шла глухая борьба почти двадцать лет — но о ней не изданы фолианты с иллюстрациями. И все переливы её, списки побед и списки поражений — почти недоступны нам сейчас, потому что ведь и письменности нет на Архипелаге, и устность прерывается со смертью людей. И только случайные брызги этой борьбы долетают до нас иногда, осцелённые лунным, не первым и не четвёртым, светом.

Да и мы с тех пор куда надмелись! — мы же знаем танковые битвы, атомные взрывы — что это нам за борьба, если камеры заперли на замки, а заключённые, осуществляя своё право на связь, перестукиваются открыто, кричат из окна в окно, спускают ниточки с записками с этажа на этаж и настаивают, чтобы хоть старосты партийных фракций обходили камеры свободно? Что это нам за борьба, если начальник Лубянской тюрьмы входит в камеру, а анархистка Анна Г-ва (1926) или эсерка Катя Олицкая (1931) отказываются встать при его входе? (И этот дикарь придумывает наказание: лишить её права... выходить на opravку из камеры.) Что за борьба, если две девушки, Шура и Вера (1925), протестуя против подавляющего личность лубянского приказа разговаривать только шёпотом — запевают громко в камере (всего лишь о сирени и весне) — и тогда начальник тюрьмы латыш Дукес отволакивает их за волосы по коридору в уборную? Или если (1924) в арестантском вагоне из Ленинграда студенты поют революционные песни, а конвой за это лишает их воды? Они кричат ему: «Царский конвой так бы не сделал!» — а конвой их бьёт? Или эсер Козлов на пересылке в Кеми громко обзывает охрану палачами — и за то проволочен волоком и бит?

Ведь мы привыкли под доблестью понимать доблесть только военную (ну, или ту, что в космос летает), ту, что позвякивает орденами. Мы забыли доблесть другую — гражданскую, — а её-то! её-то! её-то! только и нужно нашему обществу! только и нет у нас...

В 1923 году в Вятской тюрьме эсер Стружинский с товарищами (сколько их? как звали? против чего протестуя?) забаррикадировались в камере, облили матрасы керосином и самосожглись, вполне в традиции Шлиссельбурга, чтоб не идти глубже. Но сколько было шума тогда, как волновалось всё русское общество! а сейчас ни Вятка не знала, ни Москва, ни история. А между тем человеческое мясо так же потрескивало в огне!

В том состояла и первая соловецкая идея: что вот хорошее место, откуда полгода нет связи с внешним миром. Отсюда — не докричишься, здесь можешь хоть и сжигаться. В 1923 заключённых социалистов перевезли сюда из Пертоминска (Онежский полуостров) — и разделили на три уединённых скита.

Вот скит Савватъевский — два корпуса бывшей гостиницы для богомольцев, часть озера входит в зону. Первые месяцы как будто всё в порядке: и политрежим, и некоторые родственники добираются на свидание, и трое старост от трёх партий только и ведут все переговоры с тюремным начальством. А зона скита — зона свободы здесь внутри и говорить, и думать, и делать арестанты могут безвозбранно.

Но уже тогда, на заре Архипелага, ещё не названные «парашами»,

ползут тяжёлые настойчивые слухи: политрежим ликвидируют... ликвидируют политрежим...

И действительно, дождавшись середины декабря, прекращения навигации и всякой связи с миром, начальник соловецкого лагеря Эйхманс⁵⁴ объявил: да, получена новая инструкция о режиме. Не всё, конечно, отнимают, о нет! — сократят переписку, там что-то ещё, а всего ощутимее сегодняшнее: с 20 декабря 1923 года запрещается кругло-суточный выход из корпусов, а только в дневное время до шести вечера.

Фракции решают протестовать, из эсеров и анархистов призываются добровольцы: в первый же запретный день выйти гулять именно с шести вечера. Но у начальника Савватьевского скита Ногтёва так чешутся ладони на ружейное ложе, что ещё *прежде* назначенных шести вечера (а может быть часы разошлись? по радио тогда проверки не было) конвоиры с винтовками входят в зону и открывают огонь по законно гуляющим. Три залпа. Шесть убитых, трое тяжело раненных.

На другой день приехал Эйхманс: это печальное недоразумение, Ногтёв будет снят (переведён и повышен). Похороны убитых. Хор поёт над соловецкой глушью:

Вы жертвою пали в борьбе роковой...

(Не последний ли раз ещё разрешена эта протяжная мелодия по свежепогибшим?) Взвалили большой валунный камень на их могилу и высекали на нём имена убитых⁵⁵.

Нельзя сказать, чтобы пресса скрыла это событие. В «Правде» была заметка петитом: заключённые напали на конвой, и шесть человек убито. Честная газета «Роте фане» описала *бунт* на Соловках.

Среди эсеров Савватьевского скита был Юрий Подбельский. Он собрал медицинские документы о соловецком расстреле — для опубликования когда-нибудь. Но через год при обыске на Свердловской пересылке у него обнаружили в чемодане двойное дно и выгребли тайник. Так спотыкается русская История...

Но режим-то отстояли! И целый год никто не заговаривал об его изменении.

Целый 1924 год, да. А к концу его снова поползли упорные слухи, что в декабре опять собираются вводить новый режим. Дракон уже проголодался, он хотел новых жертв.

И вот три скита социалистов — Савватьевский, Троицкий и Муксалмский, разбросанные даже по разным островам, сумели кооперативно договориться, и в один и тот же день все партийные фракции всех трёх скитов подали заявления с ультиматумом Москве и администрации Соловков: или до конца навигации всех их отсюда вывезти, или оставить прежний режим. Срок ультиматума — две недели, иначе все скиты объявят голодовку.

Такое единство заставляло себя выслушать. Такого ультиматума мимо ушей не пропустишь. За день до срока ультиматума приехал Эйхманс в каждый скит и объявил: Москва отказала. И в назначенный день во всех трёх скитах (уже теряющих теперь и связь) началась голодовка (не сухая, воду пили). В Савватии голодало около двухсот человек. Больных освободили от голодовки сами. Врач из своих арестантов каждый день обходил голодающих. Коллективную голодовку всегда трудней держать, чем единоличную: ведь она равняется по самым слабым, а не по самым сильным. Имеет смысл голодать только с безотказной решимостью и так, чтоб каждый хорошо знал остальных лично и был в них уверен. При разных партийных фракциях, при нескольких стах человек неизбежны разногласия, моральные терзания из-за других. После пятнадцати суток в Савватии пришлось провести

⁵⁴ Как похоже на нацистского Эйхмана?..

⁵⁵ В 1925 году камень перевернули и надписи схоронили. Кто там лазит туристами по Соловкам — поищите, посмотрите!

тайное (носили урну по комнатам) голосование: держаться дальше или снимать голодовку?

А Москва и Эйхманс выжидали: ведь они были сыты, и о голодовке не захлёбывались столичные газеты, и не было студенческих митингов у Казанского собора. Глухая закрытость уже уверенно формировала нашу историю.

Скиты сняли голодовку. Они её не выиграли. Но, как оказалось, и не проиграли: режим на зиму остался прежним, только добавилась заготовка дров в лесу, но в этом была и логика. Весной же 1925 показало наоборот — что голодовка выиграна: арестантов всех трёх голодавших скитов увезли с Соловков! На материк! Уже не будет полярной ночи и полугодового отрыва!

Но был очень суров (по тому времени) принимающий конвой и дорожный паёк. А скоро их коварно обманули: под предлогом, что старостам удобно жить в «штабном» вагоне вместе с общим хозяйством, их обезглавили: вагон со старостами оторвали в Вятке и погнали в Тобольский изолятор. Только тут стало ясно, что голодовка прошлой осени проиграна: сильный и влиятельный старостат срезали для того, чтобы завинтить режим у остальных. Ягода и Катанян лично руководили водворением бывших соловчан в стоявшее уже давно, но до сих пор не заселённое тюремное здание Верхнеуральского изолятора, который таким образом был «открыт» ими весной 1925 года (при начальнике Душере) — и которому предстояло стать изрядным пугалом на много десятилетий.

На новом месте у бывших соловчан сразу отняли свободное хождение: камеры взяли на замки. Старост всё-таки выбрать удалось, но они не имели права обхода камер. Запрещено было неограниченное перемещение денег, вещей и книг между камерами, как раньше. Они перекрикивались через окна — тогда часовой выстрелил с вышки в камеру. В ответ устроили обструкцию — били стёкла, портили тюремный инвентарь. (Да ведь в наших тюрьмах ещё и задумаешься — бить ли стёкла, ведь возьмут и на зиму не вставят, ничего дивного. Это при царе стекольник прибегал мигом.) Борьба продолжалась, но уже с отчаянием и в условиях невыгодных.

Году в 1928 (по рассказу Петра Петровича Рубина) какая-то причина вызвала новую дружную голодовку всего Верхнеуральского изолятора. Но теперь уже не было их прежней строго-торжественной обстановки, и дружеских ободрений, и своего врача. На какой-то день голодовки тюремщики стали врываться в камеры в превосходном числе — и попросту бить ослабевших людей палками и сапогами. Избили — и кончилась голодовка.

* * *

Наивную веру в силу голодовок мы вынесли из опыта прошлого и из литературы прошлого. А голодовка — оружие чисто моральное, она предполагает, что у тюремщика не вся ещё совесть потеряна. Или что тюремщик боится общественного мнения. И только тогда голодовка сильна.

Царские тюремщики были ещё зелёные: если арестант у них голодал, они волновались, ахали, ухаживали, клали в больницу. Примеров множество, но не им посвящена эта работа. Смешно даже сказать, что Валентинову достаточно было поголодать двенадцать дней — и добился он тем не какой-нибудь режимной льготы, а *полного освобождения* из-под следствия (и уехал в Швейцарию к Ленину). Даже в Орловском каторжном центре голодовщики неизменно побеждали. Они добились смягчения режима в 1912; а в 1913 — дальнейшего, в том числе общей прогулки всех политкаторжан — настолько, очевидно, не стеснённой надзором, что им удалось составить и переслать на волю своё обращение «К русскому народу» (это от каторжников центра!), которое и было опубликовано (да ведь глаза на лоб

ватель не волновался, предложено: дни голодовки подсудественного вычёркивать из следственного срока, то есть не только считать, что голодовки не было, но даже — будто заключённый эти дни находился на воле! Пусть единственным ощутимым последствием голодовки будет истощение арестанта!

Это значило: хотите подышать? Подышайте!!

Арнольд Раппопорт имел несчастье объявить голодовку в архангельской внутренней тюрьме как раз при приходе этой директивы. Голодовку он держал особенно тяжёлую и, казалось бы, тем более значительную — «сухую», тринадцать суток (сравните пять суток такой же голодовки Дзержинского, да в отдельной ли камере? — и полную победу). И за эти тринадцать суток в одиночку, куда его поместили, только фельдшер иногда заглядывал, а не пришёл ни врач, и никто из администрации хоть поинтересоваться: чего ж он требует своей голодовкой? Так и не спросили... Единственное внимание, которое ему оказал надзор — тщательно обыскали одиночку, вытряхнули запрятанную махорку и несколько спичек. — А хотел Раппопорт добиться прекращения следовательских издевательств. К голодовке своей он готовился научно: перед тем получив передачу, ел только сливочное масло и баранки, чёрный же хлеб перестал есть за неделю. Доголодался он до того, что сквозь его ладони просвечивала. Помнит: было очень лёгкое ощущение и ясность мысли. Добрая улыбчивая надзирательница Маруся как-то вошла в его одиночку и шепнула: «Снимите голодовку, не поможет, так и умрёте! Надо было на неделю раньше...» Он послушался, снял голодовку, так ничего и не добившись. Всё-таки дали ему горячего красного вина с булочкой, после этого надзиратели на руках отнесли его в общую камеру. Через несколько дней начались опять допросы. (Однако не совсем уж зря прошла голодовка: поняла следователь, что у Раппопорта достаточная воля и готовность к смерти, и следствие помягчело. «А ты, оказывается, волк!» — сказал ему следователь. «Волк, — подтвердил Раппопорт, — и собакой для вас никогда не буду».)

Ещё потом одну голодовку объявил Раппопорт на котласской пересылке, но она прошла скорее в комических тонах. Он объявил, что требует нового следствия, а на этап не идёт. На третий день к нему пришли: «Собирайся на этап!» — «Не имеете права! Я — голодающий». Тогда четыре молодца подняли его, отнесли и зашвырнули в баню. После бани так же на руках отнесли его на вахту. Нечего делать, встал Раппопорт и пошёл за этапной колонной — ведь сзади уже собаки и штыки.

Вот так Тюрьма Нового Типа победила буржуазные голодовки.

Даже у сильного человека не осталось никакого пути противоборствовать тюремной машине, только разве самоубийство. Но самоубийство — борьба ли это? Не подчинение?

Эсерка Е. Олицкая считает, что голодовку как способ борьбы сильно уронили троцкисты и следовавшие за ними в тюрьмы коммунисты: они слишком легко её объявляли и слишком легко снимали. Даже, говорит она, И. Н. Смирнов, вождь их, проголодав перед московским процессом четверо суток, быстро сдался и снял голодовку. Говорят, до 1936 троцкисты даже принципиально отвергали всякую голодовку *против советской власти* и никогда не поддерживали голодающих эсеров и с.-д.

Напротив, от с-р и с-д всегда требовали себе поддержки. В карагандо-колымском этапе 1936 они называли «предателями и провокаторами» тех, кто отказывался подписать их телеграмму протеста Калинин — «против посылки *авангарда революции* (= их) на Колыму». (Рассказ Макотинского.)

Пусть оценит история, насколько упрёк этот верен или неверен. Однако и тяжелее никто не заплатил за голодовку, чем троцкисты (к их голодовкам и забастовкам в лагерях мы ещё придём в части третьей).

АНТИСЕКСУС

От переводчика

Иже нами приводится текст рекламной брошюры, изданной в Нью-Йорке на 8 европейских языках «Международным промышленным обозрением» (*Internationale Industriale Revü*)¹.

Нельзя отказать в незаурядном литературно-рекламном даровании составителю этой брошюры, как нельзя отказать этому деловому сочинению в империалистическом цинизме, корректной порнографии и чудовищной пошлости, вызывающей своими размерами даже грусть. Однако, есть что-то в стиле этой брошюры, что роднит ее с духом Анатоля Франса, если позволено нам будет здесь произнести это великое и честное имя. Это, отчасти, и дало нам смелость опубликовать это неслыханное произведение.

Нет лучшего документа для характеристики эпохи живого загнивания буржуазии и ее полной моральной атрофии, чем нижеприводимый. Ничего подобного не приходилось читать даже нам — искушенным профессиональным читателям.

Ожидая всего от современных заправил капитализма, бюрократии, фашизма и военщины, давших свои отзывы рекламируемому прибору, мы все же не ожидали у них полного отсутствия ума и чувства элементарного такта.

Конечно, т. Шкловский², тонко сыронизировавший посредством формального метода надо всей этой ахинеи, — из этого правила исключается.

Оказывается, не права физиология («мозг разлагается одним из последних органов»), а права русско-большевистская поговорка: разум отнимается первым — у того, кого хочет казнить История.

Именно так: поэтому и смердит на все земное пространство от этого демонстрируемого англо-евро-американского сочинения, от этого сектора империализма.

Поэтому лучшая контр-«антисексуальная» агитация — напечатание этого любопытного документа, ибо у людей задвигается выражение на лицах, а на лицах засияет розовый смех — лучший друг души и желудка и худший враг всего этого индустриально-морально-физиологического удушающего безумия.

АНТИСЕКСУС

Патентованные аппараты
Беркман, Шотлуа и С^н, Лгд.

Главное Правление: Берлин, Лондон, Женева, Вашингтон.

Генеральные агентства:

Лондон, Париж, Копенгаген, Брюссель, Нью-Йорк, Варшава, Буда-Пешт, Багдад, Пекин, Сингапур, Шанхай, Гонконг, Мельбурн, Чикаго, Франкфурт н/Одере и н/Майне, Токио, Лиссабон, Севилья, Рим, Афины, Монтевидео, Константинополь, Ангора, Калькутта, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Мекка, Каир, Вифлием, Александрия, Бангкок, Дамаск, уполномоченные на всех пассажирских судах Гамбург — Америка линия, а также на воздушных линиях Дерулюфт и Люфт-Ганза³.

ватель не волновался, предложено: дни голодовки подследственного вычёркивать из следственного срска, то есть не только считать, что голодовки не было, но даже — будто заключённый эти дни находился на воле! Пусть единственным ощутимым последствием голодовки будет истощение арестанта!

Это значило: хотите подышать? Подышайте!!

Арнольд Раппопорт имел несчастье объявить голодовку в архангельской внутренней тюрьме как раз при приходе этой директивы. Голодовку он держал особенно тяжёлую и, казалось бы, тем более значительную — «сухую», тринадцать суток (сравните пять суток такой же голодовки Дзержинского, да в отдельной ли камере? — и полную победу). И за эти тринадцать суток в одиночку, куда его поместили, только фельдшер иногда заглядывал, а не пришёл ни врач, и никто из администрации хоть поинтересоваться: чего ж он требует своей голодовкой? Так и не спросили... Единственное внимание, которое ему оказал надзор — тщательно обыскали одиночку, вытряхнули запрятанную махорку и несколько спичек. — А хотел Раппопорт добиться прекращения следовательских издевательств. К голодовке своей он готовился научно: перед тем получив передачу, ел только сливочное масло и баранки, чёрный же хлеб перестал есть за неделю. Доголодался он до того, что сквозь его ладони просвечивало. Помнит: было очень лёгкое ощущение и ясность мысли. Добрая улыбчивая надзирательница Маруся как-то вошла в его одиночку и шепнула: «Снимите голодовку, не поможет, так и умрёте! Надо было на неделю раньше...» Он послушался, снял голодовку, так ничего и не добившись. Всё-таки дали ему горячего красного вина с булочкой, после этого надзиратели на руках отнесли его в общую камеру. Через несколько дней начались опять допросы. (Однако не совсем уж зря прошла голодовка: понял следователь, что у Раппопорта достаточная воля и готовность к смерти, и следствие помягчело. «А ты, оказывается, волк!» — сказал ему следователь. «Волк, — подтвердил Раппопорт, — и собакой для вас никогда не буду».)

Ещё потом одну голодовку объявил Раппопорт на котласской пересылке, но она прошла скорее в комических тонах. Он объявил, что требует нового следствия, а на этап не идёт. На третий день к нему пришли: «Собирайся на этап!» — «Не имеете права! Я — голодающий». Тогда четыре молодца подняли его, отнесли и зашвырнули в баню. После бани так же на руках отнесли его на вахту. Нечего делать, встал Раппопорт и пошёл за этапной колонной — ведь сзади уже собаки и штыки.

Вот так Тюрьма Нового Типа победила буржуазные голодовки.

Даже у сильного человека не осталось никакого пути сопротивления тюремной машине, только разве самоубийство. Но самоубийство — борьба ли это? Не подчинение?

Эсерка Е. Олицкая считает, что голодовку как способ борьбы сильно уронили троцкисты и следовавшие за ними в тюрьмы коммунисты: они слишком легко её объявляли и слишком легко снимали. Даже, говорит она, И. Н. Смирнов, вождь их, проголодав перед московским процессом четверо суток, быстро сдался и снял голодовку. Говорят, до 1936 троцкисты даже принципиально отвергали всякую голодовку *против советской власти* и никогда не поддерживали голодающих эсеров и с.-д.

Напротив, от с-р и с-д всегда требовали себе поддержки. В карагандо-колымском этапе 1936 они называли «предателями и провокаторами» тех, кто отказывался подписать их телеграмму протеста Калинину — «против посылки *авангарда революции* (= их) на Колыму». (Рассказ Макотинского.)

Пусть оценит история, насколько упрёк этот верен или неверен. Однако и тяжелее никто не заплатил за голодовку, чем троцкисты (к их голодовкам и забастовкам в лагерях мы ещё придём в части третьей).

Лёгкость в объявлении и снятии голодовок вероятно вообще свойственна порывистым натурам, быстрым на проявление чувств. Но ведь такие натуры были и среди старых русских революционеров, были где-нибудь и в Италии, и во Франции,— но нигде ж, ни в России, ни в Италии, ни во Франции, не смогли так отповадить от голодовок, как в Советском Союзе, нас. Вероятно, телесных жертв и стойкости духа приложено было к голодовкам во второй четверти нашего века никак не меньше, чем в первой. Однако не было в стране общественного мнения! — и оттого укрепилась Тюрьма Нового Типа, и вместо легко достающихся побед постигали арестантов тяжело зарабатываемые поражения.

Проходили десятилетия — и время делало своё. Голодовка — первое и самое естественное право арестанта, уже и самим арестантам стала чужда и непонятна, охотников на неё находилось всё меньше. Для тюремщиков же она стала выглядеть глупостью или злым нарушением.

Когда в 1960 Геннадий Смелов, бытовик, объявил в ленинградской тюрьме длительную голодовку, всё-таки как-то зашёл в камеру прокурор (а может — общий обход делал) и спросил: «Зачем вы себя мучаете?» Смелов ответил:

— Правда мне дороже жизни!

Эта фраза так поразила прокурора своей бессвязностью, что на следующий же день Смелов был отвезен в ленинградскую спецбольницу (сумасшедший дом) для заключённых. Врач объявила ему:

— Вы подозреваетесь в шизофрении.

* * *

По виткам рога и уже в узкой части его возвысились бывшие централы, а теперь специзоляторы, к началу тридцать седьмого года. Выдавливалась уже последняя слабина, уже последние остатки воздуха и света. И голодовка проредевших и усталых социалистов в штрафном Ярославском изоляторе в начале тридцать седьмого года была из последних отчаянных попыток.

Они ещё требовали всего, как прежде — и староста, и свободного общения камер, они требовали, но вряд ли уже надеялись и сами. Пятнадцатидневным голоданием, хоть и законченным кормёжкой через кишку, они как будто отстояли какие-то части своего режима: часовую прогулку, областную газету, тетради для записи. Это они отстояли, но тут же отбирали у них собственные вещи и швыряли им единую арестантскую форму специзолятора. И немного прошло ещё — отрезали полчаса прогулки. А потом отрезали ещё пятнадцать минут.

Это были всё одни и те же люди, протягиваемые сквозь череду тюрем и ссылок по правилам Большого Пасьянса. Кто из них десять, кто уже и пятнадцать лет не знал обычной человеческой жизни, а лишь худую тюремную еду да голодовки. Не все ещё умерли те, кто до революции привык побеждать тюремщиков. Однако тогда они шли в союз со Временем и против слабнущего врага. А теперь против них в союзе были и Время и крепнущий враг. Были среди них и молодые — те, кто осознали себя эсерами, эсдеками и анархистами уже после того, как сами партии были разгромлены, не существовали больше — и новопоступленцам предстояло только сидеть в тюрьмах.

Вкруг всей тюремной борьбы социалистов, что ни год, то безнадежней, одиночество отсасывалось до вакуума. Это не было так, как при царе: только бы двери тюремные распахнуть — и общество закидает цветами. Они разворачивали газеты и видели, как обливают их бранью, даже помоями (ведь именно социалисты казались Сталину самыми опасными для его социализма) — а народ молчал, и по чему можно было осмелиться подумать, что он сочувствует узникам? А вот и газеты перестали браниться — настолько уже неопасными, незначительными, даже не существующими считались русские социалисты. Уже на

воле упоминали их только в прошлом и давнопрошедшем времени, молодёжь и думать не могла, что ещё живые где-то есть эсеры и живые меньшевики. И в череде чимкентской и чердынской ссылки, изоляторов Верхнеуральского и Владимирского — как было не дрогнуть в тёмной одиночке, уже с намордником, что может быть ошиблись и программа их и вожди, ошибками были и тактика и практика? И все действия свои начинали казаться сплошным бездействием. И жизнь, отданная на одни только страдания, — заблуждением роковым.

Сень одиночества распостёрлась над ними отчасти и оттого, что в самые первые послереволюционные годы, естественно приняв от ГПУ заслуженное звание *политических*, они так же естественно согласились с ГПУ, что все «направо» от них⁵⁸, начиная с кадетов, — не политические, а контрреволюционеры, *казры*, *контры*, навоз истории. И страдающие за Христову веру тоже получились казры. И кто не знает ни «права», ни «лева» (а это в будущем — мы, мы все!) — тоже получатся казры. Так отчасти вольно, отчасти невольно, обособляясь и чураясь, освятили они будущую Пятьдесят Восьмую, в ров которой и им предстояло ещё ввалиться.

Предметы и действия решительно меняют свой вид в зависимости от стороны наблюдения. В этой главе мы описываем тюремное стояние социалистов с их точки зрения — и вот оно освещено трагическим чистым лучом. Но те казры, которых *политы* на Соловках обходили с пренебрежением, — те казры вспоминают: «политы? Какие-то они противные были: всех презирают, сторонятся своей кучкой, всё свои пайки и льготы требуют. И между собой ругаются непрерывно». — И как не почувствовать, что здесь — тоже правда? И эти бесплодные бесконечные диспуты, уже смешные. И это требование себе пайковых добавок перед толпою голодных и нищих? В советские годы почётное звание «политов» оказалось отравленным даром. И вдруг возникает ещё такой упрёк: а почему социалисты, так беззаботно *бегавшие* при царе — так смягкли в советской тюрьме? Где их побеги? Вообще побегов было немало — но кто в них помнит социалиста?

А те арестанты, кто был ещё «левее» социалистов — троцкисты и коммунисты, — те в свой черёд чурались социалистов как таких же каэров — и смыкали ров одиночества в кольцевой.

Троцкисты и коммунисты, каждые ставя своё направление чище и выше остальных, презирали и даже ненавидели социалистов (и друг друга), сидящих за решётками того же здания, гуляющих в тех же тюремных дворах. Е. Олицкая вспоминает, что на пересылке в бухте Ванино в тридцать седьмом году, когда социалисты мужской и женской зон перекрикивались через забор, ища своих и сообщая новости, коммунистки Лиза Котик и Мария Крутикова были возмущены, что таким безответственным поведением социалисты могут и на всех навлечь наказания администрации. Они говорили так: «Все наши бедствия — от этих социалистических гадов. — (Глубокое объяснение и какое диалектическое!) — Передушить бы их!» — А те две девушки на Лубянке в 1925 лишь потому пели о сирени, что одна из них была эсерка, а вторая — оппозиционерка, и не могло быть у них общей политической песни, и даже вообще оппозиционерка не должна была соединяться с эсеркой в одном протесте.

И если в царской тюрьме партии часто объединялись для совместной борьбы (вспомним побег из Севастопольского централа), то в тюрьме советской каждое течение видело чистоту своего знамени в том, чтобы не объединяться с другими. Троцкисты боролись отдельно от социалистов и коммунистов, коммунисты вообще не боролись, ибо как же можно разрешить себе бороться против собственной власти и тюрьмы?

И оттого случилось так, что коммунисты в изоляторах, в срочных

⁵⁸ Не люблю я эти «лево» и «право»: они условны, перепрокидываются и не содержат сути.

тюрьмах были притеснены ранее и жёстче других. Коммунистка Надежда Суровцева в 1928 в Ярославском центральном на прогулку ходила в «гусиной» шеренге без права разговаривать, когда социалисты ещё шумели в своих компаниях. Уже не разрешалось ей ухаживать за цветами во дворе — цветы остались от прежних арестантов, борющихся. И газет уже тогда лишили её. (Зато Секретно-Политический Отдел ГПУ разрешил ей иметь в камере полных Маркса — Энгельса, Ленина и Гегеля.) Свидание с матерью ей дали почти в темноте, и угнетённая мать умерла вскоре (что могла она подумать о режиме, в котором содержат дочь?).

Многолетняя разница тюремного поведения прошла глубоко дальше и в разницу наград: в тридцать седьмом — тридцать восьмом годах ведь социалисты тоже сидели и получали свои десятки. Но их, как правило, не понуждали к самооговору: ведь они не скрывали своих особенных взглядов, достаточных для осуждения. А у коммуниста никогда нет особенных взглядов — и за что ж его судить, если не выдавить самооговора?

* * *

Хотя уже разбросался огромный Архипелаг — но никак не хирели и отсидочные тюрьмы. Старая острожная традиция не теряла ретивого продолжения. Всё то новое и бесценное, что давал Архипелаг для воспитания масс, ещё не была полнота. Полноту давало присоединение ТОНов и вообще срочных тюрем.

Не всякий, поглощаемый великою Машиной, должен был смешиваться с туземцами Архипелага. То знатные иностранцы, то слишком известные лица и тайные узники, то свои разжалованные чекисты — никак не могли быть открыто показываемы в лагерях: их перекатка тачки не оправдывала бы разглашения и морально-политического⁵⁹ ущерба. Так же и социалисты в постоянном бою за свои права никак не могли быть допущены до смешения с массой — но именно под видом их льгот и прав содержимы и удушены отдельно. Гораздо позже, в 50-е годы, как мы ещё узнаем, Тюрьмы Особого Назначения понадобятся и для изолирования лагерных бунтарей. В последние годы своей жизни, разочаровавшись в «исправлении» воров, велит Сталин и разным паханам давать тоже тюрзак, а не лагерь. И наконец, приходилось брать на дармовое государственное содержание ещё таких арестантов, кто по слабости сразу в лагере умерев, уклонился бы тем самым от отбывания срока. Или ещё таких, кто никак не мог быть приспособлен к туземной работе — как слепой Копейкин, семидесятилетний старик, постоянно сидевший на рынке в городе Юрьевце (Волжском). Песнопения его и прибаутки повлекли десять лет по КРД, но лагерь пришлось заменить тюремным заключением.

Соответственно задачам оберегался, обновлялся, укреплялся и усовершенствовался старый острожный фонд, наследованный от династии Романовых, с добавлением ещё и монастырей. Некоторые центры, как Ярославский, настолько прочно и удобно были оборудованы (двери, обитые железом, в каждой камере постоянно привинчены стол, табуретка и койка), что потребовали только укрепления намордников на окнах да разгораживания прогулочных дворов до размеров камеры (к 1937 году спилены были в тюрьмах все деревья, перекопаны огороды и травяные площадки, залит асфальт). Другие, как Суздальский, требовали переоборудования из монастырского помещения, но ведь само заключение тела в монастыре и заключение его государственным законом в тюрьме преследуют физически-сходные задачи, и оттого здания всегда легко приспособляются. Так же был приспособлен под срочную тюрьму один из корпусов Сухановского монастыря — ну да ведь надо же было пополнить и утери фонда: выделение Петропавловской крепости и Шлиссельбурга под экс-

⁵⁹ Есть такое словечко.. Небесно-болотный цвет.

курсантов. Владимирский централ был расширен и достроен (большой новый корпус при Ежове), он много использовался и много вобрал за эти десятилетия. Уже упомянуто, что действовал Тобольский централ, а с 1925 открылся для постоянного и обильного использования Верхнеуральский. (Изоляторы живы на нашу беду и *работают* в минуту, когда пишутся эти строки.) Из поэмы Твардовского «За далью — даль» можно заключить, что не пустовал при Сталине и Александровский централ. Меньше сведений у нас об Орловском: есть опасения, что он сильно пострадал в Отечественную войну. Но по соседству он всегда дополняется хорошо оборудованной отсидочной тюрьмой в Дмитровске (Орловском).

В 20-е годы в политизоляторах (ещё *политзакрытками* называют их арестанты) кормили очень прилично: обеды были всегда мясные, готовили из свежих овощей, в ларьке можно было купить молоко. Резко ухудшилось питание в 1931—1933 годах, но не лучше тогда было и на воле. В это время и цынга и голодные головокружения не были в политзакрытках редкостью. Позже вернулась еда, да не та. В 1947 во Владимирском ТОНе И. Корнеев постоянно ощущал голод: четыреста пятьдесят граммов хлеба, два куска сахару, два горячих, но не сытных приварка — и только кипятка «от пуза» (опять же скажут, что не характерный год, что и на воле был тогда голод; зато в этом году великодушно разрешали воле кормить тюрьму: посылки не ограничивались). Свет в камерах был пайковый всегда — и в 30-е годы и в 50-е: намордники и армированное мутное стекло создавали в камерах постоянные сумерки (темнота — важный фактор угнетения души). А по верху намордника ещё натягивалась часто сетка, зимой её заносило снегом, и закрывался последний доступ свету. Чтение становилось только порчей и ломотой глаз. Во Владимирском ТОНе этот недостаток света восполняли ночью: всю ночь жгли яркое электричество, мешая спать. А в Дмитровской тюрьме (Н. А. Козырев) в 1938 году свет вечерний и ночной был — коптилка на полочке под потолком, выжигающая последний воздух; в тридцать девятом году появился в лампочках половинный красный накал. В о з д у х тоже нормировался, форточки — на замке, и отпирались только на время оправки, вспоминают и из Дмитровской тюрьмы и из Ярославской. (Е. Гинзбург: хлеб с утра и до обеда уже покрывался плесенью, влажное постельное бельё, зеленели стены.) А во Владимире в 1948 стеснения в воздухе не было, постоянно открытая фрамуга. П р о г у л к а в разных тюрьмах и в разные годы колебалась от пятнадцати минут до сорока пяти. Никакого уже шлиссельбургского или соловецкого общения с землёй, всё растущее выполото, вытоптано, залито бетоном и асфальтом. При прогулке даже запрещали поднимать голову к небу — «Смотреть только под ноги!» — вспоминают и Козырев и Адамова (Казанская тюрьма). С в и д а н и я с родственниками запрещены были в 1937 и не возобновлялись. П и с ь м а по два раза в месяц отправить близким родственникам и получить от них разрешалось почти все годы (но, Казань: прочтя, через сутки вернуть надзору), также и л а р ё к на присылаемые ограниченные деньги. Немаловажная часть режима и м е б е л ь. Адамова выразительно пишет о радости после убирающихся коек и привинченных к полу стульев увидеть и ощупать в камере (Суздаль) простую деревянную кровать с санным мешком, простой деревянный стол. Во Владимирском ТОНе И. Корнеев испытал два разных р е ж и м а: и такой (1947-48), когда из камеры не отбирали личных вещей, можно было днём лежать, и вертухай мало заглядывал в глазок. И такой (1949—1953), когда камера была под двумя замками (у вертухая и у дежурного), запрещено лежать, запрещено в голос разговаривать (в Казанке — только шёпотом!), личные вещи все отобраны, выдана форма из полосатого матрасного материала; переписка — два раза в год и только в дни, внезапно назначаемые начальником тюрьмы (упустив день, уже писать не можешь!), и только на ли-

стике вдвое меньше почтового; участились свирепые обыски налётами с полным выводом и раздеванием догола. Связь между камерами преследовалась настолько, что после каждой оправки надзиратели лазили по уборной с переносной лампой и светили в каждое очко. За надпись на стене давали всей камере карцер. Карцеры были бич в Тюрмах Особого Назначения. В карцер можно было попасть за кашель («закройте одеялом голову, тогда кашляйте!»); за ходьбу по камере (Козырев: это считалось «буйный»); за шум, производимый обувью (Казанка, женщинам были выданы мужские ботинки № 44). Впрочем, Гинзбург верно выводит, что карцер давали не за проступки, а по графику: все поочерёдно должны были там пересидеть и знать, что это. И в правилах был ещё такой пункт широкого профиля: «В случае проявления в карцере недисциплинированности начальник тюрьмы имеет право продлить срок пребывания в нём до двадцати суток». А что такое «недисциплинированность»?.. Вот как было с Козыревым (описание карцера и многого в режиме так совпадает у всех, что чувствуется единое режимное клеймо). За хождение по камере ему объявлено пять суток карцера. Осень, помещение карцера — неотопляемое, очень холодно. Раздевают до белья, разувают. Пол — земля, пыль (бывает — мокрая грязь, в Казанке — вода). У Козырева была табуретка (у Гинзбург не было). Решил сразу, что погибнет, замёрзнет. Но постепенно стало выступать какое-то внутреннее таинственное тепло, и оно спасло. Научился спать, сидя на табуретке. Три раза в день давали по кружке кипятку, от которого становился пьяным. В трёхсотграммовую пайку хлеба как-то один из дежурных вдавил незаконный кусок сахара. По пайкам и различая свет из какого-то лабиринтного окошечка, Козырев вёл счёт времени. Вот кончились его пять суток — но его не выпускали. Обострённым ухом он услышал шёпот в коридоре — насчёт не то шестых суток, не то шести суток. В том и была провокация: ждали, чтоб он заявил, что пять суток кончились, пора освобождать — и за недисциплинированность продлить ему карцер. Но он покорно и молча просидел ещё сутки — и тогда его освободили, как ни в чём не бывало. (Может быть, начальник тюрьмы так и испытывал всех по очереди на покорность? Карцер для тех, кто ещё не смирился.) — После карцера камера показалась дворцом. Козырев на полгода оглох, и начались у него нарывы в горле. А однокамерник Козырева от частых карцеров сошёл с ума, и больше года Козырев сидел вдвоём с сумасшедшим. (Много случаев безумия в политизоляторах помнит Надежда Суровцева — одна она не меньше, чем насчитал Новорусский по двадцатидвухлетней летописи Шлиссельбурга.)

Не покажется ли теперь читателю, что мы постепенненько взобрались на вершину второго рога — и пожалуй он повыше первого? и пожалуй построй?

Но мнения расходятся. Старые лагерные в один голос признают Владимирский ТОН 50-х годов курортом. Так нашёл Владимир Борисович Зельдович, присланный туда со станции Абезь, и Анна Петровна Скрипникова, попавшая туда (1956) из кемеровских лагерей. Скрипникова особенно была поражена регулярной отправкой заявлений каждые десять дней (она стала писать... в ООН) и отличной библиотекой, включая иностранные языки: в камеру приносят полный каталог и составляешь годовую заявку.

А ещё же не забудьте и гибкость нашего Закона: приговорили тысячи женщин («жён») к тюрзаку. Вдруг свистнули — всем сменить на лагерь (на Колыме золота недомыв)! И сменили. Без всякого суда.

Так есть ли ещё тот тюрзак? Или это только лагерная прихожая?

И вот тут только — только здесь! — должна была начаться эта наша глава. Она должна была рассмотреть тот мерцающий свет, который со временем, как нимб святого, начинает испускать душа одиноч-

ного арестанта. Вырванный из жизненной суеты до того абсолютно, что даже счёт переходящих минут даёт интимное общение со Вселенной,— одиночный арестант должен очиститься от всего несовершенного, что взмучивало его в прежней жизни, не давало ему отстояться до прозрачности. Как благородно тянутся пальцы его рыхлить и перебирать комки огородной земли (да, впрочем, асфальт!..). Как голова его сама запрокидывается к Вечному Небу (да, впрочем, запрещено!..). Сколько умильного внимания вызывает в нём прыгающая на подоконнике птичка (да, впрочем, намордник, сетка и форточка на замке...). И какие ясные мысли, какие поразительные иногда выводы он записывает на выданной ему бумаге (да, впрочем, только если достанешь из ларька, а после заполнения сдать навсегда в тюремную канцелярию...).

Но что-то сбивают нас ворчливые наши оговорки. Трещит и ломается план главы, и уже не знаем мы: в Тюремь Нового Типа, в Тюремь Особого (а какого?) Назначения — очищается ли душа человека? или гибнет окончательно?

Если каждое утро первое, что ты видишь,— глаза твоего обезумевшего однокамерника,— чем самому тебе спастись в наступающий день? Николай Александрович Козырев, чья блестящая астрономическая стезя была прервана арестом, спасался только мыслями о вечном и беспредельном: о мировом порядке — и Высшем духе его; о звёздах; об их внутреннем состоянии; и о том, что же такое есть Время и ход Времени.

И так стала ему открываться новая область физики. Только этим он и выжил в Дмитровской тюрьме. Но в своих рассуждениях он упёрся в забытые цифры. Дальше он строить не мог — ему нужны были многие цифры. Откуда же взять их в этой одиночке с ночной копилкой, куда даже птичка не может влететь? И учёный взмолился: Господи! Я сделал всё, что мог. Но помоги мне! Помоги мне дальше.

В это время полагалась ему на десять дней всего одна книга (он был уже в камере один). В небогатой тюремной библиотеке было несколько изданий «Красного концерта» Демьяна Бедного, и они повторно приходили и приходили в камеру. Минуту полчаса после его молитвы — пришли сменить ему книгу и, как всегда не спрашивая, швырнули — «Курс астрофизики!» Откуда она взялась? Представить было нельзя, что такая есть в библиотеке! Предчувствуя недолгость этой встречи, Николай Александрович накинулся и стал запоминать, запоминать всё, что надо было сегодня и что могло понадобится потом. Прошло всего два дня, ещё восемь дней было на книгу — и вдруг обход начальника тюрьмы. Он зорко заметил сразу. — «Да ведь вы по специальности астроном?» — «Да». — «Отобрать эту книгу!» — Но мистический приход её освободил пути для работы, продолженной в норильском лагере.

Так вот, теперь мы должны начать главу о противостоянии души и решётки.

Но что это?.. Нагло гремит в двери надзирательский ключ. Мрачный корпусной с длинным списком: «Фамилия? Имя-отчество? Год рождения? Статья? Срок? Конец срока?.. Соберитесь с вещами! Быстро!»

Ну, братцы, этап! Этап!.. Куда-то едем! Господи, благослови! Соберём ли косточки...

А вот что: живы будем — доскажем в другой раз. В четвёртой части. Если будем живы...

Конец первой части

(Продолжение следует)

КЛЮЧ К «АНТИСЕКСУСУ» АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА

Мне, быть может, было легче совершенствоваться в своей работе, пробиваясь вперед сначала хотя бы одной «публицистической мыслью», чтобы затем подтянуться вперед и всем своим «туловищем».

А. Платонов.

Сейчас, когда почти не осталось неопубликованного Платонова, кроме утерянного, когда наконец нашему читателю стали доступны и его центральные, вершинные творения, когда мы уже можем представить его себе более или менее целиком, нам предстоит представить его себе как целое. И это трудная задача, на долгие годы. Ибо то, что было внешней преградой (запрет), стало преградой внутренней (собственный духовный потенциал). Надо восходить. Хотя бы к столетию подняться на ступеньку выше в постижении его наследия, чем сегодня, когда мы отмечаем девяностолетие.

Так что Платонов нам только-только предстает. Он нам еще предстоит.

Восприятие обратно знанию. Это сейчас мы знаем, что Колумб открыл Америку. А что знал Колумб? Он увидел берег. Это мог быть остров, а оказалась часть света.

Пушкин был известен современнику как автор романтических поэм, а не как автор «Медного всадника». Мы его знаем как автора «Медного всадника» и к романтическим поэмам приходим уже в третью очередь, а лицейской лирикой заняты уже специалисты. Мы и Пушкина-то, разглядывая пристально его законченное творчество уже полтора века, знаем с конца до начала, а не с начала до конца.

И так практически во всем. Это потом мы переворачиваем наше восприятие в последовательность знания точно так, как младенец научается переворачивать изображение, получаемое взглядом, в своем мозгу.

Для современников Платонов был «самобытный» писатель, автор «Епифанских шлюзов», и то для немногих. Для нас, за последние тридцать лет его возрождения, он разросся от самобытного к самобытнейшему, от неповторимого к уникальному. После «Котлована» и «Чевенгура» его оригинальность обратилась универсальностью и от величия повеяло гениальностью.

И вдруг случилось, что явление, казавшееся пусть замечательным, но достаточно частным, наиболее полно выразило нашу историю и наш век. По нему нам и впредь узнавать, что же с нами случилось.

Платонов становится т а й н о й. Может, того же масштаба, как и тот, что «унес ее с собою» в 1837 году. Впрочем, не дай нам бог в очередной раз окутать духовные секреты, как мы уже сто лет стараемся с Пушкиным, в очередной раз подменяя постижение внешними формами признания. Тайна тем и тайна, что ее никак не постичь. Мы подыскиваем ключ. Ключ есть вещь внешняя даже по отношению к замку, не то что к двери, к входу, к самому з д а н и ю.

Одним из таких ключей может показаться публикуемый здесь «Антисексус». Уж больно он «торчит» в творчестве Платонова. Это и настораживает. Будто нарочно забыт в дверях.

Аспирант-диссертант-исследователь непременно применит «Антисексус» для своих открытий. Преображение Платонова раннего, истово пролеткультовского, в Платонова двадцать шестого года, автора «Города Градова», с предстоящими ему тремя годами «Чевенгура» и «Котлована», кажется головокружительным и необъяснимым. В «Антисексусе» же — столько торчащих проволочек, как в лопающемся тросе. пародирующих, намекающих, указующих во все стороны, включая себя. Здесь исследователь может позабавиться всем что только знает сам, от Ницше до Фрейда. Дело в том, что «Антисексус» написан в том же переломном двадцать шестом году. В нем будто произведен какой-то расчет с прошлым, Но заодно и с настоящим.

И с будущим — вот что важно.

Футурология в необыкновенной моде в это время. После мировой войны, в предстоянии мирового кризиса, в позднем ощущении наконец начавшегося века двадцатого (в том смысле, который мы, на опыте, вкладываем в понятие «XX век» сегодня) в европейской литературе происходит взрыв жанра антиутопии. Кто только не пишет их! Замятин, Хаксли, Чапек, Маяковский, Алексей Толстой и Набоков. То страшное будущее, которое и впрямь предстоит веку, в воображении писателей разыгрывается главным образом как победа машины над человеком. Вряд ли эти крупные писатели брали пример друг с друга или следовали моде. Скорее всего склонность к этому жанру зарождалась в них параллельно и независимо, что, впрочем, и гораздо более убедительно и доказательно.

Платонов в отличие от этих знаменитостей п р а к т и к. Он не воображает будущее, он переживает его, он уже испытал его на опыте своей инженерной работы в строящемся социалистическом государстве. И с машиной у него другая связь, далекая от интеллигентского испуга. «Чевенгур» и «Котлован» не апокалиптическое пророчество, а — правда, высшая художественная правда о том, что у же произошло со страной и человеком, и правда эта не под силу никакой европейской фантазии. Даже поразивший мир в позднейшие 60-е годы магический реализм латинов не пойдет ни в какое сравнение с платоновским реализмом, покажется игрушкой.

Игрушкой, по-видимому, казались Платонову и ужасы будущего, рисуемые прославленными современниками.

«Антисексус» если и ключ, то муляжный, деревянный, как у Буратино. Не без иронии он изготовлен так, чтобы мы приняли его за настоящий и пробовали им что-то открыть. Недаром единственным единомышленником Платонова в «Антисексусе» выступает Чарли Чаплин.

Что были им утопии, когда такая вокруг вспухала явь!

«Смешивать меня с моими сочинениями — явное помешательство. Истинного себя я еще никогда и никому не показывал, и едва ли когда покажу. Этому есть много серьезных причин...»

Андрей БИТОВ.

АНТИСЕКСУС

От переводчика

Иже нами приводится текст рекламной брошюры, изданной в Нью-Йорке на 8 европейских языках «Международным промышленным обозрением» (Internationale Industriale Revü)¹.

Нельзя отказать в незаурядном литературно-рекламном даровании составителю этой брошюры, как нельзя отказать этому деловому сочинению в империалистическом цинизме, корректной порнографии и чудовищной пошлости, вызывающей своими размерами даже грусть. Однако, есть что-то в стиле этой брошюры, что роднит ее с духом Анатоля Франса, если позволено нам будет здесь произнести это великое и честное имя. Это, отчасти, и дало нам смелость опубликовать это неслыханное произведение.

Нет лучшего документа для характеристики эпохи живого загнивания буржуазии и ее полной моральной атрофии, чем нижеприводимый. Ничего подобного не приходилось читать даже нам — искушенным профессиональным читателям.

Ожидая всего от современных заправил капитализма, бюрократии, фашизма и военщины, давших свои отзывы рекламируемому прибору, мы все же не ожидали у них полного отсутствия ума и чувства элементарного такта.

Конечно, т. Шкловский², тонко сыронизировавший посредством формального метода надо всей этой ахинеи, — из этого правила исключается.

Оказывается, не права физиология («мозг разлагается одним из последних органов»), а права русско-большевистская поговорка: разум отнимается первым — у того, кого хочет казнить История.

Именно так: поэтому и смердит на все земное пространство от этого демонстрируемого англо-евро-американского сочинения, от этого сектора империализма.

Поэтому лучшая контр-«антисексуальная» агитация — напечатание этого любопытного документа, ибо у людей задвигается выражение на лицах, а на лицах засияет розовый смех — лучший друг души и желудка и худший враг всего этого индустриально-морально-физиологического удушающего безумия.

АНТИСЕКСУС

*Патентованные аппараты
Беркман, Шотлуа и С^н, Лтд.*

Главное Правление: Берлин, Лондон, Женева, Вашингтон.

Генеральные агентства:

Лондон, Париж, Копенгаген, Брюссель, Нью-Йорк, Варшава, Буда-Пешт, Багдад, Пекин, Сингапур, Шанхай, Гонконг, Мельбурн, Чикаго, Франкфурт н/Одере и н/Майне, Токио, Лиссабон, Севилья, Рим, Афины, Монтевидео, Константинополь, Ангора, Калькутта, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Мекка, Каир, Вифлием, Александрия, Бангкок, Дамаск, уполномоченные на всех пассажирских судах Гамбург — Америка линия, а также на воздушных линиях Дерулофт и Люфт-Ганза³.

* * *

Милостивые Государи и Государыни!

Столь различны эпохи, столь различны местоположения стран, столь различны культуры, где работает наша мировая фирма. Однако, спрос на наши патентованные изделия имеется всюду — от Арктики до Антарктики, включая и эти последние, не исключая, однако, и диких стран меж тропиками Рака и Козерога. Страсти человечества господствуют над временами, пространствами, климатами и экономикой. Распространение нашей фирмой изделий металлообрабатывающей промышленности для удовлетворения этих страстей есть дело космического порядка — и по линии метафизики и по линии морали. В высшей степени симпатично то, что, вопреки общепринятому мнению, кривая годового сбыта наших изделий, при равных условиях экономики и числа населения, в северных широтах не разнится от таковой же кривой сбыта в широтах южных — в тропиках.

Отсюда позвольте заключить, что физиология человека почти абсолютно одинакова и стоит вне зависимости от пространств, времен, рас, уровней культур, наличия книгопечатания или отсутствия такового, безобразия расы или прелести таковой и прочих привходящих обстоятельств.

Отсюда очевидно, что полное наличие удовлетворения обуславливает наличие потребности. Мир сам по себе стремится лишь к потреблению, а не производству, мир не производит даже желания наслаждения, когда нет возможности получить это последнее. Имея уже мировой опыт сбыта своих изделий, неустанно совершенствуя конструкцию выпускаемых аппаратов, расширяя сеть заводов (число их достигло — к 1/1-1926 — 224), неусыпно заботясь об индивидуальных оттенках потребления и приспособляя к этим оттенкам конструкции своих аппаратов, мы решили включить в свой экспорт рынок Советского Союза, полагая, что емкость его достаточна, чтобы оправдать наши организационные расходы, неминуемо связанные с необходимыми приспособлениями к особенностям этого нового рынка, ибо без учета всех конкретностей данной обстановки нет коммерческого успеха. Виднейшими моральными авторитетами мира наша деятельность признана не подлежащей никакому сомнению, напротив, достойной государственного поощрения и частной благотворительной поддержки, чем фирма не преминула своевременно воспользоваться и будет пользоваться впредь. Шеф фирмы г. Беркман уже включен в кандидаты на получение премии имени Нобеля и в истекшем году получил *honoris causa* почетное звание д-ра этических и эстетических наук от Парижской Академии. Не задерживая Вашего дорогого стоящего внимания, разрешите поделиться, в самых общих чертах, теми принципами, кои положены в основу деятельности нашей мировой и единственной фирмы ее учредителями.

Сдавленные эпохой войн сексуальные силы человечества неудержимо расцвели в послевоенное время. Это отчасти способствовало загрузке наших заводов и финансовому благополучию фирмы. Неурегулированность половой жизни человечества, чреватость бедствиями, как последствие этой неурегулированности, — вот предмет мучительного душевного беспокойства учредителей нашей фирмы и истинная причина нашей положительной деятельности. Общеизвестна также связь сексуального чувства с нравственностью.

Общепризнана святость древнейшего института брака, вытекающая из непреложности супружеской любви и вечности общего спального ложа, таящего в себе высшие положительные наслаждения и, как следствие, душевное умиротворение. В браке истина заменена покоем. Во всяком случае — ни один философ мира не докажет, что лучше. Человечество же высшей истиной признало покой. Объектом же индустриальной и коммерческой деятельности может быть лишь человечество, а философы таким объектом не могут быть.

Исходя из этого, наша фирма заявила патенты во всех цивилизованных странах на электромагнитный аппарат Antisexus, долженствующий урегулировать сферу пола, и вместе с ней и благодаря этому, — высшую функцию человека — дух его, так сказать, притаившееся божество, которое нужно, наконец, сделать явным и общепотребительным, как одно из рядовых благ цивилизации. Неурегулированный пол есть неурегулированная душа — нерентабельная, страдающая и плодящая страдания, что в век всеобщей научной организации труда, в век Форда и радио, в век Лиги наций, Резерфорда и проектируемого межпланетного сообщения посредством живой силы, вложенной в так наз. «Кирпич» Крейцкопфа⁴, — не может быть терпимо. Прогресс идет ломаной линией, т. е. отдельные точки его бессильно отстают от других точек. Наша фирма призвана уравнивать линию прогресса, наша фирма призвана уничтожить сексуальную дикость человека и призвать его натуру к высшей культуре покоя и к ровному, спокойному и плановому темпу развития.

В век социально-экономических кризисов, когда материально затруднен брак, в век алиментов, когда почти невозможно деторождение, когда женщина стала вновь призраком поэтов, благодаря нищете мужчин, мы призваны решить мировую проблему пола и души человека. Из грубой стихии наша фирма превратила половое чувство в благородный механизм и дала миру нравственное поведение. Мы устранили элемент пола из человеческих отношений и освободили дорогу чистой душевной дружбе.

Учитывая, однако, высокоценный момент наслаждения, обязательно присущий соприкосновению полов, мы придали нашему аппарату конструкцию, позволяющую этого достигнуть, по крайней мере, в тройной степени против прекраснейшей из женщин, если ее длительно использует только что освобожденный заключенный после 10-ти лет строгой изоляции. Таково наше сравнение, таков эквивалент качества наших патентованных аппаратов.

Далее, особый регулятор позволяет достигать наслаждения любой длительности — от нескольких секунд до нескольких суток, будет свободное время у уважаемого потребителя. Особая план-шайба позволяет регулировать в объемных единицах расход семени, — и этим достигать оптимальной степени душевного равновесия, т. е. не допускать излишнего истощения организма и понижения тонуса жизнедеятельности. Наш лозунг — душевная и физиологическая судьба нашего покупателя, совершающего половое отправление, вся должна находиться в его руках, положенных на соответствующие регуляторы. И мы этого достигли. Кроме того, глубокие старики, выпавшие из сексуального чувства, вновь приобщаются к нему нашими приборами. Мы работаем для всех возрастов и для всех народов.

Мы уже 8 лет выпускаем лишь три типа наших аппаратов для мужчин и три типа для женщин. Рынок, по-видимому, не требует большего разнообразия, благодаря широким вариациям, которые допускает устройство каждого типа, в соответствии с индивидуальными особенностями потребителя. Идя навстречу нашему новому покупателю — оригинальному обитателю советских стран, — мы допустили особые льготы, как то: членам профсоюзов по коллективным спискам скидка до 20% с преёскурантной стоимости и рассрочка до 1 года. Цены наших аппаратов на 1926 г. следующие:

1. Тип BS^S 00042 для индивидуального потребления, без стерилизатора 20 длар.
2. Тип BS^S 001843 для потребления ограниченной группой лиц (напр., для мужской части семьи), со стерилизатором . . . 40 длар.
3. Тип BS^S 000000401 для потребления неограниченной массой лиц (ставится в общественных уборных, ж. д. вагонах, рабочих бараках,

на митингах, в театрах, на улицах, в учреждениях и т. п.), с автоматом-стерилизатором 100 ддр.

Цены указаны без скидки, без упаковки, Франко-база. Для женщин идут те же три типа прибора, тех же назначений, лишь с удорожанием на 15% против указанных цен. Еще раз подчеркивая недостижимость, по нравственной высоте, наших принципов деятельности, почтительно указывая на необходимость организации Вам в себе самой существенной Вашей части — души, стоя на страже Ваших экономических интересов, оберегая таковые от покушений половых стихий, смею предложить Вам, произведя необходимые одновременные капитальные затраты, раз навсегда вычеркнуть статью расходов по половому удовлетворению из расходной части Вашего бюджета и тем самым стать на путь финансового и морального преуспевания.

В ожидании Ваших любезных заказов и запросов,

пробываем к Вам
с совершенным почтением
Генеральный Агент для Сов. стран
Яков Габсбург.

Отзывы об аппаратах «Antisexus» знаменитых людей.

Война — всемирная страсть человечества. Она не пребудет, пока не пребудет жизнь на земле, что бы ни говорили усталые люди и их мечтатели-политики. Война — мужество: она пребудет, пока мужественна и поступательна жизнь.

Аппараты гг. Беркмана, Шотлуа и сына последнего сыграют, я уверен, в ближайшую же войну великую роль, когда ими будут обслужены тысячи молодых людей, скопленных на фронте.

Уже в истекшую войну военачальники считались с духом войск. Вынужденное целомудрие порождает излишнюю нервность. Нервное же войско есть поражение. Нам нужны армии людей с душевным равновесием, способных к десятилетиям войны. Вышеназванные аппараты призваны помочь военачальникам в их тяжелой работе на пути к победе.

Гинденбург.

* * *

Г.г. Беркман, Шотлуа и С^н открыли новую блестящую эру в нравственном служении человечеству. Нет сомнения, исторический оптимум есть всеобъемлющее регулирование вселенной мозгом человека, — регулирование, которое должно предстать перед нами в виде трансформатора, превращающего стихий в закономерные автоматы. В свое время, когда мне было 25 лет и я только женился, уже предо мною стояла эта задача, задача регламентации брачной физиологии в точную форму, но моя мысль, отвлеченная занятиями по механике, не сосредоточилась тогда на этом. Сожалею об этом. Может быть, я отказался бы тогда от организации предприятий по фабрикации автомобилей и пошел бы по пути фабрикации приборов, автоматизирующих и нормализующих нравственность, что более соответствует моему душевному строю.

Но гг. Беркман, Шотлуа и С^н предугадали мою юношескую мысль и широко ее осуществили на пользу общества. Душевно рад этому.

Желаю новой промышленности, так блестяще организованной гг. Беркман, Шотлуа и С^{ном}, мирового процветания, желаю расширения сбыта благотворной продукции этой удивительной фирмы, распространив продукцию через скотоводов для всего животного населения планеты, а не только для людей, число коих роковым образом будет ограничиваться работой аппаратов этой же фирмы. Таковым мероприятием укрепитесь активная часть баланса фирмы, а с нею укрепитесь и моральная устойчивость мира.

Генри Форд.

* * *

Из анализа себестоимости аппаратов под названием «Антисексус» мы усмотрели его излишнюю дороговизну. Я поручил Калькуляционному Бюро пересчитать эту стоимость применительно к нашему сырью и оборудованию и выяснить возможность ее снижения. Мне доложили, что понижение возможно на 30% (пока). С будущего года мы ставим производство Антисексусов на своем заводе в Детройте.

Кроме того, мы позволим себе допускать рассрочку платежа до 5-ти лет, чем покупаемость аппаратов сделаем абсолютной для каждого гражданина.

Этим навсегда и сразу будет ликвидирована проституция, а также все безработные приобретут эти аппараты.

От молодых же рабочих мы отнимем необходимость жениться, чем стабилизируем их бюджет, а это последнее позволит нам обойтись без дальнейших повышений зарплаты, столь тормозящих дальнейший прогресс технического усовершенствования наших заводов.

Форг-сын (Иезекииль)⁵.

* * *

Лучше в железку сливать семя, если не хочешь превратить его в древо мудрости, чем в незащитное тело человека, созданное для дружбы, мысли и святости.

Гангу.

* * *

Приборы гг. Беркмана, Шотлуа и Сна облегчают метрополии управление страстными расами колоний и снижают число бессмысленных бунтов, направленных против цивилизации и имеющих в своей причине, как теперь можно установить, лишь одно неудовлетворенное половое чувство молодых людей. Очень серьезно также облегчилось командирование в колонии первоклассных администраторов, так как их женам не грозит, обычное прежде, изнасилование. Независимо от того, и жены администраторов, снабженные аппаратурой фирмы, не пойдут навстречу изнасилованию.

Чемберлен⁶.

* * *

Я против Антисексуса. Тут не учтена интимность, живое общение человеческих душ, — общение, которое всегда налицо при слиянии полов, даже когда женщина — товар. Это общение имеет независимую ценность от полового акта, это то мгновенное чувство дружбы и милой симпатии, чувство растаявшего одиночества, которое не может дать антисексуальный механизм. Я за фактическую близость людей, за их дыхание рот в рот, за пару глаз, глядящие в упор в другие глаза, за ощущение души при половом грубейшем акте, за обогащение ее за счет другой встретившейся души. Я поэтому против Антисексуса. Я за живое, мучающееся, смешное, зашедшее в тупик человеческое существо, растратой тощих жизненных соков покупающее себе миг братства с иным вторичным существом. И еще потому я против всей этой механики, что я всегда стоял и буду стоять за конкретное, жалкое, смешное, но живое — и обещающее стать могущественным.

Чарли Чаплин⁷.

* * *

Примечание фирмы.

Принимая во внимание протест Ч. Чаплина, не избегая печатания отрицательных отзывов, фирма доводит до всеобщего сведения, что она уже поручила лучшим своим инженерам изыскать рациональную конструкцию нового Антисексуса, действующего не только на половую сферу, но и на высшие нервные центры одновременно, дабы механически создать те бесценные моменты ощущения общности с космосом и дружбы высшего смысла ко всему живому, о которых так исчерпывающе пожалел г. Чаплин.

Фирма полагает, что это ощущение общности жизни ей удастся создать не в виде отвлеченного чувства, а в виде милого конкретного образа женщины или мужчины, соответственно полу потребителя,— образа наиболее близкого, наиболее желанного нервно-психическому строю потребителя. Однако, фирма не надеется на широкое распространение аппаратов этого типа, ибо известно, что любовь,— а в отзы-ве г. Чаплина речь идет, очевидно, об истинной, хотя и преходящей, любви, любовь не есть свойство, общее всем людям, и расчеты на нее, мы полагаем, не могут коммерчески рентироваться. Любовь, как установила современная наука, есть психопатическое состояние, свойственное организмам с задатками нервного вырождения, а не здоровым деловым людям. Но мы работаем не только для всех возрастов и всех народов, но также и для всех органических структур во всем их разнообразии, ибо фирма преследует цели нравственного благоустройства мира прежде всего.

По поручению фирмы,
г. Беркман⁸.

* * *

Сделав половой акт единоличным, вытеснив из него вторую живую половину, сделав половое отправление общедоступным, без всяких препятствий,— мы на прямой дороге к целомудрию, к господству омолаживающего принципа — использование выделений желез внутренней секреции в пределах самого организма.

Проф. Штейнах⁹.

* * *

При употреблении Антисексуса переживаешь молодость и после крепко спишь. Я не спал так хорошо за последние 25 лет. В моем организме открылись какие-то замершие было источники юности. Я очень благодарен фабрикантам Антисексуса. Моя дочь предложила мне основать институт Перманентной Юности имени гг. Беркмана, Шотлуа и сына его. Я дал согласие и деньги на это счастливое дело.

Морган¹⁰.

* * *

Мы потеряли с введением антисексуальных аппаратов известный комплекс красивых и мощных движений, сопутствующих божественной страсти. Об этом надо пожалеть.

Но мы приобрели известный половой комфорт, определенную экономию времени, равновесие здорового организма и независимость от женских капризов. Это надо приветствовать... Кроме того, я думаю, современное кино компенсирует утраченный комплекс половых движений, очистив их от привкуса бессознательного и зверско-стихийного, заменив их легким преодолением пространств могучим и девственным телом.

Дуг Фербенкс¹¹.

* * *

Будущее принадлежит цивилизации, а не культуре: будущее завоеует душевно-мертвый, интеллектуально-пессимистический человек. В пошлой плоскости истинной цивилизации немыслим брак — дух фаустовского стиля,— там мыслимо лишь механическое освобождение от избытка сырых органических сил, не могущих сублимироваться в дух. Автомат «Антисексус» еще раз ознаменовал ту эпоху, в которую мы входим — цивилизацию — мертвое, удобное здание, фундамент которого уперт в зеленые травы живой, погибшей культуры.

Освальд Шпенглер¹².

* * *

Автомат «Антисексус» чрезвычайно необходим при долгих путешествиях и очень удобен в пользовании. Эти автоматы совершенно необходимо теперь включить непременно элементами в оборудование каждой экспедиции, мало-мальски научно снаряженной. Наличие автоматов — лишний плюс для обеспечения успеха экспедиции.

Свен Гедин¹³.

* * *

Когда я был в России, я слышал песенку:

Хорошо тому живется,
Кто с молочницей живет;
Только ступит на порог,
Как сметана и творог!^{*}

Теперь, когда ежедневно беднеет Европа, и еще далеко не богата Россия, когда на каждого не придется по жене-молочнице, нужна механическая «молочница». Ее и призван заменить механизм «Антисексус». Ежегодно на проституцию тратит человечество около пятисот миллиардов рублей, не считая косвенных затрат здоровья, потери колоссального времени, наличия целого международного общественно-вредного класса проституток и проституттов и пр. и т. п.

На эти сбережения, которые в сумме дадут около триллиона рублей в год, можно купить молока, сметаны и творога для каждого, не обуславливая такое сытное питание необходимостью иметь жену-молочницу.

Да. Но экономию в триллион в год, общедоступное молочное питание сделал ведь Антисексус!

Поэтому он действительнее любой самой революционной экономической реформы.

Кейнс¹⁴.

* * *

Я не пишу, я обычно действую. Я рассматриваю антисексусы как необходимое вооружение каждого культурного человека, — вооружение, действительное и дома и на фронте. Наш король декретировал освобождение антисексусов от всякого налога и пошлины. Женщина, освобожденная от половых обязанностей и половых последствий, увеличит актив нашей страны. Для члена союза фашистов наличие антисексуса обязательно — его должен иметь каждый, — от римского нищего до нашего короля.

Муссолини.

* * *

< >¹⁵

* * *

Женщины проходят, как прошли крестовые походы. Антисексус нас застает как неизбежная утренняя заря. Но видно всякому: дело в форме, в стиле автоматической эпохи, а совсем не в существе, которого нет. На свете ведь не хватает одного — существования. Сладостный срам делается государственным обычаем, оставаясь сладостью. Жить можно уже не так тускло, как в презервативе.

Виктор Шкловский¹⁶.

* * *

Примечание фирмы.

Не имея возможности поместить все отзывы здесь, фирма предполагает издать три тома, специально посвященные оценке наших аппаратов мировыми светилами ума, чувства, поэзии, науки, добра, пользы, социал-демократизма, финансов, политики, коммунизма, техники и эстетизма. В ближайшем томе будут помещены оценочные рассуждения гг. Л. Авербаха, Землячки, Корнелия Зелинского, Сун-Цзи-Лин, Бачелиса, Гроссман-Рощина, Детердинга, С. Буданцева, Лоуренса Виндроузера, Осинского, генерала По-лу-гуй, Тарасова-Родионова, проф. Вестингауза, Киршона¹⁷ и мн. др. уважаемых авторитетов.

Андрей Платонов,
переводчик с французского.

* Это можно опустить: две строчки. (Прим. авт.)

КОММЕНТАРИИ

В 20-х годах СССР занимал ведущее место в мире по систематическим и достаточно массовым социологическим опросам населения о сексуальном поведении. Самое широкое распространение в то время имели переведенные на русский язык книги О. Фореля «Половой вопрос» (1905), О. Вейнингера «Пол и характер» (1907), В. Фриче «Торжество пола и гибель цивилизации» (1909) и другие. В прессе активно высказывались литераторы, общественные и партийные деятели, учителя, студенты, рабочие, выступления которых были отмечены либо казенным оптимизмом, либо революционным аскетизмом: Коллонтай А., «Проституция и пролетарская молодежь» («Юный коммунист», 1919, № 16), Беркович А., «Вопросы половой жизни при свете социальной гигиены» («Молодая гвардия», 1923, № 6), Залкинд А., «Половая жизнь и современная молодежь» («Молодая гвардия», 1923, № 6), Смидович С., «О любви» («Правда», 1925, 24 марта). По всей вероятности, под видом участия в этой широкой общественной дискуссии Платонов надеялся опубликовать свой *антигиталитарный* «Антисексус».

В «Антисексусе» звучит тревога о грядущей эрзап-жизни, когда будет подменено все: идеалы, вера, быт, человеческие связи, весь смысл прежней жизни. Именно подмена этих понятий фантомами «светлого будущего», как воплощенными, так и провозглашенными, тревожила писателя. Отсюда появление в рассказе наряду с реальными и вымышленных лиц.

Платонов мечтал напечатать рассказ в своей первой книге прозы «Епифанские плязюзы», вышедшей летом 1927 года в издательстве «Молодая гвардия». В 1926 году в письме жене из Тамбова он пишет: «Тебе посылаю «Антисексус». Про «Антисексус» допустимо еще одно предисловие — сливочное масло издательства, — лишь бы прошел в сборник». Однако рассказ так и остался ненапечатанным. Лишь спустя пятьдесят пять лет после его написания, обстоятельно прокомментированный голландским платоноведом Томасом Лангером, он публикуется на Западе (см.: «Russian Literature», 1981, № IX, p. 281 — 292). Как и все впервые напечатанные за границей платоновские произведения, он грешит текстологическими ошибками, разночтениями, опечатками.

Нами текст рассказа публикуется по машинописной копии с собственноручной авторской правкой и сверен с рукописью «Антисексуса». Машинопись и автограф находятся в семейном архиве дочери писателя М. А. Платоновой.

¹ Вымышленное издание.

² Виктор Борисович Шкловский (1893 — 1984) в книге «Третья фабрика» описал свою встречу с А. Платоновым в Воронеже: «Говорил Платонов о литературе, о Розанове, о том, что нельзя описывать закат и нельзя писать рассказов». (См.: Шкловский В. Третья фабрика. М. «Круг». 1926, стр. 125 — 131.)

³ Дерулюфт — русско-германское общество воздушных сообщений. Люфтганга — немецкое общество воздушных сообщений.

⁴ Петер Крейцкопф — герой рассказа А. Платонова «Лунная бомба». (Первая публикация — журнал «Всемирный следопыт», 1926, № 12, стр. 3 — 15.) В этом рассказе есть упоминание «Антисексуса»: «...Он подкупил днем еще десятка полтора книг, заинтересовываясь лишь их названиями; это были: «Путешествие в смрадном газе» Бурбара, «Голубые дороги» Вогулова, «Зенитное время» Шотта, «Антропоморфная революция» Зага-Заггера, «Лунный огонь» Феррента, «Антисексус» Беркмана (разрядка моя. — А. З.), «Всегда ли была и будет история и что она такое наконец в самом деле?» — философия Горгонда — и несколько других».

⁵ Единственный сын Генри Форда — Эдсел — умер раньше своего отца. Перед своею же смертью Генри Форд организовал фонд, который с момента основания стал одним из богатейших филантропических учреждений подобного рода в мире. Иезекииль (из древнееврейского, «сделает сильным бог») — христианское имя. В связи с этим Т. Лангер высказал гипотезу: «Можно предполагать, что автор нарочно называет Форда-сына Иезекииль, тем намекая на денежное поддержание Генри Фордом антисемитских изданий» («Russian Literature», 1981, № IX, p. 293). Подобная трактовка представляется спорной, если вспомнить, что точно такое же имя дал А. Платонов одному из персонажей своей пьесы «Ноев ковчег. (Каиново отродье)» (1950) — Секерве. Видимо, смысл употребления этого имени, учитывая его этимологию, заключается

в некоем избранничестве, в исключительности той роли, которую пытается взять на себя Форд-сын.

⁶ Чемберлен Остин (1863 — 1937) — британский государственный и политический деятель, дипломат. В 1924 — 1929 годах министр иностранных дел Великобритании. Здесь явное противопоставление взглядов (пусть и ироническое) Чемберлена и Махатмы Ганди (1869 — 1948).

⁷ Личность выдающегося английского режиссера и киноактера Чарльза Спенсера Чаплина (1889 — 1977) привлекала внимание А. Платонова. Недаром он ввел его в число действующих лиц пьесы «Ноев ковчег. (Каиново отродье)».

⁸ По-видимому, намек на американского анархиста русского происхождения Александра Беркмана (1870 — 1936). Эта гипотеза принадлежит американскому исследователю творчества А. Платонова Дж. Шепарду (см.: Shepard J. The Origin of a Master: the Early Prose of Andrey Platonov.—Indiana University, Ph. D., 1973, p. 185), который соотнес «Антисексус» с книгой А. Беркмана «Антиклимакс». (См.: Berkman A. The Anti-Climax: The Concluding Chapter of My Russian Diary, the Bolshevik Myth.—Berlin. 1925). С 1892 по 1906 год А. Беркман находился в Америке в заключении за покушение на стального магната Генри Фрика. В 1917 году вторично осужден за антивоенную деятельность. В 1919 году Беркман был выслан из США в Россию, где занимался активной общественной деятельностью. После кронштадтского восстания 1921 года выслан в Европу. Автор книг и памфлетов, разоблачающих «большевицкий миф».

⁹ Штейнах Эйген (1861 — 1944) — австрийский физиолог и биолог. С 1907 года профессор Пражского университета. С 1912 года руководил физиологическим отделением Биологического института Австрийской Академии наук. Особую известность получили его работы, связанные с проблемой омоложения посредством пересадки половых желез у млекопитающих. Возможный прототип профессора Ф. Ф. Преображенского из повести М. А. Булгакова «Собачье сердце» (1925). (См. послесловие М. Чудаковой к публикации повести в журнале «Знамя», 1987, № 6, стр. 136.)

¹⁰ Морган Джон Пьерпонт (1867 — 1943) — американский банкир, миллиардер. В 1913 году возглавил один из крупнейших банков США, «Дж. П. Морган и К^о». Еще одна полярная пара — Штейнах и Морган.

¹¹ Вполне последовательно появление в рассказе вместе с Ч. Чаплином имени популярного американского киноактера Дугласа Фербенкса (1863 — 1939), которое можно объяснить словами самого А. Платонова из его статьи 1931 года «Великая глухая»: «За временный технический недостаток — беззвучность — кино было некогда прозвано великим немым. Этот условный образ теперь превратился в безусловный, хотя кино и заговорило, — хотя точнее следовало назвать теперь наше кино Великим Слепым: оно не видит того, на что действительно нужно наводить объектив съемочного аппарата. Кино наше слепо, как новорожденное существо, а большинство картин ничего не говорит напряженному сознанию человека: они немы абсолютно, а не технически». (Первая публикация — журнал «Русская речь», 1988, № 4, стр. 53 — 55.)

¹² Шпенглер Освальд (1880 — 1936) — немецкий философ. С его основным трудом «Закат Европы» (1921 — 1923, русский перевод первого тома — 1923) А. Платонов был знаком: «Один немецкий буржуазный мудрец, Шпенглер по фамилии, пишет, что народы и культуры гибнут потому, что исчерпывается, стихает и блекнет их душа и дальше им нечего делать в жизни. Это, конечно, неправда!» («Человек и пустыня», 1924). А также: «Предшественниками Шпенглера были русские реакционные мистики Н. Данилевский и К. Леонтьев, а последователями всех их в России являлись Бердяев, Франк, Степун и др.» («О „ликвидации человечества“», 1938). Можно предположить, что А. Платонов был знаком со сборником статей Н. А. Бердяева, Я. М. Бухшпана, Ф. А. Степуна, С. А. Франка «Освальд Шпенглер и закат Европы» (М. «Берег», 1922. 95 стр.), который послужил одной из причин высылки в 1922 году из России большой группы профессоров, историков, литераторов. Об этой книге Ленин писал 5 марта 1922 года управляющему делами Совнаркома РСФСР Н. Горбунову: «По-моему, это похоже на „литературное прикрытие белогвардейской организации“» (Полное собрание сочинений, т. 54, стр. 198).

¹³ Гедин Свен (1865 — 1952) — шведский путешественник. На русском языке были изданы его книги «В сердце Азии» (СПб, 1899, тт. 1 — 2; и то же: СПб. 1913) и «Тарам-Лоб-Нор-Тибет» (СПб. 1904).

¹⁴ В рукописи и машинописной копии описка — «Клайнс». Кейнс Джон Мейнард (1883 — 1946) — английский экономист и публицист. С 1920 года профессор Кембриджского университета. В 1912 — 1946 годах редактор «Economic Journal». В России были известны его работы «Экономические последствия Версальского мира» (1919, русский перевод — 1922), «Пересмотр мирного договора» (1922, русский перевод — 1922), «Трактат о денежной реформе» (1923, русский перевод — 1925). Несколько раз посещал Россию.

¹⁵ В машинописной копии здесь находился «отзыв» В. В. Маяковского, тщательно вымаранный А. Платоновым. Текст приводится по автографу:

«Предлагается: то вещество, которое скопляется — оставляется в половой машине зря, — экономно собрать, построить фабрику и печь в ней лепешки, которые будет смачно жрать — тот, кто произвел сырье для изготовления этой лепешки. Таким образом экономия получится вдвойне: по Кейнсу (в тексте «по Клайнсу»). — А. З.) выйдет ровно 2 триллиона в год.

Человечество тогда получит: молоко, творог, сметану и лепешки — все взамен женской ножки.

Владимир Маяковский.

Об отношении А. Платонова к Маяковскому см. статью «Размышления о Маяковском» (1940): «Итак, мы озабочены здесь единственной задачей — расширением и углублением понимания Маяковского. Эта задача содержит в себе одновременно и доверчивость к поэту, и утилитарную сторону дела. Маяковскому, вероятно, более всего понравилась бы именно утилитарная сторона дела, потому что в его утилитарности и заключается наивысшая политическая сила...»

¹⁶ Известны высказывания А. Платонова о В. Шкловском в его отзыве на первые номера журнала «ЛЕФ» («Октябрь мысли», 1924, № 1, стр. 93 — 94) и в рецензии «„О Маяковском“ Шкловского» («Литературная газета», 1940, 21 июля).

¹⁷ А в е р б а х Леопольд Леонидович (1903 — 1939) — критик, публицист, литературно-общественный деятель. В 1926 — 1932 годах редактор журнала «На литературном посту» и генеральный секретарь РАПП. Один из ярых хулителей А. Платонова (см.: Авербах Л., «Из рапповского дневника». — Л. Изд-во писателей в Ленинграде. 1931, стр. 59 — 73; его же «О целостных масштабах и частных Макарах». — «На литературном посту», 1929, кн. 21 — 22, стр. 10 — 17; то же — «Октябрь», 1929, № 11, стр. 164 — 171). З е м л я ч к а (Залкина Розалия Самойловна, 1876 — 1947) — партийный и государственный деятель. С 1924 года член ЦКК ВКП(б). В 1926 — 1931 годах член коллегии НК РКИ. З е л и н с к и й Корнелий Люцианович (1896 — 1969) — русский советский литературовед, критик. Один из теоретиков конструктивизма. Сохранилось письмо А. П. Платонова к нему. С у н - Ц з и - л и н (Сун Цин-лин, 1890 — 1981) — китайская государственная и общественная деятельница. Вдова Суэнь Ят-сена. Принимала активное участие в революции 1924 — 1927 годов. После переворота Чан Кайши в 1927 году выступила против политики гоминьдана. Б а ч е л и с Илья Израилевич (1902 — 1951) — русский советский писатель, журналист, кинодокументалист. Лауреат Сталинской премии за фильм «Москва — столица СССР» (1948). Г р о с с м а н - Р о щ и н Иуда Соломонович (1883 — 1934) — русский советский критик и искусствовед. Д е т е р д и н г Генри (1866 — 1939) — промышленник, возглавлял англо-нидерландскую нефтяную компанию «Ройял датч шелл». Б у д а н ц е в Сергей Федорович (1896 — 1940) — русский советский писатель, критик. В 1920 — 1921 годах входил в правление Всероссийского союза поэтов. В и н д р о у э р Лоуренс — вымышленная фамилия. Виндроуэр (англ.) — рядковая жатка. О с и н с к и й (Оболенский Валериян Валерианович, 1887 — 1938) — экономист, партийный и государственный деятель, дипломат. В 1925 — 1928 годах член президиума Госплана СССР, управляющий ЦСУ. Г е н е р а л П о - л у - Г у й — вымышленная псевдокитайская фамилия. Т а р а с о в - Р о д и о н о в Александр Игнатьевич (1885 — 1938) — русский советский писатель. В 1921 — 1924 годах работал в Верховном трибунале, потом в Госиздате. В е с т и н г а у з Джордж (1846 — 1914) — американский промышленник. Изобретатель пневматического железнодорожного тормоза. Профессором не был. К и р ш о в Владимир Михайлович (1902 — 1938) — русский советский драматург, критик. Был одним из руководителей РАПП и ВАПП. В 1926 — 1928 годах член редколлегии журнала «Молодая гвардия».

А. ЗНАТНОВ.

ПУБЛИЦИСТИКА

Ю. ЧЕРНИЧЕНКО

★

ПОДНЯВШИЙСЯ ПЕРВЫМ

1

Овечкин был властителем чувств моей молодости. Сказать бы — дум, да выйдет перебор. Именно чувства!

Имя было озонным, притягательным, хмелящим, в нем содержался какой-то азарт: Валентин Овечкин! В колхозном строе я не понимал в ту пору практически ничего, кроме разве того, что немец в сорок первом сохранил что-то подобное колхозам, назвав их только общинами, что партизаны, изредка попадая к нам в присивашскую степь, рассказывали, что на Большой земле колхозов больше нет, а в сорок шестом Коля Крючков, единственный колхозник из нашего класса, хлебной карточки не получал, а ходил в школу только ради крохотного ломтика хлеба к школьному завтраку. И с паспортом у него возникли большие проблемы, тогда как нам, совхозной братве, милости доставались от природы.

Что мы родились в ольньми, а Коля Крючков — крепостным, это я и сейчас произношу с боязнью и оглядкой.

Под Кишиневом в пору поздней молдавской коллективизации стояли небурными черешневые сады, людей в бараньих шапках увозили за что-то (за что-то же везут, значит — надо!) в какую-то Кулундинскую степь, но для меня в бедном университете Кишинева хлебозаготовки, группы урожайности, сама разница между райкомом и райисполкомом оставались скучной тарбарщиной. Однако пришла осень 1952-го, поступили книжки «Нового мира» с «Районными буднями», где странная колхозная жизнь отдавала слякотью, насилием, горем, и никаких тебе «Поддубенских частушек», никаких лукавых плутовок, скорее мат, команда, пот, брань. Получалось, что «Свадьба с приданым» имеет такое же отношение к нашей действительности, как и шедшая тогда во всех кинотеатрах «Девушка моей мечты» к реальной жизни эзэсовской Германии.

Это имя — Валентин Овечкин — я выделил из череды лауреатских колхозных обязательных чтений и, более того, удостоил включения в дипломную о великих стройках коммунизма. В один ряд с Борисом Полевым, молодым Аграновским, любителем шагающих экскаваторов Анатолием Злобиным мой избранник никак не входил, но я старался, всячески загоняя его, калякая что-то насчет того, что, дескать, подъем пока еще отстающих колхозов — тоже великая стройка...

Овечкин послал меня и на целину. Именно он, потому что функцию дрожжей общества выполнял тогда он один. Цикл «Своими руками» выходил в «Правде» в конце лета 1954-го, а через полгода я уже подал заявление «на новые земли». Надо было ехать и своими руками выправлять и чинить изломанное кем-то скверным и злым. Кем? И почему это должен был делать я? Перед целиной, сибирскими просторами и т. п. никаких моих вин не было, моя terra ограничивалась Крымом, Молдавией да Кубанью раннего детства, но... боялся опоздать! Что ни новый кусок Овечкина, то больше страх, что профукаешь жизнь, поезд уйдет непоправимо. Надо жить, как Овечкин: за город не держаться (а у меня уже было уютное двухкомнатное гнездо на чердаке), начальству в рот не глядеть, труса не праздновать и цели иметь достойные.

Открыл целину — да! — Хрущев, но послал меня и тысячи, тысячи других Овечкин. Скажете — наша волна была ответом на XX съезд? Но до съезда-то было еще ого-го сколько! Кулундинская степь, куда я попал, жила еще как бы с отрицательным знаком: ссыльные молдаване, калмыки, чечены, целые селения сибирских немцев с коммандантами и запрещениями покидать бригаду, а тут еще поток амнистированных уго-

ловников, посланных «шалунами» из ГУЛАГа «на освоение целинных и залежных земель»!..

Однако же я жил в мире продолжавшейся «Трудной весны». Вот этот директор МТС в Суетке, инженер с Магнитки,— он почти овечкинский Долгушин, а вот этот, стоворчливый, считай, Руденко, то и дело из края налетит кто-то пугающе схожий с Борзовым. Разве что копий Мартынова не видать!..

Книга, приходя к нам кусками, дисциплинировала. Ни разу мысль о бегстве, о том, что, мол, хватит, намерзлись и пыли наглотались, не приходила в голову: подтягивал известный кодекс чести, ты был включен в стремительный, ракетный по быстроте процесс «поумнения» автора и солидарного с ним читателя.

От не больно-то сложных постулатов 1952 года «не резать курочку, что несет золотые яички», не подрывать передовые колхозы, «чтобы все строили коммунизм», а не въезжали в царство небесное «на чужом горбу»,

через первое внушение колхознику «ты хозяин своих полей» в 1953-м и выяснение, откуда страх взялся, сковавший всю нашу жизнь страх, и то, «что заставляет идти против совести»,—

к осознанию в 1954-м, что «ответственны за тяжелое положение в отстающих колхозах мы, местный партийный актив», к повороту иерархической лестницы узким концом вниз («из районов в колхозы, из области в районы, из Москвы в область — все ж ближе к деревне»);

через здравые и важные частности организационного, снабженческого, технического преобразования, через замену бладуливого «достал» благородным «купил», через обломки веры во всякие чудеса, в том числе и в королеву-кукурузу,—

к всеобъемлющему демократическому выводу главы книги 1956 года: «Никогда ничего плохого не случится с колхозом, если у колхозников будет высоко развито чувство коллективного беспокойства за свое добро, чувство хозяев своей жизни».

Какое-то время (какое только именно?) они, Хрущев и Овечкин, были полными единомышленниками, и писатель словно бы стелил шпалы для скорых и дерзких решений. Что это — перехват функций высших горизонтов власти? литературный бонапартизм? Нет, скорее завязь демократического мышления. Из письма А. Твардовскому еще в январе 1953 года, когда Сталин был жив, а в умах еще была вечная мерзлота: «Может быть, не дело литераторов подсказывать правительству какие-то организационные решения, но, безусловно, наше дело показывать ход новых процессов в жизни и глубины, показывать назревание необходимости принятия организационных решений, не откладывая дела в долгий ящик... Нам же, народу, жить при этих организационных формах».

«Дней Александровых прекрасное начало...» Когда Хрущев стал изменять самому себе, Хрущеву XX съезда, когда возникла в нем трещина, расколовшая его жизнь на слова и дела, когда именно получил идейную отставку автор «Трудной весны» и фраза-разоблачение — «хочется нового «Кавалера Золотой Звезды» почитать, только получше написанного, и уже про наши дни» — навсегда поссорила писателя с «нашим дорогим Никитой Сергеевичем» и превратила его в ссыльного от публицистики — это надо вычислять специально. Для нас тогдашних ясно было только, что Хрущев уже не тот, что прежде, а Овечкин — тот и что писатель не гнется, не угодничает. Оборвал же «Трудную весну» еще в середине 1956 года! Отнял мандат на доверие!

А целина оставалась лейб-гвардией «главного агронома страны». Он бывал на ней едва ли не каждую осень — хлеб Казахстана и Алтая был, собственно, единственной реальностью, какую он мог предъявить «городу и миру». Мы, тридцатитысячники и просто трактористы-«целинщики», писарчуки-журналисты и сельские учителя в совхозах, население «сборно-цельевых» домов, мученики бездорожья, буранов, пыльных бурь, служили как могли авторитету «дорогого Никиты Сергеевича» и торжеству его идей «по дальнейшему подъему». Но нас угнетали не беды быта, торговли, техники, нет: мы были достаточно советскими людьми, чтобы знать твердо — плохо только у нас, а кругом зато хорошо, и чем у нас хуже, тем другим, значит, богаче и лучше. Нас оскорбляла ложь Хрущева — она была циничнее лжи Сталина! Провозглашено планирование снизу — и разом районная писарня засажена за какие-то «перспективные планы», где этажи вздора и наглости лезут до небес. Поповская раздвоенность на слова и дела, высмеянная Овечкиным! Никита Сергеевич сам учил себя обманывать! Этот сильный и умелый политик, разумный и опытный человек, сумевший и убийственный сельхозналог отменить, и ввести элементы купли-продажи в реальную колхозную жизнь, и выстоять ночь своего

доклада на XX съезде, и сталинских сатрапов Кагановича, Молотова, Маленкова свернуть в бараний рог, — он пристрастился ко лжи наркотически, требовал ее все в больших дозах! Хрущеву мстил внутренний его Сталин, и целина, личное его государство, выявляла двойственность, «черно-белость» Никиты Сергеевича сильнее некуда.

Ровная, как стол, вроде одинаковая всюду великая степь открывала борзовым три поприща — и разом ставила три ловушки. Лето короткое, осень дождливая, тает в конце апреля — сей рано, как можно раньше! Степь ровна — так паши все подряд. Пески, солонцы — все даст хлеб, распаши и засеи. Пары — зачем они? Какая может быть страховка, да занять их кукурузой, внедрить пропашную систему! Хрущев попал во все три ловушки, избил людей, не пускавших его в капканы, — и за десять лет сделал новые, здоровые и плодоносные земли зоной экологического бедствия. Сделал Кулунду, Павлодар, омское Прииртышье, миллионы гектаров недавних ковылей «пыльным котлом», где в июне ты не видел солнца, сделал заповедником сорняков и зоной искореженных биографий. С 1958 года — говорю это перед друзьями и близкими, они не дадут соврать — и я втайне лишил Хрущева своего мандата доверия. Пышно сказано? Дело давнее, тому тридцать лет, пишу об ощущении. Лишил! Но поскольку посылал меня на целину все же не он, а Овечкин, в степи я остался, сбегать не помышлял — и как мог тянул лямку.

В шестую целинную страду в моей жизни — как бы отдельно от «райбүденного» Овечкина — появился веселый и добрый старший человек, Валентин Владимирович. Потеряв отца в двенадцать лет, я с отрочества влюблялся в солдат, тянулся к мужской опеке и солдатскую сласть контактов, неспешные тары-бары, добродушные насмешки и поучения любил горячо и неутомимо. Сидел черт знает по сколько в сапужной мастерской у одногоного опухшего усача («За Родину — да, за Сталина — нет!» Скоро его забрали). Любил гараж, бондарный цех — ради мужчин, уважающих пацанов, собак и ремесла. К появлению Валентина Владимировича я уже даже первую бороду относил, мой сын-первоклассник уже сам пускал на Иртыше кораблики, но старая страсть проснулась, и я всей душой привязался к каплоухому, прищуренному, серьезному и насмешливому дядьке с офицерской еще выправкой. Сыну он делал головоломяных бумажных голубей, нас с женой заставил вспомнить украинские дуэты, выказал себя ярим грибником, меня учил одному — «никогда не уговаривайте себя, не кривите душой, это погубитель». Короче — осенью 1960 года в Омскую область по секрету от обкома партии приехал для знакомства с целиной Валентин Овечкин.

Омский очеркист-агроном Леонид Иванов обеспечил маршрут (совхозы Русской Поляны, встречи с самостоятельными людьми), за мною была машина (собкора «Советской России») и гарантия тайны.

Сорняки на недавних ковылях потрясли Овечкина, барханы песка на молодой пашне, весь образ хозяйствования, когда некто словно ворвался в чужое и должен судорожно хватать, хватать — и скорей драла, а то вернутся, застигнут, расправятся, — вся инспекция хрущевского «заднего двора» привела Овечкина к таким горестным выводам, какие можно было итожить только пулей. Нет-нет, я не говорю, что поездка в Приморье и на целину привела Овечкина к мыслям о никчемности жить дальше! Собралось наверняка много разного и всякого, и от треклятой Калиновки, и от добротной провинциальной травли на местах, и от взаимоотношений с «Новым миром», с Твардовским, — но теперь, издали, главного никак не заслонить и не убрать: самый известный и яркий пропагандист начальных хрущевских реформ приходит к идее политического самоубийства. Утренний выстрел в кабинете неточен — выбит правый глаз, прострелен висок, московские врачи спасают жизнь. Но точка поставлена. С 1961 года очеркиста Валентина Овечкина нет.

А той мокрой осенью я был свидетелем — не говорю популярности, известности Овечкина, это все суета, но — такой нужности писателя людям! Агрономы, измороженные идиотскими мотаниями из стороны в сторону, директора совхозов, жертвы «комитета по делам перестройки вечной» (слово было в ходу, только иностранцы еще не знали) со второй минуты, как мужики долгожданному исповеднику, выкладывали Валентину Владимировичу такое, чего никогда не услышал бы самый чиновный визитер. Нет, половое место в нашей социальной жизни так и не занято, и крепче всего то доказывал ярый большевик, коммунар и враг «долгосривых», агитатор полка капитан Овечкин!

Под финал целинной поездки — почти комический знак признания. Заехали куда-то в овсюжнюю даль за кокчетавской гранью. Безвестный совхоз, машинная калечь, ни

души — пьют, должно быть, вповалку. Бродим вокруг сельмага в надежде сыскать хоть кого-то из начальства. Вдруг откуда-то из-за пластанок появляется здоровенный казах в ватнике, физиономия велит заключить, что «гуляет» он уже дня три, не меньше. Чинном, судя по одежке, не выше управляющего отделением, но и не младше. Ко мне: кто такие? Я зычно рекомендую: собор «Советской России» по Западной Сибири! Кривится: невелика шишка... А тот (на Иванова)? «Член Союза писателей Иванов!» А-а, мол, только людей тревожат... А этот (оттопырил себе ухо)? «Валентин Овечкин...» Аж присел, глаза выкатил:

— Карыспадеңт?! Бешбармак надал!

Мы — по газам и в Русскую Поляну от таких гостеприимств, но «карыспадеңта» не забывали Овечкину до аэропорта. Читывал ли тот, в кирзачах и с планшеткой на боку, что-нибудь кроме повесток в райкомпарт — бог весть, но вот что Овечкин — самый главный «карыспадеңт», — это и он знал. Не лыком шит!

...В Курске, в нелюбимой им (за шум) квартире на Боевой даче, где из окон видны были петлистая Тускарь и пойменный лес, — неперемное в начале свидания чтение «Теркина на том свете» со старой, еще 1954 года, новомирской верстки и большое, с проклятиями и стенаниями, его пьянство:

— Прос..ли Киев! А теперь ему — Звезду? А Кирпонос, а целый штаб фронта! Полмиллиона пленных, о-о-о...

Учитель — не глядели б глаза — катается по дивану в столах стыда и «по срочному» заказывает Москву, «Трифонича». Слово за кислородную подушку хватается.

Или желчный, язвительный рассказ, как редактор «Правды» Сатюков идет по коридору, старательно его не замечая. Судьба очерков подвешена, деньги прожиты, больше оставаться в гостинице «Москва» и нельзя и не на что, но и возвращаться некуда: без публикаций готовых кусков ни ездить, ни писать невозможно. В «Правде» секретарши ни с кем не соединяют, Сатюков или ослеп, или потерял память... Вдруг телефон: помощник Лебедев. «Хотите знать, как оцениваются ваши материалы? Очень и очень положительно. И Никитой Сергеевичем, и Георгием Максимилиановичем, и Вячеслав Михайловичем. Продолжайте в том же духе»... Не успела лечь трубка — набат, трезвон: «Валентин, где пропадаешь? С ног сбились, целую неделю ищем, ну как можно — ведь твои подвалы в номере!» Сатюков. Сам! И узнал вдруг, и вспомнил...

(Сатюков? Фамилия из песни Высоцкого — про Ваню и Зину у телевизора... В какую же пропасть — и как мгновенно! — уходят эти могущества, величины, превосходительства... Вот Мария Илларионовна Твардовская издает переписку мужа с Овечкиным и к письму от 20 августа 1959 года добавляет: «История с Мыларщиковым развития не получила. Выяснить имя и историю, с ним связанную, не удалось». Это ж надо! Гроза целых республик, в секунду решавший людские судьбы, оставлявший области без семян, правая рука Хрущева во всех агроновациях заката, чьи художества на Алтае я пытался изобразить в «Русской пшенице», — а сгинул даже для микробиологов истории. Сколько же человеческого ничтожества понатащили с собой в память века Твардовский с Овечкиным!)

После выстрела в голову Валентин Владимирович вынужден был бежать в Ташкент, подальше от друзей и недругов, пользовался расположением и опекой Шарафа Рашидовича Рашидова. Тот и квартиру подранку-курянину дал, и с собою в поездки брал, и хозяина «Политотдела» Хвана определил к нему шефом. А вот Петр Нилыч Демичев только судил жилье где-нибудь в большом Подмоскowie — на том дело и кончилось.

«Иногда, Саша, мне кажется, что писательству моему пришел конец. — Это зимою 1963-го, письмо Твардовскому. — Что-то будто оборвалось в душе. Я не тот, каким был, другой человек, совсем другой, остатки человека. Писать-то надо кровью, а из меня она как бы вытекла вся».

В сентябре 1965-го я забирал Валентина Владимировича из ташкентской цековской больницы домой, на первый этаж дома по улице Новомосковской. Долго сидели в беседе, он был уже без повязки на глазу, но передвигался с трудом... Господи, неужто после поездки по целине прошло только пять лет?! Он, иронизируя над собой, читал Некрасова, я попросил самого его записать и личным подписом скрепить:

И погромче нас были витии,
Да не сделали пользы пером...
Дураков не убавим в России,
А на умных тоску наведем.

Без языка. Без любимого «Нового мира», без литературной среды. Без надежд на выход книг, без денег, уже без веры в реальное возвращение. Без возможности что-либо понять самому в хлопковой круговерти Рашидова... Потом появилось слово — «уехал». Это об эмигрантах, часто насильно вытолкнутых, говорилось.

Первым, пожалуй, из России уехал Овечкин.

Словно возбуждая, взбадривая себя, он в последние ташкентские встречи все заговаривал о будущей своей книжке про «Политотдел». Образец колхоза, о таких мечтали коммунары Приазовья в 20-х еще годах! Хлопок, кенаф, громадный доход с каждого поливного гектара, стадионы, три средних школы, в больницах — чудеса хирургии; иглоукальвание, детей в школах учат музыке, самбо, верховой езде — осуществленный рай. Причем сам Хван против культа личности, хотя является главою народа в изгнании — лидером выселенных Берией корейцев. Авторитет его абсолютен...

Самое замечательное в этой книжке — что она и не могла быть написана. Из благодарности книги не пишутся — настоящие книги. «Все то, что я до сих пор писал, я писал, с кем-то и с чем-то ожесточенно споря, опровергая то, с чем не согласен, утверждал свое. В «Районных буднях» ведь в каждой строчке — полемика. А тут вроде бы не с кем да и не из-за чего полемизировать, нет повода ругаться».

Молчание — золото. Полемизировал (и, возможно, ругался) уже следовательно Гдяня. Правда, почти двадцать лет спустя. «Политотдел» — впрямь высококультурное, вышколенное, мастерски отлаженное хозяйство, но Хван входил — и не мог не входить — в феодальную финансово-аграрную систему чуткого Шарафа Рашидовича.

II

После смерти писателя (надпись на камне — «Овечкин Валентин», видать, местные мастаки переставили слова по-своему) началось приспособление его личности к разным политическим ситуациям. Толкуя книгу сообразно злобе дня, различные авторы как бы отстаивали ей право на жизнь.

Году в семьдесят третьем (Леонид Ильич был еще единожды Героем Советского Союза и не был еще маршалом) за автора «Районных будней» извинялся и как бы ручался его сослуживец по Крымскому фронту Николай Атаров. Большим, но простительным грехом Овечкина было объявлено... нетерпение. «Слишком нетерпеливый и оттого опрометчивый и несчастный, он мог в минуту отчаяния извлечь из сердца и черкнуть: „Пишешь, пишешь — и ни хрена, ни на градус не повернулся шар земной“» (Н. Атаров. «Дальняя дорога»). «...про себя он всегда верил в приказную безотлагательность своих писаний: „по моему хотенью“». «В нетерпимости он не щадил ни врагов, ни друзей». «Человек крайностей, он становился предельно резок, разрывая с принятым у нас обтекаемым тоном...» «В «Трудной весне» движение приостановилось уже в судьбах самих героев... Тут художник расплачивается за свою одержимость, за то, что торопится навязать свои мысли и таким образом учредить порядок на земле...»

Терпеть еще можно и, конечно, надо было, а курянин был резок, одержим и нетерпим, вот какая штука. В целом — ничего, только горяч. Н. Атаров, по его словам, предостерег Овечкина: зарубежная пропаганда может привлечь его как фрондера для своих передач. «Ну и что? Что посоветуешь? — письменно ответил очеркист. — Отказаться от нашей внутренней самокритики? А ты чувствуешь, что она сейчас нужна, может быть, в тысячу раз больше, чем когда бы то ни было? Не люблю громких слов, а то бы сказал, что ты замахнулся мне в спину ножом».

Год 1983-й, статья А. Обертынского «Человек или экономика?» в «Литературной газете» открывает еще одного Валентина Овечкина: главным объектом автора «Районных будней» был характер сельского труженика, его мысли и чаяния, а не экономика, не хозяйственная деятельность. Человек больше, чем экономика, — отсюда и воздействие и долголетие «Будней».

Чтоб не тянуть с ответом, напомним и этому трактователю, и «Литературной газете», и участникам вымученной дискуссии «Человек или экономика?», что Борзов весь соткан из цифр, он сам по себе есть экономика, только извращенная, стоящая на плутовстве, обмане, жульничестве. Вот сердцевинная операция, выводящая всего Борзова — и человека, и экономиста — на чистую воду:

«— «Власть Советов». Сколько у них было? Так... Госпоставки и натуроплата... Так. Это — по седьмой группе. Комиссия отнесла их к седьмой группе по урожайности. А если дать им девятую группу?..»

— Самую вышшую?

— Да, самую вышшую. Что получится? Подсчитаем... По девятой группе с Демьяна Богатого — еще тысячи полторы центнеров. Да с «Зари» — центнеров восемьсот. Да с «Октября» столько же. Вот! Мальчик! Не знаешь, как взять с них хлеб?»

За давностью лет поясним, что мера уже намолоченного была шулерским образом поднята, а с ней возрос и оброк, одно число потянуло бы за собой другие, изменилось бы место Троицкого района в областной сводке — значит, и качество самого Борзова как работника, его престиж. Ложь в цифрах выказывала лживость самого главного человека в Троицке. Закоперщик придуманного спора то ли давно читал «Будни», то ли не их читал.

Конец года 1986-го, эпоха гласности, Овечкин как бы перед КПП в наше время. «Новый мир» отмечает тридцатилетие окончания книги «Районные будни» статьей Анатолия Стреляного. В редакционной врезке журнал объясняет, что пишущий — союзник и «в главном — единомышленник В. Овечкина», так что горячность не стоит принимать слишком серьезно, тем более что «статья написана с сознанием проблем, так и оставшихся до конца не решенными, а в ряде случаев и еще более усложнившихся». Уж куда! Четверть века хлебного импорта — пущее не усложнить.

«„Районные будни“ появились не на пустом месте,— читаем у А. Стреляного.— Печатаемая критика партийных работников, партийных организаций, целых направлений и явлений в партийной жизни была в то время обычным делом. В тридцатые — сороковые годы этой критики было не меньше, чем в пятидесятые — шестидесятые, не говоря уже о семидесятых, а больше, на порядок больше... Командирство, бюрократизм и комчванство назывались своими именами с такой решительностью, которая даже сейчас, в самом пылу разговоров о гласности, кажется невероятной». И далее: «„Районные будни“ продолжали обыкновенное по тем временам дело (sic! — Ю. Ч.) критики партийной работы и партийных работников. Своей книгой Овечкин показал, что писателю тоже можно болеть тем, чем давно болеют селькоры... Селькоры называли фамилии чинуш и головопятов — писатель представил поргеты, образы».

Неверно! Сказать бы — «дезинформация», если б не простая нехватка информации. Сталинские газетные разносы, даже погромы районного (или какого-то еще) звена типа кампаний против «нарушения устава колхоза» и т. д. были выдачей «головой» такого-то процента «кадров» для укрепления сталинизма.

В любом случае это была критика (лучше все-таки — выдача головой) сверху, если даже детонатором оказывался вышеупомянутый селькор. Борзова как типа жизни не было ни в газетных очерках, ни в литературе. Открытие принадлежит Овечкину. Назвать обычным делом фиксацию и показ борзовщины «городу и миру» (именно так, «Районные будни» стали явлением и в Китае, и в Венгрии, и во Вьетнаме!) можно только... ну, во временном затмении.

Суть открытия: победители Гитлера закабалены Борзовым. Отличие от прежнего: да, бюрократизм как «бумажный тигр» объектом официальной брани был, и долго; бюрократия как монополизм на управление всем и вся, как аппарат закрепощения одной части общества (крестьян) и нравственного разложения всех остальных частей — нет, ее в очеркистике не было. Редакторы всех главных московских изданий 1952 года, включая «Правду», чутко и мгновенно оценили качественную необычность Борзова, отвергнув рукопись «Районных будней». Только «Новый мир», с редактором которого Александром Твардовским Овечкин считал себя в соре (почему и зашел в эту редакцию уже за час до поезда, отправив первый экземпляр рукописи в ЦК, на имя Сталина, — зашел, переступив через собственную гордость, и, на счастье свое, застал только уборщицу, которая уверила автора, что «не бойсь, не пропадет»), решил опубликовать очерк — да в самый канун XIX съезда. И когда в статье по случаю сорокалетия «Нового мира» А. Т. Твардовский делал свой (явно полемический) обзор литературы, то со всею редакторской гордостью утверждал:

«До «Районных будней» в нашей печати много лет не появлялось ничего похожего на этот очерк по его достоверности, смелой и честной постановке острейших вопросов... Значение небольшого очерка В. Овечкина было очень велико и не прошло бесследным для всей нашей литературы, обращенной к деревенской (и не только деревенской!) актуальной тематике. «Районные будни» дали очерку благотворный толчок в разных более или менее обособленных направлениях и превращениях этого жанра» («Новый мир», 1965, № 1).

«Фактором поворотного значения» в нашей литературе, обращенной к сельской тематике, назвал «Районные будни» Твардовский и в некрологе «Памяти Валентина Овечкина». «Пожалуй, ни одно из произведений «крупных» жанров, по выходе в свет этого очерка, не могло бы сравниться с ним ни читательской почтой, ни количеством отзывов в печати». По мысли главы «Нового мира», очерки его друга послужили «благотворным образцом... для целой плеяды талантливых мастеров этого жанра, с тех пор приобретавшего в нашей литературе все большее — и часто предпочтительное — внимание читателей» («Новый мир», 1968, № 1).

Впрочем, это уже, кажется, ссылка на авторитеты — не лучший метод доказательств. Другое дело — пока еще действующий принцип историзма. А он, историзм, сразу же атакует вопросом: да как они в год «Экономических проблем социализма в СССР», в месяц, когда одобряется доклад Маленкова на XIX съезде (зерновая проблема решена!), смогли протащить про «борзовщину», внедрить ее в круг жизни — и при этом уцелеть? Это само по себе уникально. Ведь обыденное сознание ставит Овечкина вслед за сентябрьским Пленумом Никиты Хрущева: партия поставила задачи, нацелила — публицистика откликнулась! Нет, оттепель началась до крестьянских морозов.

Редакция «Нового мира» могла камуфлировать «Районные будни» под еще одно произведение за (не против, отнюдь нет, а за) погектарное обложение. За справедливый сталинский принцип, какой был спущен в низы постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 8 июля 1939 года, где ликвидировались «крупнейшие недостатки в системе обязательных поставок государству мяса и шерсти колхозами, заключавшиеся в том, что передовые колхозы ставились в невыгодное положение, уничтожалась их заинтересованность в росте общественного животноводства и, наоборот, оказывались в льготном положении отсталые колхозы, не имеющие животноводческих ферм или не дающие роста поголовья скота в фермах». Борьба с привыкшим жить за чужой счет «придурком» — она вдохновила и послевоенное (в феврале 1947 года) постановление «О мерах подъема сельского хозяйства...»: прежний, порочный принцип исчисления обязательных поставок, оказывается, «уничтожал заинтересованность колхозов», «приводил к стремлению колхозов добиваться уменьшенных планов... поощрял сокращение посевных площадей, не стимулировал освоения новых земель», теперь исчисление принципиально новое, погектарное, и «только противники колхозного строя, не понимающие прогрессивного значения для сельского хозяйства закона об исчислении обязательных поставок с каждого гектара пашни... могут тянуть партию назад к отмененной, как не отвечающей интересам развития сельского хозяйства, политике поставок...».

Вот Борзов-то и тянет назад! Он у Демьяна Опёнкина хлеб выгребает, нарушая погектарную справедливость, он и есть, значит, противник колхозного строя!

«Когда б вы знали, из какого сора...» Зарегламентировано все, как в образцовом лагере ГУЛАГа, колхозы Сталинградской, Курской, Южно-Казахстанской, Крымской, Воронежской областей обязаны осуществить сдачу зерна в госпоставки в следующие календарные сроки: в июле — 10 процентов, в августе — 45, в сентябре — 40, в октябре — 5, в ноябре — ноль. Установить на время уборки и до выполнения плана заготовок отчисления зерна для выдачи авансом колхозникам — 15 процентов от фактически сданного на государственные заготовительные пункты. Залогом всему — председатель, его свобода. Популярнейший анекдот. «Председатель, как живешь?» — «Как картошка: зимой не съедят, так весной посадят». Пьет тот колхозный актив впрямь как перед смертным часом: репрессии — явление бытовое, житейское, оказаться за решеткой у любого преда — всегда сотня причин, и на заседаниях бюро райкома обыкновенно дежурят наряды милиции. Ехал с отчетом, ан — снят с работы, исключен из партии, арестован. Когда на реальной районной партконференции 1952 года во Льгове (Курская область) один выступающий призвал голосовать за неудовлетворительную оценку работы райкома на том основании, что «в большинстве колхозов района — от 4 до 6 центнеров зерновых и от 40 до 80 центнеров сахарной свеклы. На трудодни выдали крохи. Личная материальная заинтересованность колхозников подорвана. Во многих колхозах ряд лет люди получают по 200 — 300 граммов хлеба на трудодень... Отношение колхозников к общественному труду во многих колхозах — как к трудгужповинности», — то он вполне мог бы получить хороший срок за очернение колхозного строя, антисоветскую агитацию, антипартийную пропаганду. Говорил так, вы поняли, Овечкин.

В лагере как в лагере. Шаг влево, шаг вправо — уже точно побег. Бригадира Терещенко судили за то, что посеял 30 гектаров по-своему («На переднем крае»). Основанием для тюрьмы могут быть самые фантастические зигзаги и варианты: за один центнер сырых однолетних корней кок-сагыза в счет обязательных поставок можно принять по эквиваленту только 10 центнеров картофеля, а за центнер сырых двухлетних корней кок-сагыза можно уже 14 центнеров. Понять. Понять иные нормативные акты было, наверно, мудро, и Андрею Январевичу Вышинскому, хотя регламентировали они жизнь бедной безответной бабы: «Если птичнице в течение года начислено трудов дней меньше, чем причитается за продукцию, ей производится дополнительное начисление трудовых дней в размере разницы между начисленными трудовыми днями в течение года и трудовыми днями, причитающимися за продукцию. Если птичнице в течение года начислено трудовых дней больше, чем причитается за полученную продукцию, то трудовые дни, начисленные сверх причитающихся, с нее списываются, но не более 25 процентов трудовых дней от начисленных ей за год». Угадали знакомую реплику? Правильно — И. Сталин, Председатель Совета Министров СССР, постановление от 19 апреля 1948 года.

Раз это лагерь, то и летописание будет лагерное, и странно уличать летописца в том, что и карандаш у него лагерный и тетрадка, да и в образе мыслей есть следы не всегда раскованного мышления, а наоборот, следы ненавистной, но реальной жизни. Говоря языком И. В. Сталина, тут мы имеем два пути. Путь первый — выявить, в чем этот субъект с карандашом опасен и вреден лагерю, чем он этот лагерь разрушает, какие взрывные мысли внушил он в целом спокойному лагерному контингенту. И путь второй — в чем поведение этого подсудимого традиционно, законопослушно, где он проявил себя осмотрительным членом коллектива, осторожным лагерником — и заслуживает, следовательно, снисхождения. Рацеи эти вот к чему.

«Думал об этом Овечкин или нет, но, на мой взгляд, он был и остается самым осмотрительным из лучших очеркистов-деревенщиков», — неожиданно узнаем мы от Анатолия Стреляного. «Даже солиднейший Иван Васильев иной раз не так тщательно заботится о конструктивности каждого своего слова, как это делал порывистый автор «Районных будней». Книга, кажется, теперь, создавалась не только Овечкиным-писателем, но и Овечкиным-редактором. Это было образцовое, братское сотрудничество. Начиная работу в 1952 году, еще при жизни Сталина, они, писатель и редактор, молчаливо условились: книгу делаем не в стол, а для печати. Умный издатель должен будет сразу увидеть, что неприятностей она ему не причинит».

«И как сбалансирован положительный Мартынов! Он сталкивается со множеством безобразий, трудностей и проблем, но ни в одном случае не проходит мимо, во все вникает, все меняет к лучшему. Чего не может решить сам, о том пишет докладные и письма в область и в Москву...» «Писание докладных, особенно таких, которые касаются крупнейших вопросов внутренней политики, — неотъемлемая часть служебной деятельности Мартынова. Он хочет, чтобы и другие его знали».

Что верно, то верно: хочет, разбойник, кипит, подталкивает, учит этому — и не только Мартынов, альтер эго автора, а и прямо-таки лично Овечкин. Даже счет ведет удачам своего егозенья (или надо — егоженья?!), ибо вон как пишет подлинному издателю Твардовскому (которому — вопреки прогнозу — причинил-таки неприятности)¹:

«...в общем-то весь цикл «Районные будни» составили листов 25, и писал я его и печатал 4 года... И все разделы, между прочим, были написаны и опубликованы до принятия решений по поднятым в них вопросам» (письмо от 1 января 1965 года).

Вопросы-то эти «поднятые» повлияли, и благотворно, на жизнь миллионов рабочих. Ибо касались хлеба насущного, заработка, самочувствия (юридического) вчерашнего полного, а сегодня на половину, на одну четверть (или сколько?) крепостного колхозника. Насчет категоричного — «у Мартынова нет ни одной ошибочной или спорной мысли. Он все понимает правильно и обо всем судит зрело», — то сам автор «Районных будней» насмешки будущего критика не разделяет и исповедуется другому издателю, тому же «Трифонычу»:

«Злюсь, нервничаю по-прежнему — от сознания того, что, видимо, все же глав-

¹ А. Т. Твардовский был снят с поста редактора «Нового мира» 11 августа 1954 года. В резолюции президиума правления Союза писателей позиции редакции определены как «противоречащие указаниям партии, содержащимся в ее решениях... о журналах „Звезда“ и „Ленинград“».

ного не сказал. Шуму очерки наделали много, но шум-то — литературный. Ось земная от этого ни на полградуса не сдвинулась². В колхозах все по-прежнему.

Все же как-то идеалистически решал я вопросы вытягивания отстающих колхозов. Есть гениальный секретарь райкома, есть гениальный председатель колхоза — дело пойдет на лад. Но откуда же набраться их — гениев? Нужны, видимо, такие организационные формы, при которых допустимо пребывание на руководящих постах и среднеспособных товарищей, не только гениев» (письмо от 11 января 1953 года).

Однако же — глядите! — и нас вслед за автором юбилейной статьи стянуло в колею полного уравнения Мартынова с Овечкиным! Типичная ошибка неполной средней школы, а как прилипчива, проклятая. Условимся втайне: давая разоблачителю Овечкина высказаться (гласность же!), сами-то все-таки будем хотя бы про себя повторять: нет, ребята, все не так, автор «Районных будней» — одно, рупор его и положительный герой — иное.

«То, что Мартынов такой писатель, очень удобно: он придает книге конструктивность и тем спасает ее — ведь поднимаемые проблемы получают хотя бы литературное разрешение», — пишет Стреляный.

«Чтобы все истории и картины благополучно и правильно завершались, Овечкин следит сутубо. В книге нет ни одного безвыходного положения, ни одного не совсем проясненного пути решения, ни одной нотки сомнения, что все «думы народа» будут вот-вот услышаны и, стало быть, исполнятся. Не в этом ли заключалась основная работа над книгой, думается иной раз. Суровые начала — творчество, крик души, а благополучные концовки и «рессоры», которые все понимающие критики и братья-писатели будут великодушно и для пользы дела не замечать тридцать лет, — работа.

Слава богу, спала с глаз пелена. А за великодушие — спасибо особое. Нет, не за наше мнимое великодушие, с каким мы, «братья-писатели», поддерживали «розовый туман» овечкинских «сказочных концов» («...можно было бы и улыбнуться той или иной из его хитростей», — пишет незлой критик).

Особая благодарность — за мягкость приговора. Выведенный на чистую воду сочинитель «Районных будней» сознательно, как выяснилось, губил в себе художника, чтобы «истину царям с улыбкой говорить». Он намеренно егозил путем не только сказок, но и под-сказок. Да-да, это не наша напраслина, это А. Стреляного собственный каламбур:

«„Районные будни“ — это не только сказка, но и под-сказка: делайте так, как у меня написано. как мой Мартынов, как превзошедший его умом и силой посланец Москвы Долгушин! Делайте, и все будет хорошо...

Смотрите: раз это делают в книге, раз это напечатано, значит, точно так можете действовать и вы... Мартынова, который годами егозит, подает в обком и в Москву сигналы и прожекты и продолжает оставаться первым секретарем райкома, — в жизни такого Мартынова не было, нет и неизвестно, когда он будет...

Спозна наделенный гордою волей (это уже прямо об Овечкине. — Ю. Ч.), ради этого он и пренебрегал славой художника, безусловно верного натуре: выдавал желаемое за действительное, сглаживал острые углы...

Как ответила действительность на уступки Овечкина, на это бережное к себе отношение? Она ответила черной неблагодарностью.

И поделом — не егозил! Резал бы правду-матку, подсказывая «больше публике», как Ефим Дорож, — было бы не в пример крепче. Впрочем, финальное заключение все-таки в пользу книги «с розовым туманом» (юбилей же):

«Как ни странно, как это ни противоречит тому азбучному положению, что сила литературы именно в ее художественности, правдивости несущих те или иные идеи образов и картин, «Районные будни» все еще могут быть кому-то полезны и своими слабостями — тем людям полезны, которые ждут от писателей не только сказок, но и подсказок».

А есть святое искусство, а есть высокая художественность!

Сообщив, что продрозверстка продолжается, автор отпускает юбиляра с миром.

И чего самому-то егозить, неужто Овечкина убудет? Что, у тебя некая

² А. Стреляный экологически предусмотрительно замечает в своей статье: «А и то сказать: как болтало бы ее, как трясло и швыряло бы туда-сюда, если бы она могла сдвигаться от наших писаний!» Резонно, только Овечкин, в сущности, пишет о войне с крепостным правом.

монополия на правду? Ныне всякое говорить дозволено. Да и на что нам глаза-то открыли? Что Овечкин был партийцем и в очищении партии видел корень раскабления села — какая ж это тайна? Или что из подлинного Борзова выкроил расторопного хозяйственника — чему удивиться, если на глазах современников из человека, придумавшего адскую шутку «ежовы рукавицы», вышел докладчик XX съезда?

Отыщем и уважим правду, которая содержится — не может же не содержаться, народ-то истинно литературный! — и в самых ошеломляющих, непривычных страницах. Постараемся понять, почему так пишут, какие нынче чувства порождает многострадальная тень Овечкина?

Довлеет днєви злоба его. А всякому времени — его собственная смелость. Своему ученику Лю Биньяню, нынє одному из знаменитых писателей Китая, Овечкин писал: «Больше всего я ценю в человеке смелость». Уважим старинное право художника судиться тем судом, какой он сам над собой признает, и тем законом, какой он поставил себе.

Поэгозим относительно смелости Овечкина: была ли она? откуда? как уживалась с трусостью времени? какую службу сослужила своему хозяину, буде находилась в нем?

Маленькая притча — для признания в позиции. Один сибиряк отвоевал, чєство протянул солдатскую лямку, но этого ему было мало. Он мечтал, оказывается, лично застрелить Гитлера! Уже после войны нафантазировал историю о своем геройстве — и удивлял очень артистичной, «художественной» сказкой приезжих. Близкие срамили его, он мучился — но ничего поделаться с собою не мог. Мир его знал победителем Гитлера, но ему была нужна иная смелость. Он стыдился и орал «миль пардон, мадам». Такой мудрый рассказ Шукшина...

От Овечкина, кажется, требуют убить Гитлера.

III

Овечкин родился в том же городе, что и Чехов, родился в год смерти Чехова. Правда, родину, то есть образ защищаемой земли, сделал себе уже пожившим, отвоевавшим человеком: Среднерусскую возвышенность, Курск, Лггов. Никаких диалектных следов юга в его речи не было, никаких «Евгениев Онехиных», как и следов «цэпэша» в его письме: безупречная, староуниверситетская грамотность, хотя форменного образования — только четыре класса городского технического училища.

В революцию он Ванька Жуков — подмастерье сапожника. Любовался лично шпшитыми сапогами едва ли не столько, сколько и шил их. «С 13-ти лет, в общем, я сам себя кормил, несмотря на обилие родственников». В приазовской деревне Ефремовке, куда его увезла сестра, на семнадцатом году жизни заведует избой-читальней, учительствует — уже лидер, сельский активист. В сентябре 1925 года комсомольцы Ефремовки создают в пустующем имении Деркачева (постройки и 800 гектаров госфондовой земли) коммуны, председателем ее избран Валентин Овечкин.

До конца жизни те юношеские годы вольного хлебопашества видятся ему праведными, чистыми, достойнейшими. «...Если бы я не ударился в эту дурацкую литературу и вернулся в свою бывшую коммуны (сейчас — колхоз) хотя бы сразу после войны, и меня избрали бы там опять председателем — и наш колхоз сейчас ничем не уступал бы «Политотделу»... — ревниво пишет он из Ташкента Твардовскому. — Когда меня выдвинули из коммуны на партийную работу, то отрывали от коммуны с мясом, и эта рана осталась у меня не зажившей на всю жизнь. Много лет тоска по коммуны спать не давала, бумажки, канцелярии всякие, столы, за которыми приходилось в этих канцеляриях штаны протирать, просто ненавидел, все это мне казалось каким-то эрзацем жизни, никому не нужным, и в первую очередь не нужным самим канцеляристам... Настоящая моя жизнь осталась там, в нашей коммуны: земля, посевы, работа на полях, рост хозяйства, строительство, новый общественный уклад, рост людей» (письмо от 8 сентября 1966 года).

Это, считай, на смертном одре, когда обыкновенно уже не его зят. И поскольку нам тут тона реабилитации уже не миновать, то лучше уже напрямую.

Да, Овечкин сам был из родоначальников практической коллективизации, но не сталинской, а добровольной. И не чаяновской, язловской, а все-таки идейной, коммунистической. В пору, когда еще и рубль был «ве бумажный, настоящий», и план оставался таковым же, вырабатывался за обеденным общим столом при керосиновой

лампе: как косим, где продаем, что купим. Это то народное коммунарство, что выдвинет даровитейших самородков-хозяев — Макара Посмитного, Акима Горшкова, отчасти Терентия Мальцева, каковых потом (подчас во зло им самим, иногда силком) делали ходячими доказательствами живучести колхозов: богатеет же Макар? собирает же хлеб Мальцев? Значит, у вас только ярдовизации, организации, специализации или еще чего-то не хватает. Но и Аким, и Макар, и Терентий были добровольцами, в основе «доколхозных» их колхозов и коммун лежал здравый крестьянский выбор. Валентин Овечкин никоим образом не мог бы да и не стал бы никогда силком затащить в свою коммуноу! Ни один из «отцов-основателей» не был тем, за кого его выдавала андреевско-маленковская, потом и хрущевская сельхозпропаганда, и почти с каждым властям приходилось свариться! Аким Васильевич Горшков держал свой мещерский «Большевик» на промыслах, на метлах да древесном угле, а агитировали Акимом за травополье или за кукурузу. Мальцева в отличие от Горшкова в тюрьму не сажали, но он сам ложился на пашню, отстаивая срок сева. Посмитный — самый фольклорный, наверно, хозяин из той истолченной в сталинской ступе плеяды (кстати сказать, очень выпукло и выразительно описан в одной из книг А. Стреляного) — держал в Одессе продуктовые ларьки, пек хлеб, давил масло, то есть осповал очень денежный «агрпроом» задолго до кристаллизации этого зыбкого слова... Овечкин — доброволец по стилю жизни, и сельское его начало было именно добровольческим. Отчего и тяга в «Районных буднях» — куда-то назад, в какие-то ушедшие золотые колхозные времена.

«Клейменный, но не раб».

«Дон-Кихот», «донкихотство» — слова эти уйдут с Овечкиным и в среднеазиатское изгнание, как и фигурка каслинского литья. Насколько, задумавшись, это плохо — донкихотство не в красноземах Ламанчи, а на черных полях Льгова — Ольгова? «Дон-Кихот — благородный и умный человек, который весь, со всем жаром энергической души предался любимой идее...» — читаем мы у Белинского. «...Более всего бывают Дон-Кихотами люди с пламенным воображением, любящею душою, благородным сердцем, даже с сильною волею и с умом, но без рассудка и такта действительности».

— Защита, не отклоняйтесь! Прошу вас быть ближе к предмету гражданского иска.

Простите. Добровольность и самораспоряжение своей судьбой в ответ на обстоятельства смертные, трагические, не оставляющие, кажется, выхода для чести и непятнанного достоинства, — вот он, Овечкин.

Попробуем с сегодняшним, отрытым из-под слоя лжи социальным материалом осветить хотя бы три поступка Валентина Владимировича в моменты истории, когда, как говорилось прежде, «все равно война...».

На Северном Кавказе осенью 1932 — зимой 1933 года организуется массовый голод. То есть не прямо голод или геноцид, это не объявлялось, но организуются такие хлебозаготовки, какие непременно покосили бы (и покосили) тысячи тысяч. Овечкин в эту пору — секретарь Федоровского сельпарколлектива (1931), затем — заворг и член бюро Курганинского райкома партии на Кубани. Урожай 1932-го убран и отобран. Мало, взять все — семена и харчи! Пленум ЦК только что по инициативе товарища Сталина одобрил решения Политбюро по разгрому кулацких организаций (Северный Кавказ, Украина) и «жесткие меры к джекоммунистам с партбилетом в кармане». Как раз та критика, когда в жертву приносятся тысячи сельских и районных партийцев, вчерашних мужиков и казаков, пытающихся не допустить народной трагедии. Юридически голод подкреплён законом ЦИК и СНК СССР об охране социалистической собственности: с 7 августа 1932 года за припрятанное в кармане колхозное зерно выносятся высшая мера наказания — расстрел с заменой при смягчающих обстоятельствах лагерным сроком не ниже 10 лет. Амнистия по таким делам была запрещена, закон не отличал злостного расхитителя от укравшего горсть зерен в предсмертном состоянии. Непосредственным автором закона был Сталин, осуществлять заготовки на Украину был послан Молотов, на Северный Кавказ — Каганович. Вместе с А. М. Кагановичем в его комиссии были: М. Ф. Шкирятов, глава ОГПУ Г. Г. Ягода, начальник политуправления Красной Армии Я. Б. Гамарник, А. В. Косарев, тогда генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ и член оргбюро ЦК партии, М. А. Чернов и Т. А. Юркин. В речи на Пленуме в январе 1933 года И. В. Сталин обвинил в неудачах хлебозаготовок не крестьян, нет: «...ответственность падает целиком на ком-

мунистов». Чуть позже, в мае 1933-го, в ответе писателю Шолохову вождь вернулся, однако, к идее «саботажа» со стороны хлеборобов, к мотиву «войны» хлеборобов против рабочих и Красной Армии. «Тот факт, что саботаж был тихий и внешне безобидный (без крови) — этот факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы по сути дела вели «тихую войну» с Советской властью. Войну на измор, дорогой тов. Шолохов».

На войне как на войне. В 1932 году средняя урожайность в колхозах выросла по сравнению с предыдущим годом на 0,5 процента и составила в среднем 6,8 центнера с гектара. На Северном Кавказе было собрано по 3,9 центнера. Однако же и в тридцать первом году было вывезено за рубеж громадное (по сравнению с собранным) количество хлеба (5,2 миллиона тонн!), и в 1932 году продажа зерна за границу продолжалась. Вывоз в 1,8 миллиона тонн при валовом сборе 1932 года в 69,8 миллиона тонн — будто и немного, однако же был вывезен хлебный паек (спасение жизни) минимум семи миллионов человек. Крестьян. Потому что города, 40 миллионов горожан, продуктовые карточки имели.

Изобретены и введены в действие региональные, так сказать, репрессии. Станица, уличенная в «злостном саботаже», заносилась на черную доску. Это значило: немедленное прекращение государственной и кооперативной торговли в станице с вывозом всех наличных товаров, полное запрещение торговли колхозникам и единоличникам, прекращение кредитования и досрочное взыскание кредитов, проведение чистки «от чуждых и враждебных элементов», изъятие органами ОГПУ организаторов саботажа хлебозаготовок.

Оккупированная территория! По отношению к трем «чернодосочным» станицам — Полтавской, Медведовской и Урупской — применено поголовное выселение (вместе и с партиейками, с активом, с колхозными передовиками) на Север. Выселено 45 тысяч человек, их дома заселены колхозниками с Севера и демобилизованными красноармейцами. Казачьи станицы лишились своих названий: Урупская стала Советской, Полтавская — Красноармейской... Дивизии Гамарника брошены против «уважаемых хлеборобов», за рекой Лабой действуют банды из бежавших от красноармейских цепей. Война.

4 ноября 1932 года в постановлении «О ходе хлебозаготовок по районам Кубани» комиссия Кагановича потребовала «уничтожить сопротивление части сельских коммунистов, ставших фактически проводниками саботажа». На черную доску занесены станицы Темиргоевская и Ново-Рождественская. (Всего таких обреченных, объявленных вне закона за эту страшную зиму оказалось 15 станиц. При среднем населении в 15 тысяч душ — представляете Хиросиму?) В Темиргоевской исключены из партии комиссией Шкирятова 7 коммунистов — «проводники кулацкой политики», «агенты классового врага». Секретарем станпарткома вместо арестованного направлен Овечкин В. В., член бюро Курганинского РК ВКП(б). Станица под арестом, следующий шаг — поголовное выселение. Овечкин никогда так не был близок к местам, где уже маялась семья Твардовских.

В конце 1932 года Сталин беседует с секретарем ЦК КП(б) Украины Р. Тереховым, который докладывает о массовом голоде крестьян и преподает образец психологии стойкого партийца в этой войне:

— Нам говорили, что вы, товарищ Терехов, хороший оратор, оказывается, вы хороший рассказчик — сочинили такую сказку о голоде, думали нас запугать, но — не выйдете! Не лучше ли вам оставить посты секретаря обкома и ЦК КПУ и пойти работать в Союз писателей: будете сказки писать, а дураки будут читать³.

В эту зиму в сорока верстах от Харькова умер голодной смертью мой дед, садовод Максим Васильевич. Мне шел четвертый год, и мать, уходя в очереди, боялась оставлять меня одного, могли украсть и съесть: людоедство в станице Пашковской под Краснодаром было обыденным явлением. Такие-то сказки.

Овечкин, начинающий писатель двадцати восьми лет, взял на себя ответственность за судьбы большой казачьей станицы, когда всякое помышление о противодействии Сталину, любое проявление сочувствия «саботажникам» было самоубийственно. Он уже через неделю вступил в преступный сговор с четырьмя председателями станичных колхозов, распорядился ночью секретно вывезти хлеб, уже оформленный в заготовленное и только из-за распутицы не вывезенный на станцию в Усть-Лабинск, и

³ «Правда», 26 мая 1964 года.

тайным путем раздавал его всю зиму ослабевшим семьям. В потайной столовой (черная доска, жизнь должна замереть!) готовили похлебку, развозили дистрофикам... Израсходовали десятки тысяч пудов, и любая ревизия, одно письмо от обиженного станичника означали бы вышку секретарю станпарткома.

«Но никто не наступал!» — с восторгом и удивлением вспоминал он об этом осенью шестидесятого⁴.

— Защита, объясните суду, какое отношение излагаемое вами имеет к литературному вопросу? Вы говорите — «война». На чьей стороне стоял ваш подзащитный? Делит ли он вместе с упомянутыми вами Кагановичем, Шкирятовым, Сталиным и их соучастниками ответ за последствия жестокой политики против крестьян, определенной вами как война?

Не мной — товарищем Сталиным... Я утверждаю, что Овечкин, став на время первым лицом (условно — Борзовым), проявил образцовую смелость. Он рисковал единственным, что у него было, — собственной жизнью ради спасения незнакомых ему прежде людей. В пьесе об Овечкине («Говори!», автор А. Буравский, поставлена не так давно Московским театром имени Ермоловой) утверждается, что альтер эго Овечкина — Мартынов, сделавшись первым, оказался практически такой же сволочью, как и Борзов. Значит, нравственность диктуется местом в иерархии. Человек будто бы меняется от того, какой трусости (послушания, готовности на все) от него требуют. Весь жизненный пример Овечкина говорит, что это неправда. Во всяком случае не абсолютная, повсеместная правда. Объективно подзащитный был на стороне «уважаемых хлеборобов». Формально же — да, разумеется, он делит ответственность с Кагановичем, Молотовым и другими, пишет: «мы виноваты, местный партийный актив», почему, собственно, и привлечен к разбирательству пятьдесят три года спустя. Но делит несколько не больше, чем дворянин Радищев — за крепостное право, богатый помещик Тургенев — за торговлю людьми, статский генерал Салтыков — за бюрократическое правление в России. Литераторы формируются из аномалий. Это так же верно, как то, что биология стоит на мутациях.

— Хорошо, продолжайте.

Добровольцем, штатским человеком, «по вольному найму» Овечкин прошел трагические полгода Отечественной войны — керченский разгром. С 20 декабря 1941 по 8 июня 1942 года он был в штатной должности писателя редакции газеты Крымского фронта «Вперед, к победе!»⁵. Гражданский наблюдатель военных проявлений общества, разве что не в белой шляпе, а в кубанке с алым верхом. И не при курганной батарее, а на перешейке между двумя морями, Азовским и Черным, где на узине в шестнадцать километров в чудовищной тесноте дивизий, лошадей, старых орудий, повозок, в обмотках на ногах и в трикотажных подшлемниках от обморожения были сгружены две армии — целый фронт.

Конечно, и здесь бессмысленное уничтожение 176 тысяч молодых (в основном) мужчин не готовилось заранее, а стало итогом системы отношений в обществе (и в частности, в армии), но судят «по делам их». Тайгуч, Ак-Мамай, Аджимушкай, 44-я армия, 51-я армия, воздушная армада Рихтгоффена, Еникале, танки немецкого прорыва и смертные четыре километра Босфора Киммергийского... Сейчас, спустя чуть ли не полвека, в Керчи, многолюдном городе, проживает на 3 тысячи человек меньше, чем погибло там в разгром 1942 года. В Хиросиме погибло сколько, 140 тысяч? Значит, на 36 тысяч меньше, если считать и наших пленных, — из тех к миру вернулось немного. Но почему, почему, должен же быть ответ и на это?

Целью особого Крымского фронта было соединиться с сопровпяляющимся Севастополем, отрезать — превосходящими силами — группировки Манштейна и через Перекоп выйти в тыл всей гитлеровской южной махине, предотвратить таким образом «дранг» на Кавказ, Сталинград, на Волгу. Ради этого можно было послать две армии!

⁴ «После всех ужасов, пережитых на черной доске, весной Темиргоевская получила переходящее Красное знамя — за весенний сев» (В. Овечкин — А. Хомякову, письмо 1966 года). Раз знамя, значит, было кому работать, люди держались на ногах, могли копать поля (да-да, лопатами) и носить на плечах семена из Курганинской. Смерть прошла мимо.

⁵ До этого, 7 ноября 1941 года, письмо А. Михалевичу: «Все мои просьбы перед военкоматом не действуют — не требуется моя категория и должность... Но я все-таки нашел другой выход. Скоро все же уйду в армию. Уже живу в казарме, имею коня, обмундирование... Теперь уже уверен — скоро Суду на фронте».

Но в начале марта из Москвы прилетел Мехлис. Он был сталинский военачальник образца тридцать седьмого года: краткость приказа, Халхин-Гол в прошлом, трибуналы, расстрелы на месте. Генерала Толбухина снял с поста начальника штаба фронта, уличив в создании оборонительных рубежей в глубине полуострова. Закапываются, трусы! Лезут в землю, предатели, когда фронт должен знать одно — «вперед, за Сталина, урал!». Вместо траншей — вот «Боевая крымская», новая песня Сельвинского, армейский комиссар Мехлис сам слушал ее в Керчи пять раз подряд, приказал созвать фронтовой семинар полковых запевал, приказал певцу Лапшину объездить все части, чтобы бойцы разучили с голоса, приказал отпечатать текст и разбросать листовки с самолетов над лесами горного Крыма, где — без разграбленных продуктовых баз — гибли от голода партизаны. Автор песни Сельвинский был награжден наручными часами. Лично.

— Кровавая собака Мехлис...

Это у Валентина Владимировича было титулованием. Как бы ни сжат был рассказ, а — «тут нас вызвал на совещание кровавая собака Мехлис...» — титул произносился всегда полностью, без сокращений. «Маленьким Мехлисом» называл он редактора фронтовой газеты — самодура, дундука, хама и, в сущности, большого труса. После прорыва фронта он бежал первый, на глаза у всех.

Это он всегда считал чудом: перегруженный «Дуглас» с пьяными (именно так, он подчеркивал) летчиками дотянул до плавней Кубани и шлепнулся в камыши... Отыскав своего режиссерского редактора, Овечкин попросил отчислить его. Почему? Ответил, как позволяла дисциплина и война:

— Я не уважаю вас ни как коммуниста, ни как человека. Ну что, достаточно?

— Можете идти, — коротко ответил «маленький Мехлис».

Первое крупное произведение Валентина Овечкина «С фронтовым приветом» есть всенародный разговор власть имущего (не «от имени и по поручению», не с голоса Верховного, а свой собственный) о том, кому принадлежит победа и как ею надо будет воспользоваться (до взятия Берлина было еще далеко). Это мы вынесли невыносимое, мы прошли сквозь крошечный ад — и мы, значит, и должны жить меж собой иначе, мы не смеем повторять старых ошибок. Мы своих родичей-хлебоборобов освободили, так как же теперь, опять их будет закабалить «дурак», который хуже «людоеда»?

«Почему немцы не распустили колхоз? Они же и в листовках своих всегда агитировали против советской коллективизации... Никогда бы не дали они украинскому мужику земли... А пока, на период военного времени, им очень удобно было сохранить колхозную форму, как и раньше. Только все произведенное нами попадало не в колхозные амбары, а в Германию»⁶. Это публикация военного 1943-го, до главного постулата «Районных будней» — «Не для упрощения лишь хлебозаготовок создали мы колхозы, а для самих крестьян...» — еще девять лет, а «Фронтовой привет» стоит на середине пути.

— Какое отношение эта повесть имеет к вашему положению о личной смелости подзащитного?

А такое, что победу одержал Сталин — и делиться ею он не имел ни малейшего желания. Наши еще дрались в Восточной Пруссии, а на восток уже шли первые эшелоны с лишенными званий и погон. В этих эшелонах были и Солженицын, и Копелев, и тысячи других, а потом пошла — сразу за Урал! — волна репатрированных: Верховный предостерегал от вольнодумств Колымоку. И тогда многое понималось четче, совсем не так, как сегодня. Повесть «С фронтовым приветом», предложенная издательству в Киеве, понималась буквально так (перевод только исказит ярость рецензента):

«Писанина т. Овечкина явище, ще лежать по-за межами художні літератури. Це наскризь шкідлива (вредная) и ворожа (вражеская) писанина, незалежно від намірів автора. Вона підлягає забороні (запрещению) і не може бути задрукована (напечатана)»...

Жена Радова, Софья Петровна, смеясь, вспоминала при Овечкине, что в это самое время он кушал сыновей... в чемодане. Житье демобилизованного капитана в Киеве было нищенским: делал саночки и продавал на базаре, продал пайковую вод-

⁶ Газета 51-й армии «Сын Отечества», 23 сентября 1943 года.

ку, чтобы сварить борщ детям и отнести передачу в больницу опасно больной жене. Но ни слова в тексте повести не убрал, не изменил!

— Ясно. Третья «смелость» — конечно, «Районные будни»?

Нет. Существует книга... Двадцать два года — с 1946 по 1968 год — создавался уникальный «Роман в письмах», столь редкий в наш телефонный век. Переписка Твардовского и Овечкина! Для Валентина Владимировича «Трифоныч» несомненно был главным человеком, для Твардовского курский и ташкентский адресат — главным корреспондентом.

Роман в письмах? Кто помнит сарказм Твардовского, его иронию по поводу «эпистолярного жанра», не рискнет без оглядки так красиво именовать терпкую, всегда точную и деловую переписку двух твердых, чутких к фальши, насмешливых людей, у которых — при всей оторванности общения — всегда присутствовал некто третий. Им была литература: дело их, и страсть, и кислород, и смысла жизни.

Этот третий заставляет Твардовского писать жесткие, нелюбимые слова о драмах Овечкина (я, пишущий это, намеренно умалчиваю об этой всегдашней склонности...), но та же рука вовсе не из любезности шлет Овечкину радостные слова: «Вы — человек такой редкий среди литераторов — стоите у самой жизни с Вашим чутким ухом и зорким глазом, взыскательным умом и добрым сердцем!» Что говорить про Овечкина... Членство в редколлегии «Нового мира» многие годы давало чувство причастности к общественным сдвигам времени. А из-за натуры и работы Овечкина сам талант огромного поэта напрямую столкнулся с сельскими буднями, с реальностями многострадальной деревни.

У романа в письмах своя фабула, синусоида: от живого, горячего начала («Работа безусловно интересная, ценная. Будем печатать» — весь сказ о «Районных буднях») до жизненного праздника, поездки вдвоем на Смоленщину, когда время гонит кислород, все полны надежд, Никита Сергеевич полон сил и решительности... А потом — снятие Твардовского (первое, в 1954 году) как сигнал, что Хрущев отнюдь не прост, не однозначен... И превращение — с краешка 50-х — «Нового мира» в журнал небывалой литературы, в орган преобразования общества. В муках и поражениях, каждой книжкой обдирая бока, пролеживая в цензурах по три-четыре месяца, «Новый мир» опережал время — и спасал нашу с вами честь. Все это в переписке — до печальных прощальных писем, до телеграммы сына: «Сегодня 27 января, 1968 года. — Ю. Ч.) скоропостижно скончался Валентин Владимирович Овечкин».

Но вот что заметят потом, после: Твардовскому плохо — и просьбы приехать «хоть душу отвести, а то очень уж тяжело» (это когда снимали в первый раз). Твардовскому скверно на душе — и он срывает зло, язвит, насмешничает, ерничает, словно вымещает на надежном приятеле и боль от травли и предчувствие конца.

«Мне очень трудно, — письмо в Ташкент 22 марта 1966 года, — исчерпывающим образом отвечать на твой очень хорошие письма, носящие все же характер подробного вопросника к имеющему быть ответу о проделанной журналом работе за определенный период. Твой интерес понятен и ценен для нас, но это слишком большая нагрузка — всю нашу каждодневную «круговерть — то ли жизнь, то ли смерть» представить всякий раз в связанном виде...»

После такого что — горшок об горшок? Да и за что? И кому — подранку, инфарктнику, изгою? Нет! В том и штука, что — нет, просто тому ровно, давно и неумолимо идущему, которому хоть матюки шли — все топает, хоть проколи его издевкой — оглянется и идет. Точно, сил больше нет! Пишешь и пишешь, а оно все так же, и злость твоя незаметным образом перекидывается на своего, твердящего со святостью провинциала все одно и то же, одно и то же.

«По своим бьешь». И не больше. Хоть бы обложил издадала.

Не знаю, как назвать этот род смелости (выдержкой? снисходительностью? мужеством?), когда ты для своих должен служить и в час жалобы, и в момент отчаянья, когда все уже трин-трава и моральные тормоза отказывают. Люди, человеки... Да, но талантливые какие! Ведь «архангельского мужика» буквально из ничего, из озонного воздуха соткать и пустить его по перекресткам перестройки — что это вам, баран наччал? «Купцов» и «кавалеристов» выдумать — легко ли? Да и пьеска. «Говори!», мол, а говорить-то давно не умеем, или поклоны бьем, или желчью, кислотой... А направляющий на то и направляющий, чтобы было на ком сорвать отчаянье, безнадегу и азарт...

СЕРГЕЙ КЛЫЧКОВ: ПЕРЕПИСКА, СОЧИНЕНИЯ, МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ

На склоне лет поэтесса Н. Павлович вспоминала: «Сергей Клычков.. был похож на стилизованного былинного гобра молодца. И говорил он непросто, медленно, с запиночкой, разузуривая свою речь прибаутками; казалось, он подчеркивает, что вот я вроде и темный человек, балакирь, а науку превзошел и Клюева, Белого, Блока и Брюсова знаю, в московском кружке «Свободная эстетика» бывал.

Но чувствовалось в нем и что-то простодушное, а главное, уж очень любил он слово как таковое, и вышивал он свою речь этими народными словами, любуясь ими, а не собой, потому что был он поэтом по всему своему душевному складу, даже тогда, когда писал свою прозу»¹.

Эти точные слова о Клычкове прозвучали в печати более чем через сорок лет после его гибели. Самому же поэту приходилось читать о себе нечто совсем в другом роде, например: «Клычков скалил глаза и ненавидел многопудовым завистливым чувством»². Или: «Называл он себя крестьянским поэтом; был красив, чернобров и статен; старательно окал, любил побеседовать о разных там яровых и озимых... В разговоре его была смесь самоуничижения и наглости... З не ходил, не смотрел, а все как-то похаживал да поглядывал, то смиренная, то наливаясь злостью. Не смеялся, а ухмылялся... изнывал от зависти...»³

Авторы двух последних высказываний были очень разными людьми. Это, естественно, отразилось и в их мемуарных сочинениях — демонстративно цинический субъективизм Мариенгофа далек от мучительного стремления Ходасевича к объективности... Но, вспоминая Клычкова, оба они, по существу, единодушны в своей оценке (вплоть до дословных совпадений). Ничего удивительного в этом нет. Ведь Клычков, общаясь с теми, кто, подобно Мариенгофу и Ходасевичу, не был близок ему духом и сердцем, оставался перед ними (по его же слову) «с душой, укрытой на запор». Вот почему и Мариенгоф и Ходасевич (в отличие от Н. Павлович) восприняли, да и то односторонне, лишь внешнюю сторону поведения Клычкова, которая на самом деле нередко служила ему своеобразной самозащитой...

С людьми же, дорогими его сердцу, Клычков становился доверчивым и открытым. К сожалению, его переписка с ними известна лишь в малой ее части. Ниже публикуются некоторые из писем поэта и его друзей и знакомых. Рожденные «неоскорбляемой частью души» (М. Пришвин), они раскрывают самую суть внутреннего мира Клычкова, воссоздают его удивительно чистый духовный облик, ясно ощущавшийся теми, кто хорошо знал поэта (вспомним есенинское: «Клычков.. сама простота, чистота и мягкость...»).

Публикация и составление Н. В. КЛЫЧКОВОЙ. Вступительная статья, подготовка текстов и комментарии С. И. СУББОТИНА.

¹ Н. Павлович, «Страницы памяти» («День поэзии 1979». М. 1979, стр. 37—38).

² А. Мариенгоф. Роман без вранья. Л. 1927, стр. 145.

³ В. Ходасевич, «Есенин» («Современные записки». Париж. 1926, т. XXVII, стр. 295—296). Клычков понял, кто в этом очерке был скрыт под литерой З (см. его статью «О зайце, зажигающем спички» — «Литературная газета», 30 сентября 1929 года).

Эти качества подверглись серьезным испытаниям после 1925 года, в начале которого вышел в свет первый роман Клычкова «Сахарный немец». Автору был прислан о нем ряд заинтересованных отзывов⁴. Откликнулся на него и М. Горький, сразу же по прочтении направив Клычкову письмо, где, наряду с разбором достоинств и недостатков романа, были и такие ободряющие строки: «...размер, широта Вашего плана — подкупает. <...> Мне кажется, я знаю, чего это стоит Вам, и скажу прямо: меня радует, что вопреки всему русский писатель остается тем же смелым и независимым духовно, каким он был. Здесь эмигрантская критика злобно визжит, говоря о вас, работающих в России. Здесь никто не понимает, как трудна ваша жизнь и в какой героической позиции стоите вы. Говоря «вы», я, разумеется, исключаю ряд людей, которые пишут не то, что могли бы, а лишь о том, что им приказано. <...> Я очень жду продолжения!»⁵ В этих словах отразилось непосредственное, чисто эмоциональное впечатление Горького от «Сахарного немца». Позднее, по зрелом размышлении, он писал нескольким своим адресатам о романе Клычкова уже по-другому. Так, в недавно опубликованном письме Горького Н. И. Бухарину от 13 июля 1925 года читаем: «Резолюция ЦК «О политике партии в области художественной литературы» — превосходная и мудрая вещь, дорогой Николай Иванович! Нет сомнения, что этот умный подзатыльник сильно толкнет вперед наше словесное искусство. Молодежь осмелеет в своем отрицании старого быта <...> и с большей энергией начнет искать и создавать «героя», — человека, в совершенстве воплощающего в себе инстинкты и дух массы, влекомой историей к жизни по истине новой. <...>

Очень хорошо, что «Прожектор» (журнал, руководимый Н. И. Бухариным. — С. С.) <...> издает рассказы <Пантелеймона> Романова о деревне. Это — весьма хорошие рассказы, особенно если противопоставить их возрождающемуся сентиментализму народничества, столь ярко выраженному в «Сахарном немец» поэта Клычкова и в гекзаметрах Рагимова «Деревня». Надо бы, дорогой товарищ, Вам или Троцкому указать писателям-рабочим на тот факт, что рядом с их работой уже возникает работа писателей-крестьян и что здесь возможен, — даже, пожалуй, неизбежен конфликт двух «направлений». Всякая «цензура» тут была бы лишь вредна и лишь заострила бы идеологию мужикопоклонников и деревнелюбов, но критика — и нещадная — этой идеологии должна быть дана теперь же. <...>

...Своевременно и мудро приласкать несколько — молодых, воодушевить их, как это и сделано в резолюции ЦК. Город и деревня должны встать — и <ближе> — лоб в лоб. Писатель-рабочий обязан понять это»⁶.

Отсюда явствует, что появление в печати «Сахарного немца» (а также книги П. Рагимова «Деревня») стало для Горького своего рода сигналом «крестьянской опасности» для пролетарской литературы. И он, у которого, по его собственным словам, «всегда была тревога... за его (рабочего класса. — С. С.) судьбу»⁷, предложил Бухарину как одному из идеологов («Надо бы, дорогой товарищ, Вам или Троцкому указать писателям-рабочим...») такую программу действий: идеология «мужикопоклонников и деревнелюбов» должна быть подвергнута «нещадной критике», а «город и деревня должны встать... лоб в лоб» (по крайней мере в литературе).

Нельзя не признать, что эта программа (хотя и не тотчас же, а спустя год с небольшим⁸) стала воплощаться в печати с завидной последовательностью. И практически сразу «умные подзатыльники» (М. Горький) сменились в полемике ударами «по загорбу... полюном» (С. Клычков) — камertonом для большинства писавших тогда о крестьянской литературе критиков, именовавших себя марксистами, стали бухаринские

⁴ См., например, письмо С. Городецкого, опубликованное С. Блиновым в его обзоре «Печаль зримая, печаль вещая. О поэте Сергее Клычкове» («Встречи с прошлым». Выпуск 6. М. 1988, стр. 184).

⁵ М. Niqueux, «Une lettre inédite de Gor'kij a S. Klyčkov» («Revue des Etudes slaves». Paris. 1931, vol. LIII, № 2, p. 258). В отечественной публикации этого письма («Литературное обозрение», 1987, № 5, стр. 110—111) цитируемое место почти целиком опущено.

⁶ «Известия ЦК КПСС», 1989, № 1, стр. 246—247.

⁷ Из письма Горького И. И. Скворцову-Степанову от 15 октября 1927 года («Известия ЦК КПСС», 1989, № 1, стр. 248).

⁸ Среди причин отсрочки «нещадной критики» писателей-крестьян можно, думается, назвать гибель Есенина в декабре 1925 года, всколыхнувшую тогда все слои нашего общества.

«Злые заметки» (1927), без сомнения, написанные вполне в духе горьковских пожеланий⁹ их автору...

Достаточно перелистать комплекты журнала «Революция и культура», одним из редакторов которого был Н. И. Бухарин, чтобы убедиться в том, какой брани (другое слово подобрать трудно) на его страницах уостаивались писатели, отнесенные (по Горькому) к «возрождающемуся сентиментализму народничества». Вскоре в среде, близкой к этому журналу, определились и специалисты по конкретным именам.

Таким специалистом по Клычкову стал сотрудник Коммунистической академии О. Бескин. Со рвением исполняя «социальный заказ», в своих статьях он обвешивал Клычкова ярлыками¹⁰ (из которых название одной из статей — «Бард кулацкой деревни» — было, пожалуй, самым «невинным»).

В то время Клычкову еще давали отвечать своим хулителям в печати — в 1929—1930 годах «Литературная газета» публикует статьи поэта «О зайце, зажигающем спички» и «Свирепый недуг», в которых он, полемизируя с Бескиным и другими, пытается «быть услышанным». Однако если читать их вместе с ответами «оппонентов», помещавшимися тут же, возникает ощущение, что газета печатала статьи Клычкова лишь затем, чтобы получить на него свежий «компрометирующий материал», — слушать поэта, а тем более вслушиваться в то, что он говорил, никто из его противников и не собирался...

А между тем как современно звучат и сейчас строки из статьи «Свирепый недуг» («Литературная газета» от 21 апреля 1930 года):

«...всем, выигавшим в нашем социалистическом будущем огни фабричные трубы да страстное соитие железа и бетона, хочется сказать: когда в лесу вместо деревьев будут петь различных сортов паровозы, испуская из толок нежнейший аромат первосортного кокса, когда русский мужик будет отдыхать в обнимку вместо бабы с трактором, когда, одним словом, вместо травы по произволению экс-индустриализаторов с библиографической страницы будут расти трех- и большедюймовые гвозди и шурупы, тогда это... не будет глупо, пока же, увь: не умно!

Самым торжественным, самым прекрасным праздником при социализме будет праздник... древонасаждения! Праздник Любви и Труда! Любовь к зверю, птице и... человеку!

Если мы разучились, так природа сама научит нас и беречь ее, и любить, ибо лгать в ней трудно, а разбойничать преступно, так же как и в искусстве!»

Вскоре после опубликования этой статьи Клычков начинает свои «Неспешные записи», основная часть которых была сделана, когда он находился на пути в Сочи, где он отдыхал в июне 1930 года. Большинство этих заметок — раздумья мировоззренческого характера, иногда соседствующие с конкретными наблюдениями из жизни. Главная их тема — писатель и современное ему общество, которое входило тогда в эпоху регламентируемой жизни.

Драматически звучит одна из мыслей поэта: «В наше время особенно очевиден <но неосуществимы> три вещи: подвиг, — потому что смешон, жертва, — потому что бессмысленна, борьба, — потому что невозможна. На этом основании халтура имеет какое-то очень большое оправдание...» Младшая современница Клычкова Лидия Гинзбург недавно опубликовала сходные размышления, записанные ею в начале 30-х годов: «Становится все яснее: писать для печати нельзя — можно только халтурить. Несомненно только две вещи: бескорыстное творчество и халтура. Во всяком случае ни то, ни другое не унизительно. <...> Халтура имеет перед поденной работой то преимущество, что она оставляет голову относительно свободной. Не хочу быть больше животным, которое 10 часов в день пишет не очень хорошие книги»¹¹. Эти два независимых свидетельства современников убедительно демонстрируют, как настойчиво понуждался в то время деятель литературы «смирять себя, становясь на горло собственной песне», для исполнения так называемого социального заказа (сформулированного, заметим, отнюдь не социумом). Однако сам Клычков найти в халтуре отдушину не мог («...по

⁹ Адресуясь к тому же Горькому, Пришвин писал, что эта, по его словам, «хулиганская статья о Есенине» причинила ему «горечь и возмущение и унижение» (письмо от 2 февраля 1927 года — «Литературное наследство». М. 1963, т. 70, стр. 341).

¹⁰ См. об этом: А. И. Михайлов, «Творческий путь Сергея Клычкова и революция» («Русская литература», 1988, № 4, стр. 36—38).

¹¹ Лидия Гинзбург, «Выбор темы. Из записей 1920—1930-х годов» («Нева», 1988, № 12, стр. 151 и 152.).

заказу, неискренне он ничего не писал», — скажет о нем после его ареста летом 1937 года В. Н. Горбачева)...

В январе 1930 года вышел в свет сборник стихов поэта «В гостях у журавлей». К тому времени усилиями Бескина и уже с ним Клычков был уже причислен к «кулацким писателям», так что по этой превосходной книге лирики был немедленно дан залп из многих стволов самого разного калибра (достаточно привести название одной из рецензий — «Кулацкие журавли»). После этого оригинальные стихи Клычкова в печать больше не появлялись, он был вынужден работать как переводчик.

И все же муза поэта, хоть и не часто («Где ж ты, мое страдание, счастье, страда, беда?!»), посещала его... В семейном архиве Клычковых¹² сохранились его стихи последних лет жизни, часть из которых наряду с «Неспешными записями» обнаруживает ныне.

В эти годы самым близким Клычкову человеком стала Варвара Николаевна Горбачева — его жена с октября 1930 года. Об этой женщине, разделявшей с поэтом обрушившиеся на него невзгоды вплоть до его изъятия в никуда, мы уже писали в связи с публикацией в «Новом мире» (1988, № 8) писем Н. А. Клюева из Сибири, агрессатором которых она была. Кроме этих писем В. Н. Горбачева сберегла и свои дневниковые записи 30-х годов, и более поздние мемуарные заметки о том времени — они дошли до наших дней.

В. Н. Горбачева обладала несомненным писательским даром. Со страниц ее записок зримо предстают люди, с которыми ей довелось встречаться в те годы: Николай Клюев и Осип Мандельштам, Сергей Городецкий и Павел Васильев, многие другие, известные и неизвестные, — и, конечно, Сергей Клычков... Впечатляет не только мастерство автора в создании их портретных характеристик, но и тот удивительный такт, с которым В. Н. Горбачева повествует о порой сложных коллизиях, возникавших между ее героями (или между ними и обществом). Не скрывая собственного отношения и к людям (см., скажем, ее заметки о Н. Клюеве и П. Васильеве), и к коллизиям между ними, она при этом далека от дидактики и лобового морализаторства: стремление к объективности было скорее всего органически присущим ей свойством... В ее записях не могла не отразиться и та — определяющая — черта ее личности, о которой очень точно сказал в своем стихотворном экспромте поэт Пимен Карпов:

Красота в походке плавной
У Варвары Николаевны
Арбачевой — не в чести.
Но она — товарищ славный
У Варвары — козырь главный:
Все понять и все простить¹³.

Записи В. Н. Горбачевой также предлагаются телерь читательскому вниманию.

Большинство публикуемых материалов находится в АК; в дальнейшем особо оговаривается лишь местонахождение источников, находящихся на государственном хранении. Конъектуры и купюры в текстах обозначены угловыми скобками, недописанные части слов в материалах, печатающихся с автографов Клычкова, восстановлены и помещены в квадратные скобки. Рукопись В. Н. Горбачевой потребовала лишь незначительной текстологической подготовки — соответствующие поправки внесены без специальных оговорок.

Что касается цикла Клычкова «Заклятие смерти», то в нем было по крайней мере десять стихотворений, но два из них, шедшие по замыслу автора под номерами IV и VIII, в АК не сохранились. В связи с этим сохранившиеся тексты (с авторскими номерами I, II, III, V, VI, VII, IX и X) перенумерованы по порядку и публикуются по авторской машинописи под заголовком «Из цикла „Заклятие смерти“». В книге С. Клычкова «Стихотворения» (Paris. «Ymca-Press», 1985), составленной французским исследователем его творчества М. Никё, были помещены (вне цикла) стихотворения «Сколько хочешь плачь и сетуй...», «Ой, как ветер в поле воет...» и «Как свеча, горит холодный...», а также — как самостоятельный текст — вторая половина стихотворения «Все те же у родного дома...» (в грубой редакции). Остальные произведения цикла, а также стихи, в него не вошедшие, публикуются впервые.

¹² Далее сокращенно — АК.

¹³ ЦГАЛИ. ф. 1368, оп. 1, ед. хр. 23, л. 15 об. Варвара Арбачева — литературный псевдоним В. Н. Горбачевой.

Сердечно благодарю дочь поэта Евгению Сергеевну Клычкову за всестороннюю помощь в работе.

1. С. Клычков — П. Журову¹

«Весна 1913 года»²

Дорогой, милый Жур!

Вот получил весточку от тебя о тебе — радуюсь ей, приятны мне разлягистые буквы, друг на дружке — куча мала! — оглашенный ты и в почерке! Вспоминаю сейчас (ночь сейчас, скоро за тетеревами пойду), думаю сейчас о тебе: родня мы с тобой, сродники, из одного источника течет в нас горячая, цыганская кровь, с одного хмеля беспорядок в голове и сладкий туман... в сердце! Вот прочел твое письмо, дремлет: уж мы далёко, и меч княжий нашли, уж я лапой медвежьей комаров отгоняю, а ты, как с зонтиком, с большим подсолнухом, кабы не загореть,— ворота Китежские растворяют, гостей принимают со звоном... много кой-чего нашли, подобрали в дорожке... да и повидать кой-кого... видели! И синее далёко... высоко приморский берег, <где>³ никто до нас не бывал, где и нам побывать... не суждено!

Ох, хорошо-то на нем отдохнуть, поспать всласть, пощуриться на утренней зорьке, волну морскую поспросить да повыпытывать — не знает ли, где спрятана наша молодецкая долюшка! Не знает, не ведает, играла малютка на песочке, на камушках, замела ее волна в пучину синюю — никто не скажет про малютку — про наше счастьеце небывалое, где оно? Где оно? Вольно же было самому о том... позабыть!

Что со мной? Страдаю я! Как никогда страдаю! Нет слов говорить об этом, недостаточно, да я уверен, их сам Бог не создал на наш пай: будьте благословенны, звери бессловесные! Моченьки нет! Истомилась душа в вечной погоне за легким, перелетным голоском, размотался весь: похож я на старую мельницу, колеса в паутине, а на князьке сова сидит, нахохлилась, смотрит сердито, а ночью по-собачьи лает: мечта моя, совушка сонная! Скука! Скука-матушка! А вестимо, сказка — не попадья: в колокол звонить не погонит! Скука-матушка! Хорошо расписал ты, хорошо, хорошо, только едва ли сбыточно для меня: 50 рублёв не 50 воробьев, из чужого кармана их не скоро выпугаешь! У Коненкова⁴ сейчас: худой тын, да под тыном алтын, а у Альционы⁵, у кумы моей, все повыщипал: разве долго! Я же и раньше думал, по зиме, да и сейчас подумываю, что у меня будет дело складнее, если я пойду так, «налегке», «с полными сотами в сердце» и без копейки в штанах! А пойду, непременно пойду, ибо и моя душа грезит о раздольице, коему и можно только поведать свою бессловесную душущу! Душа моя, душенька — нежная моя полюбовница! Пойду, пойду, милая, натешись вдоволь кукушечьим, печальным криком — плачем сестрицы-Дубравны! Помолоюсь со старцами у чудесной волны, — не услышу ли тихого, любимого, девичьего смеха, не увижу ли на дне дорогих очей! Где они?! Где они? Во полоне душа-Царевна! Не найти, не сыскать: что ни заглядывай по улицам в чужие, не родные очи, не увидишь в них синих, далеких куполов, не услышишь в чужой речи сладкого Китежского звона! Ой ли, маяга и блаженство! Все спуталось, все умерло, вместе с самим Богом, все слилось в одном помышлении: Любовь! Где ты? Али тебя и совсем не бывало, сиди, моя сонная совушка, на своем князьке, не слезай: гром убьет!

Так-то, милый друг! Думаю, что не заставишь меня долго ждать ответа, так как и мне хотелось бы тебя иметь, как никого, своим попутчиком!

Лучше бы, если бы ты закатил ко мне в деревеньку: ведь поедешь через Москву?
Твой Сергей.

ЦГАЛИ, ф. 2862, оп 1, ед. хр. 39, лл 33—33 об.

¹ Журов Петр Алексеевич (1885—1987) — педагог и литератор, ближайший друг молодости Клычкова. См. о нем: Ст. Лесневский, «Вспоминая Блока. Встреча с человеком, которому исполнилось сто лет» («Литературная газета», 28 августа 1985 года, стр. 5).

² Датировано адресатом. После даты его же помета: «Перед Китежем», то есть перед совместным пешим путешествием Журова и Клычкова к озеру Светлояр, состоявшимся летом 1913 года и описанным в воспоминаниях Журова «Две встречи с молодым Клычковым» («Русская литература», 1971, № 2, стр. 149).

³ В оригинале это слово пропущено.

⁴ Коненков Сергей Тимофеевич (1874—1971) — скульптор, впоследствии народный художник СССР, один из близких друзей поэта.

⁵ «Альциона» — книгоиздательство, выпустившее книги Клычкова «Песни» (1911) и «Потаенный сад» (1913). *

2. С. Коненков — С. Клычкову

<Нью-Йорк, 29 апреля 1925 года.>

Дорогой Серж!

Я получил напечатанное машинкой письмо за подписью твоей. По слогу оно напомнило тебя, однако же было досадно. Твою книжку «Сахарный немец» также получил и прочел ее не отрываясь. Многое в ней мне очень и очень понравилось. Я как бы даже присутствовал при описании Дубны, дубрав, междулесья и Абысов¹, которые слышат гук лешего за три версты.

Кроме того, в этой книжке видна твоя душа, и ты сам в ней такой живой и правдивый. Вот все, что я могу тебе вкратце сказать по поводу книжки.

Еще же могу тебе сказать, что я тебя люблю, как и прежде, и даже больше, и желаю тебе провидеть и увидеть дальнейшее, что сокрыто, и поведать о том и другим сердцам.

Насчет издания «Сах[арного] нем[ца]» здесь, в Нью-Йорке, кажется, туговато, но все же я попытаюсь. Выйдет или нет, не знаю². Во всяком случае в недалеком будущем напишу тебе о результате.

Пиши больше о себе, только не на машине.

Если встретишься с Сережей Есениным, передай ему наш привет. Я читал, что он, «задрав штаны, решил бежать за комсомолом»³. Для быстроты советую вмазать скипидару.

Ну, будь здоров, не забывай. Привет от Маргариточки⁴.

Любящий тебя
С. Коненков.

29 апр[еля] [19]25 г[ода]. Нью-Йорк.
34 West 10 str[ee]t]. New York, N.-Y.

¹ Эпизодические персонажи романа «Сахарный немец».

² Роман при жизни автора за рубежом не публиковался.

³ Из стихотворения С. Есенина «Русь уходящая».

⁴ Коненкова (урожденная Воронцова) Маргарита Ивановна — жена С. Т. Коненкова.

3. П. Журов — С. Клычкову

<Москва, 12 июня 1925 года¹.>

12/VI.

Москва.

Милый Сережа.

Приеду к Тебе только тогда, как закончу статью². Отделано пока 2 первые главы, остальные 5 в хаотическом виде. Может, будет еще одна, последняя, без которой вся комната — как без образа.

Измая, искромсал Твоего Немца, а живьем все взять не могу. А надо взять живьем, с бою да и посадить с собой пить пиво.

Знаешь ли, в чем слабое место романа, — в мотивировке убийства, этот дрючок³ прямо хоть выбрось. Смысл поединка с немцем гораздо важнее, да он, смысл-то, Зайчику⁴ только тускло брезжится, оттого вся грусть его, да и не могло быть иначе, такие вещи, ясно, людям не даются.

В последней главе Ты вообще натягиваешь⁵, — да ведь и тяга-то велика: чистое золото.

О Романа Твоем всего не скажешь, не скажешь даже в личной беседе, даже на ухо. Ты понимаешь сам. Роман же вообще замечательный и поразительный, и мне даже жаль, что Ты его у же написал.

Берегись, берегись, Сережа, мне больше всего за Тебя страшно.

Уж очень отчетлив, и удивителен, и грозен очерченный Тобой путь. Розмашь и походка у Тебя богатырские, сила огромная, руки крылатые. Ты вошел в зрелое и зорькое (так. — С. С.) мужество (это Зайчик-то!)⁶. Но так уж издавна: где герой, там и костер. Где Ахилл, там и стрела Париса.

Твой круг еще не замкнулся, опасность еще далека. Но с какой-то вышки уже следит за Тобой неусыпный враг. Прими обреченность, тогда довершишь до конца.

Серезжа! Если хочешь идти на Китеж, будь 27—28/VI в Плесе в Заречье, в доме Марьяных,— но без тебя я не пойду. Вообще, может, лучше в этом году не ходить.

Кланяюсь старикам, сестре и мудрой Твоей Вариде<?>⁷, которая одна, поверь мне, в трудный и острый час Тебя уберечь сможет, если захочет.

Петр.

¹ Год отправки письма устанавливается по содержанию.

² Большая статья о творчестве Клычкова «Лесная тропа», написанная тогда Журовым (автограф см.: ЦГАЛИ, ф. 2862, оп. 1, ед. хр. 9), не опубликована.

³ Здесь в смысле: «нечто выпирающее».

⁴ Главный герой романа «Сахарный немец».

⁵ Клычков, видимо, прислушался к мнению своего друга — во втором издании «Сахарного немца» (1929) его финал получил другую редакцию.

⁶ Здесь автор романа отождествляется с его героем.

⁷ Прочтение имени предположительно; о ком идет речь, не установлено.

4. И. Павлов¹ — С. Клычкову

<Талдом>, ноября 30 дня 1928 <года>.

Сергей Антонович!

Очень тронут той внимательностью о перемене адреса в полученной мною вашей открытке.<...>

Читаю о вас в «На посту» № 20 — 21, где С. Клычков упоминается в связи со статьей Полонского в «Известиях» от 7/XI-28². Трескучий и неумный журнал «На посту», он мне напоминает тургеневского дурака, который всех ругал, и все думали, что раз он всех называет дураками, то как же он умен! Но после убедились, что он сам идиот!.. Перечитывал «Князя мира» и, сравнив (а ведь вещи узнаются по сравнению), удивляюсь все больше и больше вашему познанию мужика перед иными писателями. Мне лично понятно это знание мужика, я знаю истоки и корни этого познания, но вот описать их не умею. Быть вам лет через 50 классиком мужиком, но, увы, вам этот титул будет уже не нужен! Судьба Розанова³ ждет вас... Такие же интимы у вас, как и у него, те же глубокие истоки, древние, как лес, река, небо, и пока сегодняшним днем не ценимые... Живет сейчас треск, буффонада, текущий момент <...>. Век иной, Сергей Антонович! Любовно глажу книгу и завидую вам крепко! Ведь и я порой вижу и чувствую много, а вот слов не нахожу. <...> Когда выйдет новое издание «Сахарного немца»? Был у меня т. Мещеряков — издатель «Кустарного края»⁴, брал читать «Балакиря» — зря, говорит, талант пропадает, что б, говорит, ему познакомиться с нашим советским петухом.<...>

Сын учится, жена скучает по вас так, как и я.

Думаю, со снегом и вы приедете за новыми настроениями в наш город.<...>

Как идет работа с 3-й частью — «Олень с золотыми рогами» или «Буркан»⁵? Жду ее слышать хотя бы в рукописи, подозреваю я, что много уже сделано, но чтобы не слезить, то Сергей Антонович молчит пока.

Остаюсь искренне любящий вас за талант в слове и бесталанность в жизни

И. Павлов.

¹ И. Павлов — талдомский знакомый Клычкова, библиофил.

² В указанном номере журнала «На литературном посту» была опубликована статья В. Сутырина «Полполосы полноценной пошлости», содержащая полемику с основными положениями статьи В. Полонского «Октябрь и художественная литература» («Известия», 7 ноября 1928 года).

³ Розанов Василий Васильевич (1856—1919).

⁴ Талдомская районная газета.

⁵ Роман «Буркан — сын мужичий» в книгах «Чертухинский балакирь» (1928) и «Князь мира» (1928) был объявлен как третья часть трилогии «Сорочье царство». Из того, что И. Павлов дает роману и другое название («Олень с золотыми рогами»), явствует, что он был посвящен в некоторые творческие замыслы Клычкова.

К сожалению, не сохранилось (или пока не найдено) ни рукописи, ни машинописи этого романа. В АК уцелела лишь одна (!) страница прозы Клычкова (машинопись с авторской правкой), представляющая собой, очевидно, начало романа (судя по заголовкам). Хотя там упоминается имя Буркан, название романа другое — «Хвала милостыне». Приводим эту чудом сохранившуюся страницу:

«ХВАЛА МИЛОСТЫНЕ

Глава первая

Страшный нищий

Повремени, душа, не уходи из тела: мне тяжело ложиться под перед, всего не договоривши до конца.

Найдутся ль только в робости посылные слова, достанет ли у сердца чистоты и силы, любви и веры у души, чтоб горький пепел времени обратить в пригодную для пищи соль!

Ведь претворял же в соль золу во время мора угодник Прохор назло богатым и наперекор царям...

На то и был угодник этот Божий Прохор, всю жизнь свою он на людей проскал, и в праздники и в будни, во всем году вкушал он только лебеду!

Так: ин для подвига родится, а больше-то родятся на беду!

Не с ситником в зубах, с бедой бок о бок всю жизнь прокряхтели и мы!

Вот только б дотянуть до нужной точки, по доброму здоровью и удаче свести начала и концы, а там... чего же проще: тулуп из трех тесинок с веселым запахом сосны, под голову побольше свежих стружек да место на погосте, где посуше, чтоб кости все же слышали тепло!

Как сирота, перед божницей свечка!

В глухом беспамятье и будто в горести последнего раздумья, скатившись с неба, установился месяц у крыльца!

Нет никого в избе, один лучек играет на подоконнице, как внук; повремени, душа, вот я на крюк замкну калитку, начал по-столоверски положу, и мы по совести и без единой лжи-заминки начнем беседу!

Отбушевала Русь в своих неоглядимых просторах, в которых разлита без меры и счета суровая мужицкая плоть... жестока она и тверда, словно камень, а дух, опочивший над нею, одет в голубиные крылья, в бело-розовый пух лебедей, пролетающих каждой весной под облаками!

Отошло наше время — отшумела река, топор улегся на отдых под лавку, нож по рукоятку ушел в каравай, не знавший доселе безмена, и заря за околицей под неприличные песни девчат, смешанные с разухабистой матерщиной, для старого глаза все та же под матицей тучи нищая сумна на боку с красной заплатой!

Ох, нищая сторонушка!..

У нас теперь про Буркана редко кто помнит...

Разве какая старуха, выметая сор поутру из избы, вдруг ни с того ни с сего вместо молитвы загугнит старинную песню, которую разбойники сложили про своего атамана, да и то по старости лет добрую половину смысла и слов под ноги на пол уронит, а глупый равнодушный голик смешает их вместе с домашней трухой и выметет в темные сени.. никто их уж там не подымет. внучата и внуки на старинов скалят зубы, и что им до старины, в которой у нас лапты завязали!»

5. С. Клычков — В. Горбачевой

<Кисловодск, третья декада ноября 1931 года!.>

Дорогая Варенька!

Сегодня получил от тебя открытку и очень рад, что ты вполне весела и здорова. Кланяюсь Катерине Федоровне, Мусе, Анке, Сереже, Нюрке и Нанке! ²

Всем желаю быть бодрыми и здоровыми!

Между прочим, как это ни странно, сам я с каждым днем становлюсь бодрее: лечение впрок! Удивительная штука — эти нарзанные ванны!

Мне снятся очень странные сны. Их очень трудно рассказать, потому что они очень бессвязны, но в главном все они сводятся к одному: тот, кому они снятся, так изголодался, так истосковался по творчеству, что слова в этих снах стоят перед ним диковинными цветами, стоит только нагнуться и сорвать, набрать их полную охапку, и глядишь, как веноч из овздуванчиков ³. само лезет четверостишие, то ли лепестки, то ли буквы — ничего не поймешь, а когда просыпаешься, то еще в носу (может быть, оттого, что бросил курить и сплю с открытой форточкой) ходит некий аромат лепестково-буквенный, без смысла и содержания, полный, однако, радостного воспоминания и не менее радостной надежды.

Будем надеяться!

Твой Сережа.

Пришли «Гегеля» из «Вечерки»⁴ (вырезку). Мне приятно видеть, как печатают тебя, когда сам я лишен этого удовольствия.

С. К.

¹ Датируется по сопоставлению с содержанием предшествующего письма С. Клычкова В. Н. Горбачевой из Кисловодска от 17 ноября (АК). Год установлен по публикации статьи адресата в «Вечерней Москве», упоминаемой ниже (см. прим. 4).

² Первые три имени этого перечня принадлежат матери и родным сестрам В. Н. Горбачевой (урожденной Казаковой) — Марии Николаевне (1905—1952) и Анне Николаевне (р. 1903).

³ Так в оригинале.

⁴ Речь идет о статье В. Н. Горбачевой (В. Клычкова, «Гегель в России». — «Вечерняя Москва», 20 ноября 1931 года).

НЕСПЕШНЫЕ ЗАПИСИ

* * *

Книги — как блудницы: одни нежатся в шелковых и сафьянных альковах переплетов, другие, как римские волчицы около термы, щеголяют в чем мать родила. Ни того, ни другого я не люблю, хотя сам лично в книгах стараюсь не лгать, не отказывая себе в этом удовольствии в жизни.

* * *

Всё — во благо!!

* * *

Всё!

* * *

Надо, надо терпеть!

* * *

В древности злокачественную коросту и паршу лечили, обмываясь собственной кровью. Современной литературе неплохо бы воскресить этот способ лечения. Не здесь ли тайна трагических обращений к т[оварищу] правительству, стихов, написанных кровью?¹

* * *

В училище Фидлера на уроке естественной истории во время объяснения учителем Кречетовичем классификации животных я со всей детской серьезностью спросил: к какому классу относится леший? Кречетович обомлел и не сразу ответил: дурак!² Недавно я его встретил: он профессор МГУ, он долго мне тряс руку и заставил, как и 30 лет назад, покраснеть, но уже от удовольствия, что он зачитывается «Ч[ертухинским] Б[алакирем]»... Кто дурак?.. Впрочем, он человек любезный и... хороший... внимательный... чуткий...

* * *

Несчастливая любовь только потому хуже счастливой, что она дольше не проходит³.

* * *

Некоторые люди — как теоремы: их можно доказывать только от противного. Таким людям несчастье в любви всегда помогает... Помогло ли мне? Не хочется думать, что я сделался писателем и у меня есть свой стиль только потому, что у меня были только чужие жены. Впрочем, хорошо заимствованный стиль — как отбитая жена: своя!

* * *

Чудно смотреть, когда женщина пишет стихи... Есть только два исключения: Сафо да Ахматова. Последняя даже больше.

* * *

Ничто так не обкрадывает меня, как хождение по советским учреждениям... Во благо ли это?

* * *

В наше время особенно очевиден <о неосуществимы>⁴ три вещи: подвиг,— потому что смешон, жертва,— потому что бессмысленна, борьба,— потому что невозможна. На этом основании халтура имеет какое-то очень большое оправдание...

* * *

Самая совершенная любовь — любовь Данте к Беатриче, Петрарки к Лауре... Дафнис и Хлоя уже не то... тут, если продолжить тропинку, по которой они совершают свои пасторальные прогулки, непременно упрутся в тупик, в котором благодушествовали Афанасий Петрович с Пульхерией Ивановной.

* * *

Наш путь — железная дорога,
И нет ни троп уж, ни дорог,
Где человек бы встретил Бога
И человека — Бог!

А пешком в деревню к себе не хожу все-таки!

* * *

На Пушкина был Фадюха Булгарин... Я не Пушкин, но и на меня есть Бескин⁵.

* * *

Бескин... Бальзак где-то говорит, что фамилия у людей не созря: она определяет или физическое уродство, или особенное духовное качество... По этой формуле Бескин — бес... черт... дьявол... Бес — моя основная философская тема: все имеет, выходит, предначертанную связь и зависимость.

* * *

Хорошо иметь деньги — их можно отдать!
Худо не иметь денег — их никто не даст!

* * *

Унижение для художника — плохой гонорар! На него ноги протянешь!

* * *

Искусство надо любить как женщину: когда оно изменит, не грех и в петлю влезть!

* * *

В пророчествах говорится о медном небе и железной земле — не имели ли пророки в виду индустриализацию?..

* * *

Отец про себя говорит: мученик, а не святой! За это, должно быть, его и раскулачили...

* * *

Великий русский язык — баба спрашивает:
— Почем «гляже»? (Драже.)
В одном вопросе все сказано: именно — гляже!

* * *

Есенин очень хорошо понимал, что люди, притом всякие люди, относятся к нему с любовью... понимал и отлично пользовался ею... Меня люди редко любят⁶, и я редко пользуюсь их ненавистью. А неприязнь можно использовать ничуть не хуже, если... не лучше. В равной же мере для художника и то и другое опасно: горб у него вырастает в двух случаях — когда чересчур часто по спинке глядят или чересчур усердно бьют стягом по хребтине. И даже трудно сказать, в каком случае он вырастает быстрее⁷.

* * *

Маяковский был не поэт, а верблюд, вдобавок двугорбый, да притом еще среди этих животных как полное исключение: горб помогает перейти пустыню!

* * *

Если бы художнику все разрешить — кончилось бы искусство. Чаще всего он находит свой стиль лишь в мучительных и страшных поисках преодоления препятствий. Так, хорошей скаковой лошади на пути к <финишу>⁸ ставят колючие рогатки; если она распорет о них брюхо и вывалит кишки — значит, плохая лошадь.

* * *

Раннее пробуждение поутру всегда приносит мне счастье. Может быть, это потому, что ни в какое другое время дня так не рвутся в душу воспоминания о девственности, о странной, гармоничной молодости мира. Даже фабричные гудки поутру неоскорбительны, а дальние завывания паровоза у неоткрытого семафора походят на пробный рассветный рев осла. Над городом тогда не висит безумное марево испарений от стремительного потока миллионов людей, над ними, спящими и бредящими, в этот час падают оросительные запахи откуда-то с неба вместе с лучами солнца...

* * *

Нет ничего страшнее, как потерять любовь.

* * *

Страшно потерять любовь.

* * *

Неужели действительно нет этого волшебного слова, по которому, замороженный, засыпает мир? Неужели и вправду нет Бога? Тогда обращается все в страшную бессмыслицу!

* * *

Ужасная штука — дома отдыха... Но мне, очевидно, поможет, потому что я отдыхаю от безделья.

* * *

Нет, работа не лошады! Как ни клещи себя, ничего не выходит... или выходит плохо! На сердце — клещи!

* * *

Как я завидую писателям, которые каждый день работают. Этак, попивши чаю утром, поцеловавши в щечку жену, счастливец садится за стол, кладет перед собой зоркие часы — и начинает... Спокойно, уверенно начинает творить. Каждое ремесло знает технику, очевидно, и тут развивается особая сноровка в голове, по-особому извиваются мозги под черепной коробкой, когда писатель, настоящий писатель, в твердо установленный час берется за перо. Гоголь где-то говорил, что надо писать каждый день два часа. Сам он едва ли следовал этому правилу, во-первых, за 12 лет до смерти ничего почти не написавши, во-вторых, если бы так Гоголь работал, то мы имели бы вдесятеро, надо думать, больше написанного им. Вернее всего, что Гоголь похвастал, скрылся за сентенцией, часто ощущал чувство пустоты, опустошенности, которая к концу его жизни была, в сущности, основным его чувством⁹. Нет — чудовищно неправдоподобно работать каждый день! Немыслимо, ибо человеческая душа не перпетуум-мобиле, в ней ямы и страшные темные закоулки, по которым еще при жизни человека слоняется скучающая пустоглазая смерть. Искусство есть наивысшая жизнь, борьба за него есть самая отчаянная борьба за жизнь со смертью; может, потому так и ликующ победитель: хвала вам, десяти Каменам! — но столь же и безотраден он, погружаясь на дно необходимого покоя: пора! Перо покоя просит! — покоя, в котором происходит чудесное заполнение, без срока и часа! Нет — иначе пушкинские стихи о поэте действительно белиберда, как, впрочем, теперешние словесные изуверы и утверждают! Однако какое бы это было счастье: работать каждый день!

* * *

Вареньке.

Со мною ты рядом
С доверчивым взглядом,
С любовью дочернею,—
Как солнце вечернее
Над гложущим садом!¹⁰

¹ Речь идет о предсмертном письме Маяковского и о стихотворении Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья...».

² Скорее всего именно этот эпизод имел в виду поэт, когда писал в автобиографии 1926 года: «...еще в сельской школе я уже пописывал стишки, больше про домовых и про леших, которые после одной истории в школе Фидлера тайно сжег в лежанке, о чем сейчас очень жалею, потому что теперь так не написать» (С. Клычков. Чертухинский балакирь. Романы. М. 1988, стр. 5).

⁸ Позднейшая помета Клычкова: «Варенька говорит, что это глупо».

⁴ В альбоме друга Клычкова — прозаика Г. В. Алексеева — есть почти аналогичная запись поэта от 4 августа 1930 года: «Три вещи в наше время неосуществимы: 1) подвиг, потому что бессмысленен; 2) борьба, потому что невозможна; 3) жертва, потому что... смешна. С. К.» (ЦГАЛИ, ф. 2524, оп. 1, ед. хр. 94, л. 54). Наша конъектура сделана в соответствии с этой записью: замена слова «очевидны», стоящего в исходном тексте, словами «очевидно неосуществимы» восполняет смысловый пробел.

⁶ Об Осиге Мартыновиче Бескине (1892—1969) см. вступительную статью.

⁶ Ср. с шуточной записью Клычкова «Фольклёрная философия» в альбоме А. И. Вьюркова: «Я долго думал, почему меня не любят люди (гл[авным] обр[азом] редакторы!). Это было для меня загадкой. Недавно я вспомнил: если наденешь носки наизнанку, тебя не будут любить. Посмотрел: черт возьми — носу всегда наизнанку из-за рассеянности и нерасчетливости. Больше не буду, но: будут ли любить?» (ЦГАЛИ, ф. 1452, оп. 1, ед. хр. 223, л. 25 об.).

⁷ В неоконченном письме Клычкова К. Е. Ворошилову (после 1934 года) читаем:

«Дорогой Климентий Ефремович! Я очень прошу извинить меня за беспокойство <...>. Дело у меня в следующем.

У нашего брата горб, мешающий расти, съедающий своего носителя, отрастает от двух причин: первый случай — это когда слишком ласково и без достаточных оснований глядят по головке, второй — когда слишком нерасчетливо, хотя, может, и не без оснований, бьют по загорбу. К 45-ти годам, когда я еще не совсем махнул рукой на свои творческие возможности (работа, сделанная мной по политотдельской кампании в издательстве «Советская литература», оказалась не хуже других, хотя я сам не придаю ей художественного значения по причине спешки и экзистенциальности), — к 45-ти годам у меня отросла за плечами порядочная кошелка по второй причине. С этой тяжелой ношей трудно стало пускаться в скитания по той белоснежной пустыне, которая называется листом писчей бумаги, — трудно стало писать! В сущности, в искусстве без препятствий никто никогда не обходился, и они мудро посылаются судьбой, очевидно, только для того, чтобы отважный скиталец не терял бодрости, веселости характера и уверенности в своих силах. Но... препятствие препятствию розь! Если, по мысли Герцена, искусство есть результат «меры и веса», то и тут должна быть соблюдаема некая пропорциональность. Например: нельзя бить по загорбу... поленом, как это делал со мной пять лет подряд (и продолжает) критик О. Бескин и „Литературная газета“». Здесь письмо обрывается (АК).

⁸ В оригинале — «старту». На наш взгляд, это оговорка.

⁹ На листе, следующем после этой записи, — замечание В. Н. Горбачевой, написанное гораздо позже (вероятно, уже после войны): «Близкий, самый «кровный» писатель — Гоголь. Драму жизни Гоголя переживал С. А. как свою».

¹⁰ На этом «Неспешные записи» обрываются. На следующей странице рукой В. Н. Горбачевой зафиксированы еще два «записанных высказывания С. К[лычкова]» (согласно ее помете). Поскольку из этих ее слов неясно, переписала ли Варвара Николаевна эти высказывания с автографа поэта либо воспроизвела их по памяти, — здесь они даются в примечании:

«Е[сли бы] Господь Бог привел меня в свой пресветлый рай, я бы сказал: „Господи, оставь за мной право, когда мне подскажет мое сердце, не соглашаться с тобой. Оставь мне свободу мою или отпусти меня на муку. Я не создан Тобой для словословий, ты знаешь, Господи“».

«Ориген был великий мыслитель. Он учил, что Господь Бог в веках простит и спасет ангела зла: сатану» (АК).

* *
*

Есть в этом мире некий
Водитель вышних сил,
Что движет к морю реки
И к солнцу хор светил.

Не знающий крайны
Пределов и дорог,
Он держит, полный тайны,
Луны ущербный рог.

У ног его пастуший
Кометы грозный кнут,
Пред ним моря и суши
Послушные текут.

И шаг его неслышим,
И лик его незрим,

Но мы живем и дышим
Дыханьем с ним одним.

И зорко звезды числим,
Как зерна в закрому,
Но скрыт он и немислим,
По правде, никому.

Мы числим и не верим,
Что в числах смысл и толк,
И снова рвем и мерим
Небесный синий шелк.

Но будет все понятно,
Будь мудр ты или глуп,
Когда проступят пятна
У мертвых глаз и губ.

И всяк его увидит,
Скрываясь под исподь,

Когда к земле отыдет
Земная наша плоть.

Январь 1930.

(Отдел рукописей Государственного литературного музея, ф. 49, оп. 2, ед. хр. 37.)

* * *

В поле холодно и сыро,
В небе вечный млечный сон,
И над миром, как секира,
Полумесяц занесен.

Смерть в такую ночь колдует,
Тени множа и кружа,
И неслышно ветер дует
К нам с иного рубежа.

И дрожу я и бледнею,
И темнеет голова,

Но черчу я перед нею
Заповедные слова.

Не страшусь я силы вражей,
Хоть пуглив я, как сурок,—
Вкруг меня стоят на страже
Золотые пики строк.

И когда по дальним лехам
Промелькнет косая тень,
Поневоле встретишь смехом
Напоенный солнцем день.

Зима 1930/31 г.

Из цикла «Заклятие смерти»

I

Не спится мне перед отъездом,
Не спит и тополь у окон:
Давно прочел он все по звездам,
Чего не знает он?..

По саду бегает русалка,
И листья падают с осин,
И облака плывут вразвалку
С поминок на помин...

И свет висит на частоколе,
Бери хоть в руки этот свет...
И вот: судьбы моей и доли
И не было и нет!

Но не страшна мне злая участь
И жалко не убогий кров:
Мне жаль узорность снов, певучесть
И лад привычный слов!

Я жив не о едином хлебе
И с легким сердцем бы прилег
Под куст, когда б пошел мой жребий,
Мой мирный жребий впрок!

Но знаю я: с такой любовью
Никто, к околице припав,
Не соберет к себе в кошёвье
Следов русалки с трав!

II

Сколько лет с божницы старой
Охранял наш мир и лад
Заколоченной тиарой
Спаса древнего оклад!

Претворял он хлеб и воду
Жизни в светлые дары,
И заботливые годы
Тихо падали с горы...

Мирно падал год за годом,
 Дед из кросен саван сшил
 И в углу перед уходом
 Все лампы потушил!

С той поры отец пьет водку,
 И в избе табачный чад,
 И неверная походка
 Появилась у внучат...

Да и сам я часто спяна
 Тычу в угол кулаки,
 Где разжились тараканы
 И большие пауки!

Где за дымкой паутиной
 В темном царстве стариков
 Еле виден Спас старинный
 И со Спасом рядом штоф.

III

Я сплю тяжелым жутким сном,
 Чуть слышно изредка вздыхая,
 Когда проходит за окном
 Старуха вещая, глухая!

На ней изношенный чепец
 Все с той же лентой полинявшей...
 И был какой же я глупец,
 Его за облако принявши!

...И с плеч узористая шаль
 Спадает складками сухими...
 Как было больно мне, как жаль
 Узнать твое другое имя!

Теперь я знаю, тяжким сном
 Как бы навеки засыпая,
 Что за гадалка за окном
 Стоит костлявая, слепая...

И странный вedom мне покой,
 Когда, чуть скрипнувши
в приделке,
 Она холодной рукой
 Подводит часовые стрелки!

И крика я не пророню,
 Хотя и душно мне, и жарко...
 И пробуждению и дню
 Дивлюсь, как лишнему подарку!

IV

Все те же у родного дома
 Кривые межи под овсом,
 И светят зори по-былому,
 Катясь за рощу колесом...

Лишь на болоте к самой тверди
 Труба взметнулась на дыбы,
 И съехали от страха жерди
 На крыше матери-избы!

Но как и встарь, поля убоги,
 Печален мой родимый край,
 Все так же виснет у дороги
 Луны пшеничный каравай...

И сотни лет во мгле незрячей
 Под сиротливой синевою
 К нему уносится собачий
 Голодный бесприютный вой.

V

Сколько хочешь плачь и сетуй:
 Ни звезды нет, ни огня!
 Не дожидаться до рассвета...
 Не увидишь больше дня!

В этом мраке, в этой темноте
 Страшно выглянуть за дверь:

Там ворочается время,
 Как в глухой берлоге зверь!

VI

Ой, как ветер в поле воет,
 Как шипит метель...
 У закуты головою
 Бьется ель!

И березы полукругом
 Подошли к крыльцу:
 Хлещут ветками друг друга
 Прямо по лицу!

И лежит ничком, врастяжку
 Верба под окном...
 И подкатывает тяжко
 К горлу ком!

VII

Давно не смотрит Спас с божницы,
 И свет лампад давно погас:
 Пред изначальным ликом жницы
 Он в темноте оставил нас!

Пред жницей страшной и победной,
 Восставшей в пепле и крови,
 Не мог остаться плотник бедный
 Со словом мира и любви!

И вот теперь в привычном месте
 Висит не Спасов образок,
 А серп воздания и мести
 И сердца мирный молоток!¹

¹ Приводим первоначальную редакцию этого стихотворения (по существу, являющуюся самостоятельным произведением, созданным в конце 20-х годов):

...аз возгам...

Я не видал давно Дубравны,
 Своих Дубровок и Дубны.
 Померк ты, свете тихий славный,
 От юности хранивший сны!..

Упали древние покровы,
 И путь мой горек и суров...
 Найду ли я, вернувшись снова,
 В сохранности родимый кров?..

И хляби ринулись из тверди,
 И мир взметнулся на дыбы...
 Удержатся ль на крыше жерди
 Старухи матери-избы?..

И на божнице старой нашей
 Едва ль по-прежнему Христос,
 Склонившись, молятся пред чашей
 В томленьи и сиянье слез?..

Я видел сон, что он с божницы,
 Где от лампады тишь и синь,
 Пред изначальным ликом жницы
 Ушел в скитания пустынь...

Ушел в невиданном соблазне
 Начать путь испытанья вновь
 Не из боязни перед казнью,
 Но в страхе потерять любовь!..

Закрылся лик его тоскою
 В столетней копоти избы,
 Где пред лампадой и доскою
 Столетия гнулись горбы...

Не мог, не мог же он столетья
 Под скрежетание цепей
 Мешать слова молитвы с плетью,
 Как с тучным колосом репей?!

VIII

Как свеча, горит холодный
 На немом сугробе луч.
 Не страшись судьбы безродной:
 Ни тревогою бесплодной,
 Ни тоской себя не мучь!

Слезы, горечь и страданье
 Смерть возьмет привычной данью,
 Вечно лишь души сиянье,
 Заглянувшей в мрак и тьму!

* * *

Где ты, моя прекрасная,
 Шляешься, плачешь, блудишь?..
 Глупая, несогласная,
 Злая летучая мышь!
 Сердце истомится, сломится
 От непосильной тоски —
 Это же мука: знакомиться
 И целовать в виски!

Знаю: не любишь ты жалобы,
 Правильно: скучно, серо!
 Ты бы пришла, прибежала бы,
 Сунула в руки перо,
 Чтоб, не сказав «до свидания»,
 Снова уйти на года —
 Где ж ты, мое страдание,
 Счастье, страда, беда?!

Родина

В ночи стучит по лесу
 Чугунный гуд колес,
 И свищет громче беса
 В два пальца паровоз.

Туман густой завесой
 Задерживает плес —
 Он лысый и белесый
 И весь корьем зарос.

С испугу ли, в ответ ли
 Вдруг щелкнет соловей,
 И по воде, как петли,
 Круги, беды черней.

Уж в самом деле нет ли
 Утопленника в ней,
 И на воде не след ли
 Прозрачных пузырей?

Плывет, должно быть, утка
 Луне наперерез...
 Кого это так чутко
 Подслушивает лес?

Дрожит звезда-малютка,
 Вот-вот спадет с небес,
 И страшно не на шутку,
 Что в воду тянет бес!

1935 или 1936.

* * *

В тиши
 Сияющей
 Зари
 С тоскою,
 Друг, такую,
 Как знающий,
 Не говори

И не маши
 Рукою!
 Я, может,
 Тоже
 Знаю сам,
 Что там
 Вдали

Пред жницей страшной и победной,
 Восставшей в пепле и крови.
 Не мог остаться плотник бедный
 Со словом мира и любви!..

И потому не для прельщенья,
 Но как исход и как залог
 К серпу оправданного мшенья
 Сложил он мирный молоток.

(Отдел рукописей Государственного литературного музея, ф. 49, оп. 2, ед. кр. 36,

На корабли
Туманы так похожи!
Откуда взяться
Парусам,
Признаться,
Здесь, на даче?
Но видишь: я бегу,
И падаю на берегу,
И не могу,
И плачу:
Река...
В реке

Вода
Мелка...
Недалеко —
Запруда...
Так
Близок,
Низок
Мрак —
Беда!
И не уедем никуда
И никогда
Отсюда!

<1937>

В. Н. ГОРБАЧЕВА

Записи разных лет

28 октября 1930 года.

Итак, это случилось! Вот уж скоро месяц я — в Доме Герцена. Он — синеглазый, особенный, темнокудрый, с серебряными нитями в волосах, героический, беспомощный и несчастный — мой муж. Вглядываясь в близкого и понятного, нескладного и нелепого, с трепетом благоговения угадываешь непонятого, большого, таинственного. Этот год — суматошный, событиями заполненный, не успел убить ощущения душевной радости, богатства, может быть, никогда в такой мере не испытанного. И, крутясь в глупом, напряженном круговороте жизнеустройства, спрашиваю себя: по силам ли? Соизмерена ли внутренняя опасность? В достаточной ли мере ответственна за чудесное хрупкое сердце, которое держишь в трепетных руках?

7 апреля 1931 года.

Жаль, в прошлый год не вела дневника — много интересного и хорошего забылось. В житейских тревожениях и память короче.

Остались отдельные картины, настроения, фразы — но все это в потоке сознания, в котором уже не кристаллизуется — целое.

Знаю: вошла в заколдованный, страшный круг его жизни, живу его горестями и радостями.

Гордо зовусь его женой, встречая пристально-вызывающим взглядом всякий встречный мне взгляд.

13 апреля 1931 года.

Эта зима 1930/31 года.. Болезнь матери. Поездки на дачу... (Осенью — моя болезнь, больница, неудавшееся «бэби», печаль моя и Сергея, развод, уход из прежнего дома — и тут же ужасная болезнь матери.)

Я — всегда усталая, простуженная, печальная, больная, не поддаюсь отчаянию — ради Сергея.

Он — как лось в клетке, в маленькой комнатке ходит из угла в угол. Тяжело за него. Газетные глупые нападки, которые одно время в связи с некоторыми общественными событиями усилились, раздражают. Вот он на диване на фоне пестрого ковра — мокрым галчонком: «Я совсем больной». К этому периоду — стихи о смерти: «И слышно ветер дует к нам с иного рубежа»...¹ «Гибель!» «Бесы» — характерное для этой зимы, жуткой, в холодном лунном сиянии страшной луны: «Слава Богу, что нас двое, что нас двое здесь с тобой, я с дубиной у порога, ты с лампадой голубой»...² Настроения, отчасти вызванные болезнью матери и ощущением смертельной опасности. (На нервного Сергея передавалось настроение всей семьи.) Из посетителей частым — Володя Кириллов³.

Пьяненький — крестится уморительно: «Сережка, слава Богу, что нас двое, что нас двое здесь с тобой!»

Пьяненький же «открывается», по словам Насти, домработницы, всем в любви.

Рюрик Ивнев, Николай Ключев — одно время ежедневные гости. Николай Ключев — удивительный конгломерат искренности и позы, ханжества и настоящей любви к древ-

лему благочестию, к старой прекрасной Руси. Выдержанная поза, мешающая жить, переходит в добровольные подвижнические вериги на всю жизнь; и все же — своеобразное эпикурейство, любовь к вещам, смакование вещи, знание вещи. Каждую набойку, каждую вышивку, каждую вещь обихода прощупает, оценит. В закрытый распределитель ходит с забавным упоением (Сергей считает закрытый распределитель грехом: вся страна разута-раздета).

Во мне Николай Ключев возбуждает всегда чувство протеста; хочется возражать ему во что бы то ни стало.

Недавно ему доказывала, что византийское влияние было враждебно языческой, народной стихии, народному языку, который выростал и развивался помимо влияния церковнославянского языка; что русские прекрасные иконы есть преодоление византийского схематизма и аскетизма в красочной языческой жизнерадостной гармонии. Что единственно прекрасное произведение древности — «Слово о полку Игореве» да, пожалуй, апокрифическое хождение по мукам, в которых отзвук языческой народной стихии; что эта струя была убита велелепием и напыщенностью византийщины.

Ключев возражал и допустил, несмотря на эрудицию начетчика, следующие ошибки:

- 1) утверждение, что византийская иконопись XI века не аскетична(!) (она от надгробного египетского портрета);
- 2) что не было в Древней России произведения, носящего название «Слово о гибели русской земли»⁴.

Как спорщик Ключев — невозможен.

Спор его лишен всякой диалектики.

С его убеждений его не сдвинешь. Но это неплохо, плохо то, что он во время спора слушает лишь себя. Он продолжает с того места логического своего повествования, на котором остановился сам. Слова собеседника прошли мимо сознания, он их не слышал. Он — монологик, а не диалектик.

«Греки сбондили Елену по волнам»

Часов в 12 ночи прихожу домой с работы.

— Варюша, милая, что так поздно? У нас гости. Познакомьтесь: Мандельштам — моя жена Варюша. (Называет также имя жены Мандельштама.) Ах, какие стихи и как их читает Осип Емильевич!

Конечно, прошу читать. Задорным петушком, таким культурным утонченным петушком выпархивает Мандельштам на середину нашей комнатухи и торжественно, скандируя, четко, кристально чисто (в сущности — это манера четкого чтения, но так как у Мандельштама, кажется, нет каких-то зубов, то, в общем, у него дикция плохая) произнося слоги, аккомпанирует замысловатому танцу ног: «Греки сбондили Елену по волнам, ну, а мне соленой пеной по губам». Или:

Всё на свете
только бредни,
Шерри-бренди, ангел мой...⁵

У Мандельштама — удивительное сочетание обыденного и торжественно-напыщенного, от французской классики, соединение одесского жаргона («сбондили!») с утонченностью европейца и с трогательным чисто еврейским порывом к «русской натуре», к «русской правде» и еще к чему-то, что употребляется обычно с прилагательным «русский»⁶. «Вашей судьбе завидую», — говорил Сергею Антоновичу. Лицо жены его, длинное и умное, напоминает лицо изголодавшейся львицы.

<Н. А. Ключев>⁷

Я — Ключеву:

— Николай Алек[сеевич], <несколько слов утрачено> в Вас и вл[юбить]ся н[ель]зя?

— Кому нужно — тот влюбится. Уж какие ко мне дамы приходили: муфты горностаевые, туфельки золотые... Я ведь в Петербурге в лучшие дома вхож⁸. Одна даже ночевать пришла, сибирячка. Пришлось дворника позвать. Я и сейчас у артисток разговляюсь: у Неждановой был, у Голованова⁹. Чистый рай: молебенья, лампадки горят, нестеровские портреты висят, и за хозяйку — какая-то с виду вроде монашенки в черном. Разговляясь — чего-чего только не было, и в мирное время стола такого редко

встретишь. А вот недавно девки рязанские разговляться позвали. Иду по Москве, слышу — орут частушки девки и бабы, выкачивая воду <текст частушки утрачен>:

— <Да> что же это вы орете, да вас <возьмут>!

— Небось не возьмут.

— А вы откуда?

Разговорились. Достали девки из карманов широких юбок грязные платки, вытащили из них серое от грязи сало:

— Поешь, дедушка, небось в Москве не разговлялся.

У Клюева — шапка грешником, такая, которую сейчас можно увидеть на пейзажах Станиславского ¹⁰.

В трамваях спрашивает, подъезжая к Театральной:

— А скоро ли Лубянка?..

Весь вагон Бобчинским-Добчинским старается объяснить симпатичному мужичку, а Клюев смотрит на всех светлым ангелическим взором и смеется в душе. Ему ли не знать, где Лубянка!

Кин ¹¹

«Куда ни кинь, всюду Кин», — сокрушено говорит Сергей. Ему хочется музыки, а Кин спит, и строжайше запрещено играть.

Кин — маленький, щупленький, аккуратный, в синей пижаме летучей мышкой — в кухне электрический чайник налить и строжить Настю. К прислугам — строг, строг и ко всей квартире. На Клюева накинута чуть не с кулаками, когда тот открыл дверь в его комнату с просьбой отпереть американский замок... Любезность его поражала всех неожиданностью. «Кин открыл мне дверь», — шепотом сообщала Муся ¹², глядя остановившимися глазами «А мне Кин взаймы дал», — хвастливо играла голосом Ольга Анатольевна Ловцова ¹³.

Барин

Однажды осенью к нам явился Городецкий. Утром — как Матреша говорила — тепленькими застал. Я спешно начала прибирать утренний хаос. Городецкий поводил длинным носом, оглядывая комнатушку: «Да, голубятня мала, мала, ну да ничего. У жены твоей хорошие волосы, если она их не красит. А вот ложки — видишь, слезло серебряные, — отравиться можно, нужно серебряные».

Нимфа ¹⁴

Цветок засохший, безуханный,
Забутый в книге вижу я.
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя

Нимфу я видела в клубе ФОСПа на киноленте «Земля» ¹⁵.

Милая Нимфа растолстела, на круглом лице карминятся губы — дань былой красоте. Выглядит глупой и доброй, добродушно-разговорчивой, как почти все пожилые толстые женщины. Должно быть, наружность обманчива. А недавно я читала «Цветущий жезл» ¹⁶. Там Нимфа — юная, прекрасная, пленительная.

2 ноября 1931 <года>.

Я жду ребенка... его ребенка... «Новый глазок в мир», — говорит он, голубоглазый и милый. И мне хочется ребенку его большую и красивую душу и его синие глаза

* * *

История с «Мадуром» ¹⁷ продолжается — создывается новая комиссия (третья), и договор (второй), кажется, отменяется. Он — строптивый ругатель, гордец надменный, твердо верит в свое право художника, в свою внутреннюю правоту.

Павел Васильев

7 апреля 1933 года.

...Имя это произносится часто у нас и в литературных кругах за последнее время.

Года два тому назад к нам пришел кудрявый гибкий высокий юноша, тоненький, с маленькими глазами и большим ртом... Мой дед, Корней Ильич... стихи о гибели казачьего войска ¹⁸. Сергеем Антоновичу свойственно восхищаться новым произведением, и он в порыве, который я у него люблю, кричал: «Гениально!» Пашка зачастил... безвестный, он сидел в каморке около кухни, куда иногда пристраивался Клычков работать, и в кухонном чаду орал и пел свои вдохновенные поэмы... Выпивали... и, пьяные, больше чем от вина — от рифм и поэтической творческой удачи, оба поэта, старший и младший, вели беседу о поэзии.

Дальше... Клычковские деньги за «Мадур» и безгрошевый ободранный Пашка.

Наши шубы стали знамениты,
По Москве гуляя до зари,
В городе все басни нам пришиты!¹⁹.

Клычков рьяно проповедует новый талант...

Цыпин²⁰ предупреждает Сергея, что Павел Васильев его предаст и при случае предаст открыто.

Но Клычков водит Пашку ужинать, заботливо кладет ему на тарелку куски ба- ранины получше и пожирнее. И в стихах Павел пишет «синеглазому»:

Поверивший в слова простые,
В косых ветрах от птичьих крыл,
Ты, может, не один в России
Такую сказку полюбил,
Послушай, синеглазый, тихо.
Ты прошепчи, пропой во мглу,
Про то монашье злое лихо,
Что пригорюнилось в углу!²¹.

Кстати, в этом стихотворении — «Поверивший в слова простые...» — отразилось посещение Павлом Лесного в июне тридцать второго года.

Было много, много ромашек, и у Павла в петличке белого костюма... ромашки.

«К молодым в темень сеновала повадился июнь»²².

По обычаю и по необходимости летом гостей в Лесном отправляют на сеновал. Спал на сеновале и Павел <...>.

Вечером на террасе споры о простоте в искусстве, и проповедником предельной простоты был Сергей Клычков. По его мнению, в этом преимущество «Цветов»²³ перед «Гибелью войска». Отсюда «Поверивший в слова простые...».

В ноябре Павел должен был выступить в товариществе писателей²⁴. Три раза забегал он за Клычковым, Клычков вначале не хотел идти. Пошел все же... по дороге зашел за Городецким, попал в сладостный плен Найи и Нимфы²⁵ и... выпил. На вечер вошел пьяный, большой, властный, размашистый, отличный от литературной мелюзги... и, унижая себя, заговорил, что период так называемой новокрестьянской поэзии закончен, период романтический, Павлу наступают с приходом Павла новый период — героический. Он не причислял Павла к поэтам «старой России», но говорил, что Павел растет из старого, видит далеко с высоты вперед, что Павел — юноша с серебряной трубой, возвещающий со стены приход будущего.

В общем, был гимн молодости... Конечно, как всегда, не поняли, вернее, не захотели понять. Да и сам Клычков ошибался.

Потом по Москве ходил анекдот об этом вечере: Клычков, показывая на П. Васильева: «Вот все, что осталось у нас от царской России».

По всей вероятности, анекдот этот выдумал сам П. Васильев, великий их любитель.

«Мы вам Пашку не отдадим,— кричали истерические женщины (Усевич²⁶) Клычкову,— мы вырвем его из ваших рук». «Сударыня, он вам принадлежит, я не претендую на него».

Павлу бы жить в XVIII веке, веке блестящих биографий и блестящих авантюр.

Но и в наш безавантурный и трезвый двадцатый он оживляет великие традиции веселого восемнадцатого. «На женщинах въезжает в литературу»,— говорят о нем. О себе Павел говорит как о цинике, рассчитывающем каждый шаг.

И третьего апреля²⁷ была разыграна инсценировка отречения Васильева от Клычкова.

Клычков накануне волновался, выступление Васильева казалось ему (не без основания) политическим доносом²⁸.

«Как ты относишься к Гитлеру?» — спрашивал Павел. «Я не знаю, как ты отнесешься к Гитлеру и не пожалеешь ли ты свою талантливую башку, а я однажды с «Гитлером» столкнулся лицом к лицу и отказался вступить в белую армию. И был приговорен к расстрелу».

Хотел П. Васильев в связи с еврейскими погромами в Германии намекнуть и на процесс Есенина, Ганина, Орешина, Клычкова²⁹.

И опять Сергей вспоминал, как он кричал начальнику контрразведки по поводу двух избитых евреев: «...Ты — зверь!»

Но, конечно, об этом на собрании говорить унизительно: «Клычков — оправдывается!»

Лучше носить припиленную чужую маску, чем раскрыть свое настоящее лицо; не поверят, привыкли к штампу.

Клычков никогда не оправдывается.

Клычков — разве он похож на свои карикатуры, он, начавший свою литературную работу с революционного стихотворения.

Клычков — не Клюев.

Он складнем семнадцатого века забивает гвоздь в сапоге. Он не знает и не любит в жизни традиций. Святыня его — природа.

Он не реакционер в буквальном смысле слова. Политически он предпочитает белогвардейщине и гитлеровцам самый суровый большевизм.

Но он художник, он не любит город. Он любит свободу очень!

И он плачет украдкой в сортире, когда узнает о выселении из ста домов в Шелепихе ³⁰ обывателей с ребятей, не получивших паспорт.

На вечере Пришвин выбежал с криком: «Это черт знает что!»

19 октября 1933 года.

Егорка ³¹ мой — черноглазый хулиган — такой «мальчишка». В родильный дом Клычков прислал записку о том, что луна, чудесная и большая, ходит по Леонтьевскому переулку — может быть, в честь нашего Касьяна. На Касьяна я не согласилась. Касьян — обиженный судьбой, в нем — отцовская мрачная судьба. Весенний Егорий — выдвинула я в противовес весеннее и светлое для сыновейки единственного. Отец с неохотой согласился. Егорка, он же Зайчик, любит луну и, вытаращив круглые глаза, показывает на нее пальчиком.

* * *

Переехали на новую квартиру. Период герценовский закончился.

* * *

Когда я была в родильном — Клычков не пил, а сидел серьезный и сосредоточенный и по вечерам у лампы читал в очках. В очках он напоминает книгочех-раскольника.

28 октября 1933 года.

Сегодня отнес Сергей статью в «Известия» о колхозе и мужицкой зажиточности ³², и — мучается, и — не понимает, верен ли этот шаг (для души и для его неподкупной незапятнанности). С одной стороны, он видит и видел в колхозе множество действительного хорошего, с другой стороны, сытая Русь еще только сказка — Ахламонное царство ³³, — и писать о колхозной сытости не есть ли измена? «Измена? — спрашиваю я, невольно поддаваясь его тревоге. — Но чему? Голодной Руси, которая выползла на площади и закоулки Москвы просить милостыню? Только!»

* * *

Мандельштам сказал: «Сергей Антонович истратил все свое масло из закрытого распределителя в Златоустинском переулке на колхозные блины» ³⁴.

* * *

Пашка Васильев:

Один мастак из мастаков
Сергей Антонович Клычков
Спер Мадура и был таков ³⁵.

Крученых ³⁶ прибавил: «Ergo: бойтесь кулаков».

* * *

Сергей Антонович ходит по судам народным, товарищеским, губернским и пр., пр., еще каким-то по поводу Шелепихи (квартиры).

12 января 1934 года.

10 января хоронили Андрея Белого. Мир без Белого, по крайней мере литературный мир, опустел. У Белого был такой выпуклый громадный лоб и такая великолепная жизненная неусидчивость. Он был в вечном неустанном движении, он (может быть, не осознавши это) враг всякой косности и неподвижности. Жизнь его: работа, творчество, поиски и изыскания. Изю всех речей, произнесенных у гроба, лучшая — Пастернака ³⁷,

у него — такое трагическое лицо, такие печальные страшные глаза, А губы, сложенные немного по-детски, точно обижен он незаслуженно.

Говорил он о «нашей сумасшедшей Родине», об «ударниках духа», о том, что Белый работал на «зажиточность человеческого воображения». Говорил, что к гробу приходят не для того, чтобы говорить о работе, а для того, чтобы оплакивать; у гроба человек как бы вновь рождается или путешествует — на жизнь смотрит иными глазами.

Крематорий — ужасное учреждение. Жена шепнула что-то Борису Николаевичу, когда гроб опускался вниз. Я подумала: как тяжело, если близкому человеку нельзя шепнуть «до свидания, милый», когда в это свидание не веришь, знаешь, что его не будет,

* * *

Я несчастна глубоко и непоправимо.

24 февраля 1934 года.

Это не так важно; важно, что Сереге сейчас очень тяжело с Шедепихой (проклятые квартирные вопросы). Это отзывается и на мне.

Н. А. Клюев, говорят, арестован.

Наверху, у Мандельштамов, живет Ахматова. Она приходила на минутку к нам и залпом выпила рюмку водки, налитую ей Сергеем Антоновичем. Это у нее вышло красиво и решительно³⁸.

Сергей Антонович сидел мрачный у круглого стола в своей комнате. На столе без тарелки лежали: лук, черный хлеб, чеснок, стояла бутылка. Анна Андреевна вошла вся в черном, высокая, очень худая, величавая, как свергнутая с трона королева. Не вставая, Сергей Антонович говорит, точно Ахматова каждый день его навещает: «А, Аннушка, голубушка, это ты? Вот хорошо. Садись.— Наливает в свой стакан водки.— Пей. Я не больной, можно из моего стакана».

У Анны Андреевны врожденное благородство жеста. Не наигранно, но спокойно, величаво, как истая королева, она пригубила и выпила наполовину предложенное угощение.

Я сидела обалдевшая от восхищения: так хороша она была. Чудесный жест — чем, я и сама не знаю (не тем, конечно, что выпила водку, а своей простотой предельной).

* * *

Антон Никитич³⁹ — сапожник. Высокий, очень высокий. Белоснежная голова, махровые брови с замысловатым изгибом. Широкие плечи и спина. Дуб. Носит старообрядческую поддевку тонкого синего сукна, хорошие сапоги, вышитую рубашку. Иногда пальто и широкополую фетровую шляпу. Тогда он очень похож на Тургенева в старости.

Пророчествует по Библии... всегда невпопад. Буен в пьянстве.

Бабушка Феклуша⁴⁰ — маленькая круглая старушка, прихрамывает. Хитроглазенькая. Деду без нее не прожить: он шьет обувь, а она и кожу достанет, и на рынке готовый товар продаст, прячась от «снегиря» — милиционера, пройдет огонь и в медных трубах не застрянет. Глядишь, за столом красуется полкило сосисок, банка варенья, рай сапожника — полбутылочка для веселья. Фекла Алексеевна страдает ногами, пользуется себя корешками и часто возлежит на громадной постели.

Дед говорит, что Феклушенька в молодости была кудрявая красавица с алыми щеками. Поверим деду на слово, может быть, так и было. Женя⁴¹ Клычкова, говорят, на нее немного похожа.

Чудесное, сказочное в семье считается обиденным.

Умершая свекровь, жалея молодую невестку, приходила, бывало, с того света по утрам корову доить. Встанет Феклуша, а уж корова подоена, и ведро с молоком пенится, чистым рушником закрыто. Фекла Алексеевна повествует мне об этом спокойно, простоудушно, как о деле самом обыкновенном. Старики видели лешего в бору своими глазами. Они засмеют того, кто этому не поверит. Поэтому-то и спрашивал реалист-фидлеровец Сережа на уроках зоологии, какой породы леший (под гогот всего класса)⁴².

«Гением рода» у Клычковых считается бабка Авдотья⁴³, высокая смуглая старуха; это она выводила в лунные туманные вечера маленького, тоже смуглого Сережку на крыльцо избы и заставляла креститься: мимо проходили лоси. Бабку символично задавил насмерть первый паровоз, прошедший по савеловской дороге.

Старая изба сгорела, и Антон Никитич выстроил новый дом, каменный, поместительный, под железом, зал разукрасил мавританскими арками. В этот дом к старшему сынку приезжали гости — Коненков, Пришвин, Журов П. А.⁴⁴, Есенин. В таких случаях Антон Никитич приказывал заколоть агнца пожирнее. Дело у Антона Никитича, вероятно, шло в то время в гору.

Сереза рос застенчивым отроком, похожим на девочку. Был черноволос, чернобров, глаза были редкостного синего цвета. Отец из тщеславия решил сделать его «баринром». История с экзаменом, поркой в Александровском саду — известна, о ней писал Клычков Фидлер⁴⁵ спас от экзекуции. Нужно же было Фидлеру проходить как раз в тот момент, когда Сереньку шпарили ремнем отец за двойку по закону Божьему, полученную на экзамене в казенное училище. «Роковые» и «чудесные» встречи избилуют в жизни Сергея Антоновича. Не он активно участвует в событиях, а события подхватывают и влекут его — в неизвестное. Рассказывал Сергей Антонович о встрече с монашхом у Москвы-реки, когда любовался отрок леодоходом. И должен был монашек прийти в третий раз (два раза приходил). Перед смертью ждал Сергей Антонович монашка. Да вывелись монахи вчистую, как и лешие. Вероятно, не придет.

Встречи чудесные действительно были. Сергей Антонович страдал от несчастной любви Любимая девушка вышла замуж за богатея, сына московского городского голы. Пишную свадьбу праздновали в доме у Страстного монастыря.

Переживания были мучительны, и в такие минуты юноши думают вождеденно о смерти.

В фойе Художественного театра Сергей Антонович знакомится с Модестом Ильичом Чайковским⁴⁶, который сам подошел к молодому человеку с каким-то сочувственным вопросом. Сергей открыл душу незнакомому и, как рассказывал после, обрел себе второго отца, заботливого и нежного: «Я уезжаю в Италию. Поедемте, я вас возьму с собой, вы развлечетесь и забудете горе». Сергей Антонович едет в Италию. Чайковский выходил, выпестовал Сергея Антоновича; Клычков гостил часто в поэтическом доме Чайковских (в Клину).

Анна Андреевна Ахматова, женщина, избалованная поклонением, рассказывала, что Сергей Антонович был в молодости поразительно красив: «Я встретила его на Невском в студенческой фуражке и сейчас хорошо его помню».

Почему у Сергея Антоновича была студенческая фуражка?

* * *

Поэтесса Цветаева (не знаю, когда это было, все рассказы Сергея Антоновича не имеют у меня хронологической канвы) увлекалась молодым поэтом. Увлечение должно было увенчаться, но в решительный вечер Сергей Антонович выпил, с непривычки заснул <...> и проспал всю ночь. Тем и кончилось (слышала от Сергея Антоновича). Марина обиделась, но много смеялась.

Все это, конечно, датируется 1911—1914 годами, когда С. А. Клычкову было 22—25 лет. Во время войны и после войны идиллии в его жизни кончились.

* * *

Мандельштамы живут в нашем подъезде на самом верхнем этаже. Они иногда стучатся к нам в дверь... просят займы.

Однажды попросили мелочь на трамвай — собрались на базар продавать платье Надежды Яковлевны. У Осипа Эмильевича надменно-благородное лицо, когда он торгует рухлядью жены. Очень красив, похож на апостола (кажется, Петра таким изображают). Они продали платье и вновь постучались к нам отдать долг. (Это с ними не часто случается, обычно о долгах забывают. Я записывала было их долги карандашом на двери, но вскоре бросила вздорное и бесполезное дело.) На базаре они купили немного сметаны, с полстакана, мизерное количество еще какой-то еды, кажется, кило картофеля. И... позаней осенью, когда цветы уже редкость... букет хризантем.

Узнаю вас, поэты, странная порода людей. Узнаю ваши прихотливые души...

Владимир Кириллов — тоже поэт в жизни. Однажды он получил гонорар. Получку, как полагаεται, отпраздновал. Вышел ночью на Тверской бульвар, маленький, пьяненький, с кудрями почти до плеч, растроганный и добрый (он от водки добрее). Вынул из бумажника пачку денег и начал раздавать сбежавшимся проституткам бескорыстные подарки, говоря: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз успокою вы».

Этот случай рассказал Сергей Антонович.

Сергей Антонович с хохотом уверяет, что Пастернак пытался отравиться... чернилами, доведенный до этого семейной драмой (когда разводился с женой?).

Он хочет сказать, что прихотливость можно довести до абсурда.

* * *

Не зря Осип Эмильевич Мандельштам напоминает внешностью изображение апостола. Он принадлежит к тому чрезвычайно редкому типу еврея, к которому принадлежали и Христос и апостолы (какая-то кристаллическая чистота, честность). Лично я с ним не дружу и не лажу. Он со мною строг. Я имела неосторожность назвать его мастером формы или мастером стиха, что-то вроде этого. Он так на меня орал, что я диву давалась. Сергей Антонович искренне забавлялся, наблюдая, как яростно наскакивал на меня Мандельштам. Мандельштам мнил себя не мастером, а пророком.

С женой Мандельштам живет очень согласно. Надежда Яковлевна умна, но есть в ней какой-то неуловимый привкус циничности, правда, очень утонченной. Верит в поэтический талант мужа. Трогательна своей преданностью, нераздельностью. Живут очень бедно, но не примитивно, а с изыском. Бутылку вина, именно вина, а не водки, они не просто выпьют, а выпьют пиршественно, из маленьких рюмочек цветного стекла. На их «пиршествах» видела жену Грина, Ахматову, Эфроса⁴⁷, который приходил к Анне Андреевне.

Мандельштам изучает итальянский и, кажется, испанский языки.

Оба, и муж и жена, пессимисты неисправимые.

* * *

Когда ^{то} проходил процесс вредителей, к Клычкову пришли от писательской организации с предложением подписаться под требованием смертной казни для подсудимых. Сергей с горечью смотрел на многие подписи: «Суд не кончился, и мы не должны предвосхищать его решения или оказывать давление. Дело прокурора санкционировать или требовать смертную казнь. Русский писатель никогда этого не делал». Отказаться дать свою подпись в то время было мужественно и чревато последствиями. Вредителей помиловали, и смертной казни, к счастью, не было. Клычков имел мужество не подписать требование⁴⁹. Сергей Антонович говорил по этому поводу: «Они (писатели) утратили чувство чести и собственного достоинства».

* * *

Сергей Антонович с нежностью и уважением говорил о Луначарском: «Большое сердце! Многим ему обязана русская культура». Рассказывал: на одном многолюдном вечере, будучи навеселе, он подошел к всесильному комиссару. Они встречались раньше у Горького в Сорренто. Поэт дерзновенно потрепал министра по брюшку: «Вот этого я не замечал у вас в Сорренто». Луначарский со смехом, ткнув себе пальцем в лоб: «А у вас, Сергей Антонович, голова осталась та же... к сожалению моему». Сергей Антонович с большим наслаждением рассказывал этот случай: хороший человек Анатолий Васильевич!

* * *

Маяковского Клычков очень не любил как поэта, но никогда не высказывался плохо о нем как о человеке. В Есенине, наоборот, любил поэта и с горечью говорил о его характере, часто детски мелочном и тщеславном. Из современных поэтов ценил Твардовского. Говорил: «В сущности — моя тема»⁵⁰. Если в поэзии появлялось что-нибудь яркое, незаурядное, Сергей Антонович расцветал: «Хó-рó-шó!» — и носился с новыми стихами как с писаной торбой. К Ключеву относился очень дружелюбно, но со скрытым юмором. Рассказывал: когда они шли куда-нибудь вместе, их принимали за священника и дьякона и будто бы подходили: «Благословите, святые отцы».

Мандельштама очень уважал и выслушивал его резкую критику со вниманием, всегда следовал его советам (только в поэзии). Мандельштам, в свою очередь, очень ценил «волчий вой» последних стихов: «...пóсиди сó мнóй немнóго, ради Бóга, пóсиди» и др.⁵¹.

* * *

Выступление Клыčkова на одном из студенческих вечеров:

«Впереди одна тревога
И тревога позади.

Посиди со мной немного,
Ради Бога, посиди...

А дальше, ей-Богу, товарищи, забыл».

* * *

Клычков любил «бить» звуком, первым попавшим словом.

У нас жил сын Ахматовой и Гумилева Лева, когда приезжал в Москву поступать в Московский университет. Один из артистов Камерного театра (мелкая, трусливая душонка) сказал, встретив у нас Леву: «Иметь дело с сыном Гумилева опасно. Будь от него подальше». Сергей Антонович, возмущенный низостью, заорал дико: «А твой отец — по́п, по́п, по́п, по́п».

Вряд ли у актера отец был поп, но это слово, попавшее на язык, было увесисто, как дубина, и им Сергей Антонович — в лоб! в лоб!

* * *

В Доме Герцена у нас бывали: В. Милиоти, скрипач Микули, Оборин, Б. Красин, П. Васильев, Клюев, Р. Ивнев, Белый, один раз Фадеев, Манделштам, Колоколов, Кирилов, Герасимов⁵² и многие начинающие поэты. Ко мне приходили художники.

* * *

Мое впечатление: Клычков никогда не был в душе ни мракобесом, ни контрреволюционером. Был плоть от плоти русского народа. Жил в туманной сказке, а не в политике, в которую его насильно вовлекали критики, делая из него кулацкое пугало. Погиб напрасно, погубив и свой могучий стихийный талант. Как он говорил: «Попал под колесо истории». Как художник не высказался и не раскрылся. «Замыслов у меня — на триста лет». «Писать — некогда». Боже мой, мне ли не знать, какие у него были возможности! Вот подлинная трагедия.

* * *

Вся его «философия» совершенно безвредна для современности. «Кому лавры, а мне метла».

* * *

Клычков не был политиком по сути своего характера. Когда у него спросили в один из острых политических моментов, что бы он находил нужным предпринять, он сказал: «Всенародное молебствие об умиротворении сердец властей предержавших». Рассказывал сам. Впрочем, религиозным в духе православия и христианства, по-моему, не был: «Молиться нужно не в церкви, а в лесу». Каким же богам и «боженятам»? Анютке⁵³.

* * *

На одном из политических процессов его характеризовали: «размазня». Правильнее сказать: поэт, «балакирь», что, впрочем, одно и то же. Он был болтлив, открытен до последнего предела. Не умел утаивать мысли и побуждения.

* * *

Трудный, тяжелый он человек, а жить около него, под его сенью всем было легко и радостно. Все вдруг вспоминали, что каждый имеет право на цветение, на свое собственное счастье. Ругатель, надменно дерзкий с сильными мира, устраивающий по поводу малейшего намека на оскорбление дебоши в редакциях, Сергей Антонович был кроток с «маленькими людьми».

Девочки-прислуги ни в грош не ставили его приказания. С ними он был уморительно почтителен, никогда не позволял ни одного грязного или грубого слова. Работницы всегда держали его в «черном теле».

Однажды Настя потеряла все продовольственные карточки на целый месяц. Горько плакала. «Дуреха, все карточки не стоят одной твоей слезинки». Была сама свидетельницей этой сцены.

У него была прислуга — он ходил в несвежих неглаженных сорочках. Девушки посещали школу, курсы, театры в тщательно разглаженных кофточках, в шелках, как леди. Жена писала статьи и роман по ночам, днем спала. Дорвалась до «собственной» жизни! Дорвалась...

Он всем все давал, ничего не брал взамен.

Кожебаткину⁵⁴ ни с того ни с сего подарил новый, только что сшитый с большим трудом костюм. После этого я, когда постучался Кожебаткин, сказала, твердо глядя ему в глаза: «Никого дома нет».

* * *

Пригородные дачные крестьяне Клычкова не любили. Для них он был непонятен и замысловат: «Чудн-о-о-й!» Маляры, дворники, сапожники, токари, швейцары были задумчивыми друзьями и запросто навещали Клычкова.

Не могу забыть, как ремонтировалась комната Сергея Антоновича.

Маляр задумчиво размешивал краски. Сергей Антонович озабоченно ему говорил: «Понимаешь: цвет утренней зоры». (Ударение на «утренней».) Маляр с видом мага, знатока малейших оттенков спектра осторожно подсыпал краски в ведро: «Теперь... оно как раз... под утреннюю зарю будет... В аккурат». (Ударение на «утреннюю».) Маляр был доволен; впервые ощутил в себе художника: не розовый колер — а заря!⁵⁵ Не все ли мы рядом с Клычковым впервые ощутили в себе художника?

Кудрявая наша работница Аня, проходя мимо памятника Пушкину, ежедневно кланялась ему и плакала над страданиями «Татьянки» в опере «Евгений Онегин». Аня — только что из деревни. Все это — неуловимая «аура» Сергея Антоновича, атмосфера его дома, его «сень».

* * *

Бывшая швейцариха Луша, толстенная баба, добрейшая душа, вспоминает Сергея Антоновича со слезами: «Какой был человек!»

* * *

1935 год.

После бессонной ночи, проведенной за работой, я только что заснула. Времени — около двух дня.

Телефонный звонок.

— Арбачеву Варвару Николаевну.

Сергей Антонович:

— Она спит и не может подойти.

В трубку строго:

— Говорят из секретариата Горького. Необходимо с ней говорить.

Сергей Антонович, тоже строго и надменно:

— И тем не менее, товарищ дорогой, она спит и подойти не может.

Недоуменное молчание. Сергей Антонович кладет трубку.

* * *

Как тяжело потерять «сень» и остаться с ребенком на ветру, среди грозы и бури.

* * *

«Academia» хотела дать Клычкову для перевода на современный язык житие протопопа Аввакума. Сергей Антонович внимательно вчитывался в житие. После этого стал меня звать «мать протопопица».

В трудные минуты жизни: «Побредем, мати протопопица!»

Не пришлось ему добрести до конца жизни со своей «протопопшей»...

* * *

В стихах, посвященных мне, — лейтмотив: черная гибель, смерть — и последняя заря: «как солнце вечернее над глохнущим садом»⁵⁶. «Вновь брезжит розовой зарей»⁵⁷ — последний призрачный свет весенней зари перед мраком.

Весна 1946 года.

Приходил маляр Алеша, когда-то красивший комнату «под свет утренней зари».

Через двенадцать лет для него еще памятна и дорога его работа в комнате Сергея Антоновича. Война, ранение, фронт — ничто не изгладило в воспоминаниях короткую встречу с Сергеем Антоновичем, встречу с поэтом.

* * *

Приходил Лева Гумилев.

Он еще взволнован воспоминаниями о Сергее Антоновиче. Десять лет не изгладил их. Вошел и крестится — как в церкви.

Саша Репников⁵⁸ — молодой друг, поклонник Сергея Антоновича, единственный

человек из так называемых друзей (талантливый художник), пытавшийся спасти Сергея Антоновича (он ходил к Калининну просить за него). Сложил свою голову в битве за Москву под Истрой. Саша иллюстрировал книги Клычкова. Однажды он ночевал у нас на даче. Спали на террасе, Сергей Антонович и он. Вернее не спали, говорили об искусстве. В течение ночи я несколько раз подходила к своему окну, прислушивалась. Всю ночь журчала на террасе приглушенная беседа об искусстве.

Удивительные, милые, где вы?

Рыбки в вазе

Зимой 1934 года я работала по ночам над романом «Чернышевский». Счастливые долгие ночи, синие морозные рассветы — хорошо мне вас вспоминать.

Маленькая наша столовая не больше паровой каюты. На столе круглая хрустальная ваза с чистой водой. В воде искрятся крохотные, с иголку, рыбешки разных пород. Под ярким светом моей лампы они кажутся неугомонными, неутомимыми в своей радостной суете. Отрываясь от рукописей, я люблю этими зыбкими искрами до боли в глазах. Нет, не люблю, а, отдыхая, вбираю в себя блеск хрупкой жизни, ее плескание, трепетание, мягкий шелест.

Рано просыпается сын, двухлетний паренек. Мы с ним выдавливаем рыбешек в чашки и меняем воду в хрустальной вазе. Мальчик таращит круглые глаза и показывает крохотным пальчиком, как плавают рыбки.

По утрам я кладу все написанное мною на стол Сергея. <...>

Каждую страницу, каждое слово я писала для Сергея, невольно подражая его стилю. Моему женскому тщеславию нужно было взыскательное признание настоящего художника, мастера.

Иногда по утрам Сергей нетерпеливо будил меня: «Варвара, прости ради Бога... я не мог утерпеть, не дождался твоего пробуждения. Хочу сказать одно: здорово, хорошо у тебя получилось. Молодец, Варвара. (Все это на «о» — «Ворвара» даже у него выходило.) Ну, а теперь спи, спи».

Я спала часов до четырех или пяти.

По вечерам читала, готовила материал, литературу... А ночью... Ночью опять писание, радостный свободный поток мыслей и чувств и вновь непрерывное мелькание рыбок в свете моей лампы.

Наступила весна. Мы всегда очень рано уезжали в Лесной⁵⁹; с наступлением первого тепла прямо как-то неожиданно срывались с места.

Второпях и забыли о рыбешках в вазе... Только в мае, недели через две-три, приехали в Москву отчасти по делам, отчасти развлечься; помню, вырядилась я в светлорозовое длинное платье, очень простое, очень широкое в шагу, шитое одной из самых дорогих портних Москвы (Богачевой). А на столе в нашей каюте-столовой по-прежнему стояла круглая ваза...

Но вместо зыбких, живых серебряных искр мы увидели что-то невероятно безобразное, вспухшее, склизкое, протухшее.

Сергей сразу поник, потух, весь помрачнел. Сел у стола. Пристально, точно впервые увидел, взглянул на меня... перевел взгляд на вазу: «Как ужасен запах тленья! А ты — вся в розовом, и глаза светятся, и губы смеются...»

И тут же торопливо, неразборчиво набросал на моем клочке бумаги (на этой бумаге я писала свой роман):

Варюше.

Сколь ужасен запах тленья,
Как прекрасен светлый май,
Близко ты иль в отдаленье,
Сядь со мной и руку дай.
Вот она — весна с повязкой
По кудрям зари лесной.
Может быть, последней сказкой
Вдаль уходит — за весной,
За весной — твоей судьбо<ю>,
Дальше — страх, и ночь, и синь!
Сядь со мною, сядь со мною
Иль навек уйди и сгинь.
Завтра, может быть, не вспыхнет
Над землей зари костер.
Сердце навсегда утихнет,
Смерть придет — полночный вор.

Пусть же здесь, где жемчугами
 Убирал я каждый след,
 Память сгинет вместе с нами
 В черный омут черных лет.
 Но останься ты (до срока),
 Чтоб хранить последний шаг,
 Ведь недаром же сорока
 Поутру сказала: враг!
 Враг — который не забудет,
 Мимо окон не пройдет,
 Что же это только будет,
 Что же будет, что же ждет?
 Близо ты иль в отдаленье,
 Тень твоя иль ты сама,
 Сядь со мною, сядь <хоть тенью>,
 Не своди меня с ума⁶¹.

<Об аресте С. А. Клычкова>

Понедельник 31 июля 1937 года прошел обычно. Мама и сестра уехали в Москву.

Наступил вечер, тихий, беспокойный: солнце садилось и сквозь темные неподвижные облака окрашивало все неестественным желтоватым светом. Не работалось. Все разошлись рано. Не знаю, почему я отнесла Сергею Антоновичу в постель стакан парного козьего молока. Этот стакан теплого молока был последней трапезой дома.

Огня в доме не было. Посапывал в плетеной кровати пятилетний Егорушка... Я еще не засыпала. Около полуночи — неожиданные, очень громкие, злые удары. Я вскочила и с не осознанной еще тревогой бросилась к двери. В дом вошли трое, сказав что-то в темноту. (В саду были еще люди.)

Я повела их в комнату Сергея Антоновича. Он зажег свечу, прочитал ордер на арест и обыск... и так и остался сидеть в белом ночном белье, босой, опустив голову в раздумье. Очень он мне запомнился в этой склоненной позе, смуглый, очень худой, высокий, с темными волосами, остриженными в кружок. В неровном, слабом свете оплывающей свечи было в нем самом что-то такое пронзительно-горькое, неизбывно-русское, непоправимое... Хотелось кричать от боли.

Начался обыск, и шел он всю ночь — с двенадцати до девяти. Электричества не было, дома мелькали фонарики и свечи.

Сергей Антонович молча сидел на кровати.

Женечка, его дочка, спала на сеновале вместе с молоденькой няней Егорушки. Они ничего не слышали, их разбудили уже утром проститься. Вера, жена брата, не встала с постели, старая тетка, Буля, охала и крестилась по уголкам. На даче за двадцать лет накопилось много детских рисунков, тетрадей, старых писем, черновых рукописей моих и Сергея Антоновича, фотографий. Все это нужно <было> разобрать и прочитать, хотя явно было: ко всему этому бумажному вороху давно не прикасалась рука⁶¹.

¹ Строки из стихотворения Клычкова «В поле холодно и сыро...».

² Строки из стихотворения «Не мечтай о светлом чуде...», один из автографов которого (ЦГАЛИ) имеет название «Бесы». Вариант этого стихотворения («Не гадай о светлом чуде...») опубликован (С. Клычков, Стихотворения. Paris. «Умка-Press». 1985, стр. 163). Первоначальный текст его, записанный В. Н. Горбачевой, сохранился в АК:

Опустилась черная завеса.
 Серый день
 Оставил за избой
 Тень
 С зловещей худобой!
 Видишь, к нам бегут из леса
 Бесы, бесы, бесы, бесы,
 К нам с тобой!
 Разве ты не слышишь воя
 Над князьком и над трубой?
 Как их много!
 Как их много!
 Валят в избу, на дорогу ..
 Слава Богу,
 Что мы — двое,—
 Я с дубинкой у порога,
 Ты — с лампадой голубой.

Последняя редакция стихотворения публикуется в журнале «Наше наследие» (1989, № 5).

⁵ К и р и л л о в Владимир Тимофеевич (1890—1943) — поэт.

⁶ На самом деле Клюев знал это произведение — явные реминисценции из него имеются в начале статьи поэта 1919 года «Медвежья цифирь» (текст см. в кн.: «День поэзии 1981». М. 1981, стр. 191). Но он мог забыть его название — подобные ошибки памяти бывали с ним не раз.

⁷ Строки из стихотворения Мандельштама «Я скажу тебе с последней прямой...», датированного 2 марта 1931 года.

⁸ Ср. главку «Русские стихи» в воспоминаниях Б. С. Кузина «Об О. Э. Мандельштаме»: «В доме Герцена, где наряду со знатными представителями советской литературы, но, конечно, в совсем других условиях проживали и отверженные, одним из соседей Мандельштамов был С. А. Клычков. <...> Человек он был очень хороший и талантливый. Однажды в каком-то споре с Мандельштамом он сказал ему: «А все-таки, О[сип] Э[мильевич], мозги у вас еврейские». На это Мандельштам немедленно отпарировал: «Ну что ж, возможно, А стихи у меня русские». «Это верно. Вот это верно!» — с полной искренностью признал Клычков» («Вопросы истории естествознания и техники», 1987, № 3, стр. 142—143).

⁹ В оригинале заголовок имеет вид: «Дедушка с <несколько слов утрачено> или «мир <неск. слов утрачено>».

¹⁰ Первоначально: «был вхож».

¹¹ Н е ж д а н о в а Антонина Васильевна (1873—1950); Голованов Николай Семенович (1891—1953). О взаимоотношениях Клюева с певицей и дирижером см. «Новый мир», 1988, № 8, стр. 172—173.

¹² Очевидно, речь идет о театральных костюмах крестьян в пьесах, поставленных К. С. Станиславским.

¹³ К и н — псевдоним Виктора Павловича Суровикина (1903—1937), журналиста и писателя, имевшего комнату в одной квартире с Клычковыми.

¹⁴ М у с я — Мария Николаевна Казакова (1905—1952), младшая сестра В. Н. Горбачевой.

¹⁵ О л ь г а Анатольевна Ловцова — жена писателя Николая Алексеевича Ловцова (1898—1962), жившего в той же квартире.

¹⁶ Н и м ф а — так родственники и друзья называли Городецкую (урожд. Козельскую) Анну Алексеевну (1889?—1946) — жену поэта С. Городецкого.

¹⁷ Ф О С П — Федерация объединений советских писателей; «Земля» — кинофильм А. Довженко.

¹⁸ Неточное название книги С. Городецкого «Цветущий посох» (1914).

¹⁹ Речь идет о поэме «Мадур-Ваза победитель», являющейся вольной обработкой Клычковым поэмы М. Плотникова «Янгал-Маа», созданной на основе вогульских (мансийских) народных сказаний. 7 марта 1931 года Клычков прочел отрывки из нее в Доме Герцена, получившие высокую оценку. («Сказ „Мадур-Ваза“». На читке новой поэмы С. Клычкова». — «Литературная газета», 14 марта 1931 года.) Однако практически сразу же против Клычкова было выдвинуто обвинение в плагиате. «Дело Плотникова — Клычкова» было предметом неоднократных разбирательств и завершилось лишь в 1933 году — комиссия оргкомитета Союза советских писателей сняла с Клычкова упомянутое обвинение, одновременно решив вопрос о выплате материальной компенсации Плотникову за публикацию клычковского варианта «Мадур-Вазы» в «Новом мире» (1932, № 7—8). Постановление об этом было опубликовано 29 августа 1933 года «Литературной газетой».

²⁰ В а с и л ь е в Павел Николаевич (1910—1937) — поэт. «Мой дед, Корней (правильно: Корнила. — С. С.) Ильич...» — неточная цитата из его стихотворения «Расказ о деде»; «Стихи (правильно: Песня.— С.С.) о гибели казачьего войска» — название поэмы П. Васильева.

²¹ Скорее всего строки из неопубликованного стихотворения П. Васильева «Мы с тобой за все неправды биты...». В 60-е годы его автограф находился в АК согласно «Списку стихотворений П. Васильева, не включенных в настоящее издание» (Большой серии «Библиотеки поэта». — С. С.) (П. В а с и л ь е в. Стихотворения и поэмы. Л. 1968, стр. 619). Сейчас в АК этого автографа нет. Ни его местонахождение, ни полный текст этого стихотворения нам не известны.

²² Возможно, Цы п и н Григорий Евгеньевич — в то время заведующий издательством «Советская литература».

²³ Строфы из поэмы П. Васильева «Лето».

²⁴ Неточная цитата из той же поэмы.

²⁵ Имеются в виду строки о цветах из третьей части «Лета».

²⁶ Из приглашения на этот вечер, сохранившегося в АК, явствует, что П. Васильев читал свои стихи в Московском товариществе писателей 26 ноября 1932 года.

²⁷ См. прим. 14. Н а й я (Ная) — Городецкая Рогнеда Сергеевна, дочь С. Городецкого.

²⁸ У с и е в и ч Елена Феликсовна (1893—1968) — критик и публицист. Не раз писала о творчестве П. Васильева.

²⁹ На вечере П. Васильева, состоявшемся тогда в журнале «Новый мир», большинство выступавших на обсуждении творчества поэта настойчиво требовали от него, чтобы он порвал с Клычковым и Клюевым, о которых главный редактор «Нового мира» И. М. Гронский сказал, что они «не друзья, а враги народа или отошедшие в сторону».

наблюдатели» («Новый мир», 1934, № 6, стр. 221). А вот что, к сожалению, говорил П. Васильев в своем заключительном слове: «У нас с Сергеем в последнее время был разговор, что нужно решительно выбирать — за или против. Я считаю, что у Клычкова только два пути: или к Ключеву, или в революцию. Сейчас Сергей выглядит бледным потому, что он боится, что его не поймут, его побьют и т. д. Но, к сожалению, должен сказать, что я желаю такого избияния камнями. Клычков в любом месте развернет свою пространную, путаную философию, он поражается тому, что на него смотря, как на чертополох. Но ты, Сергей, сам активно помогал этому. Я глубоко уверен, что у тебя было много примеров, где ты мог высказаться со всей определенностью за революцию. Клычков должен сказать, что он на самом деле служил, по существу, делу контрреволюции, потому что для художника молчать и не выступать с революцией — значит выступать против революции» («Новый мир», 1934, № 6, стр. 225). После этих слов последовала реплика Клычкова: «Это политинанство».

²⁸ Огласения Клычкова всеело оправдались в следующем, 1934 году, когда вскоре после ареста Ключева Гронский опубликовал в «Новом мире» сокращенную стенограмму этого обсуждения творчества П. Васильева (состоявшегося более чем годом ранее!). Тон обсуждению тогда задал сам Гронский, а П. Васильев не решился противостоять оказанному на него давлению и солидаризировался с обвинениями, выдвинутыми Гронским против Ключева и Клычкова (см. прим. 27). Трудно сомневаться в том, что акция Гронского, в нужный ему момент обнародовавшего в руководимом им журнале этот старый материал, имела целью продемонстрировать собственную лояльность перед карательными органами именно после ареста Ключева. Хотел того Гронский или не хотел, но своей публикацией он одновременно указывал этим органам и на Клычкова как на «врага народа».

²⁹ Г а н и н Алексей Алексеевич (1893—1925), О р е ш и н Петр Васильевич (1887—1938) — поэты. Речь идет о так называемом деле четырех поэтов. Оно возникло в ноябре 1923 года, когда журналист и публицист Л. Сосновский, весьма влиятельный в то время, воспользовался получившим огласку бытовым скандалом (в пивной) с участием поэтов и обвинил их в черносотенных настроениях и антисемитизме (Л. Сосновский, «Испорченный праздник». — «Рабочая газета», 22 ноября 1923 года). Сохранилось письмо Клычкова в «Правду» по этому поводу, где он писал: «Считаю оправдываться унизительным, ибо труднее всего доказывать свою невиновность тогда, когда тебя обвиняют в очень многом, а когда ты если и виновен, так в сущих пустяках» (ЦГАЛИ, ф. 2222, оп. 1, ед. хр. 63, л. 4), 11 декабря по «делу четырех поэтов» состоялся товарищеский суд, отчеты о котором публиковались в центральных и московских газетах. Вот что говорили на нем некоторые свидетели защиты и общественный защитник, известный критик Вячеслав Полонский: «Писатель А. Эфрос указывал, что с поэтами Орешиным и Клычковым он встречается ежедневно в течение нескольких лет и не заметил с их стороны никаких антисемитских выпадов, хотя, как еврей, он был бы к ним особенно чуток. Такое же показание сделал писатель Андрей Соболев. <...> С защитительной речью выступил т. В. П. Полонский, призывавший судить поэтов за хулиганство, за пьянство, за дебоширство, но отнюдь не за антисемитизм, которого он в их деле не усматривает» («Известия ВЦИК», 12 декабря 1923 года). В своем решении «товарищеский суд признал, что поведение поэтов в пивной носило характер антиобщественного дебоша, давшего повод сидевшему рядом с ними гр. Роткину (в других газетах этот человек фигурировал под фамилией Редкин. — С. С.) истолковать этот скандал, как антисемитский поступок <...>. Ввиду этого товарищеский суд постановил объявить поэтам Есенину, Клычкову, Орешину и Ганину общественное порицание. Обсудив вопрос о статье тов. Сосновского в № 264 «Рабочей газеты», суд признал, что тов. Сосновский изложил инцидент с четырьмя поэтами на основании недостаточных данных и не имел права использовать этот случай для нападок на некоторые из существующих литературных группировок. Суд считает, что инцидент с четырьмя поэтами ликвидируется настоящим постановлением товарищеского суда и не должен служить в дальнейшем поводом или аргументом для сведения литературных счетов и что поэты Есенин, Клычков, Орешин и Ганин, ставшие в советские ряды в тяжелый период революции, должны иметь полную возможность по-прежнему продолжать свою литературную работу. Приговор принят товарищеским судом единогласно» («Известия ВЦИК», 15 декабря 1923 года). Думается, что и в наше время, когда обвинения ввелитературного характера в полемике между литераторами — далеко не редкость, литературная общественность остро нуждается в третьей стороне, подобным разбиравшему «делу четырех поэтов».

В АК сохранилась сделанная В. Н. Горбачевой запись ее беседы с П. А. Радимовым, состоявшейся 27 января 1963 года по поводу этого «дела», и ее комментарий: «Восемь лет жизни я провела рядом с Сергеем Антоновичем и никогда не слыхала от него антисемитских высказываний. Меня радовала дружба Сергея Антоновича с Осипом Мандельштамом. Оба вспыльчивые, горячие, они за восемь лет ни разу не поссорились. Беседы их были изумительны. Высокий строй души, чистота, поэтическая настроенность объединяли их».

³⁰ Ш е л е п и х а — деревня в тогдашнем Подмосковье (ныне эта местность в черте города). Там вплоть до лета 1930 года жил Клычков вместе со своей первой семьей.

³¹ Е г о р к а — Георгий Сергеевич Клычков (1932—1987), впоследствии ученый-лингвист, доктор филологических наук, профессор.

³² Очевидно, очерк «Защиток», написанный в соавторстве с В. Поповым. В январе 1934 года Клычков прочел его на декаднике журнала «Литературный критик» (см.: Э. Дельман [Я. Эйдельман], «Куда идет С. Клычков?», — «Литературная газета», 22 января

1934 года). Через несколько месяцев очерк вышел отдельным изданием в издательстве «Советская литература». В газете «Известия» он не публиковался.

³³ Образ из романа Клычкова «Сахарный немец» (см. главку «Ахламон» в кн.: С. Клычков. Чертухинский балакирь. Романы. М. 1988, стр. 24).

³⁴ Очевидно, оценка очерка «Зажиток» (см. прим. 32).

³⁵ О поэме «Мадура-Ваза победитель» и инциденте, возникшем после ее публикации, см. прим. 17. Автограф этой эпитагмы П. Васильева (без первой строки) сохранился (ЦГАЛИ, ф. 1684, оп. 1, ед. хр. 61, л. 6).

³⁶ Крученых Алексей Елисеевич (1886—1968) — поэт.

³⁷ Е. В. Пастернак и Е. Б. Пастернак указывают, что «надгробное слово Пастернака неизвестно» (см.: Андрей Белый. Проблемы творчества. Статьи. Воспоминания. Публикации. М. 1988, стр. 692). В том же сборнике на странице 337 Н. А. Богомоловым опубликована лишь одна фраза, сказанная Пастернаком над гробом Белого (извлечена из дневников Е. Я. Архипова). Запись В. Н. Горбачевой содержит, таким образом, новую, и более развернутую, информацию о выступлении Пастернака 10 января 1934 года при последнем прощании с Белым.

³⁸ Собственно дневниковая запись на этом обрывается. Далее (другими чернилами) следует, очевидно, более позднее описание этого эпизода.

³⁹ Клычков (с 1919—Клычков-Сечинский) Антон Никитич (ум. 1943) — отец С. А. Клычкова.

⁴⁰ Бабушка Феклуша — Клычкова (с 1919—Клычкова-Сечинская) Фекла Алексеевна (ум. 1938) — мать С. А. Клычкова.

⁴¹ Жена — Клычкова Евгения Сергеевна, дочь поэта от первого брака.

⁴² Ср. с одной из «Неспешных записей» Клычкова.

⁴³ Баба Авдотья — Евдокия Михайловна, бабушка поэта.

⁴⁴ См. выше письмо Клычкова к Петру Алексеевичу Журову и примечания к нему.

⁴⁵ Фидлер Иван Иванович — владелец и попечитель одного из московских реальных училищ. Об этом эпизоде см. в автобиографии поэта (С. Клычков. Чертухинский балакирь. Романы. М. 1988, стр. 5).

⁴⁶ Чайковский Модест Ильич (1850—1916) — сенатор, брат композитора и его первый биограф.

⁴⁷ Грин (Миронова) Нина Николаевна (1894—1970) — вторая жена А. С. Грина; Эфрос Абрам Маркович (1888—1954) — переводчик, литературный и художественный критик, искусствовед.

⁴⁸ Эта и почти все последующие записи В. Н. Горбачевой (за исключением самых последних — «Рыбки в вазе» и «<Об аресте С. А. Клычкова>», — выполненных на отдельных листах) сделаны уже в другом месте — в той же записной книжке, где Клычков вел свои «Неспешные записи». Судя по тому, что одну из этих записей В. Н. Горбачева пометила весной 1946 года, все они скорее всего сделаны в послевоенное время и носят уже не дневниковый, а мемуарный характер.

⁴⁹ В свете этой записи и других биографических свидетельств о Клычкове весьма спорным представляется недавнее обобщающее высказывание В. Конецкого о том, что в 30-е годы «все мужчины-писатели где-нибудь и как-нибудь запачкались» (Виктор Конецкий, «Живу в тени вопроса...» — «Книжное обозрение», 9 декабря 1988 года, стр. 6).

⁵⁰ Очевидно, это сказано о поэме Твардовского «Страна Муравия».

⁵¹ Ср.: «Сергей Клычков долгие годы был нашим соседом и по Дому Герцена, и на Фурмановом переулке (точнее, улице Фурманова.— С. С.), и мы всегда дружили с ним. Ему посвящена третья часть «Стихов о русской поэзии» — «Полюбил я лес прекрасный...». Случилось это так: он прочел «...Там без выгоды уроды режутся в девятый вал» и сказал: «Это про нас с вами, Осип Эмильевич...» В карты ни тот, ни другой не играли — у них был другой «девятый вал» и ставка покрупнее всякой карточной. <...> О. [Мандельштам] ценил «волчий», отщепенский цикл Клычкова и часто, окая по-клычковски, читал оттуда кусочки. Эти стихи отобрали при обыске <...>. Исчез и сам Сергей Антонович. Жене сказали, что он получил десять лет без права переписки. Мы не сразу узнали, что это означает расстрел. Говорят, что он смело и независимо держался со следователем. По-моему, такие глаза, как у него, должны приводить следователей в неистовство <...>. После смерти Клычкова люди в Москве стали как-то мельче и менее выразительны» (Н. Мандельштам. Воспоминания. Нью-Йорк. 1970, стр. 277—278). Об истории создания стихотворения «Впереди одна тревога...», строки из которого вспоминает В. Н. Горбачева, см. в ее записи «Рыбки в вазе».

⁵² Милоти Василий Дмитриевич (1875—1943) — художник; Микული Анатолий Францевич (1882—1940?) — музыкант; Оборин Лев Николаевич (1907—1974) — пианист; Красин Борис Борисович (1884—1936) — музыкальный деятель, собиратель песен русских старообрядцев; Колоколов Николай Иванович (1897—1933) — писатель; Герасимов Михаил Прокофьевич (1889—1939) — поэт.

⁵³ Антютик — леший, сказочный персонаж романа «Чертухинский балакирь».

⁵⁴ Кожebaткин Александр Мелетьевич (1884—1942) — издатель. Им были выпущены первые книги Клычкова — «Песни» (1911) и «Потаенный сад» (1913).

⁵⁵ Позднейшая приписка В. Н. Горбачевой: «Через 16 лет маляр Алеша, ставший уже почтенным по возрасту, вспоминает Сергея Антоновича с нежностью».

⁵⁶ Строки из стихотворения «Со мною ты рядом...», завершающего «Неспешные записи» Клычкова (см. выше).

⁵⁷ Строка из стихотворения «Как не любить румянец свежий...», публикуемого журналом «Наше наследие» (1989, № 5).

⁵⁸ Репников Александр (? — 1941) — художник-график.

⁵⁹ Лесной городок — поселок под Москвой, где находилась дача Клычковых.

⁶⁰ В АК сохранился упомянутый черновой авторграф этого стихотворения (без последних трех строк). Копия его, приводимая В. Н. Горбачевой в комментируемой записи, сверена с ним и выправлена по нему, а три ее последние строки сверены с машинописными стихотворения (АК), в результате чего в предпоследнюю строку копии введена конъектура. Опубликованный текст этого стихотворения (см.: С. Клычков. Стихотворения. Paris. «Ymca-Press». 1985, стр. 165—166) представляет собой контаминацию первого и более позднего его вариантов. В последней редакции («Впереди одна тревога...») она публикуется в «Нашем наследии» (1989, № 5) по авторской машинописи. В. Н. Горбачева отозвалась о ней так: «Окончательная редакция потеряла жизненные интонации, более приглашена. В ней я меньше угадываю Клычкова, в ней больше обобщений. Но первая строфа хороша (она приведена выше в одной из записей В. Н. Горбачевой. — С. С.) — ее ценил О. Э. Мандельштам, очень ценил за инструментовку на ОО, АА: „Музыка волчьего воя“» (АК). О том же пишет и Н. Я. Мандельштам (см.: Н. Мандельштам. Воспоминания. Нью-Йорк. 1970, стр. 213).

⁶¹ Из черновика письма В. Н. Горбачевой И. В. Сталину (август 1937 года):

«Дорогой Иосиф Виссарионович! В ночь на 1 августа писателя Сергея Антоновича Клычкова арестовали. Он — отец моего ребенка. Я решаю писать Вам, так как Вы уже несколько знакомы с его делом. 7 января 1937 года Клычков писал Вам о страшных, необоснованных обвинениях против него. По этим обвинениям выходило, что поэтическая обработка киргизского эпоса («Манас». — С. С.) — аллегория и памфлет на современность (Гурии в раю Магомета — прибавочная стоимость, невеста Бурульчи — интеллигенция, солёны-китайцы — народы СССР, потому что им живется «солоню», страна Кош-Сала — страна нож и сала, то есть Монголия, и пр. и пр.). После письма к Вам отдельное издание поэмы вышло в свет, и с Клычковым в издательстве «Советский писатель» заключили договор на продолжение. Он спокойно и страстно отдался работе, уже не думая, что каждое название, каждая деталь, пусть взятая из подстрочника, может быть истолкована самым фантастическим образом: раз заказали продолжение, значит, признали полезен <ой> его работу. Как нужно это сознание художнику!

Теперь эта поэма опять взята при обыске как улика. Разве то обстоятельство, что книга вышла, не снимало невыносимой моральной тяжести неожиданного обвинения? Разве не означало <это> Вашего позволения работать над ней <...>?

Помогите, Иосиф Виссарионович, мудро и справедливо разобраться в этом вопросе, так как дело идет не только о личной судьбе Клычкова, но и о судьбе его дарования. Ему 48 лет. Он сейчас в периоде продуктивности, в периоде творческого подъема, который наступил после нескольких лет. <...> Помогите ему — ведь длительные последствия ареста поставят предел ему как художнику, могут вообще означать конец его литературного пути. А это для него — смерть. Я не знаю, в чем он виноват, но так ли велика его вина перед родиной, которую он «до слез любить» (из стихотворения Клычкова «До слез любя страну родную...» — С. С.)? Так ли нужна его гибель для торжествующей и победной революции, которая, по его признанию, создала из него художника, заставив перерасти узкие рамки личной лирики, — может ли сын не любить матери?

Взято при обыске старое стихотворение, написанное лет десять тому назад, — «До слез любя страну родную...» (публикуется в «Нашем наследии», 1989, № 5. — С. С.), — где безнадежно говорится о черном мужиком хлебе. За эти годы не только человек изменился, вся страна изменила лицо свое. И Клычков тоже радостно заменил черный мужицкий хлеб колхозными блинами (см. прим. 32. — С. С.), приветствуя пришествие в деревенские избы сытости и довольства («Зажиток»). И не по заказу — по заказу, неискренне он ничего не писал.

Иосиф Виссарионович, посылаю Вам свою книжку о Чернышевском. Писала я ее с любовью: передо мною <...> выпукло рисовались пути борьбы и взволнованное и страстное ожидание революции. Несчастье застало меня за работой: я перерабатывала написанное и писала конец романа.

Если Вы признаёте нужным и полезным, дайте мне возможность спокойно докончить роман — тяжело прерывать на полпути суровую многолетнюю работу.

И, наконец, у меня есть пятилетний сын. Он хрупок и не по летам даровит. Вы невидимо присутствуете в его жизни, как присутствуете в жизни всех пятилеток нашей страны («А что скажет Сталин?»). И простите меня, если для него со слезами я попрошу у Вас светлого, неомраченного детства. Обещаю Вам, что он заслужит сторицей Вашу заботу, что воспитаю его достойным сыном родины и революции.

Преданная Вам В. Арбачева» (АК).
Было ли отправлено это письмо, мы не знаем. После приговора военной коллегии Верховного суда СССР от 8 октября 1937 года Клычков был расстрелян (см. «Новый мир», 1988, № 11, стр. 266). Однако В. Н. Горбачева не была репрессирована.

Н. ПОКРОВСКИЙ,
член-корреспондент Академии наук СССР

★

МИРСКАЯ И МОНАРХИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИИ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА

Развернувшаяся сегодня на страницах печати полемика о глубинных исторических корнях и истоках постигших нашу страну в 20—50-е годы трагедий во многом являет собой продолжение тех споров и обсуждений, которые велись еще в пору первой оттепели, на рубеже 50—60-х годов. Конечно, отрадно, что нынешние дискуссии отличаются от прежних куда как большей открытостью суждений, большей смелостью и широтой анализа. Но в то же время несколько обескураживают и огорчают недостаточное знание отдельными авторами отечественной истории, их упрямая приверженность расхожим и уже порядком обветшавшим штампам и догмам, которые, будучи выбранными в качестве отправной точки для конкретного исторического анализа, неизбежно приводят затем к слишком прямолинейным, однобоким и зачастую просто ошибочным выводам.

Так, скажем, во многих высказываниях наших публицистов по поводу насильственной сталинской коллективизации в последнее время все чаще и отчетливее звучит мысль о том, что русское крестьянство, мол, само виновато во всех своих горестях и бедах.

Виновато, что коллективизацию на местах порою проводили растленные и жестокие личности вроде Игнашки из «Канунов» В. Белова, поскольку «крепкий, трудолюбивый мужик-средняк, все мысли которого о хозяйстве, земле, скотине», ни к какому «общему делу», «к чему-то, что за околицей», по патриархальной темноте своей не способен.

Виновато, что утвердился культ личности Сталина: разрозненная крестьянская стихия неизбежно требовала сильной личности во главе государства и сама жаждала такой личности — недаром же веками существовал «крестьянский монархизм».

Виновато даже в том, что так легко удалось военно-директивное насаждение «высшей формы кооперации», ибо политика эта на деле опиралась на древнейшие традиции общинного коллективизма.

В такого рода суждениях многое поставлено с ног на голову. И для того чтобы убедиться в этом, необходимо обратиться к фундаментальным исследованиям историков, этнографов, фольклористов, литературоведов, воссоздающих подлинную, достоверную картину общественного сознания и общественно-хозяйственной жизни русской деревни времен феодализма.

Дабы, например, опровергнуть тезис об исконном равнодушии российского крестьянина к «общему делу», достаточно заглянуть в работы А. И. Копанева, Н. Е. Носова, В. А. Александрова, М. М. Громько, Н. А. Миненко и некоторых других ученых, выявивших ту огромную роль, которую играли общинные традиции и общинная структура власти и в трудовом процессе и в функционировании местного самоуправления, причем отнюдь не в одних лишь узких границах собственной деревенской околицы. В прошлые века успешно действовали волостные, а в XVII веке всеуездные мирские,

общинные организации. (В классическом дореволюционном труде М. М. Богословского о земском самоуправлении на Русском Севере подробно описана многосторонняя деятельность единой общинной организации, охватывающей все Нижнее Подвинье.) Именно местные миры в начале XVII века, объединившись для «общего дела», создали и ополчение Минина и Пожарского, и эффективный механизм управления в границах почти всей страны, что позволило изгнать неприятеля и восстановить утерянную было государственность. Так что заботы об «общем деле» никоим образом не были чужды российскому крестьянству прошлых веков, напротив, именно они были важнейшей составной частью общинного, мирского сознания народа.

Мир прошлых веков (и особенно допетровского времени) — весьма демократичная и вместе с тем достаточно жесткая организация. Все мирские власти — старосты, сотские, десятские, целовальники — выбирались на общем сходе членов общины, и критерии выбора были всегда весьма строги. На мирском сходе слово имел каждый, но за выполнением принятого решения всеми членами общины следили очень внимательно, ослушников ждало суровое наказание. Мир нес полную ответственность за все действия выборных. Подчас это бывала весьма значительная материальная ответственность, и поэтому община строго контролировала действия тех, кто управлял ею или представлял ее финансовые, экономические и прочие интересы во внешнем мире — обеспечивал взаимоотношения общины и государственной власти.

Государство издревле было вынуждено считаться с традициями общинной жизни, по мере возможностей приспособляя их для собственных целей. Ведь в народной жизни мирское общественное мнение имело не меньший вес, чем государственно-правовые механизмы, и без круговой поруки общины был бы бессилён финансовый механизм феодального государства. Весь строй русской сословно-представительной монархии, обеспечившей объединение государства в XIV—XV веках, свержение татаро-монгольского ига, базировалась на определенных формах сотрудничества с общинными организациями государственных крестьян, посадских, ямщиков, с казачьим самоуправлением, с землячествами дворян. Конечно, миры то и дело оказывались не очень-то удобными партнерами для феодального государства, ибо главнейшей своей задачей всегда считали защиту своих членов от феодального насилия. Восстания середины XVII века в Москве, Устюге, Курске, Новгороде, Пскове, Томске заставили власти усилить абсолютистскую бюрократизацию государственного аппарата. Но и тогда, вплоть до петровского времени, власти не раз пользовались помощью общин в борьбе с коррумпированной и некомпетентной его частью.

Можно привести немало фактов, опрокидывающих расхожее ошибочное представление о деспотическом всевластии русского феодального государственного механизма.

В 1648 году Сибирским приказом, управлявшим из Москвы всей Сибирью, таможенным головой в Енисейск был определен «Соли Вычегодской Лалского погосту посадской человек Левонтей Бобровский». Документы свидетельствуют, что он неплохо справлялся со своими обязанностями, отстаивая государственные интересы, иногда противостоял даже местному воеводе. В общем, Сибирский приказ он вполне устраивал. Но в 1649 году там спохватились, что в документации о его назначении есть важный пробел: отсутствует «выбор» на него сольвычегодского мира с соответствующим ручательством за его честность. Сольвычегодскому воеводе Василию Чолгокову был отправлен из Москвы государев указ: «взять у земских старост и у целовальников, и у посацких, и у уездных людей выбор за их руками» на Л. Бобровского. Однако когда воевода попытался сделать это, земский староста, целовальники от имени всего мира «в съезжей избе ему, Василию, сказали, что им на того Левонтья Бобровского выбору дать не уметь потому, что они того Левонтья в тое государеву службу... не выбирали». Свой отказ они подтвердили особым документом, подписанным членами общины. «И они де на того Левонтья выбору не давали, и его не выбирали, и того они не ведают, где он выбирал, и кто его выбирал, потому на того Левонтья выбору дать не смогут». В Москве признали позицию мира справедливой и постановили Л. Бобровского из Енисейска отозвать, а в Сольвычегодске провести выборы нового головы в Енисейск, «кого они выберут», и взять на него «выбор».

Мирского мнения, бывало, опасались и сами воеводы. Историкам известны многие и многие сотни челобитных миров на своих воевод, по которым, как правило, началось расследование, «повальный обыск» (то есть допрос всех жителей города). По результатам подобных расследований воевод нередко досрочно смещали с постов,

принуждая к тому же и к уплате убытков пострадавшим от их насилий. Случалось, что миры сами брали на себя воеводские функции — например, в Туруханске, когда там не было еще восводской власти, во Пскове и в Томске во время городских восстаний (в Томске мир успешно управлял городом шестнадцать месяцев). Кстати, воеводы тогда назначались в город не дольше чем на два—четыре года (хотя известны единичные случаи, когда по ходатайству миров наиболее честных оставляли и на второй срок: Томск и Березов, 1688; Тюмень, 1686; Туринск, 1687).

В XVII веке мирам не раз удавалось в своей борьбе со злоупотреблениями чиновников использовать механизм, предусмотренный для раскрытия особо важных государственных преступлений,— знаменитое «слово и дело государево».

Согласно народным представлениям и механизм-то этот существовал исключительно для того, чтобы доносить к подножию престола, минуя все местные «инстанции», жалобы подданных на ошибки, насилия, казнокрадство государевых чиновников всех рангов. И хотя позиция самих властей предержавших была иной — в «слове и деле» они видели прежде всего орудие борьбы с изменами, бунтами, оскорблениями «высокомонаршей» чести,— народная точка зрения принималась в расчет и ими, поскольку выступала своеобразным противовесом «негативным явлениям», связанным с ростом бюрократии. Даже при Петре I народное толкование «слова и дела государевых» было отброшено далеко не сразу и не полностью: именованным императорским указом от 25 января 1715 года в его юрисдикции вошло и «похищение казенного интереса», то есть финансовые злоупотребления, жалобы на которые содержались в большинстве мирских челобитных, направленных против коррупции администрации.

А в XVII веке встречались и такие удивительные дела, как публичное расследование «всем миром» выдвинутых против воеводы обвинений по категории «государева слова и дела».

Попытки проведения мирских расследований нарушений воеводами государевых интересов не раз предпринимались в Сибири.

Во время известной распри между мангазейскими воеводами А. Ф. Палицыным и Г. И. Кокоревым первый трижды (в ноябре 1630 — январе 1636 года) приходил на мирские сходы и там «являл государские великие дела» на другого воеводу. Палицын рассказывал в своей отписке в Москву, как он на сходе у ног мирских людей «валялся на лютном морозе, руки и ноги познобил и им бил челом, чтоб они, помня бога и государское крестное целованье, государю послужили», отправив от мира его извет в Москву. Мир прилагал тогда немалые усилия, чтобы прекратить эту распрю воевод.

В 1643 году об обычае мирского разбора виновности воеводы по «государевым делам» вспомнили в Тобольске. С несколькими десятками подробных квалифицированных изветов на незаконные действия и казнокрадство тобольского воеводы князя П. И. Пронского выступил человек очень осведомленный — подьячий Савин Кляпиков, за спиной которого было почти четверть века работы в тобольской приказной избе. Воевода попытался замять дело, арестовав изветчика, но его взял под защиту архиепископ Герасим. Затем участники конфликта договорились, что по составленным Кляпиковым пунктам обвинения разбирательство будет происходить в Софийском соборе перед соборянами и «всем миром». План этот не удалось осуществить по причине очень показательной: вопрос об отношении к воеводе расколол тобольский мир. У Пронского были твердые позиции среди части служилой верхушки и подьячих; изветчик и архиерей сочли собравшийся в соборе мир недостаточно представительным, состоящим из воеводских «ушников и шишимор»,— и отказались вести перед ними расследование. В конце концов Кляпикову удалось-таки добиться вмешательства Москвы, и в результате был проведен по тем же пунктам обвинения широкий опрос тобольского населения, вскрывший серьезные злоупотребления воеводы и подьячих.

В истории бурных отношений между сибирскими воеводами и подвластным им населением объявление «при всем мире» государева дела за воеводой не раз являлось кульминационным моментом широких народных движений, равносильным непризнанию власти воеводы. Так обстояло дело, например, в решающий день томского восстания 12 апреля 1648 года: воевода князь Осип Иванович Щербатый пытался не допустить принародного объявления на него государева дела, но это не удалось, после чего восставшие, по словам воеводы, «меня, холопа твоего, лаiali и называли изменником и от твоих государевых дел мне отказали и сидеть мне у твоих государевых дел не велели и на воеводском дворе меня, холопа твоего, заперли». Извет был подкреплен несколькими мирскими челобитными (общесословной, служилой, крестьянской и яса-

ными) с перечислением серьезных обвинений в адрес воеводы; основная челобитная обсуждалась и подписывалась на мирских сходках в приходских церквях, и томичи впоследствии упорно доказывали полную законность таких действий мира. Царская власть в 1648 году дважды по этому челобитью выдавала томичам «судимую грамоту» на князя О. И. Щербатого, не торопясь объявлять их действия бунтовскими.

Характерно, что незадолго до этого конфликта крестьянская община Томска пыталась решить дело мирным путем. Общинные власти потребовали от князя О. И. Щербатого, чтобы он отправил выборных мирских челобитчиков в Москву к царю «о своих нуждах... бити челом». Но воевода челобитчиков в Москву не отпустил, челобитную изодрал, горделиво заявив: «Я-де здесь не Москва ли?» Однако крестьянский мир не согласился с этой концепцией политической власти в стране, поддержал объявление воеводы изменником государеву делу и добился серьезного облегчения положения крестьян.

Воеводское управление в Сибири XVII века совместно с крестьянскими мирами решало такие важные вопросы, как выбор места для вновь создаваемых сельских населенных пунктов, подъем целины совместными усилиями земледельцев всей общины, обеспечение крестьян тягловым скотом, инвентарем и т. д.

Мирская организация служивых Сибири (в первую очередь казаков) считала себя непременным участником решения всех военных вопросов, активно отстаивая подобные традиции. Сама военная служба требовала инициативы, способности быстро принимать самостоятельные решения, не дожидаясь «государева указу» и воеводского распоряжения. Казачьи круги имели свое весомое мнение о целесообразности, сроках и маршрутах походов. К их мнению прислушивались и при решении вопросов продвижения по воинской службе, размещения и численности гарнизонов, снабжения их оружием, порохом. До нас дошли документальные свидетельства, что упоминавшийся уже тобольский воевода князь П. И. Пронский все назначения на вакантные места атаманов и пятидесятников делал лишь по писаной рекомендации казачьего круга; в рекомендации указывались достоинства кандидата, приводился его послужной список. В 1643 году казачья община Красноярска подняла вопрос о возвращении атаманства Дементию Ондронову. В челобитной доказывался тезис о том, что «атаману Дементью твою государевы службы в обычей и со службу ево со всякую будет». Дементий был лишен атаманства местным воеводой, но Москва приняла сторону мира и удовлетворила челобитную.

От отдельных примеров из истории Сибири обратимся вновь к общерусской картине. Участие представителей выборных мирских организаций в судебной и финансовой деятельности местных властей зафиксировано уже в грамотах XIV—XV веков, а затем соответствующая юридическая норма попала в первый общерусский судебник 1497 года, была развита в судебнике 1550 года. В середине XVI века правительство «Избранной Рады» сделало очень много для укрепления земских органов власти на местах. (Об этом имеются серьезные монографические работы ленинградских историков Н. Е. Носова и Д. Н. Альшица). С 1549 года начинает функционировать и высший орган всей этой системы — Земский собор.

Опричнина Ивана Грозного была направлена на то, чтобы заменить земский строй сословно-представительной монархии строем восточной деспотии. (Впервые эта идея была высказана Я. С. Лурье при издании под редакцией Д. С. Лихачева переписки Грозного с Курбским; почти одновременно она была детально обоснована Д. Н. Альшицем.) Но несмотря на то, что опричнина заложила фундамент многих деспотических традиций русской самодержавной власти, основная идея «скачка» через этап сословно-представительной монархии все же потерпела полный провал. Закономерным результатом политики Ивана Грозного стал хозяйственный кризис невиданных прежде масштабов: в конце правления монарха в запустении оказалось девять десятых всех дворов в основных районах страны. Чтобы справиться с разрухой, сохранить государственную целостность и победить иноземцев, пришлось возвращаться к «двоевластию», восстанавливать некоторую автономию земских органов.

Всю первую половину XVII века земщина сохраняла свои достаточно прочные позиции в общественно-политической жизни страны и лишь во второй половине столетия постепенно стала вытесняться различными бюрократическими структурами абсолютистского государства.

В созданной Петром I бюрократической империи старым земским традициям вроде бы не было места, однако на деле они и тут оказались довольно живучими. В моно-

графическом исследовании В. А. Александрова дан поразительный анализ массовых источников XVIII — второй половины XIX века по Европейской России: выясняется, что даже в целом вроде бы подчиненных воле помещика барщинных хозяйствах мирские организации и обычаи значили очень много. И потому закономерен был мощный взрыв земского движения в пореформенной России. Историки еще в долгу перед этой темой — многие годы обращение к ней «не поощрялось». (Хотя, конечно, каждый русский интеллигент так или иначе насыпан о земщине прошлого и начала нынешнего века: о земских больницах, школах и т. д.)

Как видно, лишь примитивизируя историю, можно говорить об извечной склонности России к самым деспотическим формам правления. XX веку было из чего выбирать! Осуществлять ли деспотические идеалы Грозного и Петра? Или — делать ставку на все-таки имевшую место в России демократическую традицию? Увы, выбор был сделан не в пользу последней.

Теперь несколько слов по поводу прозвучавшего в нашей прессе мнения, будто сталинские колхозы явились современной формой старого общинного коллективизма и уравнительности. (Некоторые авторы даже утверждают, что уравнительные общинные переделы прошлых веков и есть-де истинный корень злосчастной сегодняшней уравниловки.)

Здесь опять уместно сослаться на исторические труды В. А. Александрова, М. М. Громико, Н. А. Миненко, И. В. Власовой и других советских исследователей общины феодального периода. Их работы содержат убедительные доказательства того, что передельная община — явление в истории русского средневековья сравнительно позднее. К тому же она лишь одна из трех существовавших в России общинных форм. Уравнительность насаждалась сверху, помещиками и государством, в первую очередь как средство обеспечить всеобщую платежеспособность. Но на обширных территориях, где крепостного права не было или оно оказывалось маловлиятельным и немощным, сохранялись иные общинные традиции, связанные с захватно-заимочным земледелием и землевладением. При нем размер пашни и угодий определялся в первую очередь трудовыми возможностями крестьянской семьи.

Как сейчас выясняется, основу этики крестьянской общины составляли не уравнивательные тенденции, а обычаи и нормы трудового права. Честно нажитый, своим трудом добытый достаток всегда уважался в общине. Весьма распространена была трудовая взаимопомощь. Внутриобщинные отношения строились на основах крестьянской этики, крестьянского понимания правды и справедливости.

В этом смысле общинные традиции могли бы помочь постепенному и умелому внедрению после революции выгодных для крестьянина форм кооперации, особенно снабженческо-бытовой. Ведь недаром маслодельческая кооперация делала в дореволюционной Сибири поистине экономические чудеса.

Но повторим опять: вольно же было нашим горе-революционерам из общинных традиций выбирать не крестьянское трудовое право, не здоровую крестьянскую этику, а насаждавшуюся помещиком уравнительность, да к тому же и в наиболее уродливой ее форме — равенства всех в бедности и несправедливости.

Нельзя не рассмотреть и еще одного широко бытующего мнения — об особой любви русского народа к сильной, деспотической государственной власти, о традиции раболепного «безмолвного» подчинения ей, о пресловутом «наивном монархизме» русских крестьян.

Общезвестно, что средневековое русское крестьянство, как, впрочем, и крестьянство других стран, было настроено монархически. На Руси эти настроения подкреплялись успешным решением под руководством московских государей общенациональной задачи объединения страны и борьбы с татаро-монгольским игом. Кроме того, три важных этапа ускорения развития страны в феодальную эпоху (конец X — первая половина XI века, вторая половина XV века, первая четверть XVIII века) также были связаны с целенаправленной деятельностью государственной власти.

Изживание же последних монархических иллюзий народа — это результат двух русских революций XX века. Можно с уверенностью констатировать, что к 20-м годам нынешнего столетия антимонархические настроения возобладали у большей части нашего крестьянства.

Но и в средние века крестьянский монархизм имел мало общего с монархизмом дворянским, монархизмом верхов феодального общества. В крестьянском сознании монархическая идея напрямую ассоциировалась, тесно увязывалась с идеей защиты наро-

да от насилия и притеснений со стороны бояр и воевод, от непосильной тяжести барского принуждения. Иначе говоря, главной чертой крестьянского наивного монархизма на протяжении веков выступала ненависть к строю феодальной эксплуатации и крепостничества.

Когда же действительность вступала в противоречие с этим идеалом «добротного царя», крестьянское сознание немедленно находило целый ряд путей и уловок для разрешения конфликта — от перетолковывания в антифеодальном духе повелений самодержца и создания подложных «милостивых» царских указов до объявления монарха «неистинным», «подменным» и выдвигания и поддержки самозванцев, как якобы «истинных государей». История Пугачева, «амператора всероссийского Петра Федоровича», — ярчайшее, однако далеко не единственное тому подтверждение.

Сколько раз не отвечающий народным чаяниям самодержец объявлялся антихристом или его слугой, и антимонархические выступления освящались древними церковными текстами. О том безмолвствовал ли народ, можно судить и по числу дошедших до нас крестьянских антимонархических сочинений. Рукописей подобных сочинений, относящихся только к XVIII веку, известно сегодня более ста. А ведь власти активно и жестоко боролись с их создателями, распространителями и читателями, неуклонно уничтожали сами книги, так что дошла до нас лишь малая их часть. К середине XIX века список конфискованных властями у крестьян Вятской губернии антимонархических сочинений насчитывал до полутысячи названий (исследование свердловского историка А. Г. Мосина).

По интенсивности, числу и постепенно растущей осознанности целей антифеодальных выступлений русское крестьянство ничуть не отставало от крестьянства других феодальных держав. В основе всех этих выступлений лежала извечная борьба крестьянина за свободу хозяйствования на своей земле, против любых форм феодального насилия, в том числе в позднем средневековье — и насилия над законом стоимости.

Всей русской истории с древнейших времен свойственна широкая вольнонародная колонизация, ставшая результатом поиска крестьянином более выгодных условий для свободного, не стесненного феодальными путями хозяйствования. Не случайно во время опричнины и после нее резко возросли масштабы этих свободных народных передвижений, интенсивность потоков и протяженность миграционных путей на север, юг и восток. Повсеместное бегство крестьян на неосвоенные земли стало народным ответом на первую попытку установления крепостнического «самодержавства». А в таких обширных регионах новой колонизации, как Русский Север и Сибирь, крепостным порядкам так и не удалось утвердиться.

Таким образом, и культ личности Сталина нельзя списать на традиции «народного монархизма» не только потому, что этот культ настойчиво и целенаправленно внедрялся сверху, а прежде всего потому, что крестьянское общественное сознание всегда отличало ярко выраженная и устойчивая антифеодальная направленность. Методы же сталинской коллективизации во многом возрождали, по точному определению Н. И. Бухарина, именно приемы «военно-феодального насилия» над крестьянином. Конечно, такое насилие тоже было традицией. Но традицией правящих верхов общества, а не самого народа.

Применение в деревне жесточайших форм внеэкономического принуждения во имя якобы благородной цели привнесения социалистических начал в сельскохозяйственное производство привело в итоге к фактическому восстановлению многих прежних — феодальных — форм производственных отношений. Впрочем, не совсем прежних, а несколько «модернизированных»...

Колхозники практически бесплатно отдавали свой труд за право пользования крохотным — даже по меркам феодализма — приусадебным наделом: в период дворянского обсуждения условий освобождения крестьян в 1861 году подобный мизерный размер собственного участка крестьянского землепользования был ниже пределов мечтаний самых консервативных противников реформ.

Что же до всего остального земельного массива, считающегося «общеколхозным», то ни организация работ на нем, ни распределение полученного с него продукта реально не зависели от воли отдельного крестьянина или всего крестьянского коллектива.

Естественно, обработка колхозной земли вскоре потребовала внеэкономического принуждения в том его виде, который установился на Руси после провала политической системы Ивана IV. Прикрепление крестьян к обрабатываемой ими земле получало подчас даже внешне сходные формы. Ни крестьянин позднего феодализма, ни крестьянин

сталинских колхозов не мог оставить свою деревню без особого документа, который и в XVIII веке назывался паспортом; правда, во времена Николая I получить его на более или менее долговременный уход из деревни крестьянину все же было значительно проще, чем во времена Сталина.

Землепашец государственной деревни XVII—XIX веков по праву считал свое положение самым привилегированным среди всех крестьянских групп. «Год великого перелома» поставил всех крестьян в зависимость от единого государственного землевладельца, на совести которого была теперь не только невыносимая для крестьянина система хозяйствования, но и массовый голод 30-х годов. Был нарушен баланс интересов крестьянского двора и всего «общества», как и механизм соблюдения этого баланса на сельском сходе.

Говоря сегодня о причинах и самой возможности возрождения в послереволюционной России феодальных отношений и традиций, сокрушивших, по сути дела, весь недолго просуществовавший строй свободных земледельцев — истинных хозяев своей земли, многие авторы, в общем-то, справедливо упоминают о многовековом государственном притеснении крестьян, о нашем застарелом, укоренившемся, не одно столетие возводимом в ранг официальной политики пренебрежении законом стоимости, пренебрежении, выразившемся (в недавнем прошлом) в политике принудительных цен. Но ведь как раз против этого всегда (в том числе и в трех последних русских революциях) боролось крестьянство. И те тысячи народных восстаний, вызванных насильственной сталинской коллективизацией, о которых писал недавно на страницах «Правды» советский историк В. Н. Данилов, вполне могут рассматриваться как продолжение все той же многовековой антифеодальной борьбы русского крестьянства.

Ныне нам приходится преодолевать многие серьезные феодальные деформации нашего хозяйства, деформации, среди которых главной и наиболее болезненной является, пожалуй, отчуждение крестьянства от средств производства, от результатов собственного труда в пользу безличного государственно-административного аппарата. Работа предстоит кропотливая и большая. И перестраивая, оздоравливая, совершенствуя наш общественно-хозяйственный механизм, мы должны знать и помнить об отечественных, реально существовавших традициях народного экономического и политического самоуправления, народной демократии. Помнить и опираться на них...



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СТ. РАССАДИН



ПОСЛЕДНИЙ ЧЕГЕМЕЦ

1

Я умею ненавидеть, но предпочитаю быть справедливым.

*Горький,
«Несвоевременные мысли».*

Как ни странно, а может быть, вызывающе это ни прозвучит, но мне кажется, что Иосиф Виссарионович Сталин, тот, кого исхандеровские чегемцы именуют Большеусым и все без изъятия ненавидят, в романе о Сандро, в главе «Пирсы Валтасара», наделен неким своеобразнейшим... да, решусь, рискну сказать: обаянием. Не лишен его во всяком-то случае. Не обойден экспериментальной авторской попыткой в этом именно направлении.

Притом дело здесь не только в общепонятном законе искусства, который когда-то внушал А. М. Горькому В. И. Немирович-Данченко, тшась растолковать неуступчивому драматургу причину неуспеха его пьесы «Дачники». Дескать, автор ее слишком не любит своих персонажей, в то время как Гоголь, да хоть бы и тот же Горький, отнюдь не любя прототипов Сквозника-Дмухановского или Барона-пропойцы из «На дне», не могли не любить их как художественные создания. Закон, весьма внятный и самому Исхандеру.

«Всерьез говоря, в любви писателя к своей натуре есть элемент аморальности или, вернее, доморальности. Писатель неизменно испытывает приступ нежности, встречая в жизни своеобразную натуру... Некоторая доморальность заключается в том, что писателю в момент встречи со своеобразной натурой практически все равно, какое это своеобразие — высокое или низкое. Но нравственное чувство писателя заключается в том, что он со всей доступной ему точностью передает истинные черты своеобразной натуры, не стараясь низкое выдать за высокое или, наоборот, высокое выдать за низкое».

Нет, тут не совсем то. По несчастью для всех нас, Сталин — не создание причудливой фантазии Фазиля Исхандера, и наше отношение к нему, казалось бы, уж никак не зависит от имманентных законов искусства. Тем не менее...

Впрочем, по порядку.

Грешно, а то даже и гнусно рассуждать об исхандеровском романе, печатавшемся прежде в виде извлечений и обрывков, так же, как, случается, рассуждают об иных задержанных сочинениях: мол, что бы там ни было, а они появились вовремя, именно тогда, когда для них созрели читатели и само время. Помнится, даже о «Мастере и Маргарите» и о «Чевенгуре» приходилось слышать подобное. Нет, для появления значительных событий — в искусстве или в общественной жизни — нам угрожает возможность лишь перезреть; незрелости здесь не бывает. Долголетняя задержка полного, подлинного текста «Сандро» — печальное обстоятельство, потерь от которого ни сам писатель, ни мы подсчитать не в состоянии; печально оно и для нас, чье эстетическое и нравственное сознание уже давно могло быть обогащено этим, я полагаю, выдающимся произведением. Но, наученные своим опытом и в беде находить некую пользу, мы и здесь можем утешить себя вот каким обстоятельством: зато уж, читая, допустим, те же «Пирсы Валтасара», мы получили сегодняшнюю возможность не отдавать все почтительное внимание смелости автора, шедшего против течения, как и не захлебываться от счастья, что это — решено! Просто читать — да, просто, как оно и должно, не политизируя искусства, не навязывая тексту своих злободневных, нагрузочных, не нужных ему эмоций.

У нас в ходу шутка: нынче читать интереснее, чем жить, — но и читать следовало бы так же, как следует жить (если повезет,

конечно): ровно дыша, а не глотая, будто после задушья, долгожданный воздух.

Я читал «запрещенные» главы романа «Сандро из Чегема» давно, когда они были только написаны и о публикации не приходилось мечтать, и воспринимал хотя бы те же «Пиры...» преимущественно как великолепный и рискованный сарказм, не меньше, но и не больше того. А сейчас, в который уж раз перечитывая, лишь начинаю примечать некую тонкость и сложность...

Самое первое телесное появление Сталина в этой главе и вообще в романе как бы подчеркнуто объективизированно. Или, вернее сказать, остраненно — непредвзятым взглядом автора, заимствующего эту непредвзятость у собственного героя, Сандро: тот, оказавшись в составе абхазского танцевального ансамбля, долженствующего украсить собой высочайший банкет, видит вождя впервые и полубеззащитно открыт очарованию находящейся рядом и оттого уже словно бы демократичной верховной власти. Конечно, он, автор, не оставит впечатления персонажа без растолковывающих комментариев, отягощенных нашим общим и поздним опытом, однако вначале, кажется, и сам изо всех простодушных и любопытствующих сил постарается понять душевные движения Сандро, да и вождя:

«Постепенно взаимные рукоплескания слились и выровнялись, найдя общий эпицентр любви, его смысловую точку. И этой смысловой точкой опоры стал товарищ Сталин. Теперь и секретари райкомов, как бы не выдержав очарованья эпицентра любви, повернули свои аплодисменты на Сталина. Все били в ладоши, глядя на него и приподняв руки, как бы стараясь добросить до него свою личную звуковую волну. И он, понимая это, улыбался отеческой улыбкой и аплодировал, как бы слегка извиняясь за предательство соратников, которые аплодируют не с ним, а ему, что потому он один бессилен с такой мощью ответить на их волну рукоплесканий».

Столь дотошное и, я бы сказал, бережное проникновение в самосознание персонажа, каков бы он ни был, это ведь своего рода соавторство, которое не может быть враждебным — точнее только враждебным. Всякая попытка понять, по существу, по стимулу беззлобна: злорада немедленно поставит этой попытке неодолимую преграду. А маленькие человеческие слабости вроде этой, неопасной и непреступной, формы сталинского тщеславия лишь располагают нас к тем, от кого грозно зависит наша судьба; им же самим эти слабости напоми-

нают, что они как-никак люди, стало быть, способны расслышать и учесть нас, «простых», «маленьких», среди своих величавых свершений и грандиозных замыслов.

«Появление этих стройных танцоров, затянутых в черные черкески, обрадовало его. В такие часы он любил все, что несло в себе очевидную и безотносительную к надававшей порой политике ценность. Вернее, как бы безотносительную, потому что он незримо соединял эту очевидную ценность и законченность с тем громоздким и расплывающимся, во что превращается всякая политическая акция, и воспринимал ее как пусть маленькое, но вещественное доказательство его правоты.

Так двадцать стройных танцоров превращались в цветущих делегатов его национальной политики, точно так же, как дети, бегущие к Мавзолею, где он стоял по праздникам, превращались в гонцов будущего, в его розовые поцелуи. И он умел это ценить, как никто другой, поражая окружающих своей неслыханной широтой — от демонической беспощадности до умиления этими маленькими, в сущности, радостями».

Конечно, уже мелькнула и отпечатлелась «демоническая беспощадность», автор жестко напомнил себе и нам, кого он на сей раз взялся изобразить и понять, но если вдуматься, то и здесь покамест — вполне человеческая потребность в объяснении и оправдании своих надчеловеческих, бесчеловечных затей.

Нуждающийся в самооправдании — еще не безнадежен...

Чем дальше, тем бесповоротней зрелище, открывающееся взгляду неофита-чегемца, будет превращаться в балаган, припахивающий перегаром и кровью, — и все же автор странным образом не торопится с этим неизбежным превращением. Словно дает центральному персонажу главы «Пиры Валтасара» некий шанс — погодить, не оборачиваться чудовищем.

Да и в самом деле дает. Предоставляет. И не один.

Когда молодой Сандро, честолюбиво ссылаясь пред очами вождя с премьером ансамбля, исполнит свой коронный номер — «полет на коленях», да еще с глазами, укрытыми под башлыком, то бишь вслепую (тут, разумеется, лукаво притаилась язвительная метафора), а вождь с улыбкой нагнетается к распростертому у его ног танцору и в упор встретится с ним глазами: «Кто ты, абрек?.. Где-то я тебя видел, абрек?» — чегемца сперва встревожит непонятное беспокойство, а после осознанно обожжет

ужас. Он вспомнит: далекие детские годы, свой аул Чегем, себя, пасущего коз, слухи о бандитском нападении на пароход и встреченного в лесу страшного, поспешающего, будто уходящего от погони человека, его цепенящий злобою взгляд и шепот ему, мальчику, на ухо: «Скажешь — вернись и убью...»

Что, если бы маленький Сандро преодолел тогдашний свой ужас и рассказал о встрече отцу? Что, если б того низкорослого убийцу с покатым плечом изловили бы — и?.. Размышления подобного рода — «если бы да кабы» или «потому что в кузнице не было гвоздя» — неизменно волнуют детей и сочинителей, как бы ни воспрещали им подобное легкомыслие историки; да и впрямь велик, а главное, естествен соблазн — заглянуть за край сбывшейся реальности, обмирая от ужаса или вдохновляясь собственным оптимистическим воображением.

Помню и я: давние 60-е, два москвича, то есть мы с Василием Аксеновым, катим по Кахетии, в «Волге» с нами — двое братьев, замечательных писателей-грузин, за рулем — молодой, а теперь, к несчастью, покойный историк, и вот он-то как раз рассказывает... Что? Действительную историю? Или легенду? Пусть даже так, не хочу и не стану проверять, ибо легендарность бывает не только милее, но и убедительнее, типизированнее. В общем, будто бы некогда к Илье Чавчавадзе заявился юный семинарист по фамилии Джугашвили и почтительно попросил метра оценить стихи его сочинения. Живой классик Грузии не скрыл, что поэтом гостю не быть, а когда тот, огорчившись, осведомился, чем же ему в таком случае заняться, ответил: «Ну, мало ли путей для молодого и энергичного человека! Почему бы вам не испытать себя, например, в политике?»

Юноша задумался, поблагодарил и откланялся.

— Ну что бы ему слухавить да похвалить стихи! — воскликнул кто-то из нас, и в этом полукوميческом (все-таки не больше чем «полу») возгласе и даже в придуманной Искандером встрече маленького Сандро с ужасным убийцей есть смягчающий реальность элемент допущения, выбора, предотвращения бедствий...

Но Искандер-то фантазирует куда смелее.

«Гапринди шаво мерцхало... Лети, черная ласточка...» — поют на пиру песню, какую, как говорят, в самом деле любил Сталин, и она, пишет Искандер, сказочным образом освобождает душу бывшего Сосо Джугашвили:

«Ему видится теплый осенний день, день

сбора винограда. Он выезжает из виноградника на арбе, нагруженной корзинами с виноградом. Он везет виноград домой, в дачную. Поскрипывает арба, пригревает солнце. Сзади из виноградника слышатся голоса домашних, крики и смех детей... Он проезжает и чувствует, что всадник из Кахетии все еще глядит ему вслед. Он даже слышит разговор, который возникает между односельчанином и гостем из Кахетии.

— Слушай, кто этот человек? — говорит всадник, выплескивая из кружки остаток воды и возвращая ее хозяину.

— Это тот самый Джугашвили, — радостно говорит хозяин.

— Неужели тот самый? — удивляется гость из Кахетии. — Я думаю, вроде похож, но не может быть...

— Да, — подтверждает хозяин, — тот самый Джугашвили, который не захотел стать властителем России под именем Сталина».

Знаменитый искандеровский юмор; его парадоксы, которые, впрочем, вовсе и не парадоксы, не вывернутые наизнанку общие места, а гримасы жизни и человеческого сознания, словно бы всего лишь подсмотренные и уловленные простодушным писателем; наконец, его же сарказм, опирающийся на горький наш опыт — черта с два, дескать, «он» откажется от этойкой перспективы. И среди этой стихии юмора и сарказма — сугубая подлинность неспешной крестьянской беседы, пленительного для автора образа жизни; островок гармонической реальности, не искаженной даже уродливым самосознанием свирепого персонажа и уж тем более не задетый авторской насмешкой: «— Хо-хо-хо, — прицокивает гость из Кахетии, — я от одного виноградного корня не могу отказаться, а он от России отказался.

— А зачем ему Россия, — поясняет хозяин, — у него прекрасное хозяйство, прекрасная семья, прекрасные дети...

— Что за человек! — продолжает прицокивать гость из Кахетии, глядя вслед арбе, которая теперь сворачивает к дому, — от целой страны отказался...

— Да, отказался, — подтверждает хозяин, — потому что, говорит, крестьян жалко. Пришлось бы, говорит, всех объединить. Пусть, говорит, живут сами по себе, пусть каждый имеет свой кусок хлеба и свой стакан вина...

— Дай бог ему здоровья! — восклицает всадник, — но откуда он знает, что будет с крестьянами?

— Такой человек, все предвидит, — говорит хозяин.

— Дай бог ему здоровья,— цокает гость из Кахетии... — Дай бог...»

Тут нечаянно вспоминается то, что, коли уж вспомнилось, трудно не сравнить, не столкнуть с этим иксандеровским текстом. «Наташа Труханова», Наталья Владимировна, бывшая шантанная дива, подруга барона Ротшильда, а затем жена экс-графа Игнатьева, всплескивает руками, глянув через окно на московскую, осеннюю, мерзостную погоду (цитирую книгу Марии Белкиной «Скращение судеб»):

«— Боже мой! Я ведь только теперь поняла, какой Сталин великий человек! Подумать только — променять благословенный климат Грузии на эту мразь и слякоть! Как надо любить русский народ! Россию!»

Кто отчетливее выразился здесь, в этой оригинальной версии и величия Иосифа Виссарионовича, и все тех же причин его переезда из прекрасной отчизны; кого здесь больше — его ли самого или характера восторженной красной графини?

Во всякой легенде полнее, реальней всего предстает не тот, кого она славит или хулит, — он-то может преобразиться даже до полной утраты реальных своих очертаний, — а тот, кто слагает легенду. И, думаю, анекдоты, истории, слухи, легенды, мифы о Сталине (все и вся, от тех анекдотов, что шептали друг другу на ухо и все-таки получали срок, до официально литературных и кинематографических мифов вроде павленковского «Счастья» или чиаурелиевской «Клятвы») нетерпеливо ждут своего систематизатора и исследователя, который обнаружит в обществе сталинской эпохи, выглядевшем под присмотром тоталитаризма столь единым, удивительное, нежданное многообразие...

«Конечно, Хрущев во многом прав... насчет колхозов прав. Насчет выселения народов прав и насчет арестов прав... Но если ты хочешь мое личное впечатление, я тебе скажу... К ребятам из охраны лучше его никто не относился».

Так выскажется в романе Искандера некто Тенгиз, ветеран органов; выскажется сдержанно, ибо стеснен обществом тех, у кого к Большому совсем иные счеы, — а один из возможных его прототипов, чьи мифотворческие способности ничем подобным не стеснены, преобразит свою благодарность охранника к заботливому хозяину в образ уже решительно фантастический: «Сталин был совершенно свободен от чувства страха... Сталин не любил, когда его восхваляли... Сталин был несколько вспыльчив, но отходчив и по-отчески добр» (А. Т. Рыбин, «Рядом со Сталиным».—

«Социологические исследования», 1988, № 3).

Можно ли сомневаться, что именно так вспоминали бы о своем любезном и снисходительном шефе — Гитлере — его белокурые секретарши (впрочем, сослагательность ни к чему: вспоминали) — и тем более любимая овчарка фиорера Блонди, ежели бы научилась писать?

С этим все ясно. Здесь несвобода радостно-явная, самоупоенно-рабская, ощущаемая как дар судьбы, как завидное счастье. Но если хорошенько припомнить, как мы сами рассказывали — и не перестали еще пережевывать — «случаи» со Сталиным, полудостверные истории о проявлениях его жестокости, непредсказуемости, самодурства, то придется сознаться, что в пересказе нашем порою сквозило... да, ничего не поделаешь: сознание странного обаяния. Не самого Сталина, боже упаси, но воплощенной в нем абсолютной власти, которая, раз уж она абсолютна и беспредельна, всегда имеет неиспользованные ресурсы стать еще хуже, еще страшнее, еще кровавее, — а за эту нереализованность хочешь или не хочешь, но испытываешь род унижительной благодарности. По известному анекдоту: «Глаза Добрые-Добрые... А мог бы и зарезать!»

(Или — как в романе Искандера чегемцы рассказывают о Сталине, угощающем ребенка конфетой. «Да подойди ты, — говорит ему Большеусый, — не бойся, она не отравленная». Дескать, а мог бы и отравить!)

Позволяя себе скачок сразу через несколько различных ступеней несвободы, через оттенки от позорного к трагическому или трагикомическому, вспоминаю вычитанные из книги Мариэтты Чудаковой «Жизнеописание Булгакова» (и записанные женою писателя Еленой Сергеевной) домашние шутовские импровизации будущего сочинителя пьесы «Батум» на сюрреалистическую тему своего якобы приятельства и панибрательства со Сталиным. Импровизации очаровательные, озорные, неистощимые на выдумку; достаточно процитировать феерический эпизод, как вождь, пожалев своего «Михо», у которого «лежит в МХАТе пьеса, а они не ставят, денег не платят...», берет телефонную трубку:

«—Художевленный театр, да? Сталин говорит. Позовите мне Константина Сергеевича. (Пауза.) Что? Умер? Когда? Сейчас? (Мише.) Понимаешь, умер, как сказали ему.

Миша тяжело вздыхает.

— Ну, подожди, подожди, не вздыхай.

Звонит опять.

— Художественный театр, да? Сталин говорит. Позовите мне Немировича-Данченко. (Пауза.) Что? Умер? Тоже умер? Когда?.. Понимаешь, тоже сейчас умер».

Что это? Отчаянный (со стороны Булгакова) юмор висельника? Или, что, может быть, гораздо хуже, ерничество того, кто готов сдаться на милость победителя (так сказать, «у времени в плену»)? Того, кто вскоре как раз и решится махнуть рукой и написать злосчастный «Батум»? Не исключая, что так, тем более и Чудакова недвусмысленно комментирует, предполагая эту же связь:

«...Возможно, что в тот самый год, когда ему явилась мысль писать пьесу о Сталине, герой этой будущей пьесы стал получать воплощение в его устных рассказах — комических новеллах».

Как бы то ни было, трудно не заметить: в юмористически-роковых телефонных звонках, укладывающих на месте тех почтенных людей, о которых намайвший в Художественном театре Булгаков не мог вспомнить без содрогания, — веселая, ничем не ограниченная, воландовская кара, наступающая, как известно, преимущественно тех, кто ее заслужил. То есть вновь хоть и ернический, но несомненный ответ все того же опасного и притягательного обаяния абсолютного могущества...

Обаяние, неожиданно коснувшееся фигуры искандеровского Большеусого, то, о котором я удивленно заговорил, едва только начав статью, — совсем иного рода.

Корни вымечтанной идиллии (Джугашвили, не захотевший стать Сталиным, мир крестьянствования, избежавший «великого перелома»), которая отыскала себе непрочное местечко даже — будто бы! — в оравленном властью мозгу вождя, корни этого безнадежного и все-таки на что-то рассчитывающего допущения всеочевидны. Одной главой раньше отец Сандро, старый Хабуг, быть может, самый любимый герой Искандера, идеальный крестьянин, горестно озадачься неотвратимостью своего вступления в «кумхоз», возмечтает в последней и безумной надежде, как «он прорвется до самых верхов и однажды окажется в кабинете самого Большеусого и тут-то вывозит ему всю правду... И тогда задумается Большеусый и скажет:

— Пожалуй, набедокурили мы тут с этим делом... Знаешь что, надевай этот китель и занимайся своими крестьянами от нашего имени. Пусть они живут как хотят, только пусть налоги платят исправно. А я займусь своими рабочими и не будем друг другу мешать...

Только бы сказал такое Большеусый, уж мы бы для него постарались, уж мы бы его завалили нашим добром до самых усов. Да разве скажет?»

Но, кажется, я назвал эту наивную надежду Хабуга безумной? Нет, не то.

Что ж безумного в том, что народ тоже творит легенды по своему подобию и до последнего задыхания не имеет нравственных сил допустить, будто в самой страшной душе не осталось ничего человеческого, ничего, что способно откликнуться человеческому? И потому воображенное погружение Сталина в утопически-гармонический мир крестьянствования, то, что, казалось бы, должно было всего лишь отыграть роль язвительного контраста, маскарадного передразнивания, — оно поэтично, прекрасно, серьезно, нормально.

Этот естественный юмор, эта и в юморе сохраняемая глубокая серьезность (нет, не совсем так: проявляющая себя через него), этот великодушный, щедро-разорительный допуск — юмор, серьезность и великодушные внутренне очень свободного человека. Свободного, в частности, от предвзятости — даже к Сталину... Хотя почему «даже»? Для истинно художественного, для бескорыстно-любопытствующего постижения в этом смысле нет исключений, а изначальная («доморальная») доброжелательность — она-то, быть может, как раз труднейшее испытание для того, кому адресована. Оправдать ее, выдаваемую авансом, — погяжелее, чем опровергнуть предвзятость, всегда хоть в чем-нибудь да не правую, и совсем не напрасно Фазиль Искандер впустил на единый миг в свою радостную Утопию «самого неулыбчивого человека» (определение, данное им Сталину, и, с его точки зрения, убийственное). Того, который так много сил положил, чтоб Утопия в самом деле стала только утопией. Атлантидой.

2

Если выпало в империи
родиться,
Лучше жить в глухой
провинции, у моря.
Иосиф Бродский.

На одном из публичных вечеров Искандера спросили, почему он, воспевая родной Чегем, живет все-таки в Москве, — не слишком умный вопрос с некорректно подковыркой, от которого не грех отшутиться. Искандер тем не менее, наморщив лоб, стал отвечать со всей серьезностью, а закончил и вовсе мрачно: в Чегеме, сказал он, сейчас почти никого уже и не осталось.

В романе о том же говорится, пожалуй, еще безнадежнее, даром что каламбурно: «Моя голова — последний бастион защиты от цивилизации... В бастионе моей головы последняя дюжина чегемцев (кажется, только там она и осталась) защищает ее от лезущей во все щели нечисти...»

Понимать ли, что такие чегемцы, которыми и представляет их нам Искандер, существуют еще только в его голове? А может, они, такие, всегда, даже до разора родного села, только там и существовали?

Вот банальность из банальностей: неотступно воскрешаемый Искандером мир своего детства, мир абхазской деревни, мир Хабуга и Чика, — порождение ностальгии именно по детству. Как у Набокова, что ли? Припомним из «Других берегов»:

«Мое давнишнее расхождение с советской диктатурой никак не связано с имущественными вопросами. Презираю россиянина-зубра, ненавидящего коммунистов, потому что они, мол, украли у него деньги. Та и десятины. Моя тоска по родине лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству».

«Лишь»... Вытеснение одной тоски другою, отказ не только от имущественных претензий, но и словно бы от привязанности к географическому и историческому понятию, именуемому Россией. Сказано сильно, страстно, — быть может, как раз с той самой страстностью, с какой надеются переспорить очевидное. Ибо и набоковская ностальгия сродни цветаевской «тоске по родине» — этой будто бы «разоблаченной мороке» (в прославленном стихотворении тоже ведь яростно опровергалось само предположение о тяге к утраченной родине: «И все — равно, и все — едино», пока память не вынесет на свою поверхность рябиновый куст, безошибочно щемящую примету российского пейзажа).

Детство и родина здесь неразделимы; просто та Россия, которую с нежнейшей плотоядностью воскрешает в «Других берегах» Набоков, не Россия, бывшая в сущей реальности. Она преобразена детством, его избирательной памятью, и, вероятно, если бы свершилось чудо и Владимир Владимирович Набоков вновь встретился со страной, которой не коснулась «советская диктатура» и даже течение времени обогнуло ее стороны, он, взрослый и знаменитый, вряд ли признал бы в ней точно ту, свою.

В этом — и только в этом — смысле Искандер схож с Набоковым. Его Абхазия совершенно реальна — но и ирреальна. В ней не Сухуми, а Мухус, в ней маленькое горное село Чегем самочинно заняло поло-

жение как бы столицы, центра (возможно, не только края, но и мироздания), в ней аборигены опасаются козней не каких-либо действительных пришельцев, принадлежащих к какой-то действительной национальности, но невесть откуда взявшихся эндурцев... Правда, заглавный герой романа, к этому времени успевший стать стариком, Дядей Сандро, даже с уверенностью предполагает откуда: «...Их сейчас на парашютах спускают к нам... горные пастухи то и дело находят в горах парашюты». И если сам автор-рассказчик в этой версии усомнится и признает вымышленных эндурцев всего лишь «мистикой национального предрассудка», пояснив, что «каждый народ воспринимает свой образ жизни как высший образ жизни вообще» и, стало быть, имеет «инстинкт самосохранения», то далеко ли он уйдет от своего несклонного к подобным абстракциям героя? Тот-то, пожалуй, все-таки пусть и нехотя, а изъявит готовность к некоторому абстрагированию и, уличенный рассказчиком, что эндурцы в их краях появились раньше изобретения самолетов и парашютов, вывернется, ответит: «Ты, как палка, все прямо понимаешь... для каждого времени свой парашют», — а он, рассказчик, напротив, возьмет да и оденет метафору материальной «тугого плотью», превратит неосязаемую «мистику» и невидимый «инстинкт» во вполне видимые и осязаемые фигуры персонажей эндурского происхождения¹.

Конечно, почти всякая Утопия создается, как правило, потому, что перед тоскующим взором ее создателя — тягостный мир антиутопии, устроенный «не так», поворотив-

¹ Кстати сказать, эти самые эндурцы, ставшие за последние годы прямо-таки пресловутыми, нередко все же расшифровываются искандеровскими читателями как псевдоним того или иного «пятого пункта»; вот и немецкий переводчик спрашивает у автора, по его свидетельству: «Эндурцы — это евреи?» И автор, объясняя, что словечко это возникло еще в его детсадовских играх, и, стало быть, тем категоричнее отрицая любые прямые намеки, думаю, кое-что извлек из этой болезненной подозрительности. Тема эндурцев и эндурства, варьирующаяся на протяжении всего романа, обретает по ходу его все менее шуточные, все более драматические очертания — так что в новом варианте предисловия («Московский рабочий». 1989) Искандер уже сочтет нужным, не оставляя иронической интонации, сказать нечто жестко-определенное: «Эндурцы — это и наш предрассудок (чужие), и образ дурной цивилизации, делающий нас чужими самим себе. Однажды мы можем проснуться, а кругом одни эндурцы, из чего не следует, что мы не должны просыпаться, а следует, что просыпаться надо вовремя».

ший «не туда», и настойчивое желание утописта-идеалиста утвердить собственные «туда» и «так» — от противного, от опустыленного — сотворяет безоблачное, бестеневое царство восторжествовавшего Идеала.

Чегемская Утопия, как сказано, иного рода. Она сохраняет черты узнаваемой, нелучезарной реальности, даже такие, которые могут и ужаснуть. Да и ужасают.

Хорошо помню, как в нелегкую для Искандера пору, когда он пытался опубликовать в издательстве своего «Сандро» (конечно, урезанного), один прозаик, сам вдоволь набедававшийся, да и тогда бедававший, написал по заказу издателей резкую, практически запретительную рецензию, где говорил, что искандеровские чегемцы наводят на него ужас, и изъявлял немедленное желание укрыться от них под сень советских законов.

И, казалось бы, это можно понять — не запрет, разумеется, а ужас...

«—Как? — спросил Шалико, цепenea и не веря своим глазам, — ты хочешь взять мою кровь?!

— Не взять, а выпить поклялся я, — поправил его пастух, ссылаясь на клятву, как на документ, который никак нельзя перетолковывать».

И — далее:

«Махаз изо всей силы прижимал его к раковине, потому что знал: всякая живая тварь, как бы ни оцепенела от страха перед смертью, в последний миг делает невероятные усилия, чтобы выскочить из нее. В эти мгновенья даже козленок находит в себе такие силы, что и взрослый мужчина должен напрячь все свои мышцы, чтобы удерживать его.

Когда кровь, хлеставшая из перерезанного горла, почти перестала идти, он бросил нож в раковину и осторожно, чтобы не запачкать карман, полез в него и достал из него стопку. Продолжая левой рукой придерживать труп Шалико за волосы, он подставил стопку под струйку крови, как под соломинку самогонного аппарата.

Набрав с полстопки, он поднес ее к губам и, отдунув соринки, попавшие туда из кармана, где лежала стопка, осторожно вытянул пару глотков. Он поставил стопку в раковину и, дождавшись, когда кровь совсем перестала идти из горла, осторожно переложил труп на пол».

Чудовищно! Как бы виновна ни была жертва, завмаг, ворюга и совратитель двух Махазовых дочерей, это — жертва, и как бы ни был обижен убийца, он — убийца.. Отчего же, однако, на сей раз я не ощу-

щаю неизбежного гнева и омерзения, в том числе обращенных на автора, который позволяет себе невозмутимо-эпически, с такой бестрепетной наблюдательностью («...чтобы не запачкать карман... отдунув соринки») повествовать об убийстве человека? Замечу, не менее эпически и не менее невозмутимо, чем он повествовал, как старый Хабуг, решившись-таки на «кумхоз», с трагической и степенной обстоятельностью свершал ритуал жертвоприношения: резал козленка у подножья молельного дерева.

Да, Искандер, будто напрашиваясь на такой упрек, не только мимоходом сравнит убиваемого Шалико как раз с козленком и вспомнит еще одно обыденно-обиходное действие («как под соломинку самогонного аппарата»), но и прямо соотнесет два неравноценных события:

«Сейчас он смотрел на Шалико без всякой вражды, и это сильнее всего ужаснуло Шалико. Так крестьянин без всякой вражды смотрит на овцу, предназначенную для заклания».

(И точно так же, добавлю я, исходя из авторской интонации, странно в этот миг ненавидеть пастуха Махаза, как странно ненавидеть природу, насылающую на нас обвалы, разливы рек, землетрясения.)

Больше того: Искандер без каких-либо эмоциональных помех позволит Махазу, который тотчас после убийства добровольно сдался властям («Моя резала амагазин ахозяин»), спокойно уснуть с сознанием исполненного долга и обретенной человеческой и мужской полноценности. Даже видеть счастливым сон...

Может быть, дело всего лишь в особом воздействии искусства — вообще, в целом, — позволяющем нам не перестать сочувствовать, скажем, венецианскому мавру, который только что задушил и прирезал Дездемону? Нет, дело не только в этом. А в чем — надо еще разобраться.

В романе и в том бытовом, бытийном укладе, который чегемцы почитают «высшим образом жизни вообще», много такого, что, здравомысленно-то рассуждая, подлежит безоговорочному осуждению, а Искандер, кажется, до беспечности весел — и только. Ну, хорошо, нетрудно понять, почему вовсе не тянет быть моралистом, когда, например, читаем, как понапрасну арестованный Сандро сидит на затянувшемся допросе у следователя, а его конвойный то и дело нетерпеливо заглядывает в дверь. «Дело в том, — пояснит вполне благодушный автор, — что по принятому у нас обычно

человек, которого милиционер водит на допрос, на обратном пути должен зайти куда-нибудь и угостить его. Вот он и напомнил о себе».

Да и дальше, когда отпущенный — не навсегда — Сандро вышел-таки из кабинета, «милиционер встретил его протяжным вздохом.

— Сам мучаюсь и тебя замучил, — ответил ему дядя Сандро на вздох.

— Не в этом дело — закрыть могут, — скромно ответил ему милиционер, и они двинулись к выходу».

«Скромно... По принятому у нас обычаю...» — выходит, кутузка настольно вросла в быт, что выработался уже галантный обычай обхождения с конвоирами. Тут смеемся без всяких уколов совести: домашность, уютная семейственность, как бы (конечно, всего лишь как бы) уравнявшая мучения подсудимого и того, кто истомился жаждой выпить за его счет, — они сами по себе смешны, а возможно, и пародийны, но... В общем, куда ни шло. Однако вот ситуация, в которой страдательному персонажу уж точно не до смеха.

Отряд кавказских меньшевиков (речь о гражданской войне) «экспроприрует» армянина-табачника, который успел изведать не одно такое нашествие, и, узнав, что золота нет («...золото вот узьяли»), грабители вдруг обижаются. Именно так: «Это не мы, это другой отряд золото брал, — крикнул один из меньшевиков обиженным голосом»... То есть тут подал голос человек с повышенным и задетым чувством достоинства, неуклонно следующий правилам чести и, естественно, возмущенный напраслиной.

Потом на горький упрек армянина: «Турки резали за то, что армяне, авы за что?» — будет дан, как отмечено, «важный», то есть опять-таки весьма самоуважительный, ответ: «Для нас все нации равны»; дальше экспроприаторы с достоинством примут от хозяина вынужденный «хлеб-соль» и станут, словно званые гости, чинно пировать в его разоренном доме. «Они поднимали тосты за счастливую старость хозяина, за будущее его детей. Пили, косясь на винтовки, за цветущую Абхазию, Грузию, Армению и за свободную федерацию Закавказских республик, разумеется, под руководством Ной Жордания».

Грабеж, насилие — но и здесь ритуал, словно пресловутый «примирительный елей», пролитый на разбушевавшееся море, пародийное подобие (пародийное — однако

подобие) порядка, гармонизирующего беспорядок, бесчинство, хаос... И все-таки: неужели этого хватит, чтоб драму сделать достоянием юмора? Конечно, не одного только юмора, но и его тоже?

Впрочем, юмор и вообще-то, думаю, можно определить как присутствие духа, как способность оказаться выше обстоятельство и даже, если удасться, выше судьбы. Что же до Искандера, то он, говоря о своих чегемцах, иронизирующих над чужим и, значит, «несовершенным» образом жизни (что является «наиболее мирной формой национального предрассудка»), добавляет: «Показывая эту иронию и иронизируя над этой иронией, я...» — но нам сейчас довольно и этого обрывка фразы.

«Иронизируя над иронией» — да, он готов смеяться над земляками, в то же время улыбаясь им, потешаясь над национальным самодовольством и над прочими добросовестными заблуждениями, признавая, однако — вот что важно! — обоснованность и их ироничности. И отчетливо видя, что не только забавное куначество арестованного Сандро с охранником, но даже подобие благодушного ритуала, соблюдаемое при вовсе не забавном ограблении бедолаги-табачника, — все это не лишено... Вот и опять выныривает слово, казалось бы, уж никак не соответствующее моменту... Тем не менее в самом деле — не лишено обаяния.

Устойчивый прежде мир сдвинут, искажен, обезображен (войной, враждой, «кумхозом»), но он, гримасничая, все-таки покуда сохраняет — пусть хотя бы только внешне — благообразные черты былой патриархальности. Формы народной жизни, корезясь, сопротивляются корению. А такой мир не вовсе безнадежен нравственно, он достоин иронии, но еще не проклятия. Совсем не случайно Искандеру понадобился в центральные герои романа не идеальный Хабуг, не безупречный Кязым, не сказочный «чегемский евангелист» Джансух — нет, весьма и весьма небезгрешный Сандро, что дает, между прочим, простор и повод для поверхностных толкований жанра этого романа-эпоса. Плутовской? Авантюрный?.. Протеичный, текучий, ускользающий (как и положено типу, а не характеру, который, то бишь характер, обычно округло замкнут своей определенностью; для понятности, а не ради лести назovu образцы, где также затруднительно обнаружить завершенность характеров: Уленшпигель, Швейк), дядя Сандро опрокидывает на подступах к себе все однозначные подходы. Плут? О да, — но и человек строго оберегаемой чес-

ти, во всяком случае ее закрепленных обычаем правил. Лодырь, не проработавший ни единого дня (по чегемским понятиям, согласно которым плясать в ансамбле или служить при Лакобе комендантом ЦИКа — вряд ли работа)? Разумеется. Не считать же, в самом деле, трудовым стажем благословенную должность несменяемого тамады.

Хотя...

«Главный Тамада» — так назовет Сандро Господа Бога, словно бы определив его старшиною по руководству пирами, и в этом занятом полукощунстве есть смысл. Тамада — человек, знающий и соблюдающий правила, наблюдающий над их соборным исполнением; он олицетворяет сохранность традиций — пусть всего только за столом... Впрочем, разве столь серьезное отношение к ритуалу застолья и к ответственной должности тамады всего лишь симпатичная причуда кавказцев? Нет, конечно, это именно строгое почтение к порядку, это противостояние распаду, усилия формообразования и формосохранения; даже вызывающее у нас, северян, улыбку преувеличенное славословие соседей-застольцев, подчас полужнакомых, — это напоминание людям, каждому из людей, как им необходимо и как заслужено ими чувство достоинства. Даже если твоей заслуги тут мало или по крайней мере о ней не осведомлены — достаточно принадлежности к сообществу стола и просто к человеческому роду. (Когда в фильме «Пастораль» Отар Иоселиани решится с беспощадностью показать оборотную, тошнотворную сторону грузинского хлебосольства, это будет шоковым предостережением: распад грядет, друзья мои, он начался, как бы не опоздать...)

Лишенный главнейших добродетелей крестьянина, собственным отцом, Хабугом, воспринимаемый со снисходительной пренебрежительностью (пустопляс, бездельник!), Сандро, такой, как он есть, да же та кой, оказывается воплощением правил, способным по этой причине хоть и беспечно, хоть и оступаясь, но вместе с другими — с Хабугом, с Кязымом, с прозаиком Искандером — противостоять тому, что всем им чуждо и ненавистно.

Здоровье народа для Искандера покуда так велико, что его хватает даже на грешного — лишь бы кровного — сына...

Да, общий их мир не только досадно подавлен к новейшим искажениям и уродствам, он и изначально далек от совершенства, от неколебимого гуманизма (искандеровская Утопия, настойчиво повторяюсь, не идеальна). Он жесток, как только может

быть жесток уклад, допускающий, к примеру, кровную месть. Все так. Но исторически объяснимая жестокость, без которой (что тут поделаться?) не вообразишь патриархальный мир Чегема, — такая жестокость... конечно, тут не выговоришь: чело вечна, язык не повернется, но можно хотя бы сказать: природна. Сопричастна природе, соотносима с ней — как не отравленный ненавистью мститель Махаз, сам дитя и часть природы, соотносим с не умеющими ненавидеть оползем или лавиной.

То, что Искандер способен, не выбившись из размеренного тона, поведать о Махазовом ритуальном заклятии нарушителя Клятвы (то есть Правила Правил) и с куда большей эмоциональностью, с горечью, презрением, отвращением говорить о проступках несравненно менее кровавых: о неверности друга, предательстве, трусости, — это своего рода историзм. Понимание, что неизбежно и уже потому естественно и что, напротив, противоестественно. Что свойственно несовершенному (увы!) человеческому роду и что никаким природным несовершенством и исторической необходимостью не оправдать. То есть — бывает, оправдываем, и очень часто, но в том-то и есть наша беда...

Недавно я прочел высказывание киноведа-японца (цитирую из «Огонька» интервью с Олегом Рудневым, председателем «Совэкспортфильма»):

«Ваше (то бишь наше с вами.— Ст. Р.) кино жестоко, невероятно жестоко»...

Первая реакция — оторопь: это наш-то стыдливый кинематограф? Это он «невероятно жесток» — и, главное, в чьих глазах, по сравнению с чем? Не с индийскими же мелодрамами, но с тем, что как раз без сомненья жестоко, а на наш вкус — жестоко чрезмерно: с японскими «Красной бородой», «Империей страсти», «Легендой о Нарайяме», с фильмами, смотря которые с непривычки отводишь глаза от кадров, перегруженных нестыдяющимся натурализмом и нескрываемым ужасом жизни.

Однако продолжу:

«Вы не представляете себе, как оно неприятно нашему зрителю. Вы все время в фильме говорите на несколько тонов выше. Ваши диалоги начинаются с решительного «нет». У вас даже муж с женой в кадре разговаривают в повышенных тонах, без конца выясняя отношения. Мы не понимаем, когда вы воинственно, активно, напором, а не разумом пытаетесь утвердить истину. Мы, японцы, когда разговариваем, даже в глаза друг другу не смотрим, чтобы

не оскорбить какой-то тенью во взгляде. Научитесь слушать... Вы не слушаете — вы утверждаете, причем утверждаете криком».

Вот оно, значит, как: с точки зрения японцев мы выглядим и ведем себя не по людски.

Читая такое, ежишься — именно потому, что речь не о явном и для нас самих кошмаре нашей жизни, а о том, чего не видим. Выходит, вот какими мы стали — да, стали, потому что, наверное, прежде-то не были? Жестокими, не замечающими, что жестоки; жестокими повседневно, привычно, в невиннейших своих проявлениях.

Что говорить, повышенный тон в разговоре с женою, вероятно, все-таки приемлемее обычной кровной мести, но если отбросить шуточки, то вот что мы совершили или позволили совершить с собой: наша жестокость, со сторонней зоркостью подсмотренная наблюдательным японцем, страшна особенно тем, что бессмысленна и беспричинна. Как особо страшны безмотивные преступления. Она — следствие той разрушительной силы, которая, пройдясь по нам, конечно, не «перековала» нас, как было обещано, а разрушила, лишила определенной душевной структуры, заставила утратить потребность в правилах, чувство нормы, ритуал — разумеется, не стола или чего-то столь же конкретно-частного, но самой жизни.

У Зоженко есть рассказ «Гримаса нэпа» — о том, как поездные пассажиры благородно возмущены, увидав безобразную сцену: молодой хам помыкает старой женщиной. «Это издевательство над несвободной личностью», — немедля вскипает чувство классовой солидарности, но, вскипев, тут же скисает, едва обнаружится, что старуха приходится хаму матерью: «Мы не знали, что это ваша преподобная мамаша... Мол, это, подумали, домашняя прислуга. Тогда извиняемся».

Что произошло? А то самое, о чем и ведем речь: выступив, как говорится, с лучшими побуждениями, зоженковские борцы за социальную справедливость упустили из виду вековечное правило — то, что старость да и просто человеческое достоинство не прикасаемы вообще, всегда, в принципе... Да и «лучшие побуждения» — вправду ли они таковы? То-то оно, что нет: и они превратились в фикцию. Когда людям внушается, что справедливость полагается распределять и перераспределять, словно паек и квартиры, в зависимости от происхождения или лояльности по отношению к власти, конечно, не только не возникает

«новой» и тем более «высшей» морали, а обесценивается и вырождается всякая мораль.

Персонажи «Гримасы нэпа» — люди несчастные и страшные. У них все отняли, внушив, что, напротив, все дали; все или хотя бы нечто такое, что не доступно никому в целом мире, кроме них, — например, чувство классовой и государственной полноценности, обеспечивающей гордость тем, что они, вернее мы, — самые лучшие. Что мы, хоть у нас, по зацитированному словцу булгаковского Воланда, «чего нихватишься, ничего нет», но уж зато — всех вокруг кормим, освобождаем, вдохновляем, ведем. То есть механизм внушения, механизм разрушения — привлекателен, отчего ужасен в особенности.

В романе «Сандро из Чегема» этот механизм представлен в своей неусыпной, небезуспешной, а иногда и наглядно продемонстрированной работе — взять хоть ту же главу «Пирь Валтасара». Ее центральный и центростремительный герой, услышав от Лаврентия Берия, что его старинный соратник Цулукидзе ныне «болтает лишнее», все-таки отвергает поспешно-угодливое предложение «выгнать из партии к чертовой матери». «Из партии не можем, — сказал Сталин и вразумляюще добавил: — Не мы принимали, Ленин принимал...» Но тут же с наслаждением садиста вспоминает о брате Цулукидзе, занимающем, как выясняется, негромкую должность директора лимонадного завода.

«— Как работает? — спросил Сталин строго.

— Хорошо, — сказал Берия твердо, показывая, что свою неприязнь к болтуну никак не распространяет на его родственников, а знание деловых качеств директора лимонадного завода — простое следствие знания кадров со стороны партийного руководителя.

— Пусть этот болтун, — ткнул Сталин трубкой в невидимого болтуна, — всю жизнь жалеет, что загубил брата.

— Гениально! — воскликнул Берия.

— У вас на Кавказе еще слишком сильны родственные связи, — объяснил Сталин ход своей мысли, — пусть другим болтунам послужит уроком диалектика наказания».

Что «гениально», это верный Лаврентий Павлович преувеличил: такая-то месть — кровавая азбука уголовного мира. Помнится, в стародавнейшем сахалинском очерке некий каторжник, зря, как он полагает, упеченный приставам или судьей, сладострастно мечтает, добравшись до тех мест,

убить — не виновника, а его гимназистку-дочку да долго насиловать, долго резать, чтобы отец всю свою жизнь вздрагивал, вспоминая дочерние муки. Но «диалектика» тут действительно налицо.

«— Говорит „у вас на Кавказе“, — подслушает и безмерно огорчится какой-то из мелких участников сталинского застолья. — А что мы ему сделали?» И холуйское страдание будет право дважды — не только оттого, что Сталина и вправду стало с течением времени раздражать напоминание о грузинском происхождении, так что даже неперменного Геловани он было поменял на Дикого: понравилось, что тот играет его без акцента.

Это отчужденное «у вас» особенно красноречиво в устах персонажа, только что волей писателя Искандера свершившего фантастическое перевоплощение в «того самого Джугашвили, который не захотел стать властителем России под именем Сталина»; свершил, побыл им, даже ощутил прелесть несбывшейся судьбы — и пустил в ход свое разрушительное могущество, растапывая, калеча именно то, что могло стать, но не стало его сущностью и что пока еще является, но должно перестать быть сущностью миллионов его подданных. Почитание родственной близости, особенно или, согласно Сталину, «слишком» развитое на Кавказе, оно-то как раз по волевому и совсем не бессмысленному решению Верховного Разрушителя всех естественных связей (который, кстати, начал с себя самого или, по крайней мере, не обошел и себя, расхотевши считаться сыном Грузии и перейдя в российские националисты, а вернее сказать, усвоив имперское, наднациональное самосознание) оборачивается своей жуткой, уродливой противоположностью. Близость, от века давшаяся людям душевный мир, ощущение прочности, удовлетворение от исполняемого долга, теперь отзовется страданием, беспомощностью, виной. Чем прочнее традиция укоренилась в народе или в особи, тем мучительнее придется за нее расплачиваться.

И, конечно, всякий противящийся разрушению — не открыто бунтуя, не хватаясь за оружие и даже не грозясь, как Евгений из «Медного всадника»: дескать, уж тебе!.. нет, всего лишь обнаруживая свою принадлежность к традиционному сознанию и памятность души — это уже несдающийся враг, подлежащий уничтожению.

Приспособиться, нравственно переродиться, позволить разрушить свою душевную структуру — вот что становится способом

физически уцелеть. А порою даже и хочется — не только уцелеть, но переродиться: появился, как говорилось, соблазн уступить могущественному механизму, согласному включить человека в себя хотя бы в качестве пресловутого винтика и, значит, как бы делящему с ним свое могущество. (Между прочим, считая, что наша обида на звание «винтика» — недоразумение. Это даже со стороны Сталина скорей беспардонная лесть: от единого винтика может зависеть ход государственной машины, а разве сталинский механизм соглашался признать зависимость от существования Вавилова, Чайнова, Кондратьева, не говоря о «бесполозных» гуманитариях Мандельштаме, Бабеле, Клюеве?..)

Не чужд, увь, соблазну и наш Сандро; правда, формы приспособления порою невинны и оттого всего лишь комичны.

Он смешон и прелестен, когда возмущается, что нынешние молодые забросили старый обычай, не желают кровно мстить за родителя, убитого четыре десятка лет назад, — причем полагает, будто именно всеобщее и обязательное политпросвещение и, бери еще выше, исторические решения XX съезда должны вразумить этих упрямых олухов и вложить в вялые их ладони оружие возмездия.

«— За сорок лет Советской власти самые дремучие пастухи, — говорю, — из самых дремучих урочищ свет увидели, а некоторые даже депутатами стали. Неужели вы до сих пор такие темные, что не знаете — за отца сыновья должны отомстить?!

—...Дядя Сандро, — говорит лоб, что постарше, — но ведь нас за это арестуют.

— Козлиная голова, — отвечаю ему, — конечно, арестуют, если поймают. Но ты подумай: как показал двадцатый съезд, партийные люди и то по десять, по пятнадцать лет даром просидели, а ты что, за родного отца отказываешься посидеть? Отрекаешься?

— Не отрекаемся, — отвечает теперь лоб, что помладше, — но, может, в этом деле отец был виноват?

— Ты что, — говорю, — судья?

— Нет, — говорит, — я — завмаг.

— Тогда, — говорю, — ты исполни свой долг, а судья, исполняя свой долг, разберется, кто был виноват».

Но будет случай, когда испытанная искандеровская «ирония над иронией» беспрекословно уступит место открытому пафосу, — этому не помешает и то, что на сей раз роль повествователя вручена, как случилось когда-то с мерином Холстомером, мунду старика Хабуга Арапке, который еще

последовательнее пастуха Махаза выразит голос и взгляд самой природы и не хуже японского киноведа обнажит многие странности причудливой нашей действительности.

Сандро, пребывающий в свите Нестора Лакобы и в должности полуначальника, по-чегемски «присматривающего», собирается задешево купить дом репрессированного и надеется, что отец примет его неуверенные резоны.

«—Я же сейчас лучший танцор ансамбля, — сказал Сандро. — Сейчас же многих арестовывают, а дома их продают самым заслуженным людям города. Я тебя понимаю, отец. Но не мы же их арестовали. Не я — так другой купит...»

...И тогда старик мой сказал:

— Сын мой, — начал он тихим и страшным голосом, — раньше, если кровник убивал своего врага, он, не тронув и пуговицы на его одежде, доставлял труп к его дому, клал его на землю и кричал его домашним, чтобы они взяли своего мертвеца в чистом виде, не оскверненным прикосновением животного. Вот как было. Эти же убивают безвинных людей и, содрав с них одежду, по дешевке продают ее своим холюям. Можешь покупать этот дом, но — ни я в него ни ногой, ни ты никогда не переступишь порога моего дома!»

...Недоверие к власти (тем более — к новой), внутреннее сопротивление ей на бесхитростно-мирном уровне естественной консервативности, то, что, допустим, у загнанных и запуганных «средних людей» Зощенко было развито весьма вяло и оказалось сравнительно легко преодоленным, — все это для здорового народного организма совершенно натурально и, больше того, необходимо! Притом необходимо не только народу, но и самой власти, если она одушевлена благими целями или хотя бы достаточно разумна. Это она, власть, оно, государство, обязаны ежедневно доказывать свою лояльность по отношению к населению, а не наоборот — к чему нас столько лет приучали. Стойкий скептицизм чегемцев, природное, родовое упрямство, то, что их отнюдь не привлекло призыв переродиться, который, возможно, яснее всех сформулировал песенник Лебедев-Кумач: «...сменить просторным словом „наше“ словечко узкое „мое“», — это могло (и должно было!) сделать их оплотом государственности. Но сделало оплотом противостояния сталинскому государству-оборотню — оплотом, на горький взгляд Искандера, напоследнем.

Впрочем, на деле-то горечь еще основательней. Припомним: «В бастионе моей го-

ловы последняя дюжина чегемцев (кажется, только там она и осталась)...» И пуще того: «Моя голова — последний бастион...»

Похоже, что самым наипоследним из последних чегемцев Фазиль Искандер готов считать себя самого.

3

Что удивительно в моем старике — это то, что его ничем не возьмешь: ни аэропланами, ни машинами, ни конторами, ни большими городскими домами. Он всегда уверен, что внутри у него есть что-то такое, что в тысячу раз важнее всех этих аэропланов, машин и контор. Такая внутри у него есть сила, но объяснить эту силу я не могу. Я ее только чувствую. И не только я. Все ее чувствуют. Ее чувствует даже наше чегемское начальство, и они стараются особенно с моим стариком не связываться.

Мул старика Хабуга по кличке Арапка.

Среди прегрешений дяди Сандро против чистоты чегемского духа случилось быть и такому — уже не совсем невинному. Его тогдашнему хозяину Нестору Аполлоновичу Лакобе приспичило — для общенародной, разумеется, пользы, никак не иначе, — разузнать тайну знаменитых «вод Логидзе», которую, как подозревалось, старый мастер эгоистически утаивает от народа и государства. И вот дядя Сандро, в романтической маске и с вполне чекистским пистолетом, забрался ночью в дом творца непревзойденного лимонада, дабы его «как следует тряхнуть».

Однако не преуспел.

«...Дух старика Логидзе к этому времени был великолепно закален интригами Лаврентия Берия.

— Опять бериевские штучки? — спросил он, усаживаясь на постели.

— Нет, — сказал дядя Сандро, — но ты должен открыть...

— Тайну воды Логидзе? — насмешливо спросил старик... — Так запомните: нет никакой тайны Логидзе.

— Как нет? — удивился дядя Сандро...»

И его простодушие, не соответствующее исполняемой им непочтенной миссии, вознаградилось прелестной притчей, равно пригодной быть профессиональным самоизлиянием и крестьянина, и поэта.

«— Ты знаешь, как готовят вашу мамалыгу? — спросил старик.

— Знаю, — ответил дядя Сандро.

— Каждая хозяйка знает, как готовить мамалыгу? — спросил старик.

— Каждая, — ответил дядя Сандро.

— И никакого секрета в этом нет? — спросил старик.

— Секрета нет, — отвечал дядя Сандро.

... — Так почему же, — спросил старик, — одни готовят ее прекрасно, другие похуже, а третьи совсем плохо?

— Не знаю, — сдался наконец дядя Сандро.

— Потому что в мире есть талант и любовь, — сказал старик, — чего ваши начальники никак не поймут. И женщина, в которой соединился талант и любовь, готовит мамалыгу лучше других. Любовь учит ее выбирать свежую муку на базаре, хорошо ее просеивать, а талант помогает ей правильно понять соотношение огня и того, что варится на огне.

— Так как же быть? — сказал дядя Сандро.

— Вы только уважайте талант, — отвечал старик...

«Нет никакой тайны», — утверждает мастер. То есть он не располагает и не может располагать тайной в прямолинейном понимании «начальников»; той, которую они хотят забрать у него, тиражировать и обезличить, чтоб ею пользовался кто попал, всякий, кого назначат, поскольку незаменимых у нас нет. Тайной, что поддавалась бы разгадке, как шифровка шпиона или умысел вредителя.

На деле-то тайна, конечно, есть, это «талант и любовь», которые недоступны для конфискации, находятся за пределами досягаемости «начальников» и оттого подозрительны им. Враждебны. Такая тайна даже названной вслух быть боится, допуская лишь косвенную речь притчи, и сам Хабуг, гениальный крестьянин, мучась предчувствием неизбежности вступления в «кумхоз», не пойдет дальше все того же целомудренного обозначения — Тайна. «А главное, чего не выразить словом и чего никогда не поймут эти чесучовые писари, — кто же захочет работать, а может, и жить на земле, если осквернится сама Тайна любви тысячелетняя, безотчетная, как тайна пола? Тайна любви крестьянина к своему полю, к своей яблоне, к своей корове, к своему улью, к своему шелесту на своем кукурузном поле, к своим виноградным гроздьям, раздавленным своими ногами в своей давальне. И пусть это вино потом расхлещет и расхлебает Сандро со своими прошельгами, да Тайна-то останется с ним, ее-то они никак не расхлещут и не расхлебают... А то, что в колхозе обе-

щают зажиточную жизнь, так это вполне может быть... И все же все это будет не то и даже как бы ни к чему, потому что случится осквернение Тайны, точно так же, как если бы по наряду бригадира тебе было определено, когда ложиться со своей женой и сколько с нею спать, да еще он, бригадир, в особую щелочку присматривал бы, как ты там усердствуешь, как они говорят, на благо отечества...»

Старый Хабуг не понимает и не может понять (что, пожалуй, даже делает честь его здравому, неуклонно прямому смыслу): «начальники», или «присматривающие над начальниками», с какими он имеет дело, а также начальники над начальниками, присматривающие за присматривающими, не только подсознательно чужды недоступной им Тайне, но имеют вполне осознанное намерение искоренить ее. Как тайное оружие классового врага. Как проявление «зоологического индивидуализма».

По несчастью, закавыченное, злое определение дано не Сталиным, не Андреевым, не наркомземом Яковлевым...

«...я плохо верю в разум масс вообще, в разум же крестьянской массы — в особенности. Для большей ясности скажу, что меня всю жизнь угнетал факт подавляющего преобладания безграмотной деревни над городом, зоологический индивидуализм крестьянства и почти полное отсутствие в нем социальных эмоций...»

Секрета и здесь никакого нет: сказано, как известно, Горьким, объясняющим в 1930 году свои разногласия с Лениным; вернее, повторено (это — вторая редакция очерка о Ленине) в страшном, «велико-переломном» году.

И, думаю, здесь необходимо отметить нечто для нас важное. Двумя годами позже, в 1932-м, Горький не менее жестко отвечает уже об ином общественном слое:

«...работа интеллигенции всегда сводилась — главным образом — к делу украшения бытия буржуазии, к делу утешения богатых в пошлых горестях их жизни. Нянька капиталистов — интеллигенция — в большинстве своем занималась тем, что усердно штопала белыми нитками давно изношенное, грязноватое, обильно испачканное кровью трудового народа философское и церковное облачение буржуазии».

А еще через год он обнаружит «зоологический мешанский индивидуализм» уже в российской интеллигенции, одоблив и оправдав насправу над ней. «Мы знаем, как быстро она покрылась мешанской ржавчиной. Процесс «Промпартии» показал нам, как глубоко эта ржавчина разъела инже-

неров... То же случилось с литераторами...» — и т. п.

Вопрос непростой, пожалуй что и деликатный, и его не пристало бы излагать схематически. И все же скажу: странно читать этакое у человека, который в том же очерке «В. И. Ленин» почтительно и вдохновенно воспел российскую интеллигенцию, назвав ее главной, чуть ли не единственной движущей силой отечественной истории, ее «ломовой лошадей».

Да, странно — и не странно...

«Работа интеллигенции всегда сводилась...» — неприязненно пишет Горький, и это «всегда» как бы разительно противоречит тому, что он утверждал прежде. Но в том, что его «всю жизнь угнетал... зоологический индивидуализм крестьянства», нет противоречия и есть последовательность.

В молодые годы он увидал крестьянина Гаврилу (чья жадность до денег, непривлекательная, как и всякая жадность, все-таки порождена испуганной мечтой вложить их в хозяйство, в Тайну, причастностью к коей отмечен ведь не только идеальный Хабуг) презрительным взором люмпена, блатного Челкаша, в котором ему, как и в обитателях «дна», померещилась сила свободного человека — свободного именно от уз собственности, — обаятельная настолько, что и сопутствующий ей аморализм казался несущественным, неопасным. И если совершенно несправедливо утверждать, что человек, написавший прекрасную пьесу «На дне», непременно должен был кончить пьесой «Сомов и другие», где добродетель торжествовала в облике агентов ГПУ, «берущих» инженеров-вредителей, то при всех оговорках можно отметить: в первом случае романтически приукрашались люди, не задатые «мещанской ржавчиной», во втором — морально уничтожались (физическое уничтожение было делом другой профессии) люди, которых «глубоко эта ржавчина разъела».

Думаю, что трагическая эволюция Горького не обошлась без глубинного воздействия нелюбви писателя к «массовому человеку» его страны. К тому, свою предначеченность для которого всегда ощущал воспевавшийся Горьким российский интеллигент. Даже гневаясь на него, даже будучи крепко им недоволен, порою презирая его (и это бывало), — все-таки ощущал. Как Толстой. Как Некрасов. Как Чехов. Как Глеб Успенский.

(Не отнимая Фазиля Искандера, абхазца по рождению и русского писателя, у власти иных традиций, замечу: в этом смысле

и он явление хоть и не исключительно российское, но — российское безусловно.)

Конечно, крестьянство — это одно. Интеллигенция — другое. Но единою оказалась сила, которой во что бы то ни стало понадобилось одолеть обоих «великим переломом», у одних отнимая их крестьянскую Тайну, у других — их интеллигентскую, чей псевдоним «внутренняя свобода». Силу, обаяние которой, как очень многие, притом далеко не из худших, испытал на себе и Горький; обаяние воли, могущества, мощи — даже если сознание этой обаятельности сопровождалось холодком, пробегавшим по коже, даже если Алексей Максимович именовал Иосифа Виссарионовича «могучим человеком», «мощным вождем», даже «великим теоретиком» принужденно, неискренне.

Есть несомненная связь между непризнанием права иметь свою «безотчетную» мужицкую Тайну, «Тайну любви крестьянина к своему полю, к своей яблоне, к своей корове» (с отчужденной враждебностью объявляя ее «зоологическим индивидуализмом»), и отрицанием права писателя на внутреннюю независимость — также «безотчетную», то есть и неподотчетную.

И тот искандеровский персонаж, которому в романе дана щедрая возможность ощутить себя «тем самым Джурашвили», не захотевшим превратиться в Сталина, побывав в несбывшейся гармонии, соприкоснуться с «Тайной любви крестьянина», — он-то и демонстрирует примитивность и потому особенную непреклонность олицетворяемой им силы, которая твердо знает, чего она хочет, и добивается искоренения ирреальной Тайны, будь то «сила», что живет внутри старика Хабуга, или независимое сознание писателя Горького.

Идиллия, вообразившаяся «освобожденной», рассентиментальничавшей душе тирана, им самим тут же обращена в карикатуру. Само восхищенное уважение односельчан злой и веселый писательский умысел тотчас представит как невозможность устоять перед дьявольским соблазном. «...он въезжает в раскрытые ворота своего двора, где в тени яблони дожидается его какой-то крестьянин, видимо приехавший к нему за советом. Крестьянин встает и почтительно кланяется ему. Что ж, придется побеседовать с ним, дать ему дельный совет. Много их к нему приезжают...»

И вдруг:

«Может, все-таки лучше было бы взять власть в свои руки, чтобы сразу всем помогать советами?»

Персонаж «Пиров Валтасара», вдохнув-

ший не что иное, как воздух свободы (ведь Искандер так и скажет о песне «Черная ласточка», возбудившей в вожде тоску по крестьянской гармонии: она «освобождала его душу»), с тем большей осознанностью и убежденностью возвращается в мир несвободы. Не только той, что несет другим, но и своей собственной.

«Они думают, власть — это мед, размышляя Сталин. Нет, власть — это невозможность никого любить, вот что такое власть. Человек может прожить свою жизнь, никого не любя, но он делается несчастным, если знает, что ему нельзя никого любить.

Вот я уже полюбил Глухого (Лакобу.— Ст. Р.), и я знаю, что Берия его сожрет, но я не могу ему ничем помочь, потому что он мне нравится. Власть — это когда нельзя никого любить. Потому что не успеешь полюбить человека, как сразу же начинаешь ему доверять, но, раз начал доверять, рано или поздно получишь нож в спину... Проклятая жизнь, проклятая природа человека! Если б можно было любить и не доверять одновременно. Но это невозможно».

А вот еще: Сталин «смотрел, стоя против меня и говорил, что „пропащий я человек. Никому я не верю. Я сам себе не верю“».

Нет, это уже, разумеется, не проза Искандера. Это Никита Сергеевич Хрущев вспоминает, как умеет, реального Сталина.

Не Мандельштам, не Ахматова, но даже тот поэт, который хотя бы нечаянно, ничуть того не желая, напротив, несомый волной восторга, все-таки вдруг говорит долю правды (малую долю, но зато страшной правды): «Мы так Вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе», — даже он в этот момент свободнее человека, который твердит: «Никому я не верю». И который мог бы на самом деле сказать: «Власть — это когда нельзя никого любить». Человека, наглухо закованного в собственные запреты. Убившего свою душу. Ограничившего свой ум.

«Кто организовал вставание?» — спросит, согласно еще одной легенде о нем, Сталин, узнав и разгневавшись, что московская послевоенная публика поднялась как один человек, едва на сцену вышла Анна Ахматова. И этот вопрос вполне логичен с точки зрения власти, которой все (нет, оказывается, еще не все!) удалось подчинить и регламентировать, но абсурден с точки зрения обладающих Тайной или хотя знающих, что она есть. Им, в свою очередь, трудно понять, как это возможно, чтобы порыв благодарности и восхищения не был «без-

отчетен, как тайна пола». Непроизволен. Свободен...

Внутренняя свобода и рабство, непреодолимость (или, напротив, преодолимость?) границы меж ними — все это многообразно воплощено и осмыслено в романе «Сандро из Чегема»: на бытийном и бытовом уровне, на горней высоте трагедии и в душно-ватых низинах фарса. В главу «Дядя Сандро и раб Хазарат», ведущую речь об экзотически диком припадке натурального рабства, вклините, будто по незагаданной писательской прихоти, история летчика, лихого в бою, но до того заробевшего перед возможным доносом о его связи с немкой, что оскорбительно никнет не только его неукротимый дух, но, кажется, и мужская плоть. Чегемский мудрец Джансук, сказочный «сын оленя», в ком распознаешь одновременно черты и Маугли, и — даже! — Иисуса Христа, будет высказываться в самом философическом роде: «Запомните, что рабство уже тем плохо, что создает у труса, связанного цепью, чувство равенства с героем, связанным цепью». А в главе «Дядя Сандро и конец козлотура», аukaющей с молодой искандеровской повестью, герой-рассказчик с чертами явного автопортрета, не пугаясь самоумаления, поведает, как с утомительным хитроумием отвергал посягательства начальника на свою независимость, которую тот норовил обуздать поручениями сходить за папиросами или боржомом, — суета, мельтешенье, интриги, несерьезное состязание не слишком значительных самолюбий, словом, микромирок, лишь вырываясь из коего автор обретает свою раскрепощающую иронию. Но и сквозь суматошность проступает неотвязная мысль о стыдливой неприкосновенности все той же Тайны, о неизбежности покушений на нее, о непримиримости двух систем жизненных ценностей...

Вывод: внутреннее освобождение интеллигенции — непрменный залог внутреннего освобождения народа, даже если он равнодушен к ее усилиям и не считает себя заодно с нею, полагая смешные интеллигентские заботы не имеющими отношения к серьезной прозе жизни. Как бы то ни было, «хранители тайны и веры», повторяя строку поэта, они, те и другие, и никто больше. И освободиться им суждено лишь сообща.

...Герой-повествователь романа, полуреальный, полуусловный двойник Искандера, встречается в городе со стариком-чегемцем, и тот, не умея понять, что ж это за профессия — сидеть за столом и невесть что корябать, толкует ее по-своему: зем-

ляк, мол, «при должности, из Присматривающих».

— Небось деньгами подтираешься? — крикнул он, радостно сверля меня своими желтыми ястребиными глазами.

Я засмеялся.

— Подтираешься,— повторил он уверенно и неожиданно добавил: — А вот то, что вы Большееусого сверзли, это вы неплохо придумали.

Я пожал плечами, чувствуя, как трудно ему объяснить невероятность расстояния между мной и теми, кто его в самом деле сверзил. Но, с другой стороны, главное он определил точно — Присматривающие свергли Большееусого, а на каком расстоянии тот или иной из Присматривающих, или, как они еще говорят, Допущенных к Столу, от тех, кто его в самом деле сбросил, это и вправду не имеет никакого значения. Важно то, что не он, охотник Тендел, не он, пастух Махаз, и не все сны, чегемцы или подобные чегемцам, это сделали, а люди совсем другого сорта, то есть Присматривающие сверзли Присматривавшего над всеми Присматривавшими, и теперь вроде всем полегчало (оттого так весело об этом), но главную выгоду все равно заберут Присматривающие, иначе и не могло быть, для этого и было все затеяно. Вот как можно было понять его слова в сочетании с зычным голосом и сверлящими ястребиными глазами».

Писатель-чегемец здесь — добросовестный толмач сказанного чегемцем-крестьянином, и если односельчанин не совсем признает в небуквальном переводе свой оригинал, это неважно.

Да, народ и интеллигенция не остались, по счастью, в стороне от результатов того, первого, свержения Большееусого (называя его по-чегемски), которое совершил, как бы сказали они же, Хрущит. Но к процессу свержения их не допустили, ни тех, ни тех, даже одернули, а освобождение, пришедшее сверху, прекрасно, как всякий подарок, но недостаточно. Иллюзии — одна из форм внутренней несвободы, и потому не в 60-е годы, а десятилетием позже, в пору безылюзорности, начался наконец долгожданный процесс самоосвобождения, то есть и самоосознания — своих прав, своей сущности, которая проявляется лишь в атмосфере свободы и своих неприкосновенных Тайн. Начался, как бывает, с ин-

телигенции, которая сделала первый шаг,— пока всего только первый, отнюдь не обеспечивающий победы, потому что дело свободы станет не безнадежным лишь в том случае, если в самые широкие массы проникнет сознание: освобождение реально, ежели совершенно своими собственными усилиями. Не иначе.

Освободимся ли? И если — да, то как скоро?

Фазиль Искандер, мне кажется, в этом смысле нельзя сказать чтоб большой оптимист. Ему-то известно, что его Чегем, во-первых, преобразен ностальгическим, мифотворческим воображением; во-вторых же, наша неутопическая действительность потрудилась, дабы Чегем и чегемцы отодвинулись в невозвратное прошлое, держа оборону в искандеровских книгах, в «бастии моей головы», как он памятно и печально выразился. Да и не было случая, чтобы из таких нематериальных бастиинов приходило свежее пополнение поредевшим или полегшим рядам невыдуманного войска.

Неистощимо веселый роман Искандера, в сущности, книга если не скорби (нет, это не так), то расставания, и само веселье ее заставляет вспомнить «Колчерукого» — замечательный рассказ об абхазском крестьянине-старике, человеке той породы и того возраста, которых и одних, кажется, хватит на то, чтоб заключить: перед нами любимый герой Искандера.

Вот финал:

«Весело хоронили Колчерукого. Его загробная шутка на следующий день стала достоянием чуть ли не всей Абхазии». И дальше, со ссылкой на обычай и со своим, авторским, обобщающим комментарием: «Когда умирает старый человек, в наших краях поминки проходят оживленно... Люди пьют вино и рассказывают друг другу веселые истории... Человек завершил свой человеческий путь, и, если он умер в старости, дожив, как у нас говорят, до своего срока, значит, живым можно праздновать победу человека над судьбой».

С Чегемом — не так...

То есть память о нем, добрая и грустная, из того разряда, что помогает живущим жить. Так что и смех в минуту прощания — это благодарность Чегему. Благодарность Эдему. Но тем трудней, тем немислимее забыть, что уж ему-то «свой срок» постарались укоротить. И преуспели в этом,

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Паннов. Анатомия террора. — М. Злобина. Ключи Пантелеймона Романова.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Петр Черкасов. Мифология или история? — Сергей Яковлев. Особая причина.

Литература и искусство

АНАТОМИЯ ТЕРРОРА

Владимир Зазубрин. Щепка. Повесть о Ней и о Ней. «Сибирские огни», 1989, № 2; «Енисей», 1989, № 1.

Владимир Зазубрин? Сибиряк? Автор романа о гражданской войне «Два мира»? Работал в журналах «Политработник», «Сибирские огни», «Колхозник»? Репрессирован в 1938-м?

— Да, это он.

— Кажется, во всех предисловиях к его роману принято ссылаться на слова Ленина, переданные М. Горьким: «Очень страшная, жуткая книга...»?

— Именно так. Еще о романе писали: вещь нужная, правдивая, документально насыщенная, воспринятая массовым читателем 20-х годов как обвинительный акт против колачакщины и белого террора, как показ «героической борьбы трудового народа с бандитскими ордами Колчака...» («Два мира». Красноярск. 1983. Послесловие В. Грушкина). Заметим: в переизданиях романа до 80-х не хватало многих фрагментов. В иных вариантах изъятий набиралось до семи авторских листов. Таково было отношение к правде и героическому «показу». В 80-е годы, выпуская роман целиком, вспомнили, что, по сообщению новосибирских газет, в 1928 году В. Зазубрин выступал на вечере у красноармейцев с докла-

дом «Чека и ГПУ в литературе» и читал отрывок из романа «Щепка». Сегодня известно, что повесть под тем же названием была написана еще в 1923 году «Сибирские огни» хотели, но не решились ее опубликовать. В. Зазубрин взялся переделывать повесть в роман, но закончить его не сумел.

В 1989-м повесть «Щепка», обнаруженная в рукописном отделе Библиотеки имени В. И. Ленина, появилась сразу в двух сибирских изданиях. «Сибирские огни» напечатали ее с предисловием критика Валерияна Правдухина «Повесть о революции и о личности», написанном в том же далеком 1923 году...

Начало 20-х. Губчека в одном из сибирских городов. Председатель губчека Срубов — коммунист из интеллигентной семьи, участник гражданской войны — спускается в подвал, чтобы руководить расстрелом очередной партии заключенных. Член коллегии, некто Моргунов, идет вместе с ним — посмотреть. «Он первый раз в Чека».

И увидел Моргунов: проходят через подвал пятерки осужденных за борьбу против

советской власти, спекуляцию, саботаж. Падают возле щербатой стены казенные именов революции. В спертом липком воздухе — запах пороха, пота, испражнений и крови. Человеческой крови и парного человеческого мяса. Трупы поднимают на веревках в люк. Их складывают в кузова грузовиков, кровь течет на землю, ее засыпают песком...

К утру чекисты покидают подвал. Рядом со Срубовым невозмутимо шагает недавний крестьянин Соломин. «У Соломина кровь на правом рукаве шинели, на правой стороне груди, на правой щеке...» Запершись в кабинете, Срубов пьет спирт, лихорадочно осматривает себя — нет ли крови? Кажется, нет. Облегченный вздох. И вдруг «заметил, что от двери к столу, от стола к шкафу и обратно к двери его следы шли красной пунктирной линией, замыкавшейся в остроугольный треугольник».

В книгах о гражданской войне множество сцен насилия, убийства, беспощадной — око за око! — борьбы; море крови. И в романе «Два мира» ее в избытке: белогвардейцы и интервенты уничтожают красных и заодно подозрительный простой народ; красные отвечают тем же и без разбора рубят добровольцев-колчаковцев и всех причастных к ним. Смерть за смерть, кто не с нами, тот против нас. Но даже среди всей этой документально правдивой жути «Щепка» давит, наваливается на сознание свинцовый тяжестью. Только не в натурализме тут тайна. Она — в сквозной символике трагического мироощущения, спрятанного в глубине сорванной психики Срубова. То ему кажется, что его расстреляют вместе с осужденными, что он сам в их списке. То происходящее представляется в виде механического завода, безличной мясорубки. Выжатый мозг Срубова жаждет создать огромную и хитрую машину, чтобы она могла быстро, технически безупречно и, главное, а н о н и м н о вершить грязную, но неизбежную, как он уверен, работу революционного насилия. Срубов чувствует себя «ассенизатором революции». Что делать — без этого не обойтись. Идет борьба. Пусть честные люди останутся в стороне, их он не тронет. Будет следить, чтобы средства стихийной борьбы не превратились в самоцель, чтобы чекисты-исполнители Мудыня и Боже не сбились с великой дороги.

А на стене кабинета — в белой сорочке Маркс. В голове у Срубова — путаница, в действительности — путаница. Кажется, кто-то из классиков красиво назвал революционное насилие повивальной бабкой истории. А для Срубова Она (Революция) —

«баба беременная, русская ширококозадая, в рваной, заплатанной, грязной, вшивой холщовой рубашке». Он любит ее «подлинную, живую, невыдуманную». И Ее приходится спасать, чтобы черная контрреволюция не убила ребенка во чреве...

Любопытно, что сказал бы Маркс об этой российской бабе? Но герой В. Зазубрина не успевает додумать про Маркса, потому что видит на полу кровавые следы собственных ног. Пусть это кровь врагов, которые сами пролили кровь или готовились ее пролить. Все равно разум Срубова беспомощно тасует азбучные истины военной «морали», а душа заболевает...

А ведь В. Зазубрин не стремился пугать. По крайней мере не страха ради писал «Щепку». Да и читатель его окружал не из красноречных: те же красноармейцы и крестьяне, победившие колчаковцев. «Политработник и художник не всегда были в ладу», — признавался В. Зазубрин в предисловии ко второму изданию «Двух миров». В «Щепке» это противоречие вроде бы нарастает. Политработники 20-х мыслили по преимуществу железными классными схемами: угнетенные против угнетателей; экспроприация экспроприаторов; государство — орудие классового насилия; либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата, середины быть не может; драться беспощадно... В. Зазубрин взглянул на жизнь глазами художника, постигнувшего человеческую драму правого революционного политработника, чекиста и ощутившего трагедию народа, подхваченного стихией массового террора.

Обращая внимание на портрет Маркса на стене губчека, В. Зазубрин, возможно, задумывался о парадоксальной судьбе теорий, овладевающих в иные моменты массами. И о том, что под флагами любых теорий действуют по законам человеческой природы живые люди. Действуют в массе своей, как правило, грубо: борьба — так борьба, уничтожение — так уничтожение, диктатура — так диктатура... Попробуй тут отделить общественное отношение, с которым Маркс связывал категорию «класса», от «сущности человека». Он прирос к этому отношению всей кожей. Ты дернул — а там весь человек. И кровь. Дернул — а тебе в ответ по башке. Сила на силу. Чья кровь краснее, чья лучше?

Еще в «Двух мирах» В. Зазубрин приметил, как идея, окунувшись в грубую жизнь, сама грубеет. И вместе с тем обнаруживает все ложное, несовершенное в собственном остве.

Что бы сказал Маркс, если бы ему до-

велось услышать, как сибирский кузнец Никифор беседует с растерянным подпоручиком Барановским? Никифор искренно агитирует за порядок и чтобы господа крестьян не обижали. Счет господским обидам у него и у других крестьян длинный. Но Никифор уже проникся мыслью, что красные дерутся не просто за мир, землю, разрыв с Антантой и права трудящихся, а «за освобождение этой самой пролетарии от буржуазии. Хотят жизнь по-новому строить».

«Никифор многозначительно поднял плац кверху:

— О, это у них очень умственно, планно так разработано. Только не все они так-то говорят, а есть у них партийные, коммунисты, так вот они все сказывают насчет этой коммунии, новой-то жизни. Говорят, дескать, мол, между людьми не должно быть никаких войн, ссор и боев. Все, мол, должны жить в мире, а пока, дескать, существует всякая собственность, то будет существовать зависть, а раз зависть, то и вражда, и брань, и драки. Каждому ведь захочется иметь больше да лучше. А они вот и хотят собственность-то уничтожить, сделать всех вроде как бы пролетариатами, а имущество разное — землю, скот, фабрики, заводы — все сделать общественными. Оно так умственно и выходит: и будто нет у меня ничего своего и есть все, потому я имею право всем с общего, так сказать, котла пользоваться. И никому не завидно, потому все равны и у всех все поровну есть. А коли недород какой случится, коли хлеба не будет, то уж у всех его не будет, а не то что раньше: один с голоду пухнет, а другой от обжорства жиреет.

— Ну, а как они работать-то думают, скажем, хоть на фабрике? Как прибыль делить думают?

— У них прибыли этой, значит, никакой нет, а есть только материал, который изготавливают, и уж этот-то материал и делают всем. А работают все сообща, всем обществом, коммунией-то, значит, и сообща всем пользуются».

А ведь не зряшний вопрос задал подпоручик Барановский про прибыль и работу. Мол, возможно ли в природе общество без денег, товаров, классов, прибавочной стоимости, прибыли, разной собственности и т.п.? Допустимо ли, добываясь вполне конкретных и необходимых прав для народа, замышлять некий абсолютный распорядок, при котором все прежние общественные отношения уничтожаются ради отношений грандиозно новых?

Роман «Два мира» завершался так: «Вчерашние рабы, униженные, растоптанные,

иссеченные нагайками и шомполами, перепоротые розгами «поборниками человечности, справедливости и порядка», поднялись. Огнем лечили раны. Смывали кровь кровью».

Срубов из «Щепки» тоже чувствует себя частицей излечивающего огня. Но отчего душа не выдерживает и чекиста уже не тянет на теоретические разговоры с Марксом? Зато лезет в голову Достоевский с его рассуждениями о слезе ребенка, пролитой во имя всеобщего счастья. Какая там слезинка! Нынче кровь кровью смывают, да еще против голоса крови идут. Вон Мудыня запл. Срубов ему грозит подвалом, а он: «...не могу. Тысячу человек расстрелял — ничего, не пил. А как брата ужокал, так и пить зачал. Мерещится он мне». Ну а Срубову мерещится отец, доктор медицины Павел Петрович, расстрелянный недавно товарищем Срубова Исааком Кацем. «Старик организовал общество идейной борьбы с большевизмом» («оиб»).

Павел Петрович говорит: «Ика, передай Андрею, что я умер без злобы на него и на тебя. Я знаю, что люди способны ослепляться какой-либо идеей настолько, что перестают здраво мыслить, отличать черное от белого... А теперь, Ика, позволь пожать твою руку». Член губчека Кац «едва удержался от желания убежать из подвала». Значит, и он не выдерживает взятой на себя ноши. Но куда же денешься? Ведь старик осмелился «идейно» бороться против большевизма, мечтал — пусть пока только мечтал! — «о таких «оибах» по всей Сибири». А Кац — слуга идеи. Срубов — тоже. Поэтому они работают рука об руку, и Андрей убеждает себя, что он как коммунист-революционер должен безоговорочно, безропотно признать расстрел отца необходимым.

Русский Срубов, еврей Кац, латыш Ян Пепел. Первопроходцы Чека, они вроде бы все отдают идее и вроде бы ничего не желают для самих себя. Но идея идеями, служба службой, подвал подвалом, а власть — неограниченная, и делиться ею — ни-ни. И что-то не предвиденное идеей делается с реальными людьми. Уже сама Чека требует очистительной метлы, потому что кто-то спивается и сатанеет, кто-то попался на взятке, кто-то воспользовался собственной безнаказанностью, кто-то насилует на допросе осужденную. Кровь смываемая смешивается с кровью смывающей.

Ригорист Срубов пытается контролировать своих чекистов, подчинить их чистой идее, толковать, что не все позволено. Он отправляет следователя-насильника в подвал,

собирается расстрелять взяточников, бравших деньги за помилование. Он доходит до мысли, что есть пропасть между гласным судом и негласной расправой. Но на коллегии, осудившей участников белогвардейского заговора, Срубов требует расстрела арестованных списком: «Чека есть орудие классовой расправы. Поняли? Если расправы, так, значит, не суд... Для нас важнее всего социальное положение, классовая принадлежность». Кажется, только железный рабочий Ян Пепел, овладевший искусством вербовки осведомителей для агентурного отдела, бестрепетно поддержал Срубова: «Революция — никакой философии. Расстрелять». Художник В. Зазубрин чувствовал, что тут — смертельная грань, крах идеи и конец самого ее служителя как человека. Ибо без «философии», без соотнесения с общей моралью любая политически-идейная борьба переходит в «лакостничанье».

В. Зазубрин был не единственным, кто увидел страшную изнанку бешеной гражданской тяжбы, ее ультратенденции, автоматизм и зоологию, ее идейные изгибы и психические перекосы, чреватые превращением революции в собственную противоположность. Лик нового Молоха и многоликой «татарщины» увидели разные представители русской интеллигенции, в том числе те, кто до семнадцатого года ясно понимал необходимость демократических, правовых, экономических и даже «социалистических» изменений в российском Левиафане. Отсюда — «Несвоевременные мысли» М. Горького, письма В. Короленко А. Луначарскому, «Мы» Е. Замятина, стихи М. Волошина, «В тупике» В. Вересаева... Список этот можно было бы продолжить. Но «философствующих» не слушали. Их обвиняли в хныканье, дряблости, соглашательстве, пособничестве, желании усидеть между двумя стульями... А они в тех роковых обстоятельствах прозревали целостную правду истории, криком кричали, видя, как в жестокой бортовой качке Россия теряла равновесие, не выдерживала испытания политической свободой, как «диктатура дворянства» (В. Короленко) сменялась диктатурой псевдопролетарской; клин вышибло клином...

В пламени российского пожара чадно вспыхнули радикальные западноевропейские идеи, отягощенные утопизмом и топорно приспособленные для нетерпеливого военного декретирования. Многим казалось, что именно идеи правят российской историей. Но в затаянной драке за власть идеи — старые, новые, всякие — трещали по швам, до идей ли тут было?

«Большевизм — это временное болезненное явление, припадок бешенства, в который впало сейчас большинство русского народа», — вразумляет доктор Срубов чекистов. Но болезни большинства — эпидемии не возникают на пустом месте, не развиваются по чьей-то субъективной прихоти. Не ищите абсолютно правых и абсолютно виноватых, разбирайтесь всерьез, перечитайте В. Зазубрина, а заодно и других бытописателей гражданской войны.

...Когда Срубов сходит с ума, его место занимает Соломин. На протяжении повести он то и дело оказывается рядом со Срубовым. Предчека мучается, мечется между Достоевским и Марксом,падает в психоз. Соломин спокойно и простодушно исполняет. Для него нет «убийства», а есть «казнь — дела мирская». Он трудится деловито и расторопно, как мясник на бойне. Он ногами уминает трупы в яме, ибо уверен, что так надо. Без интеллигентских рефлексий и чистоплюйства он служит Ей, полагая себя учеником Маркса и Ленина. Кто же Она такая? Мы уже видели: Она — баба в лохмотьях, ее рвет кровью от заговоров и саботажа, она беременна мечтой о светлом будущем. Ее мифическим изображением завершается повесть. Но ведь не может, не хочет преданный Ей Срубов быть таким, как Соломин...

В 1923-м критику В. Правдухину показалось, что В. Зазубрин нарисовал внутреннюю трагедию героя революции, «не выдержавшего в конце концов подвига революции». Я думаю, тут трагедия самой российской революции. Невозможно ныне представлять революцию как нечто персонифицированное, возносимое выше реальных людей, перемешанных в котле истории. Двухцветная краска не годилась для художника, рисующего действительность классовой войны до победного конца. В. Зазубрин владел многоцветным «философским» письмом. Зато его герои заморожены магией двухцветья. Срубову чудятся пауки — Белый и Красный. Они плетут паутину, караулят друг друга. Два мира продолжают борьбу. Но Ее лохмотья отчего-то — серо-красные, и Срубов начинает все видеть в сером и серо-красном цвете. Цвета смазаны. Если приглядеться, то внутри белых и красных также концентрируются потенциально враждебные «миры», готовые в любой момент вступить в спор за единовластие на языке крови.

И хотя Срубов решительно подписывает новый приговор, отметая «разговоры о нравственном и безнравственном, моральном и аморальном», на завтра он не выдержит ро-

ли предчека и уступит ее Соломину, потому что в большом мозгу интеллигента-чекиста стучит мысль: «Не все позволено. Есть граница всему. Но как не перейти ее? Как удержаться на ней?»

Следя за «простым», «наивным» Соломиным, которого вроде бы и судить трудно, мы замечаем, как незаметно трансформируется сама исходная идея «революционно-насилия». Новый предчека говорит уже не столько от имени революции, сколько от имени партии: «Рэ-Ка-Пы», «Мы коммунисты — ничо себе сродна пшевичка», — речет он на митинге, выражая откровенное недоверие к беспартийным. Для Соломина дело революции свелось к самоутверждению партии. Интересы народа, общества, соотечественников — все лишается смысла вне текущих интересов партии. Нужен только «учитель», который конкретизирует партийные интересы, укажет Соломину, кто сегодня — союзник, а кто — враг. Руки развязаны, никаких пустых вопросов о пределах террора, никаких трагедий.

Но трагедия — объективна. О том, чего она стоила народу, самой партии, — об этом писатели и историки напишут после В. Зазубрина. Иные, скажем Кёстлер, особо пристально исследуют именно трагедию «стальных людей».

Иллюзии, самообман и обычный цинизм бушевали по обе стороны гражданского фронта. В романе «Два мира» некий старый профессор, чем-то очень похожий на Срубова-отца, напутствует колчаковских офицеров-добровольцев. Его речь выдержана в классическом духе русского либерально-религиозного идеализма. Тут и божий промысел, и свобода, и благо человечества, и выпады против материализма вкупе с большевизмом. Но в конце вдохновенного монолога профессор тонко «перелицевал» философические идеи применительно к нуждам момента: «Да будет благословен ваш тернистый путь, милые дети! Смело на подвиг!» И не ведал мудрый ученый, какую огульную расправу будут вершить «милые дети» по сибирским деревням, позабыв про «истину, добро и человечность». Нет, читая В. Зазубрина, приходится воздавать каждому свое.

Сознавал ли В. Зазубрин, что он нарисовал, какую историческую бездну открыл? Не знаю. Возможно, он был во многом согласен с наивным и романтическим В. Правдухиным, увлеченным «ритмом революции». Правдухину, скажем, и в голо-

ву не приходило, что расстрел Срубова-отца — это роковая потеря не только для героя повести, но и для всего общества. Ведь Россия остается без потомственной интеллигенции, без реальных «отцов» культуры, чей идейный спор с «большевизмом» заслуживает совсем не кары, а, как минимум, вдумчивого диалога.

В. Правдухин, как и Срубов, исповедует абсолютную веру в «грядущий океан коммунизма», ради которого не боязно отбросить «никчемную кантовскую идею о самоудовлеющей ценности существования каждого человека». Но критик еще и порицает Срубова за слабость, за то, что он «носит в себе эти атавистические понятия...». И В. Зазубрин и В. Правдухин были репресированы в конце 30-х. Интересно, во что верили их палачи?

Обезумевшего Срубова ждет арест. В кромешном бреду Она начинает казаться то Русалкой, то Ведьмой среди кровавой реки. Центральный символ повести вдруг обнаруживает черты оборотня... Нет, пожалуй, художник В. Зазубрин чувствовал реальность много глубже, чем критик В. Правдухин.

Известно, что В. Зазубрин любил Достоевского¹. Более того, без влияния Достоевского повесть «Щепка» была бы, наверное, невозможна. Не потому ли художник взял верх над политработником и безоглядно зачерпнул дымящийся «материал» из кровавого потока жизни, в котором все смешалось и перемутилось? Но в книгах В. Зазубрина есть и проблески света. Это сцены братаний, перемирий, помилования вчерашних врагов. В «Щепке» Срубов и другие чекисты веселятся, как дети, играют в снежки после освобождения рядовых участников крестьянского восстания. Одно из тех крестьянских восстаний, которые начались после окончания войны с колчаковцами. Крестьян не расстреляли. Значит, и такое бывало и было возможно. Значит, все-таки сладко не убить. Значит, можно обойтись и без кровавого подвала...

В. Зазубрин, подобно немногим лучшим людям своего трудного поколения, не ослеп в огне. Пытаясь приподняться над схваткой «двух миров», он надеялся уберечь сознание границы и предела. Он ничего не идеализировал, но в 1923-м ему казалось, что это еще возможно.

¹ См.: Н. Яновский. Писатели Сибири. М. 1988.

А. ПАНКОВ.

КЛЮЧИ ПАНТЕЛЕЙМОНА РОМАНОВА

Пантелеймон Романов. Избранные произведения. М. «Художественная литература». 1988. 399 стр.

Пантелеймон Романов. Черные лепешки. Рассказы. М. «Современник». 1988. 109 стр.

Писатель должен победить эпоху, сделав ее материалом для себя, а отнюдь не став ее материалом! Служа ей, он должен сопротивляться ей, и из этого сопротивления родится прочная ценность.

П. Романов. Из неопубликованного¹.

Пантелеймон Романов (1884—1938), один из самых популярных в довоенные годы писателей, был как бы вычеркнут из нашей литературы и предан забвению. И хотя в последнее время — после почти полувекового перерыва — его несколько раз переиздавали, возвращение Романова (на которое он твердо уповал в годы гонений) прошло незамеченным и, в сущности, не состоялось. Скорее всего потому, что утвердившаяся за ним репутация бытописателя, моралиста и юмориста отбивала охоту вчитываться. А вчитаться стоит. Его творения — бесценный художественный документ эпохи — имеют отнюдь не только историческое значение. Лучшие из них открывают нам умного, самобытного, острого и неожиданно актуального писателя, чья прозорливость по-настоящему выявилась лишь сегодня.

Впрочем, некоторые из современников (например, Н. Фатов, первый всерьез написавший о Романове) догадывались о его редком даре «видеть жизнь так, как она есть». Именно этот дар, который писатель сознательно и упорно развивал, учась у классиков «науке зрения», оградил его от соблазнов и иллюзий, коим поддались многие мастера слова, и предопределил его драматическую судьбу. Большинство критиков, относившихся к «попутчику» настороженно или снисходительно, считали, что он пишет не то, что нужно, — фиксирует «побочные» моменты революции, не замечая главного. Его стойкий художественный консерватизм, выражавший не только эстетический, но и этический выбор — приверженность упрямому революцией общечеловеческим ценностям, традиционность литературной манеры производили впечатление вторичности. Чужие интонации, звучавшие тут и там в его прозе, мешали расслышать уверенно набравший силу авторский голос. Романова обвиняли в эпигонстве и мешанстве, «фотографизме», психологизме и анекдотичности; в достоевщине, арцыбашевщине, чеховщине.

Эстетические ярлыки все чаще сменялись политическими. В 1928 году появилось стихотворение Маяковского, в котором увлечение П. Романовым, как и Булгаковым, объявлялось опознавательными признаками замаскировавшегося классового врага. Примерно тогда же С. Ингулов, зав. пресс-бюро Агитпропа ЦК, лихо разделавшийся с Романовым в статье «Бобчинский на Парнасе», писал (по другому поводу): «Критика должна иметь последствия: аресты, судебные процессы... физические и моральные расстрелы... В советской печати критика — не зубоскальство, не злорадное обывательское хихиканье, а тяжелая шершавая рука класса, которая, опускаясь на спину врага, дробит хребет и крошит лопатки». Забегая вперед, скажу, что тяжелая рука класса, несколько лет спустя по ошибке уничтожившая С. Ингулова, случайно пощадила идейно сомнительного автора. Но хотя Романов умер в 1938-м своей смертью, нам следует держать в уме свирепый ингуловский императив, дабы оценить в полной мере отвагу и тайную свободу писателя, вознамерившегося служить эпохе, «сопротивляясь ей».

Это творческое кредо, которому Романов остался верен до конца, выросло из самой сути его личности. Очень рано ощутив призвание к литературе, он почувствовал, что только рождавшаяся из его «природы» жизнь является настоящей, а та, которая «шла по приказу и воле людей», — «подставная». И решил «поставить все на карту» и идти дорогой своей подлинной жизни. Тогда же он задумал огромное художественное полотно «Русь» и стал изучать русского человека, стремясь определить его наиболее прочные, «живущие веками» черты. Эту главную книгу Романов так и не завершил (остановившись в пятом томе на пороге революции).

Однако по пути к не дававшейся ему, затянутой, вялой эпопее он написал десятки великолепных коротких рассказов — как бы заготовок, этюдов к «Руси», которые постепенно сложились в многоголосую,

¹ ЦГАЛИ, ф. 1281, оп. 1, ед. хр. 74.

многокрасочную картину послереволюционной России. Таким образом, то целое (судьба народа), которое постоянно имел в виду автор, всматриваясь в пестрый вздор и соробыденности, предопределяло критерии отбора и масштабы обобщения. Романовские миниатюры (занимающие обычно три-четыре странички) написаны чаще всего в форме диалога, которая наиболее соответствовала исповедуемому им принципу объективности — «оставить читателя глаз на глаз с действительностью». Предоставив слово персонажам, автор отходил в сторону, но, как опытный драматург, держал в руках все нити, незаметно направляя ход событий. Перед нами торжество искусства, прикидывающегося безыскусным, как сама жизнь. При внимательном рассмотрении, особенно с расстояния, мы обнаружим определенную систему, в которую собрала, организовала действительность творческая воля автора.

...Начало новой эры. Железная дорога. Толпы ошалелых, ко всему притерпевшихся людей осаждают билетные кассы, берут приступом поезда, набиваются до отказа в вагоны, лезут на крыши, на буфера, висят на подножках («Зато сами хозяева»). Кажется, вся огромная, бескрайняя страна пришла в движение и сорвалась с места. Русь, куда несешься ты?.. Не дает ответа. Впрочем, романовские персонажи в отличие от автора не задаются подобными вопросами. Они мечутся по городам и весям в поисках хлеба насущного, а забравшись в поезд, только и спросят: «Когда ж тронется-то?» И услышат удивительный ответ, который, однако, принимают как должное: «Еще не обыскивали». Все же они не теряют надежды довести добытые продукты домой. Но рано или поздно в вагон врываются вооруженные уполномоченные и отбирают у оцепеневших граждан их сокровища. А паровоз с неисправными тормозами летит вперед, проскакивая полустанки, или вдруг замирает, не одолев подъема («Гайка», «Скверный товар», «Крепкий народ» и др.).

Война государства с населением, то бишь «обывателем», который, как и мужик, «виноват уж тем, что хочется мне кушать», — один из центральных сюжетов романовских рассказов. Исход ее, конечно, предрешен, ибо с одной стороны — сила, «успешная организовать и окрепнуть», а с другой — «рассыпавшиеся по углам и всегда застигаемые врасплох людишки и сироты» (Салтыков-Щедрин). Однако людишки, хоть и привыкли покоряться судьбе и всякому, кто берет на себя ее полномочия, хотят жить,

а посему изворачиваются как умеют. Вот, скажем, завсегда таи городской барахолки, где чуть не каждый день облавы, крепко усвоили, что торговать можно, только ежели ноги проворные, и с осуждением посматривают на новенькую, притащившую кресло: «...Думают, как до свободы» («Тяжелые вещи»). А жильцы дома, обороняясь от комиссий, беспрерывно являющихся то уплатить, то выселить, вывернули все лампочки, сломали перила да еще поливают водой лестницу, превратившуюся в настоящий коток: «Тем и спасаемся». Все это, впрочем, выходит за рамки разумной самообороны, и рассказ недаром называется «В темноте». Автор настойчиво, снова и снова, показывает, что разруха поразила не только транспорт или промышленность, но души; что революция, сорвав все нравственные тормоза, развязала темные стихийные силы и что старания властей наладить обычный, необходимый для жизни труд наталкиваются на помехи, коренящиеся в самой природе нарождающегося строя.

Об этих совсем несмешных вещах Романов умеет писать неотразимо смешно, даже как бы легкомысленно, и мы тоже смеемся вместе с ним, а отсмеявшись, готовы схватиться за голову и воскликнуть классическое: «Боже, как грустна наша Россия!» Я говорю: Россия, ибо для автора все происходящее тесно связано с прошлым, сформировавшим ряд черт народного характера, которые, как он думал, в свою очередь предопределили дальнейший ход истории («пассивность, лень к движению, к борьбе, расплывчатость, мистическая настроенность и способность к быстрому короткому порыву... непригодность к длительному, непрерывному усилию»). Не вступая в обсуждение этой достаточно спорной концепции, замечу, что Романов опирался на определенную традицию, и опять призыву в свидетели Салтыкова-Щедрина: «Никто не станет отрицать, что эта картина не лестная, но иною она не может и быть, потому что материалом для нее служит человек, которому с изумительным постоянством долбят голову и который, разумеется, не может прийти к другому результату, кроме ошеломления». Конечно, жизнь менялась, и то, что в XIX веке было гротеском, наш век превратил в реальность. Как говорит один из романовских персонажей, наблюдая милицейский налет на базар: «Тут первое дело в воздух палить надо без остановки, покамест очумеют».

Впрочем, выстрелы у Романова звучат редко, тут сказывается, если угодно, чувствование стиля. Обычно он довольствуется наме-

ком, одной-двумя репликами, проливающими свет на те «общие причины, которые заставляют так, а не иначе поступать людей данной нации». Возьмем, к примеру, такую общую причину, как ЧК: она (ЧК) лишь незримо присутствует где-то на заднем фоне, но это существенно облегчает понимание ситуации с правами человека. Так что мы не удивляемся поведению жильцов Дома, разбираемого — по ошибке! — на Дрова, когда по первому требованию каких-то людей с ломами они очумело выметаются из своих комнат. Потому что: «На наших соседей так-то смотрели, смотрели, а потом — хлоп! Да всех в Чеку» («Дом № 3»). И нелепое на первый взгляд стремление персонажей другого рассказа получить какой-то значок, обещанный им за участие в «празднике труда» (сугубо фиктивным: ни праздника, ни даже труда), имеет весьма резонное обоснование: «Вот теперь калоши, говорят, выдавать скоро будут... Придешь получать, — значок ваш предъявите. Нету? — Ну и калош вам нету». — «Это-то еще ничего: а как вовсе тебя вычеркнут?...» — «Откуда?» — «Там, брат, найдут откуда» («Значок»). В общем, в этом абсурде есть своя логика, и именно из их — абсурда и логики — замысловатых, неожиданных сочетаний и столкновений высекает Романов комический эффект. И за мелкими житейскими неурядицами и гримасами быта вдруг проступают, обнажают скрытые пороки и несообразности системы.

«...Думают, я наблюдаю частности. У кого в руках ключи, тому эти частности не нужны», — отмечал Романов в дневнике. «Я пишу о деревне, годами не бывая в ней, и все говорят: как верно»². Конечно, и частности автор знал досконально, но они интересовали его лишь в связи с целым. В его коротких рассказах к категории «частностей» относятся, пожалуй, даже лица — характеры едва обозначены, однако из этих иной раз безымянных, лишенных индивидуальных примет персонажей каким-то чудом складывается яркий и очень живой собирательный образ. Романовские мужики (как и те, что мельком упомянуты в Булгаковской «Белой гвардии») — отнюдь не «богоносцы Достоевские». Миф этот всегда был чужд Романову (он вырос в деревне и верил лишь собственным глазам). Не «богоносцы», но и не звери, как поспешили заключить иные из народных радетелей, потрясенных «бессмысленным», «беспощадным» русским бунтом. Человек ясного, трезвого ума, Романов был зато извлечен от разочарования в народе. Когда сравни-

ваете его произведения о деревне, написанные до и после Октября, удивляешься постоянству авторского видения, в которое революционный взрыв не внес, кажется, никаких корректив. Правда, самый взрыв Романов никогда не изображал, а перешагнув, приступил к описанию и исследованию последствий.

Нелегко выделить из этой многоактной трагикомедии, которую назову условно «Революция и деревня», ключевые эпизоды. Еще труднее передать при этом неотразимый смех и своеобразие почерка автора, сочетающего видимое благодушие с жесткостью анализа. Подстерегающая нас опасность схематизации имеет, однако, свои плюсы: обнажив конструкцию, мы лишней раз убедимся в обманчивости представлений о «подножном» реализме Романова. Его деревенские миниатюры, в коих чеховская традиция скрещена с фольклорной, представляют как бы модель действительности, тяготеющую к притче. Итак... Эпизод первый, к которому можно поставить эпиграф «Грабь награбленное». Мирная беседа двух мужиков. Один, из соседней деревни, сетует: что народ у них словно взбесился, все норовят чужое захватить. Другой, местный, нахваливает своих: «...народ хороший, помнящий и Бога еще не забыл»; да вот «завелась кучка разбойников на деревне и безобразничает». В дальнейшем, однако, выясняется, что жители обеих деревень ведут себя одинаково: разрушили и разграбили все, что могли. Только «хорошие» сохранили при этом счастливую уверенность в собственной непричастности к «безобразиям», во всем винят «окаянных» разбойников и, глядя на плоды своих совместных усилий, патетически восклицают: «Неужто это им так пройдет?» Плохие же грабят без рассуждений («Кучка разбойников»). Эпизод второй. Трое мужиков едут в город мимо совершенно пустых снежных пространств и хвастают друг перед другом недавними подвигами: «Завод один целую неделю ломали...» — «Это наше. Мы работали... тут дом был — огромный!» — «Долго ломали?» — «Больше трех недель». И так — по нарастающей, вплоть до финальных реплик: «А завод большой был?» — «Пять недель ломали». Автор, однако, не спешит осудить своих героев. Ибо в отличие от разных управляющих, которые уговаривают их не портить добро — «ведь все равно теперь ваше», — знает, что дело не только в дикости, несознательности или жадности мужиков, а в их исконном — и резонном — недоверии к властям, которые уж постарались прибрать к рукам и наше и ваше. Вот му-

² ЦГАЛИ, ф. 1281, оп. 1, ед. хр. 60.

жики и торопятся урвать побольше, пока «народное» еще не стало «государственным». «Нам старики еще спервоначалу говорили: «Ох, попадете вы под барщину!» Так оно и вышло...» — «Все в пользу государства?» — «Все в пользу, пропади оно пропадом» («Государственная собственность»).

Эпизод третий. По деревне слоняются неприкаяно мужики, а избы стоят без крыш, скотина заморенная, начатые было стройки заброшены. Что стряслось? Слово за слово, выясняется, что такая нынче «полоса» — «борьбу эту выдумали насчет кулаков» (а кулаков давно уж всех «вывели»), замучили поборами и «главное дело, работать не дают». «Крышу на сарае покрыл — сейчас к тебе два архангела: «В богатеи, голубчик, пробираешься?» И каждую неделю из города все едут и едут товарищи («Уж им что-то представляться стало») и первым делом требуют кулаков — «чтобы у них останавливаться» (и подкормиться). Пришлось установить «кулацкую очередь». Тут как раз прибегает из Совета мужичок и озабоченно спрашивает: «Кто нынче кулак?» И вот вся деревня собирает и снаряжает в кулаки беспорточного Савушку. За этим почти водевильным сюжетом уже проступают «зияющие высоты» Великого перелома: «...так хватили здорово, что не то что — кулаков, а и мужиков скоро не останется» («Кулаки», 1924).

Не знаю, можно ли это отнести к собственно художественным достоинствам, но точность социальных прогнозов, которую лишь из-за скромной повадки автора я не решаюсь назвать пророческой, впечатляет и даже как-то пугает. Да, насчет ключей Романов не преувеличивал. Кажется, он не упустил ни одной из тех больших и малых «временных трудностей», о которые мы с вами по сей день спотыкаемся. Годы шли, стирая случайные черты и меняя местами побочное и главное. Гигантские стройки, коими гордилась страна, ветшали и теряли величие; каналы, вырытые под фанфарный гром рабами-заключенными, оказались несудоходными; болота превращались усилиями мелиораторов в пустыни, гибли великие реки и высыхали моря, сталинский новый порядок сменился новым беспорядком... А походя замеченное Романовым предприятие, которое вместо запланированных 500 тысяч дохода принесло 500 тысяч убытка, после чего было реорганизовано и расширено («Народные деньги»), пережило все исторические бури и теперь, говорят, имеет уже несколько миллионов дефицита. И где-то в нашем городе по-прежнему стоит

старый дом, из-за которого воюют два ведомства: одно собирается сломать, другое тем временем срочно ремонтирует, а строители, ввиду возможного сноса, ставят гнилые балки («Экономия»). Его уже тысячу раз ломали, ремонтировали и снова ломали, этот дом, а ему хоть бы что — похоже, он бессмертен. Бог с ним, пройдем, как обычно, мимо. Попробуем выяснить, что стало с его бывшими обитателями и с их бессмертными душами.

Судьба людей, выброшенных революцией на задворки жизни, — постоянная тема Романова. Правда, он написал еще множество рассказов, сильных и слабых, посвященных всяким другим более или менее актуальным морально-психологическим проблемам (вспомним хотя бы нашумевшее «Без черемухи»), которые невозможно охватить в рецензии. Замечу лишь, что многие из романовских «бывших» состоят в очевидном родстве с чеховскими персонажами. Романов словно прикидывает, что произошло бы с ними, доживи они до наших дней, испытывает — прежде всего бытом. А «портреты предков» (отнюдь не безупречных) позволяют лучше увидеть пройденный путь. Иначе говоря, оглядка на Чехова или Толстого, Гоголя, вообще на русскую литературу, которая была для Романова такой же реальностью, как мир за окном, давала надежный нравственный критерий — и силы, чтобы выстоять под напором эпохи.

Поощряемый своими великими собеседниками, писатель взялся за тему «Интеллигенция и революция», которая поистине «ножом подступила к горлу», как сказал — совсем не про это — поэт, по интересующему нас вопросу твердо державшийся генеральной линии: «И тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас». Не вступая в спор с железной логикой классовой борьбы, Романов показал, что на самом деле речь идет об уничтожении сугубо мирных, законопослушных граждан, и сформулировал это просто и сухо, в почти юридических терминах: «Право на жизнь, или Проблема беспартийности» (1926). Так назывался рассказ о писателе-попучике, тихом, запуганном «культурно-честном» человеке, который, избежав гибели под колесами истории, кое-как вобрался на «колесницу». Но... «Он все старался уловить, что нужно им. И потерял то, что нужно ему. И стал благодаря этому производить то, что не нужно никому». Бедный Останкин! В отличие от многочисленных собратьев по перу, достигших на этом пути степеней известных, он смертельно испугался, оставшись «без лица», и покончил с собой сам, пока не началось

«самое страшное — проверка сидящих на колеснице» и его не скинули за ненадобностью под откос.

Критики, привычно бранившие Романова, напрасно зачислили Останкина в приспособленцы. Он был слишком пуглив, нерасторопен, даже, пожалуй, честен для подобной роли, этот несколько условный маленький человек, не без элегантно донашивавший шинель Акакия Акакиевича. Его драма в том и состояла, что он не смог приспособиться. И (или) «перековаться». Новый герой, способный на это, еще только формировался на наковальнях истории. Романов одним из первых разглядел это амбивалентное, с «переломленным хребтом» существо и вывел в романе «Товарищ Кисляков» (1930). Это было художественное открытие, которое не оставило следа в нашей литературе лишь потому, что его поспешили «закрыть». Книга, изображавшая «перековку» как «школу предательства», естественно, была объявлена клеветнической и контрреволюционной, и альманах «Недра», опубликовавший «Товарища Кислякова», сразу же попал в список не рекомендованных для библиотек книг. (А зарубежные издания романа до сих пор заперты в спецхране!) Но самого товарища Кислякова, который, изменив себе, принялся предавать других, ждала долгая жизнь...

Эпоха, беспощадно обличавшая «пристроившихся», поощряла и пестовала перестроившихся. Романов со своим Кисляковым смешал все карты. Да и как отделить чистых от нечистых? Когда «исторический выбор» совершается под угрозой физической гибели, инстинкт самосохранения находит десятки лазеек для утешающего самообмана. Я не рискну утверждать, что все те, кто в стихах и прозе славил «победу над своей старинною душой» или настырно просился «в переделку» и взывал: «Обдумайте нас, почините нам нервы и наладьте в ход, как любой завод» — и т. д., делал это из шкурных соображений. «Большинство шло вполне искренно, загипнотизированно, охотно дав себя загипнотизировать», — заключал А. Солженицын в своей знаменитой «Образованщина» (сборник «Из-под глыб», 1974), перечислив соблазны, которые режим «припахнул» перед интеллигенцией: «...осознать пришедшую железную Необходимость как долгожданную Свободу — осознать сам им, сегодня, толчками искреннего сердца, опережающими завтрашние пинки конвойных или зашепны общественных обвинителей, и не записывать в своей «интеллигентской гнилости», но... шаткими своими ногами догонять

уходящий в светлое будущее — Передовой Класс. А для догнавших — второй соблазн: своим интеллектом вложиться в Небывалое Созидание, какого не видела мировая история. Еще бы не увлечься!.. Этим ретивым самоубеждением были физически спасены многие интеллигенты и даже, казалось, не сломлены духовно, ибо с полной искренностью, вполне добровольно отдавались новой вере. (И еще долго потом высились — в литературе, в искусстве, в гуманитарных науках — как заправдошные стволы, и только выветриванием лет узналось, что это стояла одна пустая кора, а сердцевины не было.)».

Тут в сжатом, обобщенном виде изложена суть социально-психологического феномена, который Романов раскрыл на примере одной судьбы. Эта переключка «из-под глыб», через головы поколений двух столь разных — по судьбе, взглядам, масштабу и характеру дарования — русских писателей, сумевших сохранить духовную независимость и идти, каждый по-своему, против течения, глубоко знаменательна. Да, ниточка не прерывалась, мы словно видим, как восстанавливается распавшаяся связь времен. И в который раз убеждаемся в точности диагноза Романова, поставленного им в самом начале процесса. В его проникновенном и беспощадном исследовании выделены те же ключевые моменты, что у Солженицына, подводившего итоги почти полвека спустя. Через роман проходит тема внутренней пустоты, которой, словно тайной болезнью, поражены почти все персонажи, а страх и отчаянье переплетаются в причудливом контрапункте с «радостным ощущением от действительного слияния с новой жизнью», принимаемой бескорыстно, «по свободному убеждению и внутреннему влечению». Только в финале, когда товарищ Кисляков предает внезапно снятого директора, старого партийца, чью дружбу долго и упорно завоевывал, пронзительный животный страх на миг прорывает плену самогипноза.

«Чувствую, что написал страшную вещь. Последнюю главу из истории русской интеллигенции», — записал в дневнике автор. Вещь действительно «страшная», и все-таки угадывается в ней надежда на то, что история этим не кончится. Есть в романе один не слишком удавшийся персонаж, благородный, верный себе и всеми обманываемый идеалист, которому Романов, против обыкновения, поручил высказать свои самые сокровенные мысли. Интеллигент старой закалки, убежденный в том, что и «здесь» можно «идти против течения», он мечтает

основать тайное духовное содружество, «чтобы сохранить на земле хотя бы в ничтожном количестве ту общечеловеческую правду и истину, которую мы носим в себе. Нам не нужно множества, потому что множество не есть показатель истины. Исти-

на всегда зреет в единицах и в них может храниться, как в ковчеге завета, пока не придут времена».

Похоже, эти времена пришли...

М. ЗЛОБИНА.



Политика и наука

МИФОЛОГИЯ ИЛИ ИСТОРИЯ?

Н. А. Троицкий. 1812. Великий год России. М. «Мысль». 1988. 350 стр.

В истории каждой страны есть события, которые со временем приобрели в общественном сознании характер героической легенды. В истории США, например, это европейская колонизация Нового Света и война за независимость, в истории Франции — эпопея Жанны д'Арк... Для России таким событием стала, несомненно, Отечественная война 1812 года, описанная и воспетая несколькими поколениями историков, литераторов, живописцев и даже композиторов. Легенды об изгнании Наполеона начали создаваться сразу же после победоносного возвращения русской армии из заграничного похода. Питательной средой для них явился невиданный подъем патриотических чувств в пробуждавшемся от долгой спячки российском обществе.

Казалось бы, что нового можно сказать об Отечественной войне 1812 года? Столько написано на эту благодатную тему! Неужели в архивах, после того как там работали такие крупные историки, как Д. П. Бутурлин, А. И. Михайловский-Данилевский, М. И. Богданович, А. К. Дживелегов, С. П. Мельгунов, В. И. Пичета, Е. В. Тарле, а также Л. Г. Бескровный, Н. Ф. Гарнич, П. А. Жилин и другие, остались еще какие-либо неизвестные важные документы?

Профессор Н. Троицкий, видный специалист по истории России XIX века, своей последней книгой доказывает, что рано ставить точку в изучении даже таких общеизвестных событий. Как, впрочем, в исторической науке в целом. Ведь смысл историографии — в непрерывном обновлении и обогащении наших представлений о прошлом. Если верно утверждение, что нельзя смотреть на прошлое иначе как с позиций сегодняшнего дня, то это прошлое будет подвергаться постоянной ревизии до тех пор, пока будет существовать человечество.

В архиве каждый исследователь ищет то, что ему нужно, что подтверждает заранее составленную схему, иной раз в упор не замечая «ненужного». В самом деле, что

искали в архивах первые дворянские историки войны 1812 года? Конечно же, прежде всего доказательства решающей роли в победе над Наполеоном Александра Благословенного, а также «единения сословий вокруг престола». Когда отечественные буржуазно-либеральные исследователи взялись за разоблачение фальши и субъективизма дворянской историографии, то в тех же архивах они нашли достаточное число соответствующих документов в пользу своей идеи. После 1917 года М. Н. Покровский и его последователи на основании все тех же архивных материалов начали в самых решительных выражениях отрицать народный характер войны с Наполеоном, утверждая, что эта война велась Россией исключительно в интересах дворянской верхушки. Одновременно было официально отвергнуто определение войны 1812 года как отечественной. Лишь незадолго до нападения гитлеровской Германии на Советский Союз академик Е. В. Тарле вернул этот термин. Капитальный труд Е. В. Тарле «Нашествие Наполеона на Россию», опубликованный в 1937 году, на долгие годы стал вершиной советской историографии войны 1812 года.

Увы, последующие два десятилетия характеризовались очевидным упадком в освещении этого события, ответственность за который историки по справедливости должны разделить с «вождем и учителем». Стоило Сталину в 1946 году заявить, что «наш гениальный полководец Кутузов... загубил Наполеона и его армию при помощи хорошо подготовленного контрнаступления», как все внимание советских историков 1812 года сосредоточилось исключительно на личности М. И. Кутузова. П. А. Жилин, Л. Г. Бескровный и Н. Ф. Гарнич с энтузиазмом принялись воплощать в своих книгах указания генералиссимуса, на чьей совести тяжелым грузом должна была лежать ответственность за трагедию 1941 года (не случайно Сталин апеллировал к 1812 году, подбросив историкам сомнительную аналогию между собой и Кутузовым).

В обстановке разгоравшейся кампании по борьбе с «космополитизмом» советская историография 1812 года приобрела откровенно конъюнктурный, псевдопатриотический характер. На протяжении первого послевоенного десятилетия в общественное сознание настойчиво внедрялось достаточно деформированное представление об Отечественной войне 1812 года как о цепи блестящих побед русской армии, когда русское командование якобы не совершало ни ошибок, ни даже просчетов. На недостижимую высоту был поднят фельдмаршал М. И. Кутузов, поставленный в один ряд с великими полководцами всех времен и народов. Субъективизм, в принципе так или иначе свойственный каждому историку, в тот период выражался в фальсификации имевшихся архивных данных о соотношении сил перед войной и потерях сторон в ряде сражений, включая Бородинское.

В чем новизна книги Н. Троицкого?

Историк, осмеливающийся сегодня предложить собственное прочтение героической эпопеи 1812 года, а не ограничиваться очередной более или менее удачной компиляцией, должен предварительно провести кропотливую работу реставратора, расчистив многочисленные наслоения. Историографическая реставрация предполагает не только изучение всего написанного, но и знание первоисточников, то есть архивных документов.

Наряду с широко известными источниками Н. Троицкий привлек и новые, по тем или иным причинам не вводившиеся в научный оборот материалы. Использовал он и французские источники, которыми пренебрегли многие его предшественники. Широкая документальная база позволила автору достаточно убедительно опровергнуть и отбросить целый ряд антинаучных стереотипов времен сталинизма и застоя в оценке происхождения, характера, итогов и значения антифранцузских войн 1805—1815 годов с участием России.

Н. Троицкий пытается снять хрестоматийный глянец, образовавшийся почти за два столетия на историческом полотне Отечественной войны 1812 года, развеять мифы и взглянуть в лицо исторической правде. Автор обращает внимание, что 1812 год освещался в отечественной историографии преимущественно с позиций болезненно обостренного патриотизма, вольно и невольно толкавшего отдельных исследователей на путь очковтирательства. Практически все цифровые данные о соотношении сил и потерях сторон в 1812 году вопреки истине подсчитывались в нашу пользу. Очевидные успехи и победы французского оружия

огульно объявлялись поражениями, беспечливо и бездоказательно утверждалось превосходство русской военной мысли и стратегии над французской. (Оставалось, правда, непонятно, почему же французы неоднократно бивали наших за пределами России как до 1812 года, так и позднее.) Русская дипломатия провозглашалась чуть ли не радетельницей системы коллективной безопасности в Европе.

Вряд ли надо доказывать, что любовь к Отечеству несовместима с неправдой и фальсификацией. Как тут не вспомнить В. Г. Белинского, который говорил, что истинный патриотизм «обнаруживается не в одном вражде от хорошего, но и в болезненной враждебности к дурному, неизбежно бывающему... во всяком отечестве».

Когда Россию объявляли невинной жертвой экспансионистских притязаний Наполеона, то сознательно искажали смысл и направленность ее внешней политики в 1805—1812 годах. Между тем даже в тщательно отобранных для публикации документах МИД России, относящихся к этому периоду, можно найти прямые указания, что Российская империя притязала на территории Польши, Финляндии, Турции и разобщенных германских земель. К слову сказать, Польша и Финляндия очень скоро оказались поглощенными Россией, а призыв Константина к себе царское правительство вплоть до 1917 года. С этим-то уж никак не поспоришь. Раздел Европы, предлагавшийся Российской империей, не имел ничего общего с системой коллективной безопасности.

Война 1812 года, как справедливо подчеркивает Н. Троицкий, явилась продуктом империалистических противоречий между буржуазной Францией и феодальной Россией. Главным узлом этих противоречий после Тильзитского мира была континентальная блокада, участие в которой противоречило интересам России, а самым острым их пунктом — безусловное стремление Наполеона к мировому господству. Когда некоторые наши историки утверждают, что Наполеон якобы хотел «захватить» Россию и «превратить русский народ в своих рабов», им явно изменяет чувство меры. Французский император, и это убедительно доказали Е. В. Тарле и А. З. Манфред, думал лишь о «наказании» России за несоблюдение условий Тильзитского мира, о том, чтобы навязать Александру I роль послушного младшего партнера. Не потому ли Наполеон не отменил крепостное право на захваченных им русских территориях, не потому ли он не побуждал нерусские народы восстать против царя, что рассчитывал на последую-

щее, более выгодное для себя, соглашение с Александром?

Как бы то ни было, наполеоновское нашествие представляло собой прямое покушение на суверенитет России, что, естественно, вызвало единодушный патриотический подъем во всех сословиях российского общества. С самого начала война для России приобрела освободительный, национальный характер.

Н. Троицкий с фактами и цифрами в руках отвергает бытующую версию о внезапности нападения Наполеона и неподготовленности России к войне. Автор показывает, что царизм уже с 1807 года готовился к войне с наполеоновской Францией, причем к войне отнюдь не только оборонительной. К концу 1811 года Александр I уже готов был напасть на Наполеона, и лишь вероломство прусского короля, в последний момент отказавшегося выступить совместно с Россией (как было согласовано ранее), помешало царю начать войну первым. Наполеон опередил его.

Стараниями военного министра России М. Б. Барклая-де-Толли общая численность русской армии к 1812 году была доведена до 975 тысяч человек (у Наполеона было под ружьем примерно столько же — миллион). Русская разведка была детально осведомлена о планах и намерениях противника. Русский резидент в Париже Чернышев (будущий палач декабристов), подкупив писца французского военного министерства, получал от него копии секретнейших документов раньше, чем Наполеон получал подлинники. Платным агентом России под кличками Кузен Анри и Анна Ивановна являлся сам князь Талейран, бывший министр иностранных дел Наполеона. К моменту французского нашествия русская дипломатия сумела укрепить международные позиции России, сорвав планы Наполеона относительно ее изоляции.

Таким образом, столкновение с Наполеоном не явилось неожиданностью для Александра I и русского правительства. Разве случаен уже тот факт, что царь выехал из Петербурга в расположение армии в Вильно 21 апреля 1812 года, а Наполеон, узнав об этом, спешно оставил Париж только 9 мая?

В своем исследовании Н. Троицкий, вслед за Марксом, подчеркивает наряду с «духом возрождения», характерным для Отечественной войны, и «дух реакционности», свойственный целям и интересам русского царизма в этой войне.

Значительный интерес представляет анализ хода и итогов Бородинской битвы, где едва ли не впервые советский историк от-

ступает от привычной патетики и пытается критически исследовать ошибки и просчеты, допущенные русским командованием, включая самого непогрешимого генерал-фельдмаршала М. И. Кутузова.

Кстати, о Кутузове, изображение которого в нашем сознании давно приобрело буквально иконописный характер. Как показано в книге Н. Троицкого, весьма критически к главнокомандующему относились даже ближайшие его помощники и соратники — такие известные герои войны, как Багратион и Ермолов, Раевский и Дохтуров, Милорадович и Денис Давыдов... Современники считали, что старый фельдмаршал «много спал» и «мало делал», особенно в период контрнаступления, когда Кутузов в решающие моменты (под Вязьмой, у Красного, на Березине) опаздывал с главными силами, что позволяло противнику уходить от полного разгрома или окружения. Но советская историография неизменно выводила Кутузова из-под критики, всякий раз подыскивая козлов отпущения — генералов Беннигсена, Витгенштейна, адмирала Чичагова и других. Н. Троицкий вскрывает несостоятельность бытующего в нашей литературе мифа о мнимом конфликте Кутузова с царским правительством, показывая победителя Наполеона не только талантливым полководцем (не лишенным слабостей, отчасти объяснявшихся почтенным возрастом), но и преуспевающим, ловким царедворцем, бывшим в милости и у Екатерины II, и у Павла I, что редко кому удавалось. Да и Александр I весьма благосклонно относился к Кутузову: трижды в 1805—1812 годах назначал он его главнокомандующим и осыпал наградами и титулами. Огромная роль Кутузова как подлинного вождя русской армии очевидна, она не нуждается в искусственном приукрашивании, тем более вопреки исторической правде.

Не согласуется с исторической правдой и сознательное принижение роли других полководцев Отечественной войны, «по несчастью», носивших нерусские фамилии. Им, как правило, отказывали и в военных талантах и уж тем более в привязанности к России.

Подобная несправедливость долгое время допускалась в отношении М. Б. Барклая-де-Толли, чье доброе имя начало подвергаться хуле еще при жизни. Именно на него одного возлагалась ответственность за отступление русской армии летом 1812 года. При этом как бы вовсе игнорировался тот факт, что сменивший Барклая Кутузов продолжил стратегию своего предшественника, которая в тех условиях была единственно правильной и даже спасительной для России. Не

кто иной, как Барклай, убеждает читателя Н. Троицкий, умелым отступлением спас русскую армию от неминуемого разгрома в первые два месяца войны и уже тогда начал планировать и готовить контрнаступление, осуществленное впоследствии Кутузовым. Недаром прощательный Пушкин, глядя на статуи двух главнокомандующих в мастерской скульптора Б. И. Орловского, точно сказал: «Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов».

Заслуги Барклая не были по достоинству оценены ни современниками, ни потомками (хотя Николай I все же поставил ему памятник перед Казанским собором в Петербурге наряду с памятником Кутузову). Сталин заявил в 1946 году, что «Кутузов как полководец был, бесспорно, двумя головами выше Барклая-де-Толли». Стоит ли удивляться, что после такого высказывания Барклай оказался мишенью для пренебрежительно-критического обстрела? Полководцу отказывалось не только в военных талантах; считалось, что как «немец» (вообще его предки были выходцами из Шотландии) и «чужак» он в принципе не мог постигнуть народного характера войны 1812 года и «созерцал всенародную войну в роли наблюдателя». Обвинения эти, по мнению Н. Троицкого, «кричаще противоречат фактам». Именно Барклай первым, еще в июле 1812 года, призвал «россиян, в местах, французами занятых обитающих», а затем и «обывателей всех близких к неприятелю мест» к народной войне с захватчиками. Именно Барклай, а не Кутузов, начал организовывать партизанское движение в тылу противника. И здесь Н. Троицкий вынуждает нас рассататься еще с одним мифом — о Денисе Давыдове как первом армейском партизане 1812 года. В действительности первый армейский партизанский отряд в составе драгунского и четырех казачьих полков был сформирован еще 2 августа по приказу М. Б. Барклая-де-Толли генерал-майором Ф. Ф. Винценгероде (опять немец, прости, Господи!). Любопытно, что в составе этого первого партизанского отряда сражались бок о бок С. Г. Волконский (будущий декабрист) и А. Х. Бенкендорф (будущий шеф жандармов). Что же касается прославленного отряда Д. В. Давыдова, то его сформировали по приказу М. И. Кутузова месяцем позже, 3 сентября. Нельзя сказать, что эти факты до Н. Троицкого совершенно были неизвестны — просто их игнорировали в угоду привычным схемам.

Вообще роль «иностранцев» и «инородцев» в истории России, особенно военной, заслуживает отдельного разговора. Не пора ли покончить с вредной привычкой огуль-

ного охаивания государственных и военных деятелей, верно служивших «царю и Отечеству», только на том основании, что у них были нерусские фамилии? Ведь значительная часть российского дворянства, строго говоря, не могла быть отнесена к великороссам, и тем не менее подавляющее большинство «некоренных» русских дворян давно ассимилировались, полностью идентифицировали себя с Россией и по большей части верно ей служили. Никто не убедит меня в том, например, что немец К. В. Нессельроде или еврей Н. К. Гирс, в разное время руководившие внешнеполитическим ведомством России, менее ревностно отстаивали интересы российского самодержавия, чем, скажем, истые русаки А. П. Бестужев-Рюмин или А. М. Горчаков. Другое дело — кто из них был талантливее и значительнее, но это никак не связано с национальной принадлежностью. Почему бы тогда не заподозрить в дефиците русского патриотизма и саму матушку-царицу Екатерину II на том основании, что до замужества ее величали София Фредерика Августа, принцесса Ангальт-Цербстская? Вряд ли это кому придет в голову. А как быть с символом русской военной славы — генералиссимусом А. В. Суворовым, дед которого был шведом, а мать армянкой?..

Государство Российское едва ли не с самого начала складывалось как многонациональное формирование. Внутренняя сила России всегда заключалась в способности воспринимать и осваивать все нужное и полезное для ее развития, принимать услуги тех, кто хотел ей служить, и уметь быть благодарной. Замкнутость и отчужденность скорее навязывались (в том числе и изнутри), нежели по природе были свойственны открытой и доверчивой России. Сам факт, что в российском пантеоне славы наряду с русскими представлено великое множество иных имен, глубоко символичен.

Много вопросов поднимает Н. Троицкий в своем оригинальном исследовании, отличающемся, кстати сказать, легкой, даже изящной формой изложения. В чем-то с ним можно поспорить, с чем-то не согласиться. Мне, например, кажется, что в ряде случаев автор перегибает по части классового подхода в оценке Отечественной войны. Похвально, разумеется, стремление раскрыть «дух реакционности», присутствовавший в этой войне, показать истинные реставраторско-охранительные цели российского самодержавия в Европе, противопоставить суесловному и корыстному патриотизму дворянства, купечества и духовенства действительный патриотизм простого народа (крестьянства), не прекращавшего и в драматический для Рос-

сии 1812 год «классовую борьбу с феодалами». Но ведь если не было «единения словий вокруг престола» (в данном случае служившего символом непокоренной России), то, может быть, и война не была отечественной, то есть общенациональной? Могла ли вообще подняться «дубина народной войны», если бы классово-разъединительные интересы оказались в тот момент сильнее национально-объединительных? Впрочем, сам автор признает приоритет «Духа возрождения» в Отечественной войне.

Теперь о роли Александра I в 1812 году. Вообще мне кажется, что к «чужим» монархам мы по непонятным причинам куда более снисходительны и благосклонны, чем к отечественным. Изображать последних принято не иначе как в критически-негативных тонах. Такова традиция, берущая начало с М. Н. Покровского. Наши издательства (а может, и сами историки?) всеми путями избегают помещать портреты царей (особенно последних) в книгах, даже если это напрашивается само собой.

Вот и в рецензируемой книге можно найти портрет Наполеона (и это естественно), но почему-то не нашлось места для портрета Александра I. Как бы ни относиться к Александру Благословенному со всеми его недостатками и даже пороками, в истории он остался прежде всего как победитель Наполеона наряду с Кутузовым и Барклаем-де-

Толли. Ни один даже самый пристрастный историк не может обвинить Александра I в недостойном поведении в 1812 году. «Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем». Этому обещанию, данному в манифесте о начале войны от 25 июня 1812 года, царь оставался верен до конца, решительно отклонив все предложения Наполеона об унизительном для России мире и доведя дело до полного изгнания неприятеля за ее пределы.

...Досадное чувство вызывает неуместная заключительная фраза о «стратегах империализма», жаждущих «руководить миром», которых автор призывает помнить уроки 1812 года. Остается сожалеть и по поводу отсутствия в книге именного указателя, совершенно необходимого при таком обилии населяющих ее исторических персонажей.

В целом же появление книги Н. Трицкого можно назвать событием в историографии Отечественной войны 1812 года. Автору в живой, увлекательной форме удалось рассказать неизвестное об известном, опровергнуть ложные стереотипы, противопоставить псевдопатриотической мифологии суровую, но от этого не менее героическую правду истории.

Петр ЧЕРКАСОВ,
доктор исторических наук.



ОСОБАЯ ПРИЧИНА

В. Кантор. «Средь бурь гражданских и тревоги...». Борьба идей в русской литературе 40—70-х годов XIX века. М. «Художественная литература». 1988. 304 стр.

Бывало, что к литературе прошлого века обращались только за тем, чтобы что-нибудь сказать о сегодняшнем дне. Богатейшее духовное наследие служило то пикой, которой (как правило, весьма мелко) кололи толстокожих узурпаторов власти, то средством туманно намекнуть публике на абсурдность некоей общественной ситуации. При том, что цели преследовались благие (и эта работа сыграла-таки свою роль), подобное использование национальных культурных ценностей вряд ли можно назвать рачительным. Методологически оно восходит к более ранней поре, когда имена русских классиков тоже использовались, но совсем в других целях. Вот что писала, например, газета «Правда» в дни пушкинских торжеств в 1937 году: «Подлые преступления троцкистских бандитов есть прямая реакция контрреволюционной буржуазии на ликвидацию эксплуататоров в нашей стране. Но

сквозь столетие Пушкин протягивает нам дружескую руку в знак солидарности... Он радостно рукоплескал бы гибели эксплуататорских классов» (разрядка моя.— С. Я.).

В. Кантору не свойственно утилитарное отношение к предмету исследования, хотя читателю при чтении этой книги не раз покажется, что она — про нас, о нашем сегодня. Автор вполне бескорыстен в обращении с фактами минувшего и не стыдится, по удачному выражению Достоевского, сказать правду, «если б даже она была и недостаточно, по-вашему, либеральна». Это придает аргументации весомость, а в то же время избавляет читателей от гнета морального и политического доктринерства. Читателям предоставлена возможность думать и спорить. А это очень важно, поскольку спорить есть о чем...

О чем эта книга? Она — о путях высо-

бождения задавленных многовековым рабством народных сил, о противостоянии пробуждающейся личности и деспотического государства, об утверждении жизни в противовес смерти, носителем которой выступает все то же государство.

«Мы теперь едва ли можем понять и еще меньше можем почувствовать,— писал В. О. Ключевский,— каких жертв стоил его (государства.— С. Я.) склад народному благу, как он давил частное существование». Выраженное в начале этой фразы сомнение служило, видимо, для ее смягчения, ибо современникам Ключевского (как и нам с вами) было известно не понаслышке, чего стоил этот «склад».

В. Кантор цитирует Чаадаева: «Как может процветать общество, которое, даже в отношении к предметам ежедневности, колеблется еще без убеждений, без правил; общество, в котором жизнь еще не составила? Мир нравственный находится здесь в хаотическом брожении, подобном переворотам, которые предшествовали настоящему состоянию планеты». История советского времени внесла существенные поправки в эту безрадостную картину, начертав на ней «убеждения» и даже обозначив, поколебавшись, нечто названное «нравственным миром». Сначала государство создало прецедент отречения от морали, а затем, испугавшись угрозы своему существованию, учредило для своих граждан столь жестокие «правила», что следовать им было немислимо. И что же? Человек попал в ловушку. Обреченный аморальной властью на нарушение «правил», он был тотчас ею за это судим как за величайшую безнравственность и приговаривался к смерти. Такого Чаадаев, разумеется, предвидеть не мог.

Настоятельная потребность в личном освобождении людей, в развязывании их энергии и инициативы заставляла даже непримиримых идейных противников в прошлом веке говорить об одном: «Человек, связанный по рукам и ногам, не может совладать с человеком, который пользуется свободным движением всех членов»,— читаем в книге слова Б. Н. Чичерина. А вот Н. Г. Чернышевский: «Как вы хотите, чтобы оказывал энергию в производстве человек, который приучен не оказывать энергии в защите своей личности от притеснений?» Оценим иронию судьбы, повергнувшей именно эту равняющуюся из пут страну сначала в кровавый хаос, затем на много десятилетий в гипнотический сон, сменившийся апатией. Есть ли в мировой истории другой пример того, чтобы народ, поставивший и решивший вопрос о земле, вновь дал себя обез-

земелить и закрепить, чтобы уже окончательно потерять веру в то, что он способен сам себя прокормить?

«Пора нам перестать казаться и начать быть...» Это цитата из Белинского. Красоваться перед другими и самими собой мы, кажется, в последнее время перестали, но вот «быть» по-прежнему не получается.

Книга В. Кантора — еще и о праве мыслящего человека в России торопить время. «Это был самый торопившийся человек в целой России» (Достоевский о Белинском). «Он чувствовал, что его труды могут ускорить ход нашего развития, и он торопил, торопил время...» (Чернышевский о Добролюбе). Сегодня вопрос о таком праве кажется нам далеко не простым...

Можно сказать, что Кантор написал книгу о прошлом, которое без спросу влывается в сегодняшний день. Автор повествует о том, как зародилась одна из самых солидных отечественных утопий — утопия революционно-демократического просвещения.

Творчество революционных демократов не было утопией там, где давало трезвую, суровую оценку окружающей жизни. Достоевский заметил однажды, что без освоения низшей правды, правды факта художнику нечего и думать о правде высшей, духовной. Это высказывание справедливо по отношению к разным этапам развития одного художника, создания отдельного произведения, но может быть отнесено и к культуре целого народа, различным течениям и школам внутри этой культуры. Неблагодарную, но нужную задачу выставлять напоказ российские язвы и взяли на себя писатели революционно-демократического лагеря. Хотя и не одни они. Уже у Пушкина в последние годы его жизни явно прослеживается тяга к бытовому очерку, писанному иногда весьма мрачными и безысходными красками (как в прозе, так и в стихах). Пушкин в этот период творчества в глазах своих современников стремительно терял эстетизм, а следом за ним шли как по лезвию ножа, ежечасно рискуя свалиться в пропасть антиэстетики, и Гоголь, и Толстой, и Достоевский... Сама российская действительность «реабилитировала» бытописательный жанр, неразрывно и уже навсегда сплавив публицистику с высочайшими взлетами Духа.

Но есть в социально-политических и эстетических воззрениях некоторых представителей революционно-демократического лагеря такие элементы или стороны, с которыми, по мере того как в них вдумываешься, все меньше хочется соглашаться.

Значительная часть книги В. Кантора по-

священа эстетике Чернышевского. Автор убежден, что она является составной частью нового мировоззрения, которое, опираясь на общинное народное сознание, должно было противостоять самодержавному подавлению личности. «Продолжая и теоретически осмысляя и закрепляя традицию великой русской литературы, борющейся против... «сна-смерти», «мертвого сна», навешаемого русским самодержавием, той гласно необъявленной, но реально и безостановочно действующей системы ценностей, когда жизнь человека ничего не стоит, Чернышевский и выдвигает свой знаменитый тезис: «Прекрасное есть жизнь». Это и в самом деле был революционный тезис, который знаменовал собой переворот в ценностной ориентации всего общества».

Далее автор задается вопросом, как формула Чернышевского связана с искусством, и в доказательство того, что она ему не противоречит, приводит высказывание Л. Н. Толстого в письме П. Д. Боборыкину: «Вопросы земства, литературы, эмансипации женщин и т. п. полемически выступают у вас на первый план, а эти вопросы в мире искусства не только не занимательны, но их нет... Цель художника.. в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях». Однако у меня, например, не вызывает сомнений, что «жизнь» в устах религиозного художника Толстого (в особенности же в сочетании «любить жизнь») и жизнь в схоластических умозрениях Чернышевского, отождествленная с «прекрасным» («прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такую, какова должна быть она по нашим понятиям», — не угодно ли распутывать?), — это термины разных культур или, точнее, разных духовных уровней одной культуры. Строго говоря, данное высказывание Толстого прямо противоречит духу революционно-демократической критики, лишая всякого эстетического значения занимавшие ее общественные вопросы.

Другой пример. С пугающей бесстрастностью Кантор сообщает, что пафос критической деятельности Чернышевского был «не только в объяснении существующего искусства, но и в предвидении нового типа искусства, еще более слитого с революционной идеологией, прямо воплощающего ее». В этой добросовестной (со стороны интерпретатора) формулировке четко прорисовываются контуры будущего «социалистического реализма». Мало утешительного и в авторском пояснении, данном в развитии мысли в другом месте. «Ре-

волюционно-демократическое мировоззрение есть результат последнего слова науки, — считает Чернышевский, — оно научно... наука выступает как основа революционно-демократической идеологии». Последнюю фразу автор дает курсивом, и снова — никаких комментариев к изложению давних мыслей, хотя после Чернышевского у нас была возможность хорошо усвоить, в каких случаях идеология прикрывается научностью и что за наука может выступать как основа идеологии...

Сказав «а», революционные демократы и их последователи поневоле говорили «б». Ступив на путь рационалистических, прагматических суждений об искусстве, неизбежно приходилось заканчивать мыслью Варфоломея Зайцева (популяризированного идеи Чернышевского) о том, «что искусство не имеет настоящих оснований в природе человека, что оно не более, как болезненное явление в искаженном, ненормально-развившемся организме; что, по мере совершенствования людей, оно должно падать и что оно заслуживает полного и беспощадного отрицания».

Я не стал бы прерывать логическую цепочку от Чернышевского к Зайцеву, как это делает Кантор. Напротив, я бы попытался понять и оправдать (как это ни парадоксально) и сам вывод Зайцева, сделанный в конкретной исторической ситуации. Причины нигилизма шестидесятников по отношению к искусству кажутся мне родственными значительно более позднему отрицанию искусства у Л. Толстого: в основе того и другого — обостренный демократизм, не оставляющий за образованным сословием в России права ни на какое другое дело кроме дела спасения гибнущей в рабстве, нищете и невежестве нации. Искусство, красота в этих условиях становились, на взгляд последовательных демократов, уделом кучки сытых и праздных, нравственно ущербных людей, такое искусство и такая красота вполне заслуживали отрицания («...искусство льстит нашему искусственному вкусу», — писал и Чернышевский). Если красоте и суждено спасти этот мир, то (повторю однажды сказанное) не благодаря, а вопреки своему месту в нем. Однако то новое место, которое указали искусству революционеры-демократы, та программа, которую предписал ему Чернышевский, обернулись тушкой. Эта программа, донныне широко цитируемая в наших учебниках и хрестоматиях («воспроизведение жизни», «объявление жизни», «приговор»), не предусматривала для искусства самого главного: его само-

стоятельного, не подчиненного вещному миру бытия.

Тут уж, к слову, об одном заявлении автора, связанном как раз со знаменитой фразой «мир спасет красота». Заметив, что она принадлежит персонажу романа «Идиот» князю Мышкину, Кантор в примечании указывает: «Начиная с Вл. Соловьева эта формула... постоянно приписывается самому писателю, что методологически неверно и прямо противоположно идее Достоевского, вырастающей из романа». Почему? Ответ в тексте: «...в этом мире подлинная красота обречена смерти (Настасья Филипповна убита)». В самом деле, трагический финал романа потрясает; мы можем добавить, основываясь на этом произведении, что подлинная душевная красота (князь Мышкин) сродни болезни, а то, что идеальный герой в конце романа сходит с ума, окончательно доказывает, что прекрасным людям в «этом мире» делать нечего. Такова логика трагичнейшего, может быть, романа Достоевского. Но «мир спасет красота» — это ведь не предвыборное обещание (даже и они не всякий раз выполняются). Это трудно назвать и идейной установкой. Тут вера Достоевского-художника, растворенная во всем его творчестве, в самом стиле его мироощущения. Кстати говоря, даже «Идиот», подобно другим романам писателя, заканчивается всплеском надежды и света. Может быть, я ошибаюсь, а иных доказательств, кроме чувства, у меня нет.

Просвещение — это рационализм. А литература, и в особенности русская литература XIX века, не может оцениваться одним рассудком. В. Набоков находил у Пушкина, Толстого и Чехова «минуты иррационального прозрения». Что же тогда сказать о Достоевском или Гончарове, у которых страницы, густо населенные бытом (порой донельзя затянутые), всегда являются только необходимым приготовлением для других страниц, где все предметы, доселе тщательно вписываемые, вдруг теряют «здешнюю» оболочку и предстают в неземном порядке, будто озаренные молнией? Сколь изычно ни своди художественное произведение к учебнику жизни или «приговору», это будет лишь надводная часть айсберга (иногда — полярники знают — в виде грязной плоской верхушки, заметной лишь с самого близкого расстояния). А вся играющая живыми красками махина останется в темноте под водой.

Взять место, где Кантор обращается к «Медному всаднику» Пушкина. «Пушкинская поэма, по сути дела, говорила о том, что в системе государственного устройства

и просвещения человек не учитывается, а следовательно, самодержавное государство вступает в резкий конфликт с потребностями развития страны, с необходимостью развития самодетельности народа». Это серьезное и, в общем, бесспорное высказывание могло бы характеризовать и поэму и политическую программу, более того: по стилю оно как раз больше подходит для последней. Из истории отечественной критики известно, что «петербургскую повесть» буквально рвали на части: одни видели в ней патристическое прославление державной красоты и мощи, другие — бунт и анархию. Интересно, что каждый уверенно находил в «Медном всаднике» аргументы в свою пользу. И конца этому спору не предвидится, если не перестать любить свои мысли и не обратиться к целому произведению как к живому организму. Мысль для художника — явление вторичное, низшего ряда. Произведение искусства нельзя разложить на мысли, как нельзя расчлнить человека и ждать, что каждая его часть будет самостоятельно функционировать. Упова на рассудок, мы ни за что не желаем признавать великой преобразующей, жизнетворящей силы, заключенной в искусстве, и то и дело пытаемся «утяжелить» его своими идеями.

В феврале 1826 года, удрученный декабрьскими событиями, Пушкин пишет Дельвигу знаменательные слова: «Класс писателей, как заметил Alfieri, более склонен к умозрению, нежели к деятельности, и если 14 декабря доказало у нас иное, то на то есть особая причина (разрядка моя. — С. Я.). Именно «особая причина», обусловленная ненормальными, чрезвычайными условиями существования, вела впоследствии пером и самого Пушкина, и других шедших за ним подлинных художников. Но она, эта причина, не заглушила в них способности духовного восхождения, как естественно было бы предположить, — наоборот, удивительным образом многократно усилила ее. Так что на деле получилось совсем не то, о чем мечталось Чернышевскому. Хотя и великое дело и утопические мечты вырастали, конечно же, на почве одной и той же исторической реальности, что накладывают на них печать общности гуманных демократических устремлений. Этим нам дорога (вспомним суждение Достоевского о высшей и низшей правде) вся без изъятия русская литература XIX века.

Это — к оценке революционно-демократического просвещения, каким оно предстает в книге В. Кантора. Не хочется, чтобы высказанные здесь соображения рассматрива-

лись как критика этого интересного исследования, выполненного ученым и писателем. Я не отважусь соперничать с автором в познаниях по этому вопросу и с глубоким уважением отношусь к его гражданской позиции. Речь у меня шла о внимании к искусству, только об этом. Без такого внимания (и понимания) мы никогда не оценим той подлинно революционной роли, какую сыграла русская литература XIX века в истории всей мировой культуры. Как не заметим и главного в природе «социалистического реализма»: он, по сбывшемуся предсказанию В. Зайцева, действительно стал «полным и беспощадным» отрицанием художественного творчества (а не только норм общечеловеческой морали, о чем уже были публикации в нашей печати последних лет).

Могу добавить, что в идейной оценке революционно-демократического движения автор не дает оснований упрекнуть его в односторонности. Он сам не однажды беспристрастно выверяет наследие революционеро-демократов на весах истории: «Задача, которую пытались разрешить революционеры-демократы... была в том, чтобы ввести «подлинную и всеобщую цивилизацию» (Маркс), а это означало «русский 1793 год», по крайней мере, его возможность». Так ведь в конце-то концов и произошло, и здесь прогноз оправдался (правда, со значительной отсрочкой). Сошлюсь в этой связи на мнение, высказанное в 1923 году В. И. Вернадским в его письме из Парижа И. И. Петрункевичу: «...поколениями русская интеллигенция готовяла (и с какой энергией и страстностью) этот строй. Как химическая реакция: полученный результат освещает весь процесс. Должна в нашем сознании произойти коренная перестройка

ценностей! Радищев, Пестель, Желябов, Петровская и tutti quanti ближе к Магницкому, Бенкендорфу, Победоносцеву, чем к нам»¹. Сам Вернадский, как известно, принадлежал к лагерю либеральных просветителей, выдвигающих, как пишет Кантор, требование «постепенного усвоения культуры» и потерпевших «сокрушительное поражение». Думаю, история не сказала тут своего последнего слова — логика нынешнего развития в стране позволяет надеяться, что к идеям либеральных просветителей мы еще вернемся. Что же касается ссылки автора на «неприятие демократической массой идеологии либерализма» в описываемую эпоху — можно вспомнить, что примерно в те же годы было еще более оголтелое неприятие, скажем, романа «Бесы», который сегодня мы отнюдь не считаем реакционным. Не пришло ли время дать этому неприятию новую оценку, которая, очевидно, будет расходиться с оценкой революционно-демократической критики? Тогда, возможно, либералы второй половины XIX века предстанут перед нами несколько в ином свете — а именно в свете начавшегося тогда (и ужаснувшего не одного Достоевского) раскатывания страны по пути к катастрофе. Коснулось ли в ту пору просвещение скольконибудь широких слоев народа? А если нет, то не следует ли смириться с тем, что глубинное просвещение, оберегающее общество от случайностей и новых катастроф, нам еще только предстоит?..

Сергей ЯКОВЛЕВ.

¹ Письма В. И. Вернадского И. И. Петрункевичу подготовлены к печати доктором философских наук И. И. Мочаловым и, надеюсь, скоро увидят свет.

МОЖНО ЛИ НАЗВАТЬ УДАЧЕЙ?

В № 12 журнала за 1988 год помещен небольшой отзыв на «Энциклопедический словарь юного литературоведа». Рецензент отмечает недостатки словаря, о котором и у меня сложилось отрицательное мнение. Это хорошо, что журнал оперативно и по существу отзывается на неудачу в столь серьезной по замыслу работе. Но вот взгляд упал на последний абзац отзыва о словаре: «Тем не менее и сделанное (при всех необходимых оговорках) в целом можно назвать удачей (словарь уже получил премию общества «Знание»)...»

А вот с этим согласиться трудно. Выход словаря никак нельзя назвать удачей (даже с оговоркой: «...быстротекущее время неизбежно скорректирует эту оценку»).

Думаю, давно пора отказаться от метода восхваления книг за хороший замысел, за удачную идею, за фундаментальность проекта, за титанический труд авторов и т. д.

Поставим прямой вопрос: отвечает ли словарь, вышедший полумиллионным тиражом, современным представлениям о нашей литературе, пробуждает ли он у школьника стремление к объективному знанию?

В словаре есть ряд опорных статей, которые проясняют позиций редколлегии и составителя, дают ответ на поставленные вопросы.

В статье «Постановления ЦК КПСС по вопросам литературы» не упомянуто ни одно постановление по вопросам литературы и искусства между 1932 и 1972 годом. Об этом огромном драматичном периоде сказано так: «По мере движения нашего общества вперед роль литературы и искусства возрастает в огромной степени. Это объясняется тем, что партия все большее внимание уделяет формированию нового человека, воспитанию гармонической личности нового мира. А роль искусства в этом трудном и сложном процессе исключительно велика». Оставим на совести безымянного автора стиль и язык. Занавес не приоткрыт над сорокалетним периодом, включающим в себя I съезд писателей и последовавшее вскоре физическое уничтожение огромного отряда деятелей культуры, разгромные ждановские постановления 40-х годов, ныне отмененные.

Но, может быть, что-то есть об этом в статье «Партийность литературы»? Первый и последний документ, упомянутый здесь, — это известная работа В. И. Ленина 1905 года. Что мы узнаем о последующем восьмидесятилетии? «После победы Октября ленинский принцип партийности получил дальнейшее развитие в партийных документах по вопросам литературы и искусства, обобщивших многолетний опыт партийного руководства и давших глубоко научный анализ советской литературы».

Вот так, безо всяких оговорок, без тени сомнения, кондовым языком — для детей.

Специальная статья посвящена идейности творчества. В ней смята трактовка понятия «безыдейность», так активно задействованного в постановлениях о «Звезде» и «Ленинграде», по вопросам музыки, биологии и т. д. А что авторы понимают под идейностью? «Художественная идейность — это то, что автор воплощает, создавая произведение, а не то, что он просто включает в произведение». Без основательных разъяснений в такой трактовке не разобраться.

Из статьи «История литературы» мы узнаем, что «в литературе, как и в жизни в целом, «все течет, все меняется», постоянно что-то происходит». Но об очень многом из происшедшего в 30-е, 40-е, 50-е и другие годы в словаре ни слова.

События десятилетий утаивает от юного читателя и статья «Критика литературная». Список критиков завершается именами Луначарского и Воровского. Но ни слова о Воронском и литературных боях 20-х годов и о людях, уничтожавших никем не чи-

танную в то время прозу Пастернака. Снова в литературном процессе все гладко и без ухабов.

Словарь прямо извращает представление о ряде жанров советской литературы. В статье «Комедия» даже нет упоминания, что таковые сочиняли и советские драматурги. Читатель узнает лишь о том, что «в наши дни все более заметное место занимает трагикомедия». Оказывается, в советской поэзии нет лириков (см. статью «Лирика»).

Зато на страницах 44—45 мы находим замечательные откровения о том, что деревенская проза характерна тем, что действие «разворачивается преимущественно в сельской местности», для белорусской литературы основное, что действие происходит в Белоруссии, для сибиряков — в Сибири, для грузин — в Грузии, и т. д. А как быть, например, с поэтом Тихоновым и его знаменитым циклом «Грузинская весна», вообще с интернациональной темой во всех национальных литературах?..

Статья с огромным перечнем имен писателей посвящена советской многонациональной литературе. Мы дважды находим здесь П. Павленко и его забытые романы, многократно упомянуты Бондарев, Марков, не забыт Иванов, фигурируют Берды Кербабаяв и Джамбул. Но не нашлось места для прозаиков Бабеля и А. Веселого, Зощенко и Булгакова, Платонова и Бека, Гроссмана и П. Романова. В драматургии не было Киршона, зато обозначен автор бесславно сошедших «Сталеваров» Г. Бокарев; Б. Пастернак оказался в ряду авторов, пишущих на исторические темы. Но главная ли в его творчестве поэма «Лейтенант Шмидт»?

Конечно, полностью проигнорировать ряд талантливейших писателей было бы некорректно. Они возникают то в виде молчаливых портретов (Ахматова), то их имена привлекаются как иллюстрация к второстепенным замечкам, и читатель запоминает, что Ахматова всего лишь в отличие от ряда акмеистов «развивалась прогрессивно» (стр. 12), что у Пастернака есть образцы гиперболы (стр. 57), что Олеша, Платонов, Зощенко афористичны (стр. 24), что Булгаков использует гротеск (стр. 58), и т. д.

В словаре есть статья «Цезура», но нет статьи «Цензура», хотя история русской цензуры неотделима от литературоведения. Зато сам словарь представляет собой образец весьма жесткой внутренней цензуры. Прочитав словарь, задаешься вопросом Б. Пастернака: «Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?» Есть такая цитата, иллюстрирующая — нет, не творчество поэта, — а заметку «Время и пространство в художественном произведении».

Вызывает удивление, как могла такая большая и авторитетная группа авторов, консультантов, рецензентов, научных редакторов выпустить столь поверхностную, примитивную, устаревшую по своей концепции, совершенно не соответствующую духу времени книгу.

Виктор ПЕКЕЛИС,

*писатель, член жюри ежегодного
Всесоюзного конкурса
на лучшие произведения
научно-популярной литературы.*

В рецензии на «Энциклопедический словарь юного литературоведа» («Новый мир», 1988, № 12) я упомянул, что словарь «уже получил премию общества „Знание“». Как выяснилось, это совершенно не соответствует действительности. Ошибка вызвана тем, что я неосторожно доверился непроверенной информации. Приношу самые искренние извинения всем членам жюри конкурса.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.

КОРОТКО О КНИГАХ



АЛЕКСАНДР СЕГЕНЬ. Похоронный марш. Роман в рассказах. М. «Современник». 1988. 366 стр.

В 30-е годы в моду вошло определение: «человеческий материал». Он казался очень сырым, необработанным, рудообразным, а между тем из него предполагалось выплавить нечто прекрасное, так называемых людей будущего. Издержки социального эксперимента не смущали. Негодный человеческий шлак товарными вагонами перегоняли на перековку.

Где же сейчас замечательные люди будущего? Куда исчезли гордые кузнецы? Произошло ли отделение стали от шлака, как то мечталось смелым реформаторам?

Проза молодого московского прозаика А. Сегеня, выступившего с первой книгой, отчасти отвечает на этот вопрос. Оказывается, «материал» на редкость упрям и не желает поддаваться перековке! Оказывается, у «материала» есть своя человеческая и национальная душа, хорошая или плохая, но во всяком случае весьма живучая! От нее не так-то просто избавиться.

Несколько слов об авторе. Он молод не только в литературном смысле, но и по возрасту. Главный герой его автобиографического «романа в рассказах» родился в день полета Гагарина и достиг совершенлетия в самый разгул общественного застоя. Казалось бы, молодое сознание, возвращенное в эту эпоху, заведомо обречено... Ни у автора, ни у его героя не могло быть иного социального воспитания, кроме вопиющей деформации общественных ценностей, извращения всех и всяческих социальных понятий.

Но сквозь все это автор сумел увидеть главное, что питает подлинную прозу: человеческие лица. Мир обычного московского двора в лицах времен оттепели и застоя, наблюдаемый глазами ребенка и затем подростка, одновременно и ужасен и великолепен. Он заставляет содрогаться и умиляться, смеяться и плакать. Если задуматься, это все тот же «человеческий материал», но увиденный иными глазами. В романе Сегеня нет двух похожих лиц. Поставьте рядом печальную красавицу Веру Кардашову и безумную старуху Дранеху, которую «в сумасшедший дом не сдают, потому что от нее нет никакого вреда». Сравните умного мальчика Сашу, прозванного Эпенсулем за безукоризненный английский язык, за гладкую прическу, и главного героя Леху с его юродивым братцем Юрой — плодом любви местной распутницы Фиски и отца-бандита. Нет, не сплавить воедино этот «материал»...

Сегень удачно нашел свой жанр. Его рассказы, объединенные общими героями, хотя и не складываются в роман в строгом смысле (попытка автора спасти романские линии главного героя, описания его первой любви, встречи с вернувшимся из заключения отцом и т. п. мне не показались удачной), тем не менее точно воссоздают картину того общественного слоя, о котором в полный голос заговорили лишь сегодня.

Иным эта проза может показаться натуралистичной. Здесь много пьют, скандалят, дерутся, бьют детей и собак, матерятся, плачут и кончают самоубийством. Не в меру взрослые дети горячо обсуждают половой вопрос, подсматривая за блудом пьяниц матерей в тесных коммуналах. И еще здесь постоянно кого-то хоронят (отсюда название книги). Наши с вами соотечественники умирают от рака, от водки, от петли, от физической и умственной неполноценности, передаваемой из поколения в поколение, закрепляемой генетически. Волосы встают дыбом, когда читаешь, например, как бьется в истерике великовозрастный дурачок Юра, у которого брат украл сломанную игрушку, счастливо найденную дурачком где-то на помойке...

От натурализма, от всякого рода физиологии Сегеня спасает своеобразный романтизм. Он откровенно любит своих героев, какими бы уродливыми они ни казались, и не отделяет себя от них. Недаром роман автобиографический. Страшно сказать, но типологически он заставляет вспомнить «детства» Аксакова и Толстого, заставляет сравнивать сознание сегодняшнего городского ребенка с тем.

Особенность двойного зрения автора в том, что, будучи плотью от плоти среды, из которой он вышел, он понимает больше своих героев. Понимает превратность жестокой исторической судьбы, которую народ уготовил себе и сам, как бы ни отрицали это сегодняшние «народники». Понимает, что основные источники зла и добра в нас самих. Что корневое единство темного и светлого в народе не пустой звук — и это противоречие удастся ли снять ускоренным социальным обновлением, пусть и глубоко гуманным в отличие от социального новаторства 30-х годов? Не случайно столь тревожной выглядит в финале символическая стена переезда обитателей старого московского двора в новый высотный дом на время ремонта...

Павел Басивский.



В. Г. БОБОРЫКИН. Об истории создания романа А. А. Фадеева «Молодая гвардия». М. «Просвещение». 1988. 255 стр.

Любой читатель «Молодой гвардии» — а эта книга входит в обязательную программу восьмилетки — по крайней мере слышал о роящихся вокруг нее тайнах и загадках. Они, как правило, связываются с историей краснодонской антифашистской организации молодежи. Позднейшее появление многочисленных воспоминаний и документированных свидетельств обусловило своеобразие восприятия романа в наши дни — все чаще место эстетического переживания занимали поиски «соответствий». Действительно, здесь есть над чем поломать голову. Существовали ли протоколы собраний молодогвардейцев? Кто был комиссаром «Молодой гвардии»? Чем вызван ее провал?. Пусть такие вопросы в компетенции истории, а не литературоведения — широкий интерес к ним удовлетворяет отчасти и книга В. Г. Боборыкина.

Как известно, написанный по горячим следам событий, опубликованный в 1945 году («Знамя», № 2—12; одновременно печатался и в «Комсомольской правде») роман Фадеева уже в следующем году получает Сталинскую премию первой степени. Атмосфера нарастающего успеха (читательские обсуждения, многочисленные рецензии, инсценировки и т. п.) в конце 1947 года разрядилась грозой. Газеты «Культура и жизнь» и «Правда» опубликовали редакционные статьи с грозным упреком автору: «Из романа выпало самое главное, что характеризует жизнь, рост, работу комсомола,— это руководящая, воспитательная роль партии, партийной организации».

О дальнейшем есть свидетельство самого Фадеева: «После трех бессонных ночей... решился поступить так, как поступил бы каждый писатель, — переработать свою книгу». И переработал — вторая редакция вышла в 1951 году. Она стала канонической и хрестоматийной.

Тем не менее важны подробности. Наряду с почти анекдотическим апокрифом о том, как накануне официального разбора романа в Союзе писателей его генеральный секретарь Фадеев пригласил к себе докладчика Вадима Кожевникова с тем, чтобы помочь ему выявить наиболее слабые места своего детища, мы должны помнить и о письме Фадеева А. Жданову (1948): «...я не писал истории «Молодой гвардии», а писал художественное произведение...» Памятна и оброненная им реплика: «...перерабатываю молодую гвардию в старую». А еще в середине 60-х годов В. А. Каверин писал о первоначальной «Молодой гвардии»: «Весь пафос, вся сила этой книги... именно в том, что семнадцатилетние девочки и мальчики остались одни и все-таки совершили то, что совершили бы на их месте сложившиеся, зрелые люди».

Однако, как мне кажется, фантазмагорию происходившего с романом после административного окрика В. Г. Боборыкин недоисследовал. Он отмечает: «...из всех, кто по той или иной причине попал в список лиц, предавших «Молодую гвардию», писатель ни словом не упомянул в романе как раз тех, кто действительно был виновником ее

гибели» (Почепцов, Громов). Но должного освещения этот парадокс не получает. Между тем, сохраняя и во второй редакции романа линию — и шире: тему — Стаховича, Фадеев так и не вышел из-под гипноза однажды и надолго отлаженной им схемы. Биографические данные В. Третьякевича «подошли» писателю больше, чем история Почепцова, пасынка бывшего врангелевского офицера Громова. Автор «Разгрома» соблазнился возможностью продолжить на новом материале тему Мечика с его умением «подлиннее свои чувства» прикрывать «большими и красивыми словами». Так появился свободно обращающийся с «книжными словами» Евгений Стахович. Уводя читателей от аналогий между Стаховичем и Третьякевичем, В. Г. Боборыкин пишет о «собираемости» образа первого. Но именно за такой «собираемостью» просматривается жестокая заданность анкетного подхода к человеку, представителю прослойки...

В. Г. Боборыкин признает: «Первая редакция «Молодой гвардии», при всех ее изъянах, была цельной, яркой, истинно романтической. Переработка романа нанесла ему немалый урон. Особенно с художественной точки зрения».

Для подтверждения этой мысли книга В. Г. Боборыкина дает богатый материал.

Сергей Дмитренко.



АЛЕКСАНДР ДЮМА. Кавказ. Перевод с французского. Тбилиси. «Мерани». 1988. 286 стр.

Эта книга была, можно сказать, зачата июньским парижским вечером 1858 года на площади Пале-Рояль в отеле «Три императора», где граф и графиня Кушелевы-Безбородко давали бал. Когда один из гостей, прославленный Александр Дюма, попытался покинуть роскошное празднество, чета русских аристократов согласилась отпустить его, если он обязуется проводить их до самого Петербурга. Любитель путешествий, давно мечтавший побывать в загадочной и необъятной России, Дюма с готовностью принял условие.

Путешествие А. Дюма длилось девять месяцев, и в результате родилась книга, состоящая из трех частей. Первые две включали части «Письма из Санкт-Петербурга» и «Из Парижа в Астрахань» и у нас пока не переведены; третья часть посвящена поездке по Кавказу. Впервые она появилась на русском сто двадцать восемь лет назад, а сейчас выпущена новым полным изданием.

В Петербурге Дюма встретился со многими литераторами, в том числе с Некрасовым, Григоровичем, Панаевым. Был очарован зрелищем белых ночей, красавицей Невой. Посетил Петропавловскую крепость — любознательность романиста возобладала над гневным возмущением человека, но он надеялся, что придет день, когда крепость заговорит, подобно замку Иф, и «с этого дня Россия обретет подлинную историю, а не ту, которая до сих пор слагается из легенд».

Интересно впечатление Дюма от необъятных российских просторов. «Россия,— писал он,— может прокормить в шестьдесят или восемьдесят раз больше населения, чем она имеет... Закон об отмене рабства крестьян должен удвоить, если не утроить, число трудящихся или, по крайней мере, дать возможность обеспечения их работой».

На Кавказе Дюма избрал самую опасную дорогу, по которой, как правило, мало кто ездил. От Кизляра до Дербента, пишет он, нет ни сажени, не пропитанной кровью. Отвага писателя была вознаграждена. Дорога подарила массу ярких впечатлений и встреч. Он научился разбираться в сложной обстановке противоборствующих сил. Многие страницы книги посвящены Шамилю, его жизни и борьбе, отважным горцам и храбрым русским солдатам и офицерам. Как увлекательная приключенческая повесть читаются главы о пленении горцами и освобождении (в обмен на сына Шамиля) княгини Чавчавадзе и княгини Орбелиани с детьми и домочадцами, в том числе и с соотечественницей Дюма — мадемуазель Дрансей, оставившей описание этого события.

Путевые заметки и экскурсии в прошлое Дюма мастерски сочетает с рассказом о русской литературе, иллюстрируя его переводами из Пушкина, Лермонтова, Бестужева-Марлинского в расчете на не слишком осведомленного французского читателя. Демонстрируя симпатии к декабристам (он одним из первых употребил это слово), автор «Кавказа» переводит свое повествование в политическую плоскость, что не могло прийти по вкусу тогдашней цензуре,

изъявшей некоторые рассуждения (в нынешнем издании они восстановлены).

Но Дюма не был бы Дюма, если бы ограничился только такого рода впечатлениями и не поведал бы о нескольких романтических историях. Одна из них — рассказ о трагической судьбе Ольги Нестерцовой. Девушка погибла от случайного пушечного выстрела в доме Бестужева-Марлинского. Молва же обвинила в ее смерти писателя. В свое время мне пришлось изучать сохранившиеся документы и свидетельства по этому делу; могу сказать, что Дюма ненамного отошел от истины...

Считается, что Дюма неисправимый фантазер, чуть ли не одержимый выдумкой, что верность фактам никогда не заботила его. Но читая рассказ о путешествии по Кавказу, поражаешься достоверности повествования. Она и в описании быта и природы, нравов и обычаев, и в изложении исторических событий. Сегодня литературоведы не находят в этой книге ни грубых искажений, ни отступлений от фактов: писатель «записывал только то, что видел своими глазами». А ведь с именем Дюма до сих пор связывают выражение «развесистая клюква», ставшее синонимом всевозможных неблиц о России, распространяемых иностранцами...

Книга получилась прекрасная — в немалой степени благодаря усилиям автора предисловия и комментариев М. И. Буянова. Готовя это издание, он прошел «по следам Дюма» на Кавказе (о чем пишет в своем послесловии), переработал старый перевод и перевел недостающие части, собрал уникальный иллюстративный материал.

Роман Белоусов.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. Баязин, В. Морозова. Настанет год. Повесть об Ольге Варенцовой. («Пламенные революционеры») 299 стр. Цена 1 р. 10 к.

Н. Морозова. Любимые книги. 223 стр. Цена 65 к.

И. Стоун. Происхождение. Роман-биография Чарльза Дарвина. Перевод с английского. Изд. 3-е. 447 стр. Цена 3 р. 10 к.

Сумерки богов. (В сборнике произведения Ф. Ницше, З. Фрейда, Э. Фромма, А. Камю, Ж. П. Сартра) («Библиотека атеистической литературы») 398 стр. Цена 5 р.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Голос яшмовой флейты. Из китайской классической поэзии в жанре цы. 423 стр., с илл. Цена 2 р.

И. Лажечников. Басурман. Роман. («Классики и современники») 367 стр. Цена 1 р. 70 к.

Русская романтическая новелла. («Классики и современники») 384 стр. Цена 1 р. 70 к.

Б. Слуцкий. Стихотворения. («Библиотека советской поэзии») 478 стр. Цена 1 р. 60 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Л. Бежин. Ангел Варенька. Повести, рассказы, очерк. 430 стр. Цена 1 р. 50 к.

Воспоминания о Леониде Мартынове. Сборник. 317 стр., с илл. Цена 1 р. 50 к.

С. Семенова. Преодоление трагедии. («Вечные вопросы» в литературе. 440 стр. Цена 1 р. 80 к.

С. Чупринин. Критика — это критики. Проблемы и портреты. 315 стр. Цена 1 р. 10 к.

«СОВРЕМЕННОК»

Б. Окуджава. Избранные произведения в двух томах. Т. 1. Ведыль Авросимов. Свидание с Бонапартом. 528 стр. Цена 4 р. Т. 2. Похождение Шипова, или Старинный воевиль. Автобиографические повествования. 413 стр. Цена 4 р.

О. Чухонцев. Ветром и пеплом. Стихотворения, поэмы. 126 стр. Цена 60 к.

В. Шаламов. Левый берег. Рассказы. 559 стр. Цена 5 р.

«КНИГА»

Ю. Давыдов. Вечера в Колмове. Повесть о Глебе Успенском. И перед взором твоим... Опыт биографии моряка-мариниста. («Писатели о писателях») 334 стр. Цена 2 р. 10 к.

Н. Костомаров. Царевич Алексей Петрович. По поводу картины Н. Н. Ге. Самодер-

жавный отрок. («Российский летописец. Исследования. Документы») 63 стр. Цена 1 р. 70 к. Совместно с кооперативом «Арион».

К. Мэнсфильд. Рассказы. Перевод с английского. 447 стр. Цена 7 р. 90 к.

И. Срезневский. Словарь древнерусского языка. В 3-х тт. Репринтное издание. Т. 1. Часть 1. А.—Д. 806 стр. Цена 12 р. Часть 2. Е.—К. 759 стр. Цена 10 р. 50 к.

О. Чайковская. Диалоги гласности. («Зеркало. Взгляд на злободневные проблемы») 175 стр. Цена 70 к.

«НАУКА»

А. Блок. Изборник. («Литературные памятники») 287 стр. Цена 1 р. 60 к.

О. Большанов. История Халифата. Т. 1. Ислам в Аравии. 570—633. 312 стр. Цена 2 р. 50 к.

Е. Немировский. Иоганн Гутенберг. Около 1399—1468. («Научно-биографическая серия») 320 стр. Цена 1 р. 20 к.

Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV—XVI века). Часть 2. Л.—Я. 528 стр. Цена 2 р. 40 к.

«ПРОГРЕСС»

Д. Байрон. На перепутьях бытия... Перевод с английского. («Зарубежная художественная публицистика и документальная проза») 430 стр., с илл. Цена 2 р. 60 к.

Т. Вулф. Жажда творчества. Художественная публицистика. Перевод с английского. («Зарубежная художественная публицистика и документальная проза») 407 стр. Цена 2 р. 10 к.

Звездное воинство Америки. Из американской прозы и публицистики. Перевод с английского. 624 стр. Цена 1 р. 90 к.

Д. Мастерс. Несчастный случай. Перевод с английского. («Политический роман») 420 стр. Цена 2 р. 30 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Казанская губернская Чрезвычайная комиссия 1917—1922. Сборник документов и материалов. Казань. Татарское книжное издательство. 144 стр. Цена 25 к.

Московская старина. Воспоминания москвичей прошлого столетия. М. «Правда». 543 стр., с илл. Цена 2 р. 30 к.

Г. Попов. Пути перестройки. Мнение экономиста. М. «Экономика». 382 стр. Цена 1 р. 40 к.

З. Фрейд. Очерки по психологии сексуальности. Перевод М. В. Вульфа. Переиздание. М. Молодежный центр «Система» при МГ ВЛКСМ. 84 стр. Цена 6 р. 20 к.

Редакция рукописи не рецензирует и объемом меньше 2 печатных листов не возвращает.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов**, **Д. А. Гранин**, **И. Я. Зиедонис**, **В. А. Костров** (зам. главного редактора), **В. Н. Крутин**, **Д. С. Лихачев**, **П. А. Николаев**, **Б. И. Олейник**, **Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **И. Б. Роднянская**, **В. И. Селюнин**, **М. В. Тимофеева**, **О. Г. Чухонцев**, **В. А. Ярошенко**

Адрес редакции: 103806. ГСП. Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.06.89 г. Подписано к печати 25.08.89 г. А 09932.

Формат бумаги 70×108^{1/16}. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 17 п. л.

(23,8 усл.-печ. л., 24,0 усл. кр.-отт.). 27,02 уч.-изд. л.

Тираж 1.615.000 экз. (4-й завод 685.001—1.035.000 экз.). Зак. 180 Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798, Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрицировано в ордене Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», 103798, Москва, Пушкинская пл., 5. Отпечатано в типографии ордена Ленина «Красный пролетарий». 103473. Москва, Краснопролетарская, 16.

*«Новый мир» до конца текущего
и в 1990 году
предполагает опубликовать:*

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ: Чингиза Айтматова — «Богоматерь в снегах»; Андрея Битова — «Записки из-за ла»; Василя Быкова — «Облава»; Даниила Гранина — «Источник любви»; Александра Солженицына — «В круге первом», «Раковый корпус»; а также — В. Астафьева, В. Белова, Р. Киреева, А. Кривоносова, М. Кураева, В. Маканина, Л. Петрушевской, Е. Попова, В. Пьецуха, В. Распутина, М. Рощина, Т. Толстой;

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: Владимира Винниченко — «Слово за тобой, Сталин»; Алексея Ремизова — «Взвигренная Русь»; Владимира Тендрякова — «Революция, революция, революция...»; а также — Г. Газданова, Ю. Домбровского, Е. Замятина, Б. Зайцева, Ю. Казакова, В. Короленко, В. Некрасова, А. Платонова, М. Пришвина, В. Ходасевича, М. Цветаевой, К. Чуковского, И. Шмелева;

ПОЭЗИЯ — стихи С. Аверинцева, Е. Благининой, В. Василенко, Л. Горнунга, Т. Ефименко, В. Корнилова, А. Кушнера, С. Соловьева, Ф. Сухова, О. Чухонцева, В. Широковского и других известных и неизвестных русских поэтов и поэтов из национальных республик;

ПУБЛИЦИСТИКА — очерки, статьи И. Клямкина, В. Селюнина, В. Шубкина, главы из книги Р. Конквеста «Жатва скорби», записки А. Марченко «Мои показания», исследования А. Зиновьева;

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ, ПИСЬМА — М. Волошиной, Р. Гуля «Я унес Россию», Б. Слуцкого, А. Твардовского, а также государственных и политических деятелей, ученых;

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ — очерки и статьи Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, П. А. Новгородцева, Ф. А. Степуна, С. Н. и Е. Н. Трубецких и других;

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА — размышления о путях современной культуры И. Золотусского, А. Латыниной, К. Мяло, С. Семеновой, М. Чудаковой; статьи критиков Л. Аннинского, М. Злобиной, Ю. Карабчиевского, Ст. Рассадина о прозе и поэзии; статьи о творческом наследии Н. Гумилева, Л. Добычина, В. Набокова, А. Чайнова;

ИНОСТРАННАЯ ПРОЗА — Сол Беллоу, «Лови момент»; Е. Анджеевский, «Страстная неделя» (повесть); публицистика Дж. Оруэлла.

Подписка на журнал «Новый мир» принимается всеми предприятиями «Союзпечати» и отделениями связи до 1 октября 1989 г. Подписная цена на год — 14 р. 40 к.